

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2000

9

---

2000

# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

**ДО КОНЦА 2000 ГОДА И В 2001 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

БОРИС АКУНИН. Новый роман;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);

НИКОЛАЙ БАЙТОВ. Суд Париса (повесть);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (роман);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);

БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Стариковские записки (из наследия);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Понемногу о многом;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречье (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

(См. на обороте)

**АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;**

**ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия;**

**ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА. Тюрьма или ГУЛАГ? (Современная фило-софия наказания);**

**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);**

**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**

**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;**

**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Ужас победы (повесть);**

**ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Бог в городе (повесть);**

**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;**

**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное пове-ствование);**

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); Спецэффекты в жизни и в литературе (эссе);**

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания (часть вторая);**

**РОМАН СОЛНЦЕВ. Человек с печальными глазами (повесть);**

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);**

**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Моление о Еве (повесть);**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРКА ФЕЙГИНА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

**Адрес редакции:** Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
**Телефон/факс:** (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
**E-mail:** nmir@aha.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабλικейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Колкий дождь, стихи	7
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Путешествие в седьмую сторону света, роман. Окончание	11
МАРИНА КУДИМОВА — Утюг. Характеристика	105
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть вторая (1979 — 1982)	112

#### ИЗ НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ — Жизнь без конца, стихи. Публикация А. А. Тахо-Годи. Вступительная статья Елены Тахо-Годи	184
--	-----

#### ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Бегство вперед?	187
-----------------------------------	-----

#### ПОЛЕМИКА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА — Подстановка. Лев Николаевич и Александр Семенович	192
---	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

##### *Борьба за стиль*

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН — Слово как произведение: о жанре одно- словия	204
--	-----

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Александр Гаврилов. Смерть под языком, или Комиссарские записки	216
Елена Касаткина. Неосуществимая истина	222
Юрий Кублановский. При свете совести	224
В. К. Апофеоз Августа	227

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА 230

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	238
Периодика (составитель Андрей Василевский)	241
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	248
SUMMARY	256

### **Уважаемые работники библиотек!**

**С января 2001 года прекращается бесплатная рассылка журнала «Новый мир» для библиотек Российской Федерации, которую на протяжении последних лет осуществлял Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса).**

**У многих наших постоянных читателей — и они пишут нам об этом — давно уже нет средств на индивидуальную подписку, а редакция не имеет возможности рассылать журнал на бесплатной, благотворительной основе.**

**Поэтому мы просим вас, библиотечных работников России, заранее оформить подписку на «Новый мир» на первую половину 2001 года!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

\*

## КОЛКИЙ ДОЖДЬ

### Мечты

Я себя не дурил мечтами,  
Сколько мог, отгонял их прочь,  
Всю дорогу менял местами  
Два глагола — *мечтать* и *мочь*.

Оттого-то любая малость  
Невпопад, а порой впопад,  
Удавалась мне, исполнялась,  
Правда, лет через пятьдесят.

### Кафе

Двадцать первого октября  
Шестьдесят ненастного года  
Я впервые терял тебя  
И рыдал на глазах народа.

Мы сидели с тобой в кафе,  
Над которым была киношка,  
И слеза текла по скуле,  
И соленой была картошка.

Двадцать первое октября.  
В окна пасмурный лезет полдень.  
Безнадега и страх... Не зря  
Полдень тот я навек запомнил.

Было много других утрат,  
Но их список не больно четок:  
Жизнь огромна, почти как склад  
При бесхозном бюро находок.

Ни кафе, ни над ним кино  
Больше нет на кольце Садовом,  
Но со мной они все равно  
И тревожат предвестьем новым.



## Дом

Так из дому рвутся...

*М. Цветаева.*

Для других — неприметный,  
В целом свете — один,  
На квадратные метры,  
Как душа, неделим

И отважней, чем крепость —  
Подступиться нельзя:  
Не напрасно в нем эпос  
С лирикою слился.

Распахнулось пространство  
В нем во весь окоем.  
...А ведь некогда рвался  
Из дому, а не в дом.

В нем сегодня легко мне,  
И зачем, почему  
Рвался — вряд ли припомню  
И навряд ли пойму...

Для меня он превыше  
Всех знакомых чудес,  
Даже собственной крыши  
Выше, весь — до небес...

Если что-нибудь стою,  
То виной всему — он,  
Дом, что создан тобою  
И тобой осенен.

## Илиада

«Бессонница. Гомер...» Я не читал Гомера  
Ни в поздней старости, ни в детстве по складам.  
Однако объяснил, что эпос — не химера  
Совсем не сказочник, а Осип Мандельштам.

Он список кораблей с собой унес в могилу,  
Которую доньне не нашли,  
Но лирика его мне заменила  
Великое сказание земли.

## Остров

На необитаемом острове  
Живу и дышу, как могу,  
И воспоминания пестрые  
Давно не теснятся в мозгу.

И междоусобным баталиям  
Сюда нипочем не достать —  
На острове необитаемом  
И тишь, и блаженная гладь.

Все нужное и все ненужное —  
Дабы не случилось чего —  
Зарыто. Забыто минувшее,  
Грядущее отключено.

Забрался я в жадные заросли,  
Где розы шипов лишены,  
Где выданы жалкие радости  
Беспамятства и тишины.

### Бабушка Домна

— Что ты надумала, бабушка Домна?  
Разумом, видно, слаба —  
Снова вернулась на старые гомна?..  
— Миленький, это судьба...

— Видно, забыла аресты да тюрьмы,  
Мыканье по лагерям,  
Что же ты выбрала-кинула в урны?  
— Миленький, в том-то и срам...

Миленький мой, я такой неудачи  
Не пожелаю врагу..  
Плачу, мой миленький, только иначе  
Выбрать опять не смогу.

— Видно, ослепла ты, бабушка Домна!..  
— Миленький, я не слепа:  
Все замечаю, и знаю, и помню,  
Просто такая судьба...

### Погода

То колкий дождь,  
То мокрый снег —  
Весь день, всю ночь,  
Весь год, весь век —

Ни мрак, ни свет,  
А полумрак  
С тьмой разных бед  
И передряг.

А все равно,  
Откинув спесь, —  
Все, что дано,  
Приму как есть —

Весь год, весь век,  
Весь день, всю ночь,  
Весь мокрый снег,  
Весь колкий дождь.

### Поздняя осень

Осень поздняя, что ты такое?  
Не постигну твое раздвоенье:  
То уносишь ты сон, беспокоя,  
То даруешь умиротворенье.

Осень поздняя — время позора,  
Не косы, а заржавленной бритвы,  
Не хозяина, а мародера,  
Что оставил пейзаж после битвы.

И хотя небеса не синее,  
Но простора и воздуха много,  
Оттого-то и веришь сильнее  
Поздней осенью в Господа Бога.

Поздней осенью — хворь и усталость,  
И рассветы, как полночи, серы...  
Поздней осенью вряд ли осталось  
Что-нибудь, кроме смерти и веры.



---

---

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

\*

## ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕДЬМУЮ СТОРОНУ СВЕТА

*Роман*

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

#### 1

**П**роснулась Елена в своей постели, в своей комнате, но в несколько странном, «не своем» состоянии: голова была пустой и гулкой, и, когда она приподнялась с подушки, все запрокинулось вбок... Справившись с неприятным ощущением, она спустила ноги на пол и попыталась собраться с мыслями: последнее, что она ясно помнила, — как вышла из церкви в Обыденном переулке и остановилась на паперти. Дальше был провал. Тогда она направила ход своих мыслей в обратную сторону: церковная паперть, на которой она стоит, до этого тягостный разговор со священником, еще прежде, с вечера, — объяснение с Таней. Таня сообщила ей с неожиданно грубым вызовом, что ушла с работы и собирается бросать университет.

До того, накануне, Таня поссорилась с отцом, — Василиса доложила. Еще Василиса донесла, что из кабинета Павла Алексеевича опять вынесла три пустых бутылки. В доме идет все наперекосяк, — вот и голова разваливается.

Елена снова попыталась встать, но все опять поплыло. Попросила Василису вызвать врача.

Участковый врач, хлопотливая и бессмысленная тетка, пришла к вечеру. Измерила давление. Нормальное. Однако поставила предположительный диагноз — транзиторная форма гипертонической болезни, выписала бюллетень и обещала еще прислать на дом невропатолога. Лекарств никаких не назначила. Побоялась. Василиса весь день ухаживала, как могла, — подносила чай с лимоном, все пыталась накормить. Но есть не хотелось.

Вечером, довольно поздно, пришел Павел Алексеевич. Встревожился. Зашел к Елене в спальню, сел на кровать, дохнул водкой:

— Что случилось?

— Ничего особенного. Голова кружится. — Говорить о провале в памяти не захотела. И страшно было произнести...

Он прижал твердый большой палец к запястью. Послушал: пульс нормальный, хорошее наполнение. Перебоев нет.

— Ты устала. Расстроена. Может, просто отдохнуть надо. Взять тебе путевку в санаторий в академии? — спросил Павел Алексеевич.

— Нет, Паша. Видишь, с Таней что происходит. Как я могу сейчас ее оставить?

«Раньше непременно бы сказал „путевки“, — отметила про себя Елена. — Восемь лет никуда вместе не ездили...»

---

Окончание. Начало см. № 8 с. г.

В полном объеме роман выходит в издательстве «Эксмо» под названием «Казус Куцкокого»

Поговорили о Тане. Павел Алексеевич считал, что перемелется:

— Юношеский кризис. Я думаю, надо дать ей возможность самой принять какое-то решение.

Елена вяло согласилась. На самом деле, она надеялась, что муж сможет быстро и умно сделать что-то такое, что снимет все Танины неприятности и все станет на правильные, хорошие места. Потом Павел Алексеевич предложил привезти хорошего невропатолога — Елена отказалась: завтра из поликлиники придет.

«Напрасно не предложил вдвоем поехать в санаторий», — выходя из комнаты, укорил себя Павел Алексеевич.

Все у них не сходилось на волосок.

У каждого было свое особое мнение о крутом развороте Таниной жизни. Самым суровым судьей оказалась, как ни странно, Тома. Восемь лет девочки прожили в одной комнате. Теперь Тома уже не бессловесным и гибким детским чувством, а разумом взрослеющего человека понимала, какой счастливый билет ей выпал в день смерти ее матери.

Предоставленные ей вполне буржуазные ценности — сперва в виде чистого белья и хорошей еды на тарелке, а потом и более тонкие вещи, интеллигентского обихода: доброжелательность и сдержанность, чистоплотность не только внешняя, но и внутренняя, называемая порядочностью, и чувство юмора, смягчающее все ситуации, в которых другие, знакомые Томе люди, начинали ссориться, кричать, даже драться, — все эти ценности, физические и духовные, Таня теперь предавала, заявив своим новым поведением: плевать я хотела на все ваше мироустройство!

Плевок этот Тому одновременно и поразил и возмутил. Семейные уроки она усвоила настолько хорошо, что, замирая от дерзости и боязни потерять из-за этого замечания саму Таню, как умела, высказалась. Сложные вещи, связанные с устройством жизни и поведением человека, в переводе на ее бедный язык выглядели приблизительно так:

— Для тебя родители столько сделали, а ты, неблагодарная, плюешь на все, и еще университет бросила!

Последнее было для Тома чувствительной точкой, поскольку она, второй год работая в озеленительной конторе, лаская отечественные маргаритки и голландские тюльпаны, ощутила в себе некоторое шевеление: впервые в жизни захотелось учиться. Вслух она еще этого никому не высказала, но мысленно прикидывала, пойти ли ей поучиться в коммунальный техникум или замахнуться выше — на Лесотехнический институт.

Василисина версия странной перемены была попроще: девка загуляла.

Елена, в сущности, придерживалась Василисиной точки зрения, но в мягких терминах. Причину, так изменившую поведение дочери, она усматривала не в ней самой, не в ее душевной жизни, а в каких-то внешних событиях, во влияниях на нее новых, неизвестных Елене дурных людей.

Павел Алексеевич полагал, что Таня переживает запоздалый юношеский кризис. Вероятно, он был ближе всех к истине. Пытаясь проанализировать механизм этого слома, он не мог допустить тем не менее, что причиной его был совершенно, с его точки зрения, незначительный эпизод с наливкой тушью мертвого человеческого плода, о котором Таня ему с такой горячностью рассказала. Ему казалось, что истинная причина иная, лежит глубже. К тому же его смутил и телефонный звонок профессора Гансовского, который сначала долго распинался по поводу исключительной научной репутации Павла Алексеевича, потом дал понять, с помощью обобщающего местоимения «мы», что и себя он причисляет к немногим добросовестным исследователям, и под конец, дав Тане отличную характеристику, предложил ей забрать заявление об уходе, отдохнуть как следует, даже два месяца, а в сентябре, оставив неумные капризы, приняться за работу в качестве его личного, а не Марлены Сергеевны лаборанта. Просил

Павла Алексеевича передать Тане, что ждет ее у себя на приеме в ближайший вторник, после двенадцати...

Повесив трубку и поразмышляв над этим разговором, Павел Алексеевич пришел к мысли, что у Тани возник какой-то производственный конфликт с Марленой Сергеевной, которую Таня слишком уж поспешно, с первого дня работы, назначила себе образцом для подражания.

Изловив не без некоторых усилий Таню — теперь расписание ее жизни не совпадало с общесемейным: она уже уходила из дому, когда отец возвращался с работы, заявлялась под утро и спала до полудня, — Павел Алексеевич передал ей содержание телефонного разговора с Гансовским. Таня только плечом дернула:

— А чего ходить? Я туда все равно не вернусь.

— Танюша, это, безусловно, твое право. Но не забывай, что я просил за тебя, сам привел тебя в лабораторию. Не ставь меня в неловкое положение. В конце концов, надо соблюдать приличия, принятые между людьми, — сказал он более чем миролюбиво.

Таня вскинулась:

— Как же я все ваши приличия ненавижу!

Он притянул ее голову, погладил:

— Ты что, малыш, хочешь мир изменить? Это уже было...

— Папа, ты ничего не понимаешь! — выкрикнула она ему в грудь.

И убежала, оставив Павла Алексеевича в огорчении: девочке двадцать лет, а поведение подростковое...

## 2

Позднее медлительное лето завершилось сильной августовской жарой. Таня второй месяц вела странную ночную жизнь, все более в нее втягиваясь. География одиноких прогулок расширялась. Она исходила старую переулочную Москву, особенно любила Замоскворечье, с его приземистыми купеческими особняками, палисадниками и неожиданно возникающей чередой деревьев-стариков, приусадебных стражей давно снесенных дворянских гнезд. Часто гуляла возле Патриарших прудов, исследуя головоломную путаницу проходных дворов. Она любила подходить к Трехпрудному переулку, к Волоцким домам, которые когда-то строил ее прадед, со стороны шехтелевского дома, огибать его слева и заканчивать свой поход на прудах, под утро, задремав на любимой лавочке со стороны Большого Патриаршего переулка.

Ночные люди, с которыми она иногда знакоилась, совершенно не походили на дневных, обычных людей, которыми была полна улица в светлое время дня. Печально трезвеющие пьяницы, неудачливые проститутки, убежавший из дому двенадцатилетний мальчик, бездомные парочки, обживающие в своей бесприютной любви парадные с широкими подоконниками и незапертые чердаки... Однажды, в верхнем пролете лестницы, ведущей к запертому выходу на крышу, она наткнулась на спящего человека и ужаснулась — не мертвый ли...

Еще ночные люди слоились по часам: до часу встречалось много различных парочек, возвращающихся домой. Собственно, это были не ночные люди, а просто слегка застрявшие дневные. После часу они сменялись одиночками, по большей части пьяными. Они были неопасны, хотя иногда приставали. Что-нибудь просили — сигарету, спички, монетку для телефонного автомата — или предлагали — выпивку, любовь... С этими, пьяными одиночками, она иногда разговаривала... Самые опасные люди водились, как показалось Тане, от трех до половины пятого. Во всяком случае, самые неприятные встречи происходили именно в это время.

Она выплюнула, как сливовую косточку, все свое прежнее знание, учебное и книжное. Ее интересовал теперь иной опыт, который давал

преимущества неожиданного маневра, ловкого движения: она радовалась, обнаружив новый проходной двор между двумя глухими переулками, двустороннее парадное, открытое и с фасада, и с черного хода. Она знала последнюю в Москве, забытую водопроводным начальством и все еще работающую колонку в районе бывшей Божедомки, обнаружила квартиру в полуподвале, где собирались по ночам очень преступного вида люди — воровской притон?

Ночные километры вымощены были и размышлениями: еще недавно жизнь представлялась ей как ровная дорога в гору, постепенное восхождение, целью которого был научный подвиг, соединенный с заслуженным успехом и даже, может быть, славой. А теперь она видела вместо героической картинки ловушку, и наука оказалась идолом точно таким же, как убогий навязываемый социализм, который последние годы все чаще называли по радио «социализмом» в угоду малограмотному Хрущеву, двух слов свести не умеющему... Когда она была маленькой, естественным было деление на «мир взрослых» и «мир детей», «мир добрых» и «мир злых». Теперь ей открылось иное измерение — «мир послушных» и «мир непослушных». И речь шла не о детях, а о взрослых, умных, просвещенных, талантливых... Таня решительно и радостно перешла во вторую категорию. Пожалуй, не ясно было только с отцом — он не укладывался ни в какую категорию. Вроде бы он был общественно полезным, то есть послушным, однако всегда поступал по-своему, навязать ему чужое мнение, заставить подчиниться было невозможно...

Однажды Таня нашла на садовой скамейке в тупиковом дворе Средне-Кисловского переулка строгого старика, сидящего очень прямо, не касаясь развалистой спинки, опирающегося деревянными руками на деревянную, с могучим полированным набалдашником, барскую трость. Таня села на ту же скамью с краю. Он, не поворачивая к ней большой головы, косо освещенной слабым фонарем, сказал глухим голосом:

— Таня, мне кажется, пора подавать обед.

— Откуда вы меня знаете? — изумилась она, в первую минуту не угадав случайного совпадения.

— Я повторяю: время обедать.

— А где вы живете? — спросила Таня.

Старик как будто немного смутился, забеспокоился, потом ответил не совсем уверенно:

— Я живу... здесь.

— Где — здесь? — переспросила Таня, уже догадавшись, что старик обеспамятел.

— Город Гадяч Полтавской губернии... — с достоинством ответил он.

— А как вас зовут?

— Пора подавать обед. — Он заерзал на скамейке, пытаясь подняться из ее глубины и опираясь на палку. — Пора обедать.

Он осел, так и не сумев поднять своего довольно грузного тела. Время шло к рассвету. Таня помогла ему выбраться из этого деревянного гамака и сказала:

— Пойдемте. Действительно пора обедать. Таня ждет вас с обедом.

И она отвела его в отделение милиции, чтобы там помогли ему разыскать коварную Таню, которая вовремя не подала обед. Уже в милиции, сдавая величественного деда в руки мелкой власти, Таня заметила, что на палке было написано белой краской: «Печатников пер., д. 7, кв. 2. Лепко Александр Иванович...»

— До свидания, Александр Иванович, — попрощалась Таня, жалея, что не заметила раньше сопроводительного письма, написанного на палке...

Когда она вышла из милиции, уже рассветало. Ночные люди укрылись, а дневные еще не вылезли из своих нор. Настроение у Тани было

прекрасным, и она решила, что, выспавшись, поедет в лабораторию к часу, когда лаборантки собираются в препараторской для общего чая, купит по дороге торт, каких-нибудь конфет, чтобы отметить таким образом свое освобождение...

С чаем получилось неудачно. Из шести лаборанток три были в отпуске, одна больна, а две оставшихся были как раз наименее симпатичными — пожилая Тася Кухарикова и вороватая Галя Авдюшкина. Съели по два куска торта, остальное положили в холодильник. В лаборатории почти никого не было — кто в отпуске, кто на конференции, у кого библиотечный день. Марлена Сергеевна тоже была в отъезде.

Таня зашла в свою бывшую комнату, вспомнила без всякого сожаления и сентиментальности свой первый день, когда привел ее сюда отец. Все стояло на прежних местах: микроскопы, микротомы, торзионные весы, батареи стеклянных стаканчиков со спиртом и ксилолом, закрытые притертыми крышками. То, что прежде казалось храмом науки, выглядело бедно и обшарпано. В молекулярном корпусе университета давно уже работал электронный микроскоп, стояло современное оборудование, а не то что здешний музей истории науки, раздел — девятнадцатый век. Ничего этого больше не хотелось. Только запах, тяжелый лабораторный запах — спиртовой, формалиновый, с примесью вивария и хлороформа, оставался все-таки волнующим.

Таня вытянула ящик письменного стола, собрала свои личные вещи: деревянный длинный мундштук, пудреницу, перепечатку стихов Мандельштама и неизвестно зачем — тетрадь с прописями... Бросила все в сумку и направилась в кабинет Гансовского. Постучала в старинную, с вставками матового стекла дверь. Вошла. Гансовский, загорелый, свежеекрасенный в коричневое, в белом халате, сидел за огромным письменным столом, читал какой-то журнал.

— Заходите, заходите.

На единственном посетительском стуле высилась до самой спинки гора книг. Он указал Тане на складную деревянную лестницу для библиотек. Книжные шкафы были до самого потолка, с пола не достать. Лестница в сложенном состоянии напоминала высокий стул.

— Садитесь.

Таня взгромоздилась на маленькую верхнюю площадку, это оказалось довольно неудобно. До пола ноги не доставали, она устроила их на нижней ступени. Оранжевая юбка, очень короткая, по последней скандальной моде, задралась почти до трусов, и она заметила, каким мужским цепким взглядом скользнул старый академик по ее голым ногам. Потом Гансовский снял золотые очки, аккуратно сложил их дужка к дужке и посмотрел на Таню весьма сочувственно:

— Ну что же, Татьяна Павловна, мне сказали, что вы собираетесь уходить.

— Да уже ушла, Эдмунд Альгидасович. — Таня была единственной лаборанткой, способной правильно произнести его заковыристое имя, получившееся из польско-литовско-и-говорят-еврейской смеси.

— А вы не поторопились, Татьяна Павловна?

Он вышел из-за стола, и Танино положение верхом на лестнице стало еще глупее. Профессор стоял вплотную, и она оказалась зажатой в углу, между шкафом и стулом, заваленным книгами. Таня развернула ноги, чтобы не касаться его бедра.

— Вы так хорошо начали свою работу. Признаться, я уже решил взять вас к себе, дать тему. Это очень важно, когда человек рано начинает научную карьеру. В будущем году вы могли бы уже первую научную статью опубликовать...

Таня не очень хорошо понимала, что он говорит, поскольку ее отвлекло прикосновение прохладного халата к ее голому бедру и неприятное шевеление его руки в кармане, заметное через ткань халата.



— Вы освоили методику экспериментальной гидроцефалии, — продолжал он, — Марлена Сергеевна мне говорила, что может поручить вам любой этап работы. Не знаю, не знаю, зачем вам уходить.

Теперь одной рукой он придерживал боковину лестницы, вторая случайно, но совершенно уверенно лежала на ее бедре. Таня сделала вид, что этого не замечает, — как и полагается воспитанному человеку не замечать промахов в поведении собеседника.

— У вас еще три года учебы, за это время вы не только курсовую и диплом сделаете, успеете и половину диссертации подготовить.

Он смотрел ей в глаза — лицо его было совершенно деловым и даже строгим. Он снял руку с ее бедра, засунул между пуговицами халата, пониже пояса, поворошил там. Краем глаза Таня следила за его манипуляциями.

— Существует такое вещество, ауксин. — Он взял ее тяжелой рукой за ее тесно сдвинутые колени и резко провел между ног.

Таня была почти в обмороке. Не оттого, что рука твердо и точно проникла прямо под трусы и подушечки его коротко остриженных пальцев прижались к такому месту, которого, кроме мыла, никакой посторонний предмет отродясь не касался, а оттого, что прямо перед ней стояло его строгое и деловое лицо и властный голос гипнотизировал ее многозначительным ауксином, который не имел никакого отношения к параллельно происходящему действию:

— Этот ростовой гормон прекрасно стимулирует рост капилляров, и введение, скажем, пяти миллилитров повышает количество растущих капилляров на сто — сто двадцать процентов...

Он расстегнул нижнюю пуговицу халата, и Таня, совершенно одереvenевшая, не способная и головы повернуть, увидела боковым зрением в его веснушчатой широкой руке смугло-розовую луковицу с продольным разрезом посередине. Он уже стоял между ее разведенными коленями, одной рукой готовил вход, а второй подвигал Таню к себе, нажимая ей на поясницу... Столбняк Танин кончился в тот момент, когда он перестал говорить об ауксине, а сказал так же властно и делово:

— Колени разведи пошире и плечами подайся назад.

Таня толкнула его в грудь руками.

— А ну сидеть! — рявкнул он, но она уже вскочила с лесенки, рванулась к двери и дернула за круглую, точь-в-точь как его луковица, ручку. Дверь не открылась.

«Сволочь, запер», — подумала Таня и саданула кулаком со всей силой по стеклянной вставке. Стекло со звоном вылетело, но дверь не открылась.

— Дура, — сказал он спокойно, — ручку поверни.

Он запахнул халат, под которым мелькнула голая грудь и академическая луковица в расстегнутой прорезе светлых брюк...

Таня вылетела пробкой из института и понеслась прочь от храма науки, в котором все было мерзость, грязь, мразь...

Яуза была утешительна, особенно если не смотреть на береговые фабричные застройки, которые чуть ли не с петровских времен отбирали у реки воду и выливали взамен помой... гончары, кожевенники, мануфактурщики... А река все оставалась невинной, живой...

Таня взошла на горбатый мостик, нависающий над рекой, загляделась в текущую грустно-зеленую воду.

Порезанная рука болела, но кровь уже остановилась, хотя бинты успели промокнуть. Милая тетка попала в аптеку. Ни слова не говоря взяла стерильные подушечки, бинт, наложила грамотную повязку. Средний и безымянный палец склеила пластырем. Самый сильный порез был как раз между пальцами, на том самом месте, где у мамы шрам от рыболовного крючка, — не забавно ли?

Денег у Тани не было: сумку оставила в кабинете Гансовского, висит на спинке стула, заваленного медицинскими книгами, которые Таня никогда в жизни не будет читать. Хорошо бы сказать отцу, чтобы он сумочку ее у Гансовского забрал. Так и сказать: хотел меня трахнуть, но я убежала. И спросить, что он думает насчет приличий и всей бодяги, которую так уважает. Впрочем, говорить ему ничего нельзя — хотя он человек воспитанный по части вилок и ножей, «спасибо» и «до свиданья», но если рассказать ему об этой истории, он Гансовского просто убьет. Нет, не убьет. Изобьет. Изметелит. И Таня засмеялась, представив себе, как отец, загнав Гансовского в угол кабинета, где Таня сидела на дурацкой лесенке, обрушивает на его крашеную башку увесистые кулаки...

— Бедная Лиза! — сказала она вслух, заглянув в последний раз в язускую воду. — Топиться не будем.

Ее уже перестало колотить от возбуждения и захотелось немедленно кому-нибудь рассказать об этом приключении. Но рассказать было некому. Подруг, известное дело, было множество, но самая задушевная, одноклассница, сразу после школы вышла замуж, скоро родила и теперь сидела на даче с ребенком. Дачного адреса Таня не знала. Две наиболее симпатичные сокурсницы укатили в отпуск на Кавказ. Тома для этого случая полностью отпадала. Да и не была она Тани подругой. Обсуждать это приключение с молодыми людьми, во множестве около Тани крутившимися, было и неинтересно, и невозможно. К тому же, несмотря на всю мерзость происшествия, почему-то оно дико волновало. Да, луковица эта произвела впечатление...

«Кажется, я задержалась... Гнусный старик, но почему-то пробрало... Пора... Чепуха какая-то — никто не нравится, никого не люблю... Подружки все уже при любовниках... Хорошо бы посоветоваться с взрослой умной женщиной — но таких в окружении нет...»

Она и не заметила, как свернула с набережной на благообразную, совершенно не московскую по виду улицу, обсаженную старыми, регулярно расставленными липами. Какие-то госпитали, желтые старинные и полустаринные строения, не то казармы, не то общежития. Матросская Тишина называлась улица. Это было Лефортово, и попала сюда Таня впервые.

С утра она ничего не ела, но домой не хотелось. Все деньги остались в сумке. «Когда денег нет совсем, гораздо лучше, чем когда их мало», — озарило вдруг ее. Странное это было озарение — что-что, а деньги всегда у нее были. Была собственная зарплата, и была жестяная коробка в кухне, из которой брали кому сколько надо, и Василиса постоянно удивлялась, как быстро расходятся деньги, и пыталась навести порядок в расходах... У Тани впервые в жизни не было ни копейки, и ей было от этого забавно и весело. Она прекрасно знала, как добраться до дому зайцем, на троллейбусах и трамваях, или просто взять такси, а дома расплатиться... Ключей, впрочем, тоже не было — в сумке остались. Всем была хороша новая юбка — итальянская, цвета рыжего апельсина, с кнопками-клепками, но без карманов. Никогда ничего не буду покупать без карманов... И быть голодной сегодня ей тоже нравилось — легкость и свобода... Вот-вот, что-то важное наконец пришло в голову — про свободу. С чего, например, она решила, что хочет заниматься биологией? В детстве рисовала — хвалили, потом музыкой занималась — хвалили. Книжки отцовские стала читать — опять хвалили. А ей только того и надо было — чтоб хвалили... И старалась, училась, сидела над тетрадями — чтоб отец похвалил. Купилась на похвалу — хорошая девочка... И хватит. И достаточно. Теперь мои поступки не будут зависеть от того, нравятся они отцу, маме, Василисе, кому бы то ни было. Только мне. Я — единственный себе судья. Свобода от чужого мнения. Интересно спросить у отца, значит ли для него что-нибудь мнение Гансовского? Конечно, значит. Они все хотят друг другу нравиться

ся. То есть не все — всем. А свои круги. Закрытые общества... Крысоубийцы. Послушные. Мы, интеллигентные люди... Пошлость какая... Не хочу...

Ей в голову не приходило, что вся студенческая молодежь в ту пору, в шестидесятых, в Париже и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Риме думала приблизительно так же. Но она-то дошла до этого своим умом, без подсказок и шпаргалок. Самостоятельно...

За высокой кладбищенской оградой стояли рослые деревья, а под ними — рослые памятники. Она остановилась у ворот — Введенское кладбище. Точно. Это было бывшее Немецкое, где все Кукоцкие похоронены, догадалась Таня и вошла.

Аллея пересекала кладбище поперек, от одних ворот до других, а вокруг простирались могилы и памятники. Старинные, с немецкими готическими надписями. Часовни, мраморные ангелы, гипсовые вазоны, кресты и звезды, звезды и кресты... Как это ни удивительно, несмотря на свои двадцать, Таня никогда не бывала на кладбище. Да и на похоронах-то она не была ни разу. В крематории оказалась раза два, но даже толком не поняла, что там происходит. А здесь было красиво и печально — запущенность была к лицу этому месту. Она прошла по старой части кладбища, разглядывая надписи на памятниках: где-то здесь должны быть и Кукоцкие. Но они не встретились.

Снова оказалась у ограды, теперь с другой стороны кладбища. Двое мужиков сидели у только что вырытой могилы. С одной стороны высилась куча земли, с другой — в мелких кусточках, принадлежащих другому участку, сидели двое рабочих. Перед ними на газете лежала немудрящая еда — круглый обдирный хлеб, бледная колбаса, пожелтевший зеленый лук. Бутылка водки прислонена к двум кирпичам — для устойчивости.

Один мужик был пожилой, в кепке, второй, помоложе, лысый, в шапке из газетного листа. На Таню они и не взглянули. Свобода, сегодня ее осенившая, велела ей просить у них хлеба.

Пожилой, едва глянув, буркнул:

— Бери.

Тот, что помоложе, засуетился:

— А отработать?

— Да руку порезала. — Таня доверчиво подняла вверх ладонь с потемневшей от крови сбоку и снизу повязкой.

— Так не руками же, — игриво отозвался парень.

— Бери и проваливай. — Пожилой смотрел недовольным глазом и на Таню, и на своего напарника, и даже на початую бутылку.

Но младший не унимался:

— Может, тебе налить?

— Нет, спасибо. — Она взяла большой ломоть хлеба и маленький колбасы, надкусила и, жуя, сказала:

— Дед у меня тут похоронен, Кукоцкий фамилия. Могилу не могу найти.

— Сходи в контору, там скажут, — более уважительно, чем прежде, отозвался пожилой: девка хоть и проститутка, но все ж свой брат клиент...

Поблагодарив, Таня ушла, оставив их втроем с бутылкой.

— Удивляюсь на тебя, Сенька, — задумчиво сказал пожилой, — вроде ты и женатый, и баба хорошая, и пацан. Ну на что тебе такая жердина? Тьфу ты!

Сенька заржал:

— Ну, дядь Федь, а чего плохого-то? Я бы тут на могилке ее и выдрал. Поди плохо?

Таня прошла мимо конторы, тропинка вывела ее к другим воротам, на дрянненькую улицу, к иссохшему пруду или котловану, над которым возвышался разляпистый Дом некоторой культуры, к трамвайным рельсам. Трамвай — хороший вид транспорта, для безбилетников годится. Уже вечерело, но со временем была непонятница — слишком уж длинный день выдался. Посмотрела на часы, отцовский подарок, они показывали поло-

вину третьего. То есть стояли. Подъехал совершенно пустой трамвай, пятидесятый номер. Куда идет, она не успела посмотреть. Скорее всего, к какому-нибудь метро. Трамвай долго вез ее одну, потом вошла еще пожилая пара. Переехали через Язу. Конечная оказалась Бауманское метро. Было около десяти, но домой идти не хотелось... Таня обошла большой храм и оказалась на Ольховке. Дворы на этой почти сплошь одноэтажной улице были хорошие, земляные, с палисадниками и скамейками, детскими песочницами и качелями. Новых домов вообще не было, старье, мешанская застройка. Один только был пятиэтажный, начала века, «модерн». Таня почувствовала себя усталой, зашла в первый попавшийся двор, а в нем — дощатая беседка, как подарок. Внутри стоял грубый стол и две лавки, врытые в землю. Доминошное хозяйство.

Таня легла на узкую лавку, повернула голову так, чтобы видеть кусок неба с густыми звездами. Откуда-то неслась радиомызыка вперемешку со звуками пролетарской ссоры.

«Я очень, очень свободный человек», — сказала себе Таня, залюбовалась этой фразой и незаметно уснула. Проснулась от холода. Неизвестно, сколько проспала. Кажется, совсем недолго. За это время вышла луна, залила все своим искусственным светом. Домой все еще не хотелось, но, пожалуй, пора... На завалинке совсем уж деревенского дома в глубине двора сидел паренек. Он сосредоточенно колдовал над своим запястьем.

Таня подошла поближе. Он услышал ее шаги, обернулся и замер, зажав правой рукой запястье левой.

— Пошла отсюда! — грубо сказал мальчишка.

Но Таня стояла не двигаясь. Половина бритвенного лезвия поблескивала в сильном лунном свете. Она сметливо сказала ему:

— Так ничего не получится...

— Почему это? — Он поднял голову, и она увидела бледное, как будто заплаканное лицо и свежий синяк, набухающий на скуле.

— Надо в ванной, в теплой воде... — сочувственно сказала она. — Так не получится.

— Откуда ты знаешь? — хмуро поинтересовался парень.

— Я по венам специалист. Два года с венами занималась. Немного потечет и спадется. Лучше с крыши — шарах, и конец!

— Да мне этого не надо, — усмехнулся парень. — Мне машина нужна. У меня, понимаешь, машины нет. А если разрез пошире, ампулу прокапать можно... Если ты такой специалист, может, у тебя и машина при себе?

Теперь его не понимала Таня.

— Какая машина?

— Ну, шприц, — объяснил он. — Дура.

— А, шприц. Дома есть. — Вот чудеса, всю жизнь прожила как умная, а сегодня весь день в дурах...

— А далеко живешь? — зажегся интересом парень.

— Далеко.

— А чего ты здесь вообще делаешь?

— Гуляю. Я люблю в это время гулять. — Она села с ним рядом и заметила, что ему больше лет, чем ей сначала показалось. — Пошли погуляем. Я в окна люблю смотреть...

Она потянула его за рукав клетчатой рубашки, он послушался. Завернул лезвие в бумажку, сунул в карман ковбойки и оторопело пошел за ней. Она вывела его на улицу, потом свернула уверенно в проулок между двумя домами, в еле видный проход — на освещенное окно. Грязная, в побелке, лампочка голо болталась на шнуре. Стул стоял на столе, торчали козлы. В комнате шел ремонт. Видно, забыли погасить свет. Окно было открыто. Этаж первый.

— Влезем, — предложила Таня.

— Нет, я уже свой ларек взял. Мне хватит, — шмыгнул паренек. — Может, к тебе пойдём?

— Да я ключи потеряла... И вообще... — Таня растерялась. Все было немного наперекосяк.

— Ладно, пошли, — великодушно предложил парень, и они пошли блуждать дальше.

Они шли обнявшись, потом в каком-то дворе поцеловались, потом еще немного побродили, а потом оказалось, что они стоят в просторном парадном, тесно обнявшись, прижимаясь друг к другу ногами, и впалыми животами, и руками, липкими от той малости крови, которая успела вылиться через маленький разрез поперек вены.

Они поднялись на последний этаж того самого дома «модерн», который Таня заметила в начале своего ольховского путешествия. Свет горел на четвертом, дальше была загадочная тьма. Там, пролетом выше последнего этажа, возле запертого на висячий замок выхода на чердак, было небольшое полукруглое окно с плавными переплетами, от которого шел загадочный, расчерченный изогнутыми тенями свет. Они еще немного поцеловались, стоя у широкого подоконника. А потом она села на подоконник и проделала все то, чего хотел от нее Гансовский.

«А лесенку-то Гансовский специально для этого дела заказывал», — догадалась Таня, когда мальчишка потянул ее на себя.

Без всякого волнения и вдохновения она рассталась с бессмысленной девственностью, не придавая этому ровно никакого значения. Мальчик принял дар неожиданный с полным недоумением:

— Ты что, целка? Первая у меня. А у меня знаешь сколько баб было?

Таня засмеялась дворовому слову, покачала свою перевязанную руку и сказала:

— Какой у меня сегодня день кровавый... Да и у тебя...

Потом он сел с ней рядом на подоконник. Подоконник хоть и был широкий, но слишком короток, чтобы лечь.

Спустя десять минут он рассказывал ей о какой-то Наташке, которая вертела им два года, как хотела, потому что все бабы суки; что у него отсрочка; что в армию он пойдет в осенний набор, в пограничники; и еще какую-то совсем уж галиматью про настоящих мужчин... Тане это было совершенно неинтересно. Она прыгнула с подоконника, помахала дурачку рукой:

— Я пошла!

И понеслась вниз по лестнице, отчетливо стуча пятками плоских туфель.

Пока он медленно соображал, что же произошло, она уже спустилась на два этажа.

— Ты куда? — крикнул он ей вслед.

— Домой! — отозвалась она, не сбавляя хода.

— погоди! погоди! — закричал он, помчавшись вдогонку.

Но ее и след простыл.

### 3

Павел Алексеевич скорее чувствовал, чем знал — звезды звездами, но было нечто руководящее человеческой жизнью вне самого человека. Более всего убеждали его в этом «Авраамовы детки», вызванные к существованию именно его, Павла Алексеевича, догадкой о связи космического времени и сокровенной клетки, ответственной за производство потомства... Он допускал, что и на другие моменты человеческой жизни могут влиять космические часы, что взрывы творческой энергии, как и спады, регулируются этим механизмом. Детерминизм, столь очевидный в процессе развития, скажем, зародыша из оплодотворенной яйцеклетки, его вполне устраивал, более того, он рассматривал его как капитальный закон жизни, но

распространить это строго предопределенное движение за пределы физического хода онтогенеза он не мог. Свободолюбивый его дух протестовал. Однако человек складывался не из одних только более или менее известных физиологических процессов, вмешивались многие другие, совершенно хаотические факторы, и в результате из одинаковых трехкилограммовых сосунков развивались столь разнообразно устроенные в духовном отношении люди... Неужели на каждого из бесчисленных миллионов был заранее составлен проект? Или судьба — песчинка на морском берегу? По какому неизвестному закону из трех русских солдат во время войны двое попадали под пули, из тех, что остались, часть погибла в лагерях, часть спилась... И оставался в живых один из десяти... Этот механизм кто регулировал?

Про себя Павел Алексеевич знал, что судьба его пошла под горку. Он все еще работал, преподавал и оперировал, но исчезло из его жизни острое наслаждение пребывающей минутой, чувство слияния с временем, в котором он существовал долгие годы. И домашняя жизнь сохраняла лишь общую формулу, пустой панцирь былого семейного счастья... Не того, наступившего их в середине войны, в Сибири, длившегося целое десятилетие, до самого пятьдесят третьего года, которое, как затонувший корабль с награбленным золотом, погрузилось на дно памяти, а последовавшего за ним другого, монашеского и немногословного, без прикосновений, почти на одних только понимающих взглядах построенного союза... С Еленой что-то происходило: глаза покрылись тонкой пленкой льда и если что и выражали, то озабоченное и напряженное недоумение, какое бывает у совсем маленьких, еще не умеющих говорить детей перед тем, как они начинают плакать по необъяснимой причине.

Разваливались отношения с Таней. Она, как и прежде, мало бывала дома, но раньше ее отсутствие означало накопительную деятельность, питательное обучение, а теперь, когда она все бросила, Павел Алексеевич недоумевал, какими же занятиями наполняет она свои дневные, вечерние и нередко ночные часы, которые проводит вне дома. Он огорчался пустой, как подозревал, трате времени, главным образом из-за того, что ценил особое качество индивидуального времени каждой юности, когда смертельный автоматизм еще не установился и каждая молодая минута, мускулистая и объемная, эквивалентна и познанию, и опыту в их чистом виде... В отличие от его собственного, старческого времени, скользящего, невесомого и все менее ценного...

То, что прежде было горячим содержанием жизни, — прозрачные, как аквариумные рыбки гуппи, роженицы с их патологиями и осложнениями, преподавание, в котором Павел Алексеевич умел передавать своим ученикам, помимо технических приемов, ту маленькую неназываемую словами штучку, которая составляет сердцевину любой профессии, — становилось все более автоматическим и теряло ценность если не для окружающих, то для самого Павла Алексеевича.

«Удельный вес времени к старости уменьшается», — ставил диагноз Павел Алексеевич.

Усталый, возвращался он с работы, первым делом направлялся в кабинет, выпивал там три четверти стакана водки, после чего выходил к ужину. Появлялась из своей комнаты и ожидающая его Елена. Садилась за накрытый Василисой стол, укладывала вдоль столовых приборов худые кисти рук с увеличенными суставами и сидела опустив голову, пока Василиса читала положенную молитву — про себя, от себя и за всех присутствующих, повторяя ее столько раз, сколько народу сидело за столом. Павел Алексеевич, не знавший об этом ее обыкновении, тоже медлил, ожидая, пока водочная волна разоидется по телу, и, почувствовав тепло, говорил привычно: «Приятного аппетита» — и принимался за Василисин жидкий суп. Таня обыкновенно дома не ужинала. Тома, поступив учиться, четыре раза в неделю приходила после одиннадцати, а если и ужинала с семьей,

то тоже больше помалкивала. Говорили слова самые незначительные и лишь необходимые: передай соль, спасибо, очень вкусно...

Потом Павел Алексеевич уходил к себе, допивал в течение вечера бутылку, оставляя на два пальца от дна утреннюю дозу. Это была теперь его форма борьбы со временем — печальная попытка его уничтожения.

А вот Илья Иосифович, напротив, вступил в самую счастливую полосу. Шестидесят третий год оказался переломным: ему дали лабораторию, существующую на правах отдельного научно-исследовательского института, в лаборатории собралось несколько преданных науке до последних потрохов молодых людей; за монографию, посвященную природе гениальности, ему была присуждена без защиты степень доктора биологических наук. Много лет спустя сам Илья Иосифович признавал, что те две диссертации, которые он не смог защитить из-за очередных арестов, гораздо более соответствовали докторскому званию. В шестидесят третьем он еще не пересмотрел своих малогениальных достижений в области исследования гениальности. Генетика была разрешена, с Лысенко покончено, и те же самые люди, которые льстиво жали руки бывшему фавориту, фальшиво улыбались теперь Гольдбергу, который нежданно-негаданно вышел в герои.

Главное же событие в жизни Ильи Иосифовича, долго укрываемое от всех, называлось Валентиной Второй. Аспирантка из Новосибирска, Валентина Моисеевна Грызкина, девушка спортивного типа, полнейшая противоположность покойной Валентине, влюбилась в своего научного руководителя с целеустремленностью нападающей баскетболистки. Она и впрямь была лучшим бомбардиром университетской женской команды по баскетболу, и ее спортивный напор подкрепляла внутренняя твердость староверов — она происходила из раскольничьей семьи. Один из ее предков сопровождал протопопа Аввакума в знаменитом его путешествии, с тех пор семья осела в Сибири и более двухсот лет, принимая всяческие гонения, упорствовала в своей вере и производила сильное и многочисленное потомство. И вот таким людям, закаленным в вековой войне, Валентина объявила классе в шестом, что человек произошел от обезьяны. Для начала родители вздули ее со всей жестокостью и запретили ходить в школу. Но девочка оказалась достойна своих родителей: нашла коса на камень. Вера на веру... После двух лет сокрушительной борьбы за достоинство человека, произошедшего от обезьяны, Валентина ушла из дому, унося на вполне уже развернувшихся плечах проклятие деда. Далее последовал интернат, вечерняя школа и университет. Как, на какие шиши, без какой-либо материальной поддержки, на одной грошовой стипендии, закончила Валентина университет, останется за рамками повествования. На последнем курсе она прочитала в журнале «Генетика» несколько статей Гольдберга и выбрала его в учителя. Приехала в Москву с направлением в аспирантуру — красный диплом все-таки! — разыскала Илью Иосифовича и сдала экзамены.

К чести Гольдберга, он долго не замечал любовного напряжения, исходящего от новой аспирантки. Однако отметил ее дисциплинированность, сметливость и хорошую рабочую хватку: ловко орудовала с тяжеленными ящиками, полными пробирок, быстро научилась всем приемам работы с мухами, основным объектом лабораторных исследований.

Главное препятствие — о чем Валентина и не догадывалась — состояло в том, что Илья Иосифович оценивал женскую привлекательность по одному-единственному показателю: насколько рассматриваемый предмет приближался к образу его покойной жены. При этом надо заметить, что при жизни Валентина Первая вовсе не казалась ему эталоном, но после ее смерти, по мере течения лет, она становилась в его памяти все более идеальной.

Широкоплечая и сухая аспирантка, с двумя острыми шишечками под свитером вместо полагающихся на этом просторном месте обширных мягких холмов, в мужских ботинках и синем рабочем халате, никак не располагала Илью Иосифовича к мыслям о своем застарелом одиночестве, о холостяцкой неустроенности жизни и — менее всего — о молодом празднестве влюбленности или о сексуальном пиршестве...

Валентина терпела, терпела — и открылась в своем чувстве. Илья Иосифович был смущен и польщен, но с онегинским лукавством пробормотал нечто соответствующее классическому объяснению на фоне девичьих хоров: «Когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел...»

После чего оба задумались. Валентина — о переводе обратно в Новосибирск, Илья Иосифович — о милой девице, свалившейся как сибирский снег на его лысую голову... И чем больше он думал, тем больше она ему нравилась. Возникли первые симптомы любовного недомогания, одновременно с которыми явилась и возбуждающая мысль о непристойности отношений: а) с аспиранткой вообще и б) с аспиранткой, на сорок почти лет его моложе...

Гансовский бы, конечно, только ухмыльнулся и загнал бы нахапку в книжный уголок, на специально изготовленный станок... Но зато Гансовскому никогда не дано было испытать и тени того счастья, которое досталось после полугода полулюбовного волнения Гольдбергу, пока, выехав на очередную биологическую школу в полусекретный город Обнинск, после долгой лыжной прогулки, не осталась с ним Валентина в холодном гостиничном номере... Стоило Валентине стать на беговые лыжи, как неуклюжесть ее куда-то подевалась, и она показалась ему изумительной молнией в темно-синем олимпийском костюме и натянутой до самых сияющих глаз лыжной шапочке клином к переносице. По лыжам, как и по баскетболу, у нее был разряд... И радостному этому изумлению суждена была долгая жизнь, первые несколько лет в большой, плохо скрываемой тайне...

Павел Алексеевич, если б знал, мог бы порассуждать о гормональной природе творческого вдохновения. Он виделся с другом не очень часто, но и не реже раза в месяц. Обычно Гольдберг приезжал на Новослободскую часов в десять вечера, Павел Алексеевич доставал бутылку водки, и они до поздней ночи вели чисто мужской разговор. Не о войне, лошадях и питейных подвигах — о генетике популяций, о генофонде, о дрейфе генов и о тех проблемах, которые Илья Иосифович через некоторое время назовет прежде неизвестным словом «социогенетика»... Хотя Гольдберг и любил отвлеченные, философско-биологические разговоры, он умел грамотно и остроумно построить эксперимент, наиболее экономным образом вырвать прямой ответ на точно поставленный вопрос. Работали его ученики результативно, на самом современном уровне, и многие статьи печатали в международных журналах. Известное дело — русские всегда хорошо шли в тех областях науки, где все можно сделать в уме, на пальцах, без серьезного финансирования.

При всех разногласиях, постоянно вылезавших, как шилья, из бездонного мешка их многолетних разговоров, в одном Павел Алексеевич и Илья Иосифович безусловно совпадали — в ясном ощущении иерархичности знания, где в самом низу, но и в самой основе лежала конкретика: вес, форма, цвет, количество хромосом, или ножек, или жилок на крыле. В той, древней и описательной, науке не допускалась приближительность, и ответ обязан быть недвусмысленным — да или нет... Спекуляции теоретического характера — о космических часах или об эволюции биологического вида — должны были опираться именно на это надежное, измеренное сантиметром, градусником и ареометром знание... Так, гениальность, на основании вычислений и умозрений Гольдберга, определялась уровнем мочевого кислоты в крови. Павел Алексеевич об этом и слышать не хотел...



Новые идеи Гольдберга казались Павлу Алексеевичу интересными, но совершенно необоснованными. Гольдберг утверждал, что построение модели процесса во многих случаях тоже является доказательством.

Последняя идея Гольдберга, утратившего после трех лагерных сроков врожденное интеллигентское чувство вины перед народом, обществом и родной советской властью, заключалась в том, что та социогенетическая единица, которая прежде, до революции, называлась «русским народом», за пятьдесят почти лет советской власти перестала существовать как реальность, а нынешнее население Советского Союза, носящее гордое название «советского народа», и в самом деле является новой социогенетической единицей, глубоко отличающейся от исходной по множеству параметров — физических, психофизических и нравственных...

— Хорошо, Илья, я готов согласиться, что физический облик действительно сильно изменился: голод, войны, огромные перемещения народов, смешанные браки... В конце концов, можно антропометрическое обследование провести. Но как ты можешь измерить нравственные качества? Нет, глупость какая-то. Прости, непрофессионально...

— Уверю тебя, есть способы. Они косвенные пока, но есть, — защищал свою теорию Илья Иосифович. — Предположим, геном человека состоит из ста тысяч генов, это правдоподобная цифра. Они распределены в двадцати трех парах хромосом, не так ли? И хотя мы знаем многое о различных механизмах внутривитрихромосомных обменов, у нас все же есть основания делить все гены на двадцать три группы, по принадлежности к хромосоме. Ну, разумеется, сегодня это невозможно, но через сто лет, — уверяю, это будет сделано. И вот, представь себе, ген, ответственный, например, за голубую окраску радужной оболочки, находится непосредственно рядом с геном, обуславливающим трусость или мужество! Есть много шансов, что они будут и наследоваться совместно.

— Один ген — один признак, кажется? — возразил Павел Алексеевич. — Сомнительным мне кажется, что столь сильное и разнообразное качество, как мужество, определяется одним геном.

— Да какая разница, хоть десять! Не в этом дело! Просто цвет глаз может оказаться сцепленным с другим геном. Грубо говоря: у голубоглазого больше шансов оказаться мужественным. — Илья Иосифович поднял вверх указательный палец.

— Хорошая мысль, Илья, — хмыкнул Павел Алексеевич. — Голубоглазый блондин мужествен, а черноглазый брюнет трус. А если у черноглазого еще и нос крючком, то он уж точно Иуда. Генетически...

— Ты типичный провокатор, Паша! — завопил Илья Иосифович. — Я совершенно иное имел в виду. Вот послушай! Из России в восемнадцатом году ушла Белая армия, около трехсот тысяч молодых здоровых мужчин репродуктивного возраста... Дворянская, отборная часть общества: наиболее образованные, наиболее честные, не желающие идти на компромисс с большевистской властью!

— Куда загнул! Илюша, этого тебе на четвертый срок хватит!

— Не перебивай! — отмахнулся Илья Иосифович. — Двадцать второй год — высылка профессуры. Не так много, всего человек шестьсот, но опять — отборные! Лучшие из лучших! И с семьями! Интеллектуальный потенциал. Дальше: раскулачивание уносит миллионы крестьян — тоже лучших, самых работающих. И их детей. И их неродившихся детей тоже. Люди уходят и уносят с собой гены. Изымают из генофонда. Репрессии партийные выбивают кого? Имеющих смелость высказать собственное мнение, возражать, отстаивать свою точку зрения! То есть — честных! Наиболее честных! Священники истреблялись планомерно на протяжении всего периода... Носители нравственных ценностей, учителя и просветители...

— Илья! Но одновременно с этим — наиболее консервативные люди, не так ли?

— Не стану отрицать. Но обращаю твое внимание, что в современных российских условиях консервативный, то есть традиционный, способ мышления не представляет такой опасности, как революционный, — с высокомерной улыбкой заметил Гольдберг. — Пойдем дальше: Вторая мировая. Броня, то есть освобождение от армейской службы, предоставляется людям старшего возраста и больным. Именно они получают дополнительный шанс на выживание. Тюрьмы и лагеря принимают большую часть мужской популяции, лишают их шанса оставить потомство. Деформацию ощущаешь? И к этому добавим знаменитый русский алкоголизм. Но это еще не все. Есть еще один чрезвычайно важный момент. Вот мы постоянно обсуждаем: является ли эволюция направленным процессом, имеет ли она цели в самой себе? В данном отрезке, и очень коротком с точки зрения эволюции, мы можем наблюдать действие исключительно эффективно направленной эволюции. Поскольку эволюция вида направлена на выживание, мы вправе поставить вопрос так: какие качества давали индивиду большие шансы на выживание? Ум? Талант? Честь? Чувство собственного достоинства? Моральная твердость? Нет! Все эти качества выживанию препятствовали. Носители этих качеств либо покинули страну, либо планомерно уничтожались. А какие качества выживанию способствовали? Осторожность. Скрытность. Способность к лицемерию. Моральная гибкость. Отсутствие чувства собственного достоинства. Вообще любое яркое качество делало человека заметным и сразу ставило его под удар. Серый, средний, троечник, так сказать, оказывался в преимущественном положении. Возьми гауссовское распределение. Из него вырезается центральная часть. Наиболее сильные носители любого признака. А теперь, учитывая все эти факторы, можно строить карту генофонда имеющего место быть советского народа. Ну, что скажешь?

— Принимая во внимание общую атмосферу — от пяти до семи, — прокомментировал Павел Алексеевич.

Илья Иосифович захохотал:

— Так я же и говорю: народ стал поплоче — и труба пониже, и дым пожиже... Раньше от десяти до пятнадцати оценили бы...

Павлу Алексеевичу всегда нравилась острота и бесстрашие мысли его друга, хотя очень часто он внутренне не соглашался с результатами этой напряженной умственной работы. И теперь жестокая картина вырождения народа, которую нарисовал Илья Иосифович, требовала проверки. Павел Алексеевич прекрасно помнил среду общения своего отца в последние предреволюционные годы. В некотором смысле Илья прав: медики высшего ранга, университетские профессора, ведущие клиницисты того времени были людьми европейского образования, с широкими интересами, выходящими за рамки профессиональных. Среди людей, посещавших их дом, были и военные, и юристы, и писатели... Надо отдать должное: людей такого умственного уровня Павел Алексеевич давно уже не встречал... Но ведь это не значило, что их не было... Они могли существовать — потаенно, себя не провозглашая... «Нет, нет, тогда ерунда получается, — сам себя оборвал Павел Алексеевич. — Это как раз будет в поддержку Илюшиной идеи: не провозглашать, засесть в углу — это и означает отказ от собственной личности...» Серьезное возражение заключается в чем-то другом. Конечно же в детях. В новорожденных детях. Каждый из них прекрасен и непостижим, как запечатанная книга. Все-таки идеи Гольдберга слишком механистичны. Выходит, если из этих ста тысяч генов-букв вычесть десятка два, то новые дети, сыновья и дочери стукачей, убийц, воров и клятвопреступников, несущие исключительно качества родителей, населят мир... Чепуха! Каждый младенец содержит в себе весь огромный потенциал, он представитель всего рода человеческого. В конце концов, сам же Гольдберг целую книгу написал о гениальности и мог бы заметить, что гений, редкость и чудо, может родиться у рыбака, часовщика и даже у монахини..

Великая природа гор и океанов, со всем содержимым, рыбами, птицами, грибами и людьми, стоит выше Илюшиных рассуждений, и мудрость мира превосходит любые, даже самые выдающиеся человеческие открытия. Потеешь, пыхтишь, становишься на цыпочки, напрягаешься до предела — и улавливаешь только отблеск истинного закона. И конечно же эти сто тысяч генов — великая догадка. Но в ней не вся истина, а лишь незначительная часть ее. А полнота ее — в скользком от внутриутробной смазки новорожденном ребенке, и пусть каждый из них содержит все сто тысяч задатков, но не может, не должно быть так, чтобы природа планировала массовое уродство и целый народ превратился бы в экспериментальное стадо...

Нечто в этом духе кратко высказал Павел Алексеевич Гольдбергу, но тот дал сильный отпор:

— Павел, да человек давно вышел из-под законов природы. Давно вышел! Уже сегодня некоторые природные процессы регулируются человеком, а через сто лет, уверяю, научатся менять климат, управлять наследственностью, новые виды энергии откроют... И советского человека перекроют, введут в него утраченные гены. И вообще представь: собралась молодая пара ребенка завести — это уже по твоей части — и заранее планируют, какие родительские качества в наилучшей комбинации им желательны и какой еще ген из отсутствующих у родителей надо ввести в геном будущего ребенка!

— А у ребенка неплохо бы спросить, — морщился Павел Алексеевич.

Илья Иосифович сердился: почему не понимает старый гинеколог простых вещей, не радуется вместе с ним неизбежной красоте будущего мира, исправленного по науке, с точным расчетом, без досадных искривлений прекрасного замысла?

— А мертвым воскресать не прикажешь? — язвил Павел Алексеевич.

— Пока нет, но продолжительность жизни увеличится по меньшей мере вдвое. И люди будут вдвое счастливее, — с преувеличенным задором утверждал Илья Иосифович. Все его открытия и соображения нуждались в споре, без полемики в них чего-то недоставало...

— А может, вдвое несчастней? Нет, нет, такой мир меня не устраивает. Я тогда, как Иван Карамазов, свой билет верну...

Не так уж далеко они ушли друг от друга, отец и дочь, отчим и падчерица.

#### 4

### Вторая тетрадь Елены

Записывать надо каждый день в одно и то же время, и надо Василисе сказать, чтобы она мне напоминала. Когда-то я уже вела такую тетрадь, но не помню, куда она подевалась. Совершенно определенно, что я ее спрятала, но не помню куда. Попыталась искать — нигде нет. Очень хорошо помню, как она выглядела: начатая Танечкой общая школьная тетрадь по какому-то предмету и потом брошенная. Голубого цвета.

Сегодня у меня ясная голова и прямолинейное движение мыслей. Иногда выпадают такие дни, что ни одна мысль не додумывается до конца, теряется. Или слова вылетают, и все в черных дырках. Беда.

Сначала врачи считали, что у меня какое-то заболевание сосудов головного мозга. Потом ПА отвез меня в Институт Бурденко, они меня обследовали на всех приборах. ПА от меня не отходил, и лицо у него было такое растерянное. Он такой хороший, что просто нет слов. Там, в Бурденко, сказали, что сосуды неважнецкие, но ничего страшного с ними не происходит. Оказалось, что на самом деле искали опухоль мозга, и обрадовались, что не нашли. Конечно, ее и не должно было быть. Я совершенно

уверена, что в моей голове ничего лишнего нет, а, напротив того, что-то необходимое отсутствует. Еще осматривал меня психиатр. И тоже не нашел никакого заболевания. Тем не менее я просидела на бюллетене полтора месяца, потом вышла на работу. Все мне очень обрадовались, и Галя, и Анна Аркадьевна. Галя всю мою работу делала и говорит, что ей было трудно. Козлов принес свои чертежи и попросил сделать начисто. Как всегда, обнаружила у него много ошибок. Удивительное дело, такой способный инженер, а пространственное воображение полностью отсутствует.

Лучше всего я чувствую себя за кульманом: ничего не забываю, работа меня, как всегда, утешает.

Танечка стала в последнее время поласковой. Хотя в основном все то же — на работу не устраивается, университет бросила. ПА говорит, чтобы я к ней с этим не приставала. Она, мол, умная девочка, и мы должны ей доверять. Вчера (или позавчера?) Таня зашла вечером, я уже лежала. Поцеловала, села на постель и спросила, помню ли я, как мы с отцом в Тимирязевку ездили на лошадях кататься. Долго вместе вспоминали один такой зимний день. Во всех деталях помню, и как у ПА все время из носу капало — он платок забыл и все просил отвернуться и по-солдатски сморкался с помощью пальцев. С трубным звуком. Какие же мы были тогда счастливые! Я все детали того дня отлично помню: и на какой машине туда ехали, и какая на Тане шуба была, даже вспомнила ту знаменитую породистую черную лошадь, с маленькой головкой. Только имени ее вспомнить не могла, а Таня подсказала: Араб ее звали. Не помню, почему ПА был в тот день такой веселый. Он тогда еще не пил.

А вот это не так. Ошибаюсь: в тот год он как раз и начал пить. Он все беспокоится о моем здоровье, а ему бы о своем подумать. Нельзя в таком возрасте столько пить. Но сказать я ему ничего не могу. Он все равно лучший из всех людей. Несмотря на то что мы десять лет как в разводе. Или не в разводе?

Опять случилось выпадение памяти. На этот раз на работе. В обеденный перерыв я была в буфете. Ела какой-то винегрет и вдруг перестала понимать, что передо мной такое — какие-то красные штучки, и непонятно, что с ними делать... В себя пришла, как в прошлый раз, уже дома, в постели, на другой день. Потом приехала Анна Аркадьевна и рассказала, что со мной произошло. Я просидела в буфете перед своим винегретом до закрытия, потом буфетчица сказала, что пора закрывать, а я ей ничего не ответила. Она испугалась даже. Ну и так далее. Анна Аркадьевна не стала вызывать «скорую», а взяла такси и меня домой отвезла. Говорит, что я была очень послушная, но на вопросы не отвечала.

ПА уволил меня с работы. Очень ласково со мной разговаривает, но неестественно, как с малым ребенком. Я пытаюсь ему объяснить, что я совершенно здорова, что выпадают какие-то куски, но в остальном все то же. Я не сумасшедшая, я прекрасно понимаю, что со мной происходит. Действительно, я не могу ходить на работу в таком состоянии, но я хотела бы получать из института надомную работу. У нас есть ставка для надомников. Иначе мне будет скучно. Не станем же мы один суп вдвоем с Василисой варить. Так и договорились.

Томочка вчера сказала, что собирается поступать в техникум. Молодец девочка. Она тоже очень ласкова со мной.

Утром пила чай, съела бутерброд с сыром, а потом забыла и еще раз пришла на кухню завтракать. Василиса меня отругала, что я ей мешаю обед готовить. Я сказала, что хотела позавтракать. Она сказала, что я уже завтракала. Какой кошмар! Так я превращусь в старушку, которая не отходит от холодильника, как безумная свекровь Анны Аркадьевны. Придется записывать, что я уже сделала, а что нет.

Позавтракала. Пообедала. Работала после обеда. Приходила врачаха из поликлиники. В комнате холодно.

Позавтракала (или вчера?). Приходил ПА, ругал, что я таблеток не принимаю. Теперь Василиса будет мне давать таблетки три раза в день, поскольку я забываю. Это очень смешно. Менее подходящего человека для этой цели трудно найти. Сегодня разбудила меня в шесть утра — пить лекарство. Голубушка, да зачем же так рано? — я ее спрашиваю. А я, говорит, потом за делами забуду! Смех и грех! Не семья, а сумасшедший дом. Бедный ПА, что с ним-то будет, если я совсем память потеряю.

Завтракала. Не могла вспомнить, умывалась ли. Пошла умываться, а мое полотенце мокрое. Значит, уже умывалась. Был обед — овощной суп и курица на второе. А вчера тоже была курица? И позавчера?

Привезли кульман с работы. Он занимает полкомнаты. Я спросила, нельзя ли его переставить. Оказалось, что привезли его еще на прошлой неделе. Я удивилась. Самое ужасное я им не сказала — оказывается, я совершенно не помню, что уже работала, что-то чертила. Спросить неудобно. Я очень стараюсь правильно себя вести. Из-за того, что я боюсь постоянно обнаружить мои провалы в памяти, я почти перестала с домашними разговаривать, стараюсь отвечать лаконично. Больше смотрю телевизор. Читать тяжело. Взяла своего старенького Толстого. Пожалуй, это единственное чтение, которое не огорчает меня. Я так хорошо его знаю, что не надо напрягаться.

Сегодня исключительно ясная голова. Велела Василисе поменять белье. Это ее всегдашняя нелюбовь к перемене постельного белья. Если ей не напомнить, никогда сама не сделает. Приняла ванну, вымыла голову. Пока сидела в ванной, вспомнила какой-то недавний сон, с большим количеством воды. И вдруг поняла, что мне сны не перестали сниться, я просто перестала их запоминать. Надо стараться все записывать.

ПА долго сидел у меня в комнате. С ним так хорошо. Просто сел рядом в кресле и молчал. А потом взял меня за руку и долго пальцы перебирал. Я очень его люблю. Наверное, он знает.

Завтракавала. Принимала таблетки. Обедала. У Козл в чертежах две ошибки. Насколько приятней работать для конструкторов. У них граздо более грамотные сотрудники.

Оказывается, уже май. Непременно надо писать даты. А то время совершенно как каша. ПА сказал, что хочет снять дачу. Мне кажется это излишним. Как он представляет себе — мы с Василсой переедем, он будет приезжать на субботу-воскресенье, девочки вообще неизвестно, приедут ли хоть раз за весь сезон. И кто будет в Моксе весь дом вести. И Василсы тоже против. Она тут уезжала на богомолье на на сколько дней, так дом просто рассыпался. Только вечером ПА приходил, тогда и жизнь начиналась. Я даже один день из постели не вставала. На кухне все переставлено, не знаю, где кастрюли, где что... А может, я просто забыла?

**ЗАВТРАКАЛА. И ТАК ДАЛЕЕ.**

Василиса сказала, что уедет на Петра и Павла. Двенадцатого июля? Чужие люди. Много чужих людей. Зачем прихоят много чужих людей.

кто-то умер **УМЕР**

Я не могу понять, но и спросить неудобно — кажется, мы переехали на новую квартиру. Все стало не так. Длинный кордор.

Сегодня приходила Таня. Или Тома. Все-таки Тан. Красивая.

Никого нет. Вчера нет. **ТАНЯ ПА**

Василиса дала чай

**ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН**

ПА сказал вчера, что уезжает в командировку. Три дня. Василиса не дает мне завтрак.

**ЗАВТРАКАЛА** У меня ничего не болит. Не болид болит. **УМЕР** кто

**ТАНЯ ТАНЯ ТАНЯ ТАНЯ**

**БОЛЬНИЦА ЗАВТРАК НЕ НАДО**

ПАВЕП А ПВ ПА

БЕЛОЕ завтрак

Поисходт ужасное спрость ПА ГДЕ

СПЕГ СНЕГ СГЕ НЕГСНЕГ СН

Я Елена Гргоева Н Кукац 1915 ПА кто урмр ум тня

5

Работа у Ильи Иосифовича росла как дерево: у корней старая, у ветвей — молодая. И новых, живых побегов было множество. Антропология, эволюционная генетика, демография, статистика, даже история — все прибиралось к его рукам, все выстраивалось и шло в дело. Илья Иосифович был и пахарем, и певцом. Иногда по вечерам, просидев десять часов кряду за письменным столом, он чувствовал приятную мышечную усталость, какая бывает после горной или лыжной прогулки. Кроме шестнадцати сотрудников лаборатории был еще целый отряд добровольцев — студентов, библиотекарь, пенсионеров, — помогавших ему в сборе огромной информации, которую он обобщал и выстраивал в систему, подобную Периодической системе Менделеева, но объясняющую не строение и свойства элементов, а строение и свойства народов.

Сети свои он раскинул так широко, что шла туда самая разнообразная рыба — от Брокгауза и Ефрона до архипелага Гулага, от Анаксимандра Милетского до Феодосия Добжанского. Грандиозность замыслов кружила его лысую голову, он постоянно выступал в научных обществах, в учебных заведениях, в домашних семинарах, которые в те времена расцвели по недосмотру, а отчасти и под присмотром слегка обмякшей от случившейся оттепели госбезопасности. Вот тут-то он и выступал как вдохновенный певец в романтическом смысле этого слова. Павел Алексеевич, присутствовавший как-то на его выступлении, дал ему довольно резкий отзыв:

— Илья, ты, возможно, говоришь дельные вещи, но слишком уж впадаешь в раж, прямо Гаррик какой-то...

Гольдберг свой пыл умерить не мог — он совершил потрясающее открытие и спешил им поделиться с современниками: политический фактор необходимо рассматривать как важнейший компонент эволюционного процесса. В изученном им отрезке времени, от семнадцатого до пятьдесят шестого, в конкретном месте — на территории СССР — этот фактор оказывал отрицательное давление на эволюционный процесс. Гольдберг, убежденный дарвинист, рассматривал эволюцию как явление, имеющее нравственный аспект: положительная эволюция, по его мнению, была направлена на сохранение, совершенствование и расширение области обитания вида, а отрицательная — на ослабление и вырождение. Советская власть, в основе своей, по убеждению Гольдберга, прогрессивная, в конкретной исторической обстановке работала как отрицательный фактор...

Фундаментальная книга, нечто вроде «Политико-генетические основы теории популяций», еще не была написана, но «Очерки по гено-этнографии советского народа» уже существовали на бумаге...

Существовали также и другие бумаги, собранные в аккуратную зеленую папку с двойным номером, с литерами, подшитые листы с отчетами штатных и внештатных сотрудников, копии читательских бланков из Ленинки и Библиотеки иностранной литературы, а также магнитофонные записи пламенных докладов Гольдберга. Под отдельным номером значилась и машинопись «Очерков по гено-этнографии», с собственноручными пометками автора, потерянная по чистой случайности вместе с портфелем одним из особо одаренных сотрудников его лаборатории в сто десятом автобусе... Вероятно, по той же случайности присутствовал в толстой папке и отчет Валентины Второй, который она делала после поездки в Новосибирск. Аспирантка рассказывала о работах новосибирского генетика Б. по

«одомашниванию» черно-бурых лис, животных агрессивных и опасных. Оказалось, что при последовательном отборе наиболее послушных животных и скрещивании их между собой в энном поколении качество шерсти у них резко ухудшилось, а сами лисицы, ставшие послушными и доверчивыми, загавкали по-собачьи. Таким образом, на воротники для генеральских жен годились лишь те лисицы, которые на хорошие отношения с человеком никак не соглашались. Лисицы с плохим поведением. Те, что научились лизать руку, дающую корм, ни на что другое не годились.

Капитан Сеславин, производящий обстоятельные изыскания, касающиеся поведения самого Гольдберга, был человек со стороны — после окончания Ветеринарного института, уже специалистом, он был приглашен на службу в органы, в отдел, курирующий науки. Работа новосибирского ученого оказалась вполне доступна его восприятию, хотя был в ней какой-то подвох.

Сам по себе этот забавный факт из жизни животных, возможно, не привлек бы внимания бдительного Сеславина, но в прилагающемся протоколе выступлений записаны были слова Гольдберга: «Прошу обратить внимание — налицо обратная корреляция между послушанием и качеством шерсти. Что мы и наблюдаем в нашем обществе: чем более послушен человек, тем менее ценна его личность...»

Этот еврей с тремя посадками Сеславиному не нравился. В его Ветеринарном институте тоже были в свое время вейсманисты-морганисты, и с ними по заслугам разделались и учили студентов биологии марксистско-ленинской, с травопольной системой и без всякой буржуазной наследственности. Потому что бытие, как сказано, определяет сознание. Была бы его, Сеславина, воля, укатал бы он эту ценную личность по четвертому разу в лагерное бытие для поправки кривого сознания. Но распоряжения сверху на этот счет не было... Илья Иосифович увлеченно собирал свое досье на советский народ, а капитан Сеславин по долгу службы тщательно и разносторонне — на самого Гольдберга.

Оба оказались трудолюбивы и последовательны, и обоим хотелось достичь результата. По этой причине Илья Иосифович передал рукопись своих «Очерков» заезжему американскому ученому, исхитрившись провести ее по длинной цепочке друзей, знакомых и сочувствующих непосредственно к «Лебединому озеру», где под музыку Чайковского и дружное движение мускулистых ног лучшего в мире кордебалета и состоялась ее передача — для дальнейшего напечатания в научном журнале.

Капитан Сеславин, ничего не зная об этой идеологической диверсии, чуял сердцем злобредность своего подопечного и, желая, как и Илья Иосифович, достичь эффектных результатов, вышел к начальству с рапортом о неправильном направлении мыслей и общей неблагонадежности этого хренового мыслителя. Начальство почесало в своей коллективной голове и обещало подумать. Первое, что надумало начальство, было приглашение Ильи Иосифовича на беседу, провести которую предоставили Сеславиному. Илья Иосифович как опытный человек должен был бы проявить большую сдержанность в общении с капитаном. Но его обуял бес научной болтливости, и он почти без перерыва проговорил два с половиной часа. Под напором гольдберговского красноречия Сеславин едва мог вставить вопрос. Гольдберг был чрезвычайно собой доволен, ему показалось, что он сумел заинтересовать следователя своими идеями и теперь, как хитроумный Одиссей, уже планировал, как было бы удачно привлечь эту могущественную организацию на свою сторону... Ничему, ну совершенно ничему не научили его три его срока.

В половине десятого вечера Сеславин неожиданно грубо прервал Гольдберга, и, вопреки первоначальному впечатлению, оказалось, что нового союзника Гольдберг не приобрел. Напротив, Сеславин перестал вдруг понимающе кивать головой, а ощерился:

— Значит, так. С мухами вы можете работать сколько вам угодно — это не наше дело. А вот все ваши соображения о народонаселении вы принесете сюда, — он постучал по столу, — а не то у вас будут большие неприятности... Вам с нами лучше не ссориться, Илья Иосифович...

Пока Гольдберг раздумывал, как правильнее поступить в создавшейся непредсказуемой ситуации, в квартире его заканчивался тайный шмон и явная кража. Приехав к двенадцати ночи в новую квартиру на Профсоюзной улице, полученную от Академии наук в прошлом году, он нашел дверь взломанной, а в самой квартире — следы грубой кражи: отсутствие телевизора, магнитофона и кофейной мельницы и хамского хулиганства в виде кучи говна посреди комнаты...

Было похоже, что Гольдберг, по своему врожденному безудержному оптимизму, сильно переоценил температуру оттепели. Но, поскольку он уже получил известие о том, что очерки его будут изданы в знаменитом американском издательстве, он позвонил на следующий же день Сеслави-ну, встретился с ним около клуба КГБ на Дзержинке и передал ему из рук в руки предпоследний из оставшихся экземпляров «Очерков».

Теперь наступление на Гольдберга повели с неожиданной стороны — объявлена была проверка хозяйственной деятельности лаборатории, приобретенной за два года существования немалое количество оборудования и всякого прочего материально-технического ассортимента, включая, например, изюм для приготвления корма мухам, спирт для гистологических работ, бумагу для написания зловердных очерков, стеклопосуду, химреактивы и прочая, прочая... Гольдберг числился заведующим лабораторией и, экономя ставки для научных сотрудников, поручил снабжение опытной пожилой лаборантке Наталье Ивановне, а сам был материально ответственным лицом... Ревизия из академии не вызывала никакого иного чувства, кроме раздражения: пришли двое бездельников и раскапывают никчемные бумажки, мешая работать. Две недели эта парочка — толстая бухгалтерша и худой, с военной выправкой помощник — рыла бумаги. И нарыли смехотворное обвинение в хищении. Испуганная Наталья Ивановна быстренько подала заявление об уходе, и след ее простыл. Пока сотрудники, вместе с Ильей Иосифовичем, балагурили по этому поводу, дело передали в прокуратуру. Илье Иосифовичу, с богатым его прошлым, пора было бы задуматься, но беспечность его была столь велика, что спохватился он только в день суда, когда обнаружил утром в почтовом ящике с опозданием пришедшее извещение. И тут он еще не понял, какая угроза нависла. Суд был назначен на три часа, но единственное, что успел Илья Иосифович в быстротекущее дообеденное время, — поговорить по телефону со знаменитым адвокатом, только-только приобретающим репутацию правозащитника. Тот всполошился, по некоторым деталям определив очерк врага.

— Ни в коем случае не ходите сегодня на суд, — порекомендовал проныцательный адвокат. — Лучше всего пойдите в поликлинику и возьмите бюллетень, а потом подумаем. Они должны судебное заседание перенести...

На суд Илья Иосифович не пошел, но в поликлинику тоже не собрался: неудобно здоровому человеку брать бюллетень. Однако на следующий день утром, в девять часов, ждал его в лаборатории исключительно легавого вида посетитель, который представился следователем. Дело о хищении закрутилось по новому витку, нанятый адвокат, быстро превратившийся в приятеля, сначала посмеялся, потом задумался и, наконец, после длительного мозгового усилия, решил, что наилучшей стратегией будет скрупулезная защита по каждому из восемнадцати пунктов финансовых нарушений, обнаруженных за Гольдбергом, а какая-нибудь незначительная финансовая провинность вроде незаприходованного чека останется для приличия, то есть для общественного порицания...



Схема была остроумной, но не сработала. Бледная и заплаканная Наталья Ивановна дала фантастические показания, и Илья Иосифович получил в соответствии с тяжестью финансового преступления полноценных три года исправительно-трудовых лагерей. Под стражу его взяли прямо в зале суда, на глазах потрясенных и возмущенных сотрудников.

Книга Гольдберга была уже в наборе, но ни сам автор, ни сеславинское ведомство об этом пока ничего не знали. Гольдбергу, в который уже раз перехитрившему судьбу, предстояла поездка в известном северном направлении...

## 6

Уже два года, как Таня ушла из дому и жила по разным местам, у новых приятелей, — то в мастерской знакомого художника на Шаболовке, то на пустующей зимней даче чьих-то родственников под Звенигородом, то в служебной квартире подружки, работавшей техником-смотрителем на Молчановке...

Последние полгода ее приютила ювелирша Вика-Коза, здоровенная некрасивая женщина с аристократической фамилией и простонародными повадками. Она была славная тетка, и Таня жила у нее в учениках. Как полагается ученику, была и на хозяйстве, и на посылках. Мастерская Козы была на Воровского, в полуподвале, квартира же — в новостройках. Их семью, старых москвичей бог знает в каком поколении, переселили со Знаменки в Черемушки, и Вика, перевезя мать, двух бабок и сына, все не могла оторваться от привычного района, приезжала в новую квартиру только ночевать, да и то не каждый день. Таня же привольно расположилась в угловой комнатухе мастерской, прежде заваленной обломками драгоценной мебели с местных помоек.

Были у Козы стальные руки, нежная душа и бешеный нрав правдолюбца. Окончила она в свое время радиотехнический техникум, научилась ловко попадать паяльником в нужную точку на плато, и из этого малоинтересного умения, благодаря случайным починкам старинных колечек и сережек знакомым арбатским старушкам, подружкам двух своих бабок, образовалась у нее новая профессия. Работы было навалом — то починка, то кастик под камень сделать, то простенькие сережки... Через некоторое время обнаружила, что починка и переделка требуют изощренного чутья и большего опыта, чем работа наново. Пошла подучиться к известному ювелиру, художнику, и по стечению разных странностей обстоятельств, в том числе и жилищных, вышла за него замуж. Через несколько лет он ушел от нее, беременной, но оставил компенсацию — свою мастерскую. Вместе с мастерской Коза унаследовала чудесную богемную жизнь, с пьянками, гулянками, интересными людьми из всех слоев общества: чистенькие заказчицы, разнообразные любители поторчать, домодельные музыканты и поэты, сбившиеся с марксистско-ленинского пути философы, просто симпатичные бездельники и, наконец, те ночные люди, которых Таня наблюдала в своих приключениях первого года свободы, — отрешенные, никому не принадлежащие, как странные животные, живущие только по ночам, а на день исчезающие неизвестно куда. Впрочем, теперь Таня узнала, где проводили они дневное, опасное для них время, — в таких вот щелях, полуподвалах, в убежищах вроде Викиной мастерской... Таня полюбила их всех вместе, скопом, почти не делая между ними различий, ощущая остро их отличие от тех людей, что встречались ей в университете и в лаборатории, в магазине и в консерватории. Она и в толпе научилась распознавать тех, кто мог бы прийти в Викину мастерскую.

«Наш человек», — с усмешкой говорила Вика, и не требовалось никаких по этому поводу разъяснений. Что же именно включало в себя это притяжательное местоимение? Не социальное происхождение и не нацио-

нальную принадлежность, не профессию и не образовательный уровень — нечто неуловимое, отчасти связанное с неприятием советской власти, однако этим не исчерпанное. Чтобы быть «нашим», надо было еще испытывать неопределенное беспокойство, неудовлетворенность всем тем, что предлагаемо и доступно, недовольство существующим миром в целом, от алфавита до погоды, вплоть до Господа Бога, который все так паршиво устроил... Словом, чувство русской метафизической тоски, которая проби-лась, как травка на весенней помойке, после разрешительного Двадцатого съезда... Те, кто исследовал свойства растущих капилляров мозга, правила китайской грамматики или электроискровые методы обработки металлов, не имели шансов попасть в категорию «наших». Хотя среди них тоже находились тайные нелюбители советской власти, но они соблюдали правила маскировки — повязывали по утрам галстуки, делали парикмахерские прически, а главное, восемь служебных часов в день держали лояльное выражение лица, и именно по этой причине они оставались в категории «закзчиков».

А «наш» человек, нечесаный и неопрятный, приходил к Вике в мастерскую ближе к полуночи, с бутылкой водки, с гитарой, начиненной «нашими» песнями, с новым стихотворением Бродского или своим собственным, или со щепоткой анаши и оставался ночевать — с Козой или с Таней, как карта ляжет. «Нашесть» была превыше личного полового влечения. Иногда произрастали и легкие романы, в своем кругу, с выполнением определенных неписаных уставов. Сама Коза была деловым человеком, презирала «страсти-мордасти» и, обжегшись в юности, искоренила из своей жизни всякие сантименты, чему и Таню успешно обучала. Тане понравились эти правила, согласно которым ухаживания вроде тех, что гольдбергские мальчишки ухитрились развести на целую пятилетку, полностью упразднили, и дело решалось в краткий срок вечернего застолья, а к утру отношения исчерпывались либо продолжались, не накладывая решительно никаких обязательств ни на одну из резвящихся сторон...

Вообще Танино ученичество было исключительно успешно — ее дисциплинированные руки легко и радостно принимали новые навыки и приемы. Слиток серебра, бывшую чайную ложку, вынимала из мыльной изложницы, проковывала молотком, нагревала на горелке до вишневого цвета, отпускала, прогоняла через вальцы. Потом протягивала через волоочильный станок, и из последнего ручья выходила новая тонкая проволока... Дело было нехитрое, но Коза оказалась строгой учительницей, следила за Таниной работой, чтобы все было по правилам, — так ее учил когда-то бывший муж, педант и зануда. Таня работала с азартом и довольно быстро перевела все Викины серебряные запасы в миллиметровую проволоку. Теперь Вике ничего не оставалось, как обучить Таню следующему важнейшему ювелирному ремеслу — пайке. Здесь Вика-Коза была профессором. И хотя секретов своего ремесла она не хранила, щедро делилась всеми тайнами мягкого и жесткого припоя, малейших цветовых различий, по которым определяется температура расплавленного припоя, Таня так никогда и не достигла Викиного уровня... Зато с горелкой Таня освоилась прекрасно: легким движением левой руки молниеносно уводила гибкое пламя к плечу и закрепляла, не глядя, в штатив. Даже не обожглась ни разу. Прошло какое-то время, и Таня начала осваивать монтировочную работу. Сбила себе надфилем большой палец чуть не до кости, прежде чем научилась доводить изделие до продажной готовности. Тане нравилось, что руки ее, за которыми она прежде следила, растила длинные ногти и делала маникюр, покрывались ссадинами и шрамами разной свежести, как у мальчика-подростка... Она душой и телом повернулась в мужскую сторону — постриглась коротко, влезла в свои первые джинсы, которые стали теперь ее единственной одеждой, купила в «Детском мире» две клетчатые мальчишковые рубашки, выбросила лифчики, подарила Томочке блузки с

круглыми воротничками и кружевными прошивками — во вкусе матери... Китайская бесполоя пехора на грубом собачьем меху, синяя, как все рабоче-китайское, да кроличья шапка-ушанка дополнили новую картину, и теперь на улице к ней обращались «молодой человек», и ей это тоже нравилось. Даже походка у Тани изменилась — появилась мальчишеская раскатка в плечах, резкость...

Ей уже исполнилось двадцать два, а она как будто заново переживала переходный возраст. Хотя ночные ее вылазки почти прекратились, она по-прежнему более всего ценила ночные часы, особенно когда Вика с вечера уезжала в Черемушки, притаскивала своим старухам две сумки продуктов из кулинарии «Праги», обцеловывала и задаривала подарками своего Мишку, ругалась с матерью, мирилась с одной из бабок, ссорилась с другой. Отношения в их семье всегда были бурными — без слез, ругани и страстных поцелуев не могли они прожить ни дня. Возвратившись из Черемушек, Коза всегда была бодрой и слегка воинственной, как будто семейные встряски открывали в ней дополнительные источники энергии.

Таня своих домашних навещала нечасто. Приходила она обыкновенно под вечер. Квартира, прежде очень светлая, теперь в любое время дня казалась сумрачной. Томочкины тропические заросли поедали свет. Было пыльно и блекло, только отсвечивали восковым блеском вечнозеленые листья, которые Тома не ленилась протирать влажной губкой. Мать, сидя в обмятом по ее легкой телу кресле, шуршала шерстяными нитками — то вязала, ритмично звякая спицами, то распускала связанное с тихим электрическим треском. Клубки старой шерсти, поросшие узелками и хвостами завязок, мягко катались под ногами. Две полосатые Мурки, мать и дочь, лениво трогали лапами шевелящиеся серые шары, собирающие на себя пряди их вылинявшей шерсти и пылевые хлопья с плохо выметенного пола.

Таня садилась на крутящийся фортепьянный стульчик рядом с матерью. Елена Георгиевна счастливо улыбалась.

— Доченька, я хотела... — начинала Елена говорить, но не заканчивала фразы.

— Чего, мамочка?

И Елена замолкала, потеряв нить мелькнувшего желания. В отличие от рвущихся ниток, концы которых она подхватывала и связывала узлом, ни мысли, ни предположения она не могла соединить в местах обрыва и, страдая, пыталась кое-как скрыть от окружающих это ужасное состояние.

— Хочешь, принесу тебе чаю? — предлагала Таня первое попавшееся.

— Не надо чаю... Скажи мне... — И снова замолкала.

— Что ты вяжешь? — делала новую попытку общения Таня.

— Вот... Я вяжу для тебя... — смущенно отвечала Елена и виновато улыбалась: — Я немного распустила...

Елена не знала, что она вязала. Когда работа ее превращалась в прямоугольник и надо было либо петли спускать, либо горловину вывязывать, она терялась, распускала все и заново набирала петли... Таня быстро уставала от тягости разговора, от невозможности общения: мать, конечно, больна, но болезнь какая-то странная... Тихое разрушение...

— Хочешь погуляем? — предлагала Таня.

Елена смотрела на нее испуганно:

— На улице?

После ужасных ее выпадений из жизни, случившихся вне дома, она совершенно перестала выходить на улицу. Ей было трудно покинуть даже собственную комнату. Когда надо было дойти до уборной или кухни, она брала на руки кошку, потому что кошачье тепло давало ощущение равновесия. Мысль о мире, простиравшемся за пределами квартиры, вызывала дикий страх. И этого страха она стеснялась и пыталась его скрыть.

— Сегодня не надо, — говорила она по-детски и искала глазами какую-нибудь из Мурок. От этой беспомощной и почти младенческой интонации, от судорожного поиска кошки Таня и сама терялась.

— Расскажи мне... — просила Елена неопределенно.

— О чем? — укрывалась Таня за пустыми словами, потому что рассказывать о своей теперешней жизни было невозможно.

Елена жалко улыбалась:

— О чем-нибудь...

Их пустой разговор тянулся полчаса, потом Таня шла на кухню, ставила чайник, отмечала про себя разруху и запущенность домашнего быта, невычищенные кастрюли и плохо вымытые чашки... Но еда какая-то в доме была — Тома приносила вечером то, что успевала прихватить в перерыве между концом рабочего дня и началом учебного вечера.

Потом приходил отец, и от него тоже, вместо прежней крепости и власти, несло старением и упадком... Его силовое поле, когда-то столь мощное и притягательное, истощилось, и Тане неловко было на него смотреть: казалось, он совершил дурной поступок и хочет его скрыть.

Павел Алексеевич весь уменьшился и похудел, плечи его обвисли, лоб и щеки пошли глубокими бороздами, как будто кожа стала на размер больше. Он радовался Тане, поначалу расцветал всеми собачьими складками боксерского лица, но быстро снижал, видя Танину тоску и плохо скрытую жалость. Он страдал, как покинутый любовник, но из гордости никогда не начинал первым разговора — их прежнего, легкого, с любой точки возникающего счастливого общения понимающих друг друга людей больше не возникало...

Появлялась из каморки окончательно ослепшая Василиса. На кухне она чувствовала себя так уверенно, что слепота ее была незаметна. Она накрывала на стол, грела Павлу Алексеевичу суп, даже ставила рядом с тарелкой мутный стограммовый стаканчик... По квартире она ходила, придерживаясь рукой стены, так что вычертила на обоях шарящими пальцами траекторию своего движения — темную полосу на голубом и желтом. Двигалась она беззвучно, на подшитых подошвах старых валенок, и удивительно было, как стойко сохранялся ее деревенский запах — кислого молока, сенной трухи и даже как будто печного угара...

Родительский дом удручал Таню и наводил тоску. С Томой она теперь встречалась редко, но всякий раз, забегая домой, оставляла ей подарок — колечко с сердоликом, подвеску или пачку дешевого печенья.

В конце февраля случилась у Тани первая продажа — она получила настоящие деньги за настоящую работу. Пятьдесят рублей за серебряное кольцо с прозрачно-черным раухтопазом, овальным ласковым камнем, с которым она провозилась два дня. Когда-то лаборантская ее зарплата составляла тридцать семь рублей пятьдесят копеек, так что эти ювелирные деньги показались ей легкими и шальными, и она решила закупить на них всем подарков.

Одолжила у Козы хозяйственную сумку и поступила, как ее мастер: нагрузила сумку арбатским породистым товаром — чай индийский, пирожные, печенье. Почему-то выкинули в тот день в продажу английскую косметику и немецкие сигареты. Тоже купила. Отцу — бутылку армянского коньяка, хотя знала, что он предпочитает водку. Зато было шикарно.

Встретил ее Павел Алексеевич, к этому времени уже принявший свою вечернюю дозу. Он прижал порывисто ее голову вместе с серым кроликом к груди, сморщил лицо:

— Танька, беда такая... Виталика Гольдберга избили. Генка приехал из Обнинска, позвонил. Я только что из Склифосовского. Он в тяжелом состоянии. Я с врачом говорил. Травма черепа. Сломана рука, нос. В сознание пока не пришел... Книжка-то Илюшина в Америке вышла... Такие дела...

Таня даже не поставила тяжелую сумку на пол, так и стояла возле дверей, ошарашенная сообщением. Мальчики Гольдберги, хоть в последнее время она с ними почти не общалась, приходились ей не друзьями, скорее родственниками.

Таня опустила сумку на пол и заплакала. Павел Алексеевич стащил с дочки мокрого кролика и тяжелую пехору.

— Это КГБ? — вдруг трезво спросила Таня.

— Похоже. Молотили профессионалы. Убивать не хотели. Хотели бы, так убили.

Василиса стояла на своем обычном месте, в коридоре, у поворота, между кухней и прихожей и как будто смотрела в их сторону:

— Таня, ты, что ли?

— Я, я, Вася. Подарки принесла.

— К чему подарки-то? — удивилась Василиса. Время было не праздничное, великопостное.

— А тебе я коньяка армянского купила, — улыбнулась Таня мокрыми глазами, и Павел Алексеевич обрадовался — не коньяку, конечно, который и по сей день несли ему пациенты в количествах, превышающих возможности человеческого потребления, а Таниной улыбке, которая была прежняя, всегдашняя, и как будто не было между ними этих последних лет отчуждения.

— Идем, к маме зайдем, а потом выпьем с тобой твоего коньяка. Хорошо? — предложил Павел Алексеевич и подтолкнул Таню к материнской комнате.

— Ты ей про Виталика сказал? — шепотом спросила Таня.

Павел Алексеевич покачал головой:

— Не надо.

Они сидели вдвоем, впервые за несколько лет. Елена в кресле, Таня на ее кровати, от которой пахло не то кошками, не то старой мочой. Павел Алексеевич придвинулся поближе вместе с круглым табуретом...

— А не выпить ли нам немного, девочки? — спросил он бодро, но тут же и осекся: Елена смотрела на него с ужасом.

— Выпить, выпить, мамочка! — закричала неожиданно Таня и принесла мгновенно из коридора свой коньяк.

Павел Алексеевич пошел за рюмками.

— Ты думаешь, что... Не правда ли... Павел Алексеевич говорит... — проговорила Елена неуверенно и бессвязно, но с несомненным протестом.

— Ну что ты, мам, одна рюмочка...

Павел Алексеевич стоял в дверях с тремя разномастными рюмками. Оказывается, Леночка не все на свете забыла — вот вспомнила же сейчас, что муж у нее алкоголик. Встревожилась за него при виде бутылки...

— А тебе полезно, Леночка. Для сосудов хорошо, — улыбнулся Павел Алексеевич.

Елена неуверенно протянула руку, взяла неловко в горсть зеленую мокрую рюмку. Вязанье соскользнуло с колен на пол. Младшая Мурка тут же тронула его лапой. Елена забеспокоилась, рюмка покривилась, немного коньяка пролилось.

— Смотри, Таня... Упало все... как это... мокро...

Поставить рюмку и поднять вязанье она не могла, это было слишком сложной последовательностью движений...

Павел Алексеевич поднял вязанье, положил на кровать. Налил себе и Тане:

— За твое здоровье, мамочка.

Елена слегка водила рюмкой перед собой, Таня прислонила рюмку к ее рту, и она выпила. Они просидели вместе почти час, молча и улыбаясь. Пили медленно коньяк, ели пирожные. Потом вдруг Елена сказала совершенно внятно и определенно, как давно уже не говорила:

— Какой хороший вечер сегодня, Танечка. Как хорошо, что ты приехала домой. Пашенька, помнишь Карантинную улицу?

— Какую Карантинную? — удивился Павел Алексеевич.

Елена улыбнулась, как взрослые улыбаются несмышленным детям:

— В Сибири, ты помнишь? Ты нас оттуда в госпиталь забрал... Мы там хорошо жили. В госпитале.

— Так ведь мы и теперь неплохо живем, Леночка. — Он положил руку ей на голову, провел по щеке — она поймала его руку и поцеловала...

Вот ведь какие странности — не помнил Павел Алексеевич никакой Карантинной улицы. А Елена помнила. Что за прихоти памяти? Совместная двадцатилетняя жизнь, в которой один помнит одно, другой — другое... В какой же мере была она совместной, если воспоминания об одном и том же так различаются?

Вскоре приехал Гена Гольдберг. Рассказал то немногое, что узнал о вчерашнем происшествии. Брат поздно возвращался домой и избит был в своем парадном. Нашел его только ранним утром помешанный на оздоровительном беге сосед, который вышел в седьмом часу совершать свои спортивные подвиги. Служивцы Геннадия сказали, что несколько раз в течение последней недели ему звонили, угрожали.

— А тебе не звонили? — поинтересовалась Таня.

— А мне-то чего звонить, я-то в стороне от этого, — как будто оправдывался Гена.

Дело, по-видимому, было в том, что Виталий только что вернулся из Якутии, где собирал антропологические данные по северным народам. Его вызвали в первый отдел и предложили сдать все материалы по командировке на том основании, что тему его решили засекретить. Он отказался. В чем заключался секрет, давно уже знал весь мир: северные народы спивались и вымирали, численность якутов и других представителей сибирских народов сократилась за последние двадцать лет вчетверо. Все это входило логичнейшим образом в теорию Ильи Гольдберга о генетическом вырождении советского народа, но не согласовывалось с концепцией золоченого чуда на ВДНХ под названием фонтан «Дружба народов».

Немного позже пришла Тома. Ее пригласили выпить вместе со всеми последнее, уже с доньшка. Она с этой рюмки опьянела и стала громко смеяться. Вечер нарушился. Таня поцеловала мать, отца, надела китайское пальто и, вспомнив о Василисе, пошла, уже одетая, с ней проститься. Вошла в темную камору, щелкнула выключателем. Лампочка давно перегорела, но этого Василиса и не знала. Она повернула голову на щелчок:

— Таня?

Таня поцеловала Василису в темечко, покрытое черным платком:

— Скажи, чего тебе принести?

— Ничего не надо. Сама-то приходи, — неприветливо ответила Василиса.

— Я прихожу...

Таня вышла вместе с Геней на улицу. Он взялся ее провожать.

Тома повела Елену в ванную сменить многослойные тряпки, уложенные мягким валиком в старые купальные трусы, натянутые под более просторные панталоны, на сухую прокладку. Тома не обращала ни малейшего внимания на ее стыдливое сопротивление, она делала это каждый вечер и каждый вечер приговаривала скороговоркой, без всякого укора:

— Да вы стойте, стойте, мамочка, поменять надо мокрое... Вы же мне мешаете...

Потом она подмывала и вытирала бедную Елену, ловко и грубовато, как делают дешевые няньки в больницах. Елене было так стыдно, что она закрывала глаза и выключалась. Такое маленькое и легкое движение делала, оно называлось «меняздесьнет». Потом Тома толкала Елену перед со-

бой, вела ее в спальню и укладывала. После чего звала Василису, и та садилась в ноги и принималась бормотать свое вечернее славословие — длинную скомканную молитву, слепленную из обрывков молитвенных формул, псалмов и собственных восклицаний, среди которых чаще всего поминалась «христианская кончина, мирная, безболезненная и непостыдная»...

Елена смотрела светлеющими от года к году ясными глазами, которые когда-то были синими, а теперь дымчато-серыми, из одной темноты в другую...

## 7

Про свои взаимоотношения с братьями Гольдбергами Таня могла сказать только одно: так получилось. Оба они были с детства влюблены в нее и мучительно соперничали. Таня оказалась тяжелым испытанием, которому подверглась их близнецовая связь — самые тесные кровные узы, возможные для людей: даже мать со своим ребенком в человеческом мире, где бессеменное зачатие приписывают лишь одной Марии из Назарета, по своему телесному составу не достигают такой близости, как однаицевые близнецы. Об этом же говорила и Гольдбергова точная наука генетика.

Испытание брата Гольдберги с честью выдержали: по бессловесному соглашению в дом Кукоцких приходили они всегда вдвоем, звоня по телефону, объявляли: это мы, Гольдберги, хотя по техническим возможностям телефонии всегда говорил только один из них. Если звали Таню в театр или в кино, то непременно тащились вчетвером, с бесцветной Томой в виде принудительного приложения к Таниному убойному обаянию. О Тане они никогда между собой не говорили, разве что информативно или косвенно:

— В субботу пойдем к Кукоцким...

— Я билеты в театр купил на следующее воскресенье...

Тем и исчерпывалось все обсуждение.

Каждый из мальчиков в отдельности имел все основания быть нестерпимым ребенком с повышенным интеллектом и эгоцентрическим искривлением личности, но присутствие в их жизни Тани странным образом уравновешивало то опасное обстоятельство, что были они без пяти минут еврейскими вундеркиндами, с неистребимым и почти законным чувством превосходства над окружающими. Это «почти» несло в себе огромное содержание, в котором им и горькие годы отрочества, и более поздние годы предстояло разбираться. Таня им в этом здорово помогла. Кудрявая, веселая, совершенно не озабоченная тем, как относятся к ней окружающие, — вероятно потому, что имела множество доказательств любви к себе со всех сторон, — Таня была вне конкуренции хотя бы по той причине, что училась двумя классами младше. Между ними было два года разницы в возрасте, и помимо всего она принадлежала иному, женскому миру, и хотя до пятнадцати лет была их выше, возможно, что и сильнее — и в голову не приходило мериться с ней в силе, — оба они готовы были подчиниться ей, служить и доставлять всяческие удовольствия, соответствующие возрасту... Мимоходом, махнув косым подолом клетчатой юбки, она, сама того не зная, упразднила строгую иерархию интеллекта, в которой верховное место занимал пока еще не развенчанный Илья Иосифович, потом братья, нос в нос, пристраивались ему в затылок, а все остальные особи располагались уже за ними. Только не Таня... Она была вне... справа или слева. Ее игра была, в сущности, не совсем честной, как если бы, играя в шахматы, она, не оповестив противника, меняла на ходу правила игры и выигрывала, сбросив чужие фигуры с поля звонким щелчком большого и среднего пальцев... Именно это больше всего восхищало в Тане братьев Гольдбергов — вовсе не русые кудряшки и бодрое бомканье на пианино... Иерар-

хия интеллекта оказалась, таким образом, не единственной шкалой, по которой распределялись ценности...

Вкусы и предпочтения братьев были с раннего возраста схожими, но их мать знала чуть ли не с самого рождения, что один из них, Гена, родившийся двадцатью минутами позже, то есть младший, посильнее плачет и погромче смеется. Желания его были более яркими и страхи более определенными. Во всяком случае, именно пятилетний Виталик, относительно старший, спрашивал у Гены:

— А какую кашу мы больше любим?

И Гена решал, что гречневую...

Поклонение Тане избавляло их до некоторой степени от комической роли вундеркиндов — высшее положение в иерархии они добровольно, но не вполне корректно предоставили Тане. Школа в Малаховке не умела оценить дарований мальчиков — отличники и отличники. Простодушная Валентина, работавшая лаборанткой вплоть до пятьдесят третьего года, когда ее в пылу борьбы с космополитизмом сократили, за тяготами послевоенного существования, до самой своей ранней смерти так и не успела разглядеть талантов своих детей, а эгоцентричный отец сам происходил из породы вундеркиндов и потому рассматривал редкие способности мальчиков как нечто само собой разумеющееся. К тому же братья составляли друг для друга здоровую конкуренцию не только в отношении Тани, но также в физике, химии и математике. Тане, пожалуй, было интереснее общаться с Виталиком, поскольку он склонялся к медицине и у них было больше общих тем, но, по правде говоря, в качестве кавалеров ее гораздо больше устраивали посторонние мальчики, не обладающие столь исключительными знаниями в области естественных наук, зато умеющие ловко колотить ногами, отплясывая просочившийся сквозь поры «железного занавеса» рок-н-ролл...

Теперь, когда Илью Гольдберга арестовали и он, в отличие от прежних лет, выглядел невинно пострадавшим героем — середина шестидесятых! — его сыновья засветили отраженным отцовским светом. Особенно после ночного избиения Витальки в подъезде...

Таня с Геной вышли из квартиры Кукоцких в начале двенадцатого. Гена знал, что Таня не живет дома, и в последний год они не встречались и даже не перезванивались. Таня бурлила сострадаанием к Витальке и желала немедленно принять участие в больничных бдениях. Гена впервые за многие годы оказался с Таней наедине, и неожиданно возникла какая-то совершенно новая конфигурация, в которой Виталька существовал отдельно, а они с Таней — вдвоем, в полном единении сочувствия и сострадания. Пока Виталька, опутанный трубками, с чисто наложенными вдоль скулы и на переносье швами, с капельницей и в гипсе, полудремал за стеклянной перегородкой бокса, Гена, ухватив за рукав синюю пехору, вел Таню к метро, уговаривая ехать ночевать на Профсоюзную, чтобы поутру, не теряя времени, сразу же и помчаться в Склиф...

Таня немного колебалась: обыкновенно она заранее предупреждала Козу, если собиралась ночевать не в мастерской. Телефона там не было. Таня мялась, Гена был настроен решительно... Вообще говоря, расставаться не хотелось, и Таня поехала на Профсоюзную, где прежде никогда не бывала...

Двухкомнатная квартира в блочной хрущевской пятиэтажке имела такой вид, как будто обыск закончился два часа тому назад. Приученная скорее к порядку, чем к чистоте, против негнушейся логики порядка, в сущности, и восставшая, два года мотающаяся по случайным домам и нашедшая себе приют в конце концов в мастерской, среди мелких железок, старых подрамников и груды поломанной мебели, Таня остолбенела перед вольной стихией исписанной бумаги, разлившейся по столам, стульям,



спустившейся широкими волнами на пол... Среди бумаги были вытоптаны тропки, водопойная и пищевая, к столу и к ванной, на газетных листах, уложенных поверх исписанной бумаги, образованы были чайные поляны с компаниями бурых от заварки изнутри и грязных снаружи разнообразных чашек. Мирные стада откормленных тараканов паслись на этих научных пажитях.

— Как же вы здесь живете? — изумилась ко всему привычная Таня.

— Нормально. Я-то в Обнинске по большей части. А отец с Виталькой здесь. Но в дом никого не пускаем, чтоб не пугались. — Он сверкнул крупными, как белые фасолы, зубами. — В Малаховке еще хуже. А при жизни мамы был какой-то порядок. Как она его держала, не понимаю...

— Нет, нет, это невозможно. — Таня, еще не сняв пальто, прикидывала, с какого боку приниматься за уборку.

— Начинаем с кухни, — объявила она.

Решение оказалось правильным. На кухне бумаг было поменьше, а обычная хозяйственная грязь не требовала такого пристального внимания, как мусор бумажный. Многослойные отложения с плиты откалывались пластами, линолеум помоечно-серого цвета легко отмывался, благо что пачка стирального порошка нашлась в ванной. В комнатах дело пошло медленней — бумага желала быть прочитанной, и время от времени они застревали над каким-нибудь затейливым листом. Подвиг был посильней Гераклова: конский навоз можно было выбрасывать не глядя.

С двенадцати до половины пятого утра в четыре руки они веселились за уборкой: болтали, хохотали, вспоминали о каких-то детских тайнах, все было легко, и грязь стекала в канализацию, а бумаги укладывались по ящикам, и это тоже было довольно смешно — ящики письменного стола были совершенно пустыми. Делавшие замаскированный под грабеж обыск забрали только то, что было в столе, прочие бумаги, более позднего времени, мощными пластами лежащие на всех рабочих и нерабочих поверхностях, оставлены были нетронутыми...

— Станный характер у твоего братца, — объявила под конец Таня, — Илья Иосифович уже полгода как сидит, а он ни разу квартиру не убрал.

— Ты не понимаешь, это мемориальный уголок, квартира-музей...

В половине пятого из-под многослойной бумажной залежи обнажилась кушетка, покрытая пыльной попоной. Таня рухнула на нее, выбив собой облако пыли.

— Все. Спать, — скомандовала Таня, и Гена, превозмогавший в себе несколько часов разнообразные желания, от умильной нежности до самой скотской охоты, не заставил себя ждать...

Отдав весь боезапас молодого бойца, он, двое суток не спавший, провалился в сон, продолжая изумляться состоянию острой нежности и столь же острого скотства...

«Да откуда это чувство свинства, какой-то вины?» — успел подумать он засыпая.

И голос изнутри самого себя ответил ему строго: «Так сестра же...»

Таня ни о чем таком не думала: тот, с которым она спала в последнее время, матерый геолог, неразборчивый до святости, с несметным количеством детей от буфетчиц и академических жен, был не хуже и не лучше этого милого, с детства любимого дружка. В самом постельном развлечении Таня особой прелести не видела и всегда удивлялась своим старшим подругам, чего они так из-за мужиков беснуются — в постели все равны... Она в ту пору еще не знала, что это не совсем так.

В Склиф они приехали не к девяти, как собирались, а к двенадцати. Сначала не смогли проснуться, потом Гена утверждал свои свежие права. Витальку к этому времени перевели из реанимации в общую палату — положение его улучшилось, он пришел в себя и умирать больше не собирался.

## 8

Прошел уже год с тех пор, как мутная пленка окончательно заволочла единственный Василисин глаз, и сомкнулась тьма. Слепота — несчастье и ужасная угроза пожилых людей — стала для нее освобождением от непрерывного труда. Наступил законный отпуск, за которым ослепшая Василиса прозревала окончательное бессрочное и бескрайнее отдохновение. Ее постоянная деятельность, направленная вовне, обернулась теперь вовнутрь. Прежде она молилась на иконы. Их было несколько: темная Казанская, беглого ходяповского трехцветного письма, Илья Пророк, разрубленный глупым топором и склеенный грубо из двух половин, так что лик Пророка сохранился, а плащ, свисающий с колесницы, упал не в протянутые руки Елисея, а в виде щепы остался в деревенском храме и сгорел вместе с храмом. Был еще Серафим с плюшевым безухим мишкой и утопающий Петр в сдвинутом набок нимбе, протягивающий руку к идущему мимо и совсем в другую сторону Спасителю. И всех этих покровителей она теперь как будто лишилась. Она стояла на коленях на всегдашнем месте, на ковровой лысине, выбитой ее коленями, и пыталась восстановить их в памяти, но не могла. Темнота, обступившая ее, стояла равномерной стеной, вовсе без оттенков и без просветов. Так длилось довольно долго, и Василиса горевала — ей казалось, что молитва ее висит в душном воздухе около ее головы и не поднимается ни к Господу, ни к Божьей Матери, ни к святым Божиим угодникам. Потом как будто стало прорезаться какое-то подобие шевелящегося свечного пламени. Оно было таким слабым и зыбким, что Василиса пугалась, не прелесть ли это ее воображения. Но она была так притягательна, эта светлая точка, так радовала, что Василиса звала ее внутренне и старалась подольше удерживать этот световой образ. И зыбкий свет рос, укреплялся, сиял, никому не видимый, в ее личной тьме, побуждая ее к непрестанной и почти бессловесной молитве. Молитва теперь была только о том, чтобы «пламечко», как она его называла, никуда от нее не отходило. Даже во сне молитва ее не покидала, а как будто дремала рядом, как старая Мурка, давно уже избравшая себе ночлег возле ее тощих холодных ног.

Василиса совсем уж было определила для себя новый, облегченный образ жизни без обычных нескончаемых обязанностей — без закупок излишних, по ее пониманию, продуктов, без больших стирок почти что и не грязного белья, без корабельных больших уборок, а сохранила за собой одни только почти ритуальные обязанности утреннего умывания Елены и встречи с работы Павла Алексеевича. Большую часть дня проводила она в своем чулане, совершая тонкую медитативную работу, понятную одним лишь восточным монахам...

Каждый день, принимая из Василисиних рук бедняцкий обед, совершенно неотличимый от того больничного, который приносила ему санитарка на работе, Павел Алексеевич укорял себя, что не может пересилить Василисиного упрямства — он был уверен, что у нее банальная катаракта, которую можно снять и хотя бы частично восстановить утраченное зрение. Он не был абстрактным профессором, не умеющим зажечь газовой горелки. Он сумел бы сам подогреть обед, сумел бы его и приготовить, но отказать Василисе Гавриловне в выполнении ее обязанностей он не мог, а принимать обслуживание слепой прислуги тоже было невозможно...

Он снова и снова говорил ей об операции. Однако Василиса об этом и слышать не хотела, ссылаясь на Божью волю, которая все так ей определила... Павел Алексеевич сердился, не мог ее понять, пытался, пользуясь ее же логикой, убедить, что Божья воля в том и заключается, чтобы врач, призванный оперировать ослепших, произвел над ней операцию и она снова бы увидела свет — пусть хоть во Славу Божью... Она мотала голо-

вой, и тогда он сердился еще более, обвинял ее в трусости, безграмотности и юродстве...

Всякий раз, выпив чуть больше обыкновенного, Павел Алексеевич заново приступал к Василисе. Но никакие доводы разума до нее не доходили. Как-то раз Тома, вовсе не сговариваясь с Павлом Алексеевичем, а просто-напросто втащив на пятый этаж (лифт в тот день не работал) огромный тюк постельного белья из прачечной и обессилев, случайно обронила единственно убедительные слова:

— Ты, тетя Вася, смотри, какая здоровенная, на тебе хоть воду вози, а все молишься... Сходила бы, что ли, со мной вместе...

Тома, несмотря на мизерность своего сложения, на самом деле тоже была из породы выносливых — целыми днями возилась со своими зелеными детками, уткнувшись носом в землю, копала, полола без устали. Крестьянская кровь все-таки заговорила в ней: то, чего она не хотела делать для пошлой свеклы и моркови, делала с нежностью и страстью для родо-дендронов и шуазий.

Домашнюю работу, которой ей теперь приходилось заниматься все больше и больше, она никогда не любила, а теперь она еще и училась в вечернем техникуме и была действительно очень занята...

Упрек этот, стгоряча высказанный Томой, Василиса носила в себе целые сутки. Думала, как всегда, медленно и настойчиво, молилась о помощи. Наконец, воскресным вечером, после ужина, сообщила Павлу Алексеевичу, что согласна на операцию.

— Ты же не хотела, — удивился Павел Алексеевич. — Надо сначала окулисту тебя показать. Проконсультировать... Может, и не возьмутся...

— А чего не возьмутся? Я согласная. Пусть режут...

Противопоказаний к операции врачи не нашли. Спустя две недели Василису Гавриловну прооперировали в глазном институте на улице Горького. Зрение восстановилось до шестидесяти процентов, и Василиса вернулась к своей прежней хозяйственной жизни. Только походка ее осталась неуверенной, настороженной, она как будто несла хрупкую драгоценность — свой единственный прозревший глаз. Слова Павла Алексеевича о Божьей воле, которая совершается руками врачей, достигли ее сердца. Хотя она прекрасно помнила всю операцию, произведенную под местным наркозом, начиная от первого, остро болезненного укола в самый глаз, до того момента, когда сняли повязку и она увидела людей, смутных и шатких, как деревья под ветром, ей постоянно вспоминался евангельский рассказ об исцелении слепорожденного, и врачебное копошение над ее онемевшим глазом она соединяла с прикосновением Спасителя к мертвому глазу того молодого слепца.

Никто из домашних не догадывался, как изменилось после прозрения отношение Василисы к самой себе — она исполнилась уважения к своему крепкому, навеки девственному телу, к мускулистым мослатым ногам и рукам и в особенности к невзрачному слезящемуся глазу, который взял да и прозрел. Тот внутренний свет, что светил ей во времена полной слепоты, ушел, и теперь, в возвращенной ей зречести, она никак не могла его увидеть. Он остался лишь в воспоминании.

Обретя утраченное зрение, она поняла, в каком напрасном и бесплодном страхе за последний глаз прожила она большую часть своей жизни. Лишь потеряв остатки зрения, она освободилась от этого страха, а теперь, после операции, увидев Божий свет заново, с новой и ясной силой уверовала не в Бога — вера ее никогда не нуждалась в подтверждении, — а в любовь Бога, направленную лично на нее, кривую, глупую и необразованную Василису. И она стала уважать эту самую Василису как объект личной Божьей любви... Теперь она знала наверняка, что Господь отличил ее из огромного людского множества...

Закралась даже совсем новая, диковинная мысль: что Бог ее любит даже больше, чем других... Взять Таню — от рождения красивая, богатая, способная, а ведь ушла из дому, живет, как бродяжка, по чужим углам, и не из нужды, а по своеволию... Или Павел Алексеевич, уж какой значительный, знаменитый, доктор из докторов, сколько детей извел, не сосчитать, в грехах по маковку. И пьет, как самый заваливший мужик, как брат покойный, Царствие ему Небесное... Про Елену и говорить нечего, уж ето жизнь как на ладони: и добрая, и тихая, и сердобольная, всех кошек жалела, а про Флотова-то забыла? Не на ее ли совести? За что ее Бог так наказывает? Разума лишил и чувства всякого. Живет как животная...

Василиса и относилась теперь к Елене снисходительно, как к домашней скотине — покормить, почистить... И разговаривала с ней, как с кошкой — в воздух, невнятными словами одобрения или недовольства... Нет, и говорить тут было нечего — если кого и выделил Господь, то именно ее, Василису. Сначала глаз отобрал, а потом вернул... Как еще понимать?

## 9

Таня ходила в больницу каждый день, помогала Витальке справляться со всеми его нуждами, от мытья до еды. Правая рука его была в гипсе, и с одной левой ему даже книжки читать было сложно — страницы трудно переворачивать... Он несколько преувеличивал свою немощь, позволял себе даже капризничать. Каждый день, с Викиной хозяйственной сумкой, так и не возвращенной, Таня ехала с Профсоюзной в Склифосовского. Друзья Гольдбергов нанесли кучу денег, и Таня переводила их в разные кулинарные изыски. Эти упражнения у плиты заменили ей полностью упражнения ювелирные. В мастерскую к Вике Таня заехала лишь однажды, забрала три пары трусов, шерстяные носки и записную книжку — все наличное имущество.

Каждую субботу приезжал из Обнинска Гена. Ужинали, выпивали бутылку грузинского вина, спали на продавленной костлявым старым Гольдбергом кушетке, ехали вместе в больницу к Витальке. Детская легкость их отношений смущала Гену: как будто они, пятилетние, качались на качелях или играли в жмурки, угадывая в темноте, прикасаясь к лицу и плечам, кто именно попался в случайные объятия... Природа предоставила их друг другу в пользование, и никаких лишних слов между ними не происходило...

Виталик пролежал в больнице полтора месяца. Травмы в конечном счете оказались не столь тяжелыми, сколь сложными. Разбитый нос восстановили, новый сделали ничем не хуже старого, сотрясение мозга тоже не было диковинкой, а вот со сломанным локтем пришлось повозиться. Сделали одну операцию, получилось не лучшим образом — образовался ложный сустав. Пришлось врачам идти на вторую операцию, после которой сустав вообще потерял подвижность. То ли профессионалы заплечных дел действительно знали, как похитрее ломать, то ли сказалась какая-то особая невезучесть Витальки.

Так или иначе, выписали его уже в конце зимы, и Таня торжественно перевезла его домой и даже устроила по этому поводу небольшую вечеринку для близких друзей. В очередную субботу приехал, как обычно, из Обнинска Гена. Виталик уже три дня как был дома. Переступив порог, Гена сразу же почувал, что место его занято. Он дико огорчился, но не удивился. Смотрел на Таню во все глаза — она не испытывала ни малейшего беспокойства. Пообедали втроем. На столе лежал толстый дрожжевой пирог, дыша теплом и домашним покоем. Таня ухаживала за Виталькой, как за ребенком, и Гена понял, что брату, кажется, повезло. Интересно было также, понимает ли он, что увел любовницу...

Между тем Таня вымыла посуду и объявила, что ночует сегодня дома.

— К тому же вам, наверное, есть о чем поговорить и без меня...

Братьям действительно было о чем поговорить. Лабораторию, которой заведовал отец, закрыли, придираясь все к тем же мифическим финансовым нарушениям. Гольдбергу-старшему об этом сообщили в лагерь. Его волновало и будущее лаборатории, и сложности, которые неминуемо возникли у его сотрудников, и в особенности судьба Валентины, которую сразу же отчислили из лаборатории, лишили временной прописки в аспирантском общежитии и, протаскав безрезультатно по кабинетам ведомства, отправили обратно в Новосибирск, где места ей никакого уже не предложили. Письмо Гольдберга к сыновьям пришло несколько дней тому назад. Письмо содержало корявое и сильно запоздалое признание в любви к Валентине, жалостные фразы о любви к их покойной матери, а также стыдливо излагалось намерение жениться.

Разумеется, для молодых людей в сообщении этом не было ничего нового — о романе их отца знали все, но отец не считал нужным сообщить им что-либо до самой посадки. Скорее всего, он вообще и не собирался на Валентине жениться, и сама эта мысль пришла ему в голову лишь в тюрьме. Свидания давали только женам, и, кажется, существовала юридическая возможность оформить брак в зоне. Именно в связи с этим Гольдберг и просил ребят связаться с адвокатом и узнать, как по-умному подойти к этому делу. Валентине он ничего не сообщает о своем намерении, пока не будет уверен, что этот брак теоретически возможен.

«Я не хотел бы причинять никому лишних беспокойств, но, дорогие мои, прошу вас взять все это выяснение на себя, поскольку В., человек крепкий и исключительно благородный, — все-таки женщина, и я совершенно уверен, что для нее поход к адвокату с этим вопросом будет непременосимо унижительным».

— Наша ровесница? — Виталик показал на письмо, которое Гена читал вслух.

— Кажется, года на два старше. Может, на три.

— Мачеха, — усмехнулся Гена.

Виталик, еще не вполне освоивший свалившееся на него новое счастье, хотел было сообщить брату, что он и сам готов жениться, но удержал язык. Слишком долго, чуть ли не всю сознательную жизнь, они соперничали из-за Тани, чтобы вот так сразу объявить о своей ослепительной победе, означающей одновременно безусловное поражение другого. Ему даже было больно за брата, почти как за самого себя. Тонкий вопрос, почему это Таня предпочла его, пока что не занимал Виталика. Она оказалась неожиданным призом после всего, что ему пришлось претерпеть. Но, в конце концов, если для того, чтобы завоевать ее, надо было пройти через большие испытания, он бы без колебаний согласился.

У Гены было преимущество первого, но он молчал. Наверное, Витальку не очень порадовало бы сообщение о том, что шесть субботних ночей, горячих праздничных ночей с субботы на воскресенье, его брат провел здесь с Таней...

О Тане они, как это было между ними принято, не говорили. Зато долго говорили об отце, о его бесконечной и такой старомодной наивности. И о его мужестве. И о его таланте. И о чести. И о том, как им повезло, что у них такой потрясающий отец.

А потом Гена совершил поступок старшего. На ночь глядя поехал в Обнинск, сказав брату, что у него на завтра назначена встреча с руководителем.

В одиннадцать часов, когда дверь за братом захлопнулась, Виталик немедленно набрал номер Кукоцких и даже приготовил фразочку из детства:

— Это мы, братья Гольдберги...

Тани, однако, дома не было. В тот вечер ее там и не бывало... Она сидела у Козы и сухо излагала близнецовую историю, которая произошла

совершенно случайно и совершенно напрасно... Вика звонко хохотала, поминала Шекспира, Аристофана и Томаса Манна, а Таня, попивая грузинское вино, морщилась:

— Они мне как братья. Мы росли вместе. Я их обоих люблю.

Вика подняла круглое женственное плечо, раздула суховатые губы, вложила мягкие булки грудей, обтянутых розовым трикотажем, в жесткие, железного цвета ладони, покачала их на весу:

— Так обоих и возьми. Только одновременно. Это кайф.

Таня посмотрела на нее серьезно, как на уроке математики:

— Знаешь, это мысль. Собственно, кайф сам по себе меня не особенно интересует. Но по крайней мере никому не будет обидно... И будет честно.

Вика зашлась от смеха.

В следующую субботу Гена из Обнинска не приехал. Таня с трудом дозвонилась до него. Он суховато сообщил ей, что сильно занят и в ближайшее время приехать не сможет. Она быстро собралась и поехала в Обнинск. Стояли последние мартовские морозы, и Таня окоченела еще в электричке. Она долго искала общежитие и нашла его уже к вечеру. Гену она застала в постели — он был сильно простужен и отлеживался, укрытый двумя одеялами и чьим-то старым пальто. В комнате было отчаянно холодно, на подоконнике пролитая вода свернулась ледовой коркой.

— Бедные, бедные мои мальчики, — бормотала Таня, отогревая руки у Гены на груди. Температура у него была под тридцать девять, и Тане казалось, что руки ее лежат на сковородке.

— Ты промерзла до самой середины, — засмеялся Гена, достигнув границ возможного.

— Да, — согласилась Таня. — Насквозь. Но ты очень горячий.

Постепенно их температура сравнялась.

Гена пошел в общественную кухню ставить чайник. Кипятильник был у него, но из-за большой нагрузки пробки вышибало: все общежитие обогревалось плитками и рефлекторами.

Выпили чаю. Еды никакой не было, и купить ее было негде. Полупустые магазины давно были закрыты. Они еще раз погрелись друг о друга. Под утро Гена спросил Таню, не хочет ли она сделать выбор.

— Я уже сделала, — серьезно ответила Таня, — я выбрала братьев Гольдбергов.

— Нас двое.

— Это я знаю.

— Ну и что?

— Ничего. Я не вижу никакой разницы. Мне что ты, что Виталька... — Таня развела руками. — Вообще-то я и отца вашего тоже очень люблю.

Гена привстал с подушки:

— Отца можешь оставить в покое. Он у нас жених.

— Да я ни на кого не претендую... Это же ты пристаешь с выбором. Впрочем, у тебя есть ход: можешь меня прогнать, — засмеялась Таня.

Он прижал ее голову к своему костлявому плечу, вспушил коротко стриженный затылок:

— Помнишь, как мы к вам в Звенигород приезжали? На речку ходили... На лодке катались... В бадминтон играли... А ты выросла и стала сучкой.

— Почему? — удивилась Таня. — Почему сучкой?

— Потому что тебе совершенно все равно, с кем трахаться.

Таня трепыхнулась, устраиваясь поудобнее:

— Мне не все равно. С некоторыми — никогда и ни за что. А с братьями Гольдбергами — пожалуйста.

— Я подумаю. Может, я уступлю тебя Витальке.

— Вот именно за благородство я и люблю братьев Гольдбергов, — хмыкнула Таня и заснула...

Гена еще что-то говорил и был глубоко изумлен, обнаружив, что Таня крепко спит. Простуда его удивительным образом прошла, он чувствовал себя совершенно здоровым и вполне несчастным. Говорить, судя по всему, надо было не с ней, а с братом. Только вот о чем?

## 10

В тех же днях на имя Елены Георгиевны пришло странное письмо. Ею вынула из почтового ящика Василиса вместе с газетами. Принесла Елене. Та взяла в руки официальный белый конверт со штампом, разбирать который она и не пыталась, и так, с нераспечатанным конвертом в руке, просидела до самого вечера, пока не заглянул к ней в комнату Павел Алексеевич. Она протянула ему письмо:

— Вот. Пожалуйста... Конверт... Это Танечке...

Павел Алексеевич взял конверт. На нем стоял штамп «Инюрколлегия». На белесой бумаге бледными буквами было напечатано, что Инюрколлегия извещает о розыске наследников Флотова Антона Ивановича, скончавшегося девятого января шестьдесят третьего года в онкологической клинике города Буэнос-Айреса и завещавшего половину оставшегося после него имущества своей жене Флотовой Елене Георгиевне и дочери Флотовой Татьяне Антоновне. Инюрколлегия сообщает также, что сведения о перемене фамилии и удочерении получены из загса города П., и вызывает Елену Георгиевну на переговоры по поводу оформления наследства, а также для уточнения статуса наследника для ее дочери Татьяны Павловны Кукоцкой...

Павел Алексеевич положил письмо на стол и вышел. Известие было ошеломляющим. Судя по этому официальному, казенным слогом написанному письму, Антон Иванович Флотов вовсе не погиб во время войны, а неизвестным образом уехал в Южную Америку и умер там спустя двадцать лет. Взволновала Павла Алексеевича не смерть этого неизвестного, имеющего к нему лишь косвенное отношение человека и тем более не сообщение о каком-то мифическом наследстве... Необходимость рассказать Тане о том, что ее родным отцом был другой человек, и рассказать именно теперь, когда их отношения и без того расклеились, тяжело навалилась на него.

В кабинете он сел за свой рабочий стол, позабыв на минуту, зачем пришел сюда. Пошарил автоматически руками на полке возле стола: руки лучше головы помнили о его нуждах, — вытащил полбутылки водки и небольшой, «ваккуратный», как любил говорить, стакан и выпил. Через минуту пришла ясность. Сейчас он расскажет все Елене, а потом вызовет Таню, откроет ей тайну отцовства, и пусть она тогда решает, что ей делать с этим наследством. О Василисе, единственном, кроме Елены, человеке, знающем Флотова, он и не вспомнил. Отцовство его, когда-то такое счастливое, оканчивалось скучным и пошлым образом: нашелся настоящий отец, впрочем, мертвый, и опрокинул все это ложное положение. Сердце защемило, как палец в двери. Он поморщился и допил остатки.

Вернулся в спальню. Елена сидела в кресле, молодая Мурка урчала у нее на коленях, как приближающаяся электричка, и, казалось, вот-вот загудит. При виде Павла Алексеевича Мурка замолчала и подвернула под себя распушенный хвост.

— Знаешь, Леночка, в этом письме содержится сообщение о смерти твоего первого мужа, Антона Ивановича Флотова. Получается, он не погиб на фронте, а попал в плен и потом оказался в Южной Америке... А умер он всего несколько месяцев тому назад...

Елена отозвалась живо и неожиданно:

— Да, да, конечно, эти огромные кактусы, эти колючки... я так и думала. Они опунции, да?

— Какие опунции? — насторожился Павел Алексеевич.

Елена рассеянно повела рукой, смутилась:

— Ты ведь никому не скажешь?

— О чем?

Она улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась за кошку, как ребенок хватается за руку няньки:

— Они огромные, с колючками, на красноватой земле... И был всадник, то есть сначала он был без лошади... Теперь я думаю, что это был он...

— Это тебе не приснилось?

Она улыбнулась снисходительной улыбкой, как взрослый ребенку:

— Что ты, Пашенька! Уж скорее ты мне снишься.

Елена давно не называла его «Пашенькой». Елена давно не говорила таким уверенным тоном. С тех пор как случился с ней ее последний приступ, несомненный и долговременный абсанс, выключение сознания, отменное и ею самой, и окружающими, голос ее звучал нетвердо, интонация речи вопросительно-сомневающаяся. Значит, эти ее выпадения сопровождаются ощущением дереализации... Что это? Ложные воспоминания? Гипнагогические галлюцинации?

Он взял ее за руку:

— А где ты видела эти кактусы?

Она смутилась, встревожилась:

— Не знаю. Может быть, у Томочки...

Павел Алексеевич еще раз пробежал письмо глазами. Почему при упоминании о смерти первого мужа она заговорила о кактусах? Никакой связи. Разве что упоминание о Буэнос-Айресе... Такой прихотливый ассоциативный ряд? И теперь она пытается скрыть это движение мысли, выставив на поверхность ложный аргумент? Хитрость сумасшедшего?

— Леночка, Тома терпеть не может кактусов. У нее нет ни одного кактуса. Где ты видела кактусы? Может, все-таки приснились?

Она еще ниже опустила голову, почти уткнулась в кошку, и он увидел, что она плачет.

— Деточка, деточка, ну что ты? Ты о Флотове плачешь? Это все было так давно. И это ведь хорошо, хорошо, что он не был убит... Перестань же плакать, прошу тебя...

— Колючки... вот они, колючки... Нет, не во сне... Совсем не во сне... По-другому... Не могу сказать где...

Онейроидное помрачение сознания, может быть? Сновидный онейроид, так, кажется, называется это болезненное состояние? Надо посмотреть в книгах по психиатрии. Самая зыбкая, самая расплывчатая из медицинских наук, психиатрия... Павел Алексеевич терялся перед болезнью своей жены, потому что не понимал. Расстройство самосознания... Какая-то особая злостная форма раннего склероза? Болезнь Альцгеймера? Пресенильная деменция? Где пределы этого заболевания?..

— Вероятно, Флотов попал в плен и стал перемещенным лицом, тысячи русских солдат не вернулись на родину, ты же знаешь. Может, все это к лучшему. Если б вернулся, посадили бы... — говорил Павел Алексеевич незначашие слова только для того, чтобы речь ее не замкнулась, как это часто с ней бывало.

— Ах нет, ты не понимаешь... Флотов был остзейский немец. Прадед его был из Кёнигсберга, фон Флотов, у него много родни там оставалось. Скрывал он...

— Да что ты говоришь, Леночка? Это просто поразительно... Значит, и он был из виноватых? Во времена моей молодости все, кто меня окружал,



ну, может, кроме нескольких идиотов или мерзавцев, знали, что за ними какая-то вина, и скрывались...

— Да, конечно. Я помню, как я впервые почувствовала это. Когда меня забрали родители от бабушки, из Москвы перевезли в колонию, под Сочи, весной двадцатого года. Я тогда увидела южную природу... И тогда же поняла, что мы, колонисты, каким-то плохим образом отличаемся от всех других людей... В общей столовой висел портрет Льва Николаевича. Масло написанный, очень нескладный портрет, блестел голый лоб, и развевалась борода, и рамка была кривая, меня это раздражало. И никто этого не замечал...

Павел Алексеевич слушал рассказ жены — связный подробный рассказ, с точными деталями. С анализом ситуации, критикой и способностью к осмыслению. Ни тени маразма. Ни о какой деменции и речи быть не может... Но почему два часа тому назад она сидела с кошкой и нераспечатанным конвертом, отвечала невпопад, миморечью, свойственной сумасшедшим, не контролировала самых простых движений, временами забывая, как держать ложку. Нет, не совсем забывала, но испытывала видимые затруднения в обращении с простейшими вещами. Не помнила, что ела на завтрак. И вообще, завтракала ли... Скорее эта картина напоминает псевдодеменцию. Мнимую утрату простейших навыков. Своеобразную игру сознания в прятки с самим собой... Нет, этой задачи мне никогда не разрешить. Может, Фрейда почитать. Покойная мать ездила году в двенадцатом в Вену, на психоаналитические сеансы к одному из учеников Фрейда. Как жаль, что я совершенно ничего об этом не знаю. Кажется, был у матери какой-то вид истерии... Павел Алексеевич поморщился: дура Василиса, настоящий его грех не в абортированных младенцах, двадцатиграммовых сгустках богатыми потенциями белка, а в тупой непреклонности, с которой он отверг второй брак матери, вместе с нею самой, белесой красавицей, благородно старевшей и умершей в Ташкенте в сорок третьем году от глупой дизентерии...

Елена, с чуткостью нервнобольной заметив молниеносную нахмуренность Павла Алексеевича, замолчала.

— Да, да, Леночка. Рамка была кривая... Ну, рассказывай же дальше...

Но она замолкла, как будто выключили ток. Снова погрузила пальцы в Муркину шкуру, заряженную живым, чуть потрескивающим электричеством, и полностью оторвалась от беседы, от письма, послужившего косвенной причиной разговора, от Павла Алексеевича, которого только что называла «Пашенькой»...

Павел Алексеевич знал, что вернуть ее обратно он не сможет никакими силами. Она проснется к общению через неделю, через месяц, через год. Иногда такие просветы длятся часы, иногда — дни. И эти временные просветления совершенно выбивают его из колеи, потому что Елена становится самой собой и даже напоминает скорее себя самое в те мифические времена, когда супружество их было полным и счастливым...

Так же было и в прошлый раз, три месяца тому назад, когда она с ним разговаривала о Тане, как будто проснувшись от болезни, и говорила горько, почти с отчаянием об отчуждении и потере, о пустоте и о мучительном бесчувствии, на нее нападающем, о неопишуемой растерянности от неузнавания мира... а потом речь ее прервалась на полуслове, и она уткнулась в кошку.

«Всегда кошка, — пришло в голову Павлу Алексеевичу. — В следующий раз, когда она снова заговорит, выгоню кошку в коридор... Как странно, кошка как проводник в безумие...»

— Леночка, так мы с тобой говорили о Флотове...

— Да, большое спасибо... Мне ничего не надо... Да, все в полном порядке, прошу вас, не беспокойтесь... — лепетала Елена, обращаясь не то к Мурке, не то к кому-то еще, кто мнимо присутствовал в ее пыльной, непрозрачной комнате...

## 11

Веснами Таня, как Александр Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала: бессилие, усталость, постоянно липнущая простуда. На этот раз к обычному весеннему недомоганию прибавилась непреодолимая сонливость и отвращение к еде.

Жила она теперь на Профсоюзной, в квартире Гольдбергов. Витальку, как только у него закончился бюллетень, немедленно уволили по сокращению штатов. Он перебивался переводами. Как его отец в былые времена, он брал работу в нескольких реферативных журналах, обычно через подставных лиц, пытался писать статьи в популярные журналы, и дважды его маленькие заметки о новинках западной науки и техники были опубликованы в «Химии и жизни». Тоже по знакомству.

Таня, едва удерживая тошноту от кухонных запахов, готовила еду и спала по четырнадцать часов кряду. Иногда, восстав от спячки, собиралась в Обнинск — проведать Гену. Он заканчивал свою скоропалительную диссертацию, ждал с минуты на минуту какой-то неприятности от первого отдела, но за него стоял горой научный руководитель, друг старшего Гольдберга, физик и в прошлом, как и Гольдберг, зек. Однако, несмотря на все научные достижения и авторитет, руководитель был не царь и не бог, и до последней минуты не ясно было, дадут ли Гене защититься.

Таня гуляла день-другой по апрельскому прозрачному лесу, подсвеченному разноцветными, готовыми раскрыться почками, потом пару раз приезжала уже в мае, посмотреть на юную зелень. От свежего воздуха она быстро уставала, засыпала крепким сном и не придавала особого значения тому, что пришедший из лаборатории Гена ложился с ней рядом. Это дружеское соитие имело не большее значение, чем их совместный завтрак, после которого он провожал ее на автобус и убегал в лабораторию...

Прожив в таком режиме месяца два, Таня спохватилась, произвела кое-какие женские расчеты, до которых никогда прежде не снисходила, и пришла к интересному заключению. Ничего подобного за пять лет постельной практики с ней не случалось, и открытие это поначалу ее ошеломило.

Среди подруг Вики-Козы постоянно обсуждались прикладные гинекологические проблемы, связанные с контрацепцией, абортами и их обезболиванием. Таня хранила при этом выражение такой полной незаинтересованности, словно была девственницей или старухой. Беременность оказалась для нее не радостью, не огорчением — а интересным событием. Совершив открытие, она проспала почти сутки, во сне смирилась с этим занятным обстоятельством и объявила Витальке, который как раз попался под руку.

— Ах ты черт! — огорчился он. — Я, конечно, козел, но и ты хороша... Но ребенок по теперешним обстоятельствам — это уж слишком.

— Ты думаешь? — неожиданно для самой себя обиделась Таня, которая и сама еще не решила, как ей относиться к возможности появления ребенка. — Мне что, аборт делать?

Виталик молчал. Слишком долго.

— Кажется, я не хочу.

Виталькина долгая пауза оказалась решающей, потому что за минуту до этого Таня совершенно не знала, чего она хочет.

— Да не нужен нам ребенок, — довольно решительно объявил Виталик. — И рука не совсем еще разгибается...

И тут Таня смертельно обиделась за своего будущего ребенка, вскинула свои рисунчатые брови и усмехнулась:

— Надо у Генки спросить. Может, он хочет?

Виталик, полагавший в глубине души, что Таня принадлежит главным образом ему, а Гену навещает по сложившейся традиции и по его, Виталика, молчаливому на это согласию — нечто вроде сексуальной благотвори-

тельности в пользу брата, — посмотрел на Таню обалделым взглядом: такого поворота он не ожидал. Ему как-то и в голову сначала не пришло, что предполагаемый ребенок может оказаться ему племянником...

— Послушай, а кто отец ребенка?

Взяв себя за правило не скрывать мыслей и говорить правду, Таня улыбку на четверть дюйма шире, чем обычно:

— Братя Гольдберги, Виталик. Братя Гольдберги. По теперешним обстоятельствам, мне кажется, вдвоем вам будет не так тяжело управиться.

Таня тут же, слова не сказав, начала собирать сумку. Виталик, так же слова не сказав, проводил ее на автобус, которым она обычно ездила в Обнинск.

Гена повел себя взвешенней и взрослей.

— Я полностью в твоём распоряжении, Танька. Единственное, что я не могу сейчас сделать, — это уехать из Обнинска до конца этой чертовой работы. Во всем остальном — как тебе удобнее. Если хочешь, можешь сюда переехать, хотя бы до осени. Если хочешь расписаться, то сделаем это здесь, не в Москве.

— А почему не в Москве? — спросила Таня, ожидавшая какого-то подвоха.

— Два дня потеряю для работы. Я же говорю тебе, большая горячка.

— А-а, — удовлетворенно кивнула Таня.

О Витальке Гена не упомянул. И Тане это понравилось. Она была готова выйти замуж за одного из братьев Гольдбергов, и теперь выбор для Тани определился — Генка...

Однако все произошло не по-задуманному. Когда Таня через три дня вернулась из Обнинска, Виталик был озабочен новой обрушившейся на него проблемой: пришла повестка из военкомата... Ясно было, что наказывали таким образом Гольдберга-старшего...

Решение напрашивалось само собой — отсрочка от призыва лежала непосредственно в Танином животе. Надо было только поскорей расписаться и взять в консультации справку о беременности.

— Надо так надо. Какой разговор, Виталик? Только имей в виду, что в мужья я все-таки выбираю Генку.

Виталик улыбнулся криво:

— Ты хочешь сказать, что у нас с тобой будет фиктивный брак?

— Я так вопрос не ставлю. Но если хочешь, назовем так.

Весь вечер они соревновались в остроумии, кто кому кем будет приходиться в результате этой матримониальной операции. Таня назначила Виталика отглагольным прилагательным, будущего ребенка полуплемянником, а их брак — Тройственным Союзом.

Нахохотавшись и поужинав, они легли спать все на той же выпирающей железными ребрами многострадальной кушетке и уснули в тесном объятии, совершенно не озабоченные некоторым нравственным неблагополучием, заметным взгляду стороннего наблюдателя, но никак не членам этой своеобразной семьи.

Назавтра сбежали в загс и подали заявление. Бракосочетание назначили на начало июля. В военкомат Виталик не пошел. Из соображений предосторожности решено было, что он уедет на время из Москвы. Он быстро собрался, набил сумку словарями и, прихватив половину немецкого учебника по клинической биохимии — один из сотрудников отца поделился с ним лакомым переводом, — уехал в Полтаву к тетке по материнской линии. Без звонка и предупреждения...

Рассчитано все оказалось безукоризненно. Через два дня после отъезда Виталика пришла еще одна повестка, а на следующий день, в семь часов утра, загрохотали в дверь. Таня впустила в квартиру трех мужиков — двух военных и одного милиционера. Пришли забирать Витальку в армию.

— Хозяин в отъезде. Ничего не знаю. Кажется, на Урал уехал работу искать... — Это было все, что им удалось извлечь из Тани...

После отъезда Виталика Таня полюбила свою беременность. Даже не ребенка, который должен был родиться, а именно это состояние содержательности в буквальном смысле этого слова. Обычно невнимательная к своему здоровью, теперь она прислушивалась к малейшим пожеланиям организма, постановила себя баловать, делая все приятное и полезное. Пила по утрам сок, не магазинный, а собственноручно изготовленный, завела на окне производство кефира из какого-то особо целебного молочного грибка, несколько дней в неделю проводила в Обнинске, у Гены. Там она часами гуляла по лесу, нагуливая себе румяный загар, гемоглобин и приятную усталость. Сонливость сменилась токсикозом. По утрам она сосала кислую карамель, во второй половине дня тошнота обычно отпускала. Живот, к Таниному огорчению, совершенно не рос, хотя она постоянно испытывала тугую наполненность изнутри, не имеющую ничего общего с вульгарным состоянием человека, съевшего два обеда враз. Зато грудь заметно увеличилась, соски выпятились, как кнопки дверного звонка, и из розовых стали коричневыми. Таня терла их жесткой мочалкой — где-то вычитала, что именно так надо готовить грудь к будущему кормлению. Гена присасывался к потемневшему соску. Ему нравилось, как твердел сосок от его прикосновения. Тане тоже нравилось это совершенно новое ощущение.

На имя Виталия пришли еще две повестки из военкомата. Звонил какой-то капитан, пугал и грозил. Таня строила из себя дурочку.

Изредка Таня навещала домашних. Объявила, что беременна и собирается замуж. Елена никак не отреагировала на это сообщение. Тане показалось, что мать ее не услышала. Но это было не совсем так, потому что вечером того же дня Елена сказала мужу, что Таня родит Танечку. Привыкший к известному хаосу в ее сознании, Павел Алексеевич не придал особого значения этому смутному сообщению, про себя подумав, какие сложные процессы проходят в сознании жены: видимо, сообщение о Флотове зацепилось в каких-то глубоких слоях коры, и теперь она вспомнила о том времени, когда ждала дочку. Себя же идентифицирует с выросшей Таней. Письмо из Инюрколлегии все еще оставалось без ответа. Елена была не в состоянии не то что отвечать, но даже высказать свое отношение к наследству. А Тане Павел Алексеевич так ничего и не сообщил: никак не мог подобрать подходящий момент. Для него-то речь шла не о наследстве, а о гораздо более важной вещи.

В один из поздних светлых вечеров в начале июля, когда Таня, застав отца дома в приятно-хмельном состоянии, оповестила его о своем предстоящем замужестве, он решил заговорить с ней об этом злополучном наследстве. Он усадил ее в кабинете, положил перед собой слегка замусоленный конверт и прежде, чем отдать его, рассказал, как познакомился с ее матерью, как оперировал ее и женился вскоре после ее выздоровления.

— Переехали вы ко мне, Таня, в тот самый день, когда пришла повестка о смерти человека, который прежде меня был мужем твоей мамы.

У Тани глаза полезли на лоб: она и не предполагала, что мать была за кем-то замужем до Павла Алексеевича.

— Тебе, Танечка, было в то время два года. Родным твоим отцом был Антон Иванович Флотов. Я же тебя удочерил сразу же после того, как мы поженились. Наверное, я должен был сказать тебе об этом раньше...

— Папочка, да какое же это имеет значение? — Она увидела волнение Павла Алексеевича, и вся ее детская любовь к нему, как солнышко в небо, вошла в ней в эту минуту...

Она обхватила его лусую круглую голову, поцеловала в мохнатые брови, в нос. Вдохнула его родной запах, который всегда ей так нравился. — смесь медицины, войны и алкоголя, — зажмурилась, зашептала:

— Какой еще Флотов, какой еще Пароходов... Ты с ума сошел... Ты мой самый настоящий, самый любимый слон, папка, дурак старый... Мы с тобой похожи ужасно... ты мое самое во мне лучшее... прости, что я вас бросила... я люблю тебя ужасно и маму люблю. Я только жить с вами не могу... Папка, я беременна, я рожу скоро тебе внука... Здорово, да?

У него никогда не было своих детей. Об этой минуте он знал понаслышке, хотя много раз жаждущие детей мужчины узнавали об этом событии от него и именно благодаря его полубожественному участию и становились отцами. Его приемная дочь сообщила ему, что родит, и грудь его наполнилась горячим воздухом счастья, а будущий ребенок оказался в единый миг и желанным, и долгожданным.

— Доченька моя, неужели вот до чего мы дожили... Неужели я приму внука? — старческим, расслабленным голосом сказал Павел Алексеевич, и Таня вдруг увидела, как он сдал за последние годы, и, окончательно расчувствовавшись и тут же на себя за это рассердившись, вздернулась:

— А почему ты не спросил, за кого я выхожу? Я выхожу за братьев Гольдбергов.

— Да какая разница? Пусть за Гольдбергов. Главное, чтобы ты была счастлива. — Он действительно с трудом различал братьев и всегда подшучивал, что один из братьев немного умнее, а другой немного красивее, но он всегда забывает, кто именно...

Никакого подвоха в этом сообщении он не почувствовал. После многих лет жизни под горку, вниз — и дома, и на службе — он впервые ощутил подъем радости: Таня от него не отказалась, и обещано было обновление всей жизни через ребенка, который будет его и Илюшиным внуком. Не чудо ли?

— Да, вот тебе извещение о наследстве. — Он протянул ей конверт. — Твой отец Флотов, как выяснилось недавно, не погиб тогда на фронте, а попал каким-то образом в Аргентину и умер сравнительно недавно. Наследников разыскивают.

— Он что, только после смерти обо мне вспомнил? А раньше? Нет, пап, я не хочу ничего. Мне не нужно. — Она отодвинула от себя конверт и никогда в жизни об этом не вспомнила...

## 12

В начале июля Гольдберги женились: Виталька в Московском дворце бракосочетаний расписался с Таней, Илья Иосифович в мордовской зоне зарегистрировал брак с Валентиной.

В лагере обошлось без декоративных свидетелей — только начальник по режиму и приехавший из Москвы адвокат, который и добился разрешения на тюремный брак. Брак Виталика и Тани был засвидетельствован Геной и Томой. Невестой выглядела Тома — в розовом платье и белых туфлях на трудных каблучках. Таня и не думала принарядиться, но нельзя сказать, что она полностью проигнорировала особенность момента — отметила его покупкой трех совершенно одинаковых мужских рубашек в желто-белую полоску, и выглядели они в этих рубашках как детдомовские: коротко стриженные, худые, одинаково одетые и одного роста.

Тома была разочарована — ни свадьбы, ни подарков, ни веселья. Ей хотелось богатой торжественности и большого гулянья, но именно этого как раз и не выносила Таня. Единственный свадебный подарок, апельсиново-розовая орхидея, за которой Тома ездила накануне к знакомой в Ботанический сад, заменила архаический флердоранж. Этот несделанный фотоснимок — братья Гольдберги и Таня между ними с вялой нетвердой веткой, склонившей три больших цветка, львиные головы с гривами, пастями и лопастями более светлого нимба, редкость из редкостей, — сохранился на всю жизнь в Томиной памяти.

Впрочем, еще один подарок получил Виталик. Когда новобрачным выписали на радужной бумаге свидетельство о браке, Таня достала из кармана желто-белой рубашки сложенную вдвое справку из женской консультации — о беременности сроком в восемнадцать недель. Два этих документа в совокупности давали право на отсрочку от прохождения армейской службы.

Отвергнув решительно и последовательно все казенные услуги, от марша Мендельсона до дорогостоящего шампанского, и ограничившись лишь напыщенным поздравлением мордюковообразной сотрудницы под красным знаменем, в красном же костюме и с красной атласной лентой через жирное плечо, ребята вышли на парадные ступени дворца, присели и выпили из горлышка бутылку рублевой кислятины «Ркацители», после чего Гена проголосовал проезжающему мимо такси, они с Таней сели в него и уехали.

Ошеломленная Тома, не вполне осведомленная об истинном положении дел, спросила у меланхоличного молодого мужа:

— Куда это они?

— Да в Обнинск. Она там собиралась недельку пожить...

В Обнинске Таня прожила не недельку, а целых две. Вернулась в Москву, сразу же поехала домой. Соскучилась. Елену нашла все в прежнем состоянии, но очень бледной и вялой, и даже попыталась уговорить ее выйти на улицу, погулять. Елена этого предложения так испугалась, что начавшийся было связный разговор сразу застопорился, и она залепетала жалкие нескладные слова:

— Если вас не затруднит... Нельзя ли мне туда... Надо спросить у ПА. Не правда ли?

Таня ужаснулась: болезнь матери была какая-то особая, ни на что не похожая, и привыкнуть к этому было невозможно.

Потом пришел Павел Алексеевич, обрадовался отдельно Тане, отдельно ее тронувшемуся в рост животу:

— Идем, расскажу тебе про нашего мальчика.

Оба они ни на минуту не сомневались, что родится у Тани именно мальчик, и Таня всякий раз, когда они встречались, просила отца рассказывать ей, как ребенок должен сейчас выглядеть.

Она уселась на кушетку, поджав ноги и расстегнув пуговицу джинсов, он — на круглый табурет рядом.

— Ну, расскажи, — попросила она.

— Значит, так. Во-первых, я уверен, что он уже что-то чувствует. По народным представлениям, душка в него влагается на середине беременности. То есть двигаться и чувствовать он начинает одновременно.

— Ну нет, я гораздо раньше чувствовала, как он пальчиком изнутри по мне водит, — возразила Таня.

— Ну, значит, наш мальчик раннего развития. Я же тебе про средний случай рассказываю. Твой малыш сейчас плавает и понятия не имеет, где верх, где низ. Головка большая, покрыта шерсткой, и, если раньше она была белесая, теперь потемнела. Он довольно рослый, набрал больше половины своего роста, сантиметров около тридцати, а весу всего фунта полтора. Худенький. И кожа у него сейчас морщинистая, подкожного жира нет. Но ему сейчас не до жира. Покрыт пушком, и уже образуется смазка. Личико приобрело определенные черты. Он уже похож на тебя, я надеюсь, на тебя. Но самая главная работа происходит сейчас в нервной системе. Чтобы все его органы начали работать, нужна очень сложная программа. Она сейчас образуется. Как — не знаю. И не спрашивай. Никто не знает. Я очень многого не знаю из того, что там происходит. Но кое-что — знаю. Мне кажется, что он уже обладает самосознанием, именно в эти дни зародилось у него чувство «я». Ощущение отдельности себя от остального мира. А остальной мир — это ты, моя радость. Потому что ника-

кой другой мир ему до рождения не будет ведом. С мужчинами такого не бывает. Мужчина никогда не бывает космосом. А беременная женщина, во второй половине беременности по крайней мере, представляет собой закрытый космос для другого человеческого существа. Знаешь, дорогая моя, мне всегда казалось совершенно естественным существование таких видов животных, у которых самка погибает немедленно после рождения потомства. Космос рождает космос, на что же нужен ущербный мир? Это я так, глупости говорю. Он плавает сейчас, как лодка на привязи, туда-сюда. Подвешен на кордоне, на пупочном канатике, и слушает, наверное, как плотные волны ходят, густая влага обтекает его бока, поджатые ноги. Они у него скрещены, он почти в позе лотоса. И ногти на ногах уже завязываются. Ушная раковина сформировалась, но она еще кожистая, хряща нет. И знаешь, ушки довольно большие у него. Интересно, слышит ли он то, о чем мы говорим. Знаешь, я этого не исключаю. Твоя мама уверена была, что большая часть того, что она знала, даже про свое черчение, она узнала еще до рождения. Про себя я ничего такого сказать не могу. Но ведь мужчины — существа более грубо организованные, чем женщины. В биологическом смысле женщина, как я думаю, существо более совершенное. Я думаю, что наш мальчик уже испытывает смену настроений. Иногда он бывает недоволен, иногда радуется. Например, ты съешь что-нибудь вкусное, и часа через полтора до него доходит вкус клубники или винограда.

— А он уже улыбается? — перебила Таня отца.

— Не думаю. Мимические мышцы начинают работать позже. Вообще, по моему наблюдению, у младенцев мимика довольно бедная и несколько хаотическая. Я хорошо знаю некоторое их общее выражение — сосредоточенности и замкнутости...

— А какое ему можно доставить удовольствие, как ты думаешь? Может, сводить его на концерт?

— Ты доставляй сама себе побольше удовольствий, я думаю, что и ему это будет приятно, — посоветовал Павел Алексеевич дочери. Он и представить себе не мог, в какую сторону увлечет Таню его невинная рекомендация.

### 13

Коза получила наследство от старшей из тетюшек и немедленно забодала его. Вернее, забодала она только упаковку, толстую серебряную шкатулку Фаберже, с псевдогреческим женским профилем и тремя желтыми алмазами на крышке. Шкатулка была позднего модерна, вычурная, воплощала собой представление лакея о настоящей роскоши. Зато содержимое шкатулки, прелестные украшения из жемчуга и аметистов, не очень большой ценности, но чудесной работы, имело родословную: свадебный подарок прабабушке от одного из князей Юсуповых.

За шкатулку Козе заплатили большие деньги, приблизительно одну сотую той суммы, за которую она ушла впоследствии на аукционе в Лондоне. Но этого Коза никогда не узнала, а пятьсот рублей были о-го-го какие деньги. Получив их с рук на руки от знакомого директора комиссионного магазина, она взяла такси, поехала на наемную дачу, где маялся с двумя оставшимися тетюшками и родной бабушкой, матерью Козы, ее сын Миша, забрала ребенка и, переплатив чуть не вдвое, купила билеты на юг.

Таня пришла к ней на следующий день, утром, соскучившись по ее веселой болтовне. До отъезда оставалось еще часов шесть, и Коза соблазнила Таню ехать вместе.

— Билеты не проблема. В крайнем случае устроим тебя у проводника. — Коза помахала перед носом Тани толстенькой пачкой денег.

В восьмом часу вечера они сели в поезд, а еще через час, когда мелкие дачные станции, подморгнув поезду, остались позади, они, перевероршив весь вагон, уже сменялись в одно купе и расположились в нем со всей воз-

можной роскошью. Среди Козьих дарований была способность мгновенно обживаться, и она, не жалея сил, тащила с собой целый чемодан лишних, с точки зрения Тани, вещей: скатерки-салфетки, домашние чашки, даже медную ручную мельницу для кофе... В Таниной тощей сумке болтался купальник, кое-какое бельишко и широченный сарафан с запасом на будущий живот. Даже полотенце она не взяла, намереваясь купить его на месте...

Что это было за место, куда они ехали, тоже было не совсем известно. Заходившая к Козе накануне заказчица-артистка, демонстрируя густой красноватый загар, обливший даже подмышечные ямки и изнанку ляжек, расхваливала Днестровские лиманы, откуда только что приехала. Коза, белокожая и веснушчатая, всю жизнь плохо загоравшая, впала в острую зависть, решила отведать того же лиманского солнца, и теперь они ехали в те приблизительно места, которые проклинал ссыльный Овидий...

Путь их лежал через Одессу. В Одессе, на перевалочном пункте, их должна была встретить мать одной из Викиных подружек, устроить у себя на ночевку и отправить на следующий день дальше автобусом, через Аккерман на песчаную косу между лиманом и берегом моря...

Приехали в Одессу под вечер. Их встретила огромная, размером с диван, тетка, Зинаида Никифоровна, обитая шелковой цветастой тканью. Грудастая Коза рядом с ней казалась воробышком, и тетка сразу же прониклась к ним снисходительной нежностью. Она поволокла их «на фатеру», в две смежные комнаты коммунальной квартиры, знавшей лучшие времена. Зеркало в золоченой раме занимало простенок между двумя венецианскими окнами и отражало шеренги трехлитровых банок с заживо сваренными нежными фруктами, предназначенными для скоростного хрумкового пожирания. Дом ломился от еды и питья, и «щирая» хозяйка, не дав умыться, стала метать на стол... Мишка засыпал над тарелкой, и Зинаида Никифоровна, разочарованно махнув на него рукой, велела его укладывать. Как у всех приморских жителей, у нее был запас раскладушек и постельного белья для немереных приезжих родственников. Пока хозяйка стелила Мише на раскладушке в смежной комнате, Коза шепнула Тане:

— Ну, мы попали...

Но они не догадывались, какие приключения их еще ожидали.

Мишка мгновенно уснул. Зинаида Никифоровна объявила им, что все зовут ее просто «мамой Зиной», что сейчас она должна идти на работу и предлагает им пройтись по вечерней Одессе, потому что другого такого города нет на свете...

Они вышли на затопленный людским наводнением бульвар, ощущая избыточную густоту южного вечера, теплый воздух, сплюснутый громкими ржущими голосами, волны пищевых и пивных запахов, слегка приправленные блевотиной. Поверх всего этого плыла одесско-советская радиомузыка, блатная, хамская, но не лишенная обаяния.

Дерибасовская толпа почтительно обтекала маму Зину, разбивалась перед ее головогрудью на два рукава, а Таня с Викой, пришвартовавшись к ее мощным бокам справа и слева, изредка переглядывались, еле сдерживая смех. Дело в том, что мама Зина, не закрывая золотозубого рта, говорила о литературной Одессе.

— Возьмем Бабеля и Ильфа-Петрова, и даже возьмем Багрицкого и Катаева, и пусть даже эту Маргариту Алигер и Веру Инбер. И если их вычтем, что у них останется? Нам нужен их Шолохов? Нужен их Фадеев? Бунин здесь жил. Даже Пушкин говорил за Одессу! Вот здесь! — провозгласила она, остановившись перед respectableм входом гостиницы «Лондонская». — Здесь я работаю. И мы пойдем со служебного входа.

Это был клуб моряков. Интернациональный. Валютный. Ночной... И мама Зина здесь стояла на пиве...

— Эти — со мной, — сказала она, втискиваясь в узкий коридор, белесому сундукообразному мужику, вывернувшемуся из темного угла. Он кив-



нул. Они вошли в зал. Там было военное затемнение и тихо играл пианист. Несколько моряков, не успевших еще набраться, лениво пили пиво, две крашенные шалавы сидели за угловым столиком и шикарно тянули что-то через соломинки.

Разговаривали тихо, рыбой не воняло. Даже мама Зина как будто частично потерялась за отдельной пивной стойкой. Пиво было отечественное, а деньги самые настоящие, валютные. На такую работу не всякого ставили, только самых доверенных. Мама Зина такой и была — по всем швам прошупанная органами, до самой матки, с довоенных еще времен, партизанка, подпольщица. Она и здесь своим партийным глазом приглядывала за порядком. Что же касается этих девчонок, подружек ее дочери, удравшей в столицу, пусть посидят, поглазеют, с морячками погуляют, потанцуют...

Пианист наигрывал тихонько что-то ненашенское, но по-своему душевное. Раньше Зинаиде Никифоровне не нравилась эта новомодная музыка, а потом стала нравиться. Джаз здесь играл.

Пришел ударник, расставил свои барабаны. Начал пристукивать. Самый заводной был с трубой. Но он запаздывал.

На улице темнело, в клубе же светлело. Прибавилось народу. Много здесь редко бывало.

Таню тянуло в сон. Пианино славно брэнчало все одну и ту же мелодию, но с разных боков, музыкально довольно интересно, слегка дурманно, и неохота было вставать. Потом раздался трубный глас. Он прорезал фортепьянное бормотание драматичным и горьким звуком. Таня развернулась к эстраде. Невысокий худой мальчик держал двумя руками саксофон, и казалось, что инструмент хочет вырваться, а он его от себя не отпускает. Какая это была мучительная музыка... от нее было сладко-больно, солоно-горько, печально-радостно... Это были импровизации по поводу старой пластинки Майлса Дэвиса «Около полуночи», и саксофон шел по драматичному следу Колтрейна, но Таня пока этого не знала.

Музыканты играли как будто немного вразнобой, ударник стоял на месте, пианист то уходил вперед, то призадерживался, а саксофон шел своей отдельной дорогой, и они иногда как будто случайно встречались, переговариваясь в точке встречи, и возникал вопросно-ответный диалог, непонятно о чем, но о важном... Они все играли точно и тонко, но саксофонист был лучше всех... Вокруг него вертелся ветер, развевая его прямые светлые волосы, и Тане все хотелось подставить лицо под звук его саксофона...

Она даже не заметила, как Коза ушла танцевать с иностранным морячком, хлипким и слишком интеллигентным для такой мужественной профессии. К Тане тоже подошел какой-то хмырь, она испуганно дернулась: нет, нет. Тот отошел. Коза все танцевала со своим хлипеньким и даже оживленно говорила что-то на немецко-французской смеси, кое-как совмещающей с его англо-шведским...

«Зачем я тогда бросила музыку? Прав был отец: сидеть у рояля, она течет с твоих пальцев, а ты только вместилище, передаточный механизм между нотным листом и звуками... Не помню, почему бросила... Из-за Томочки, вот почему... Комсомольское сознание идиотки... Да и музыка была не та. Такую музыку, как эта, не бросила бы... Вот это и вот это, — отмечала она вздохи саксофона и сердцебиение ударника... — Почему меня поволокло в научную сухотку? Занималась бы музыкой... какой выразительный саксофон! Никогда не обращала внимания на то, что у него голосовая интонация. Или музыкант талантливый? Да, скорее всего...»

Швед проводил их до Зинаидино дома. Они понравились друг другу, но ясно было, что в этот вечер и кончится все то, что не успело начаться. Он подарил Козе подарок, начатую записную книжку, в черной коже, шикарную. Больше у него ничего не было. На первой странице написал свой

адрес. Рюне Свенсон. И все. Потому что наутро корабль его уходил бог весть куда и навсегда. Жаль было.

Дверь открыла Зинаидина сестра, которая жила в той же квартире и сторожила Мишкин сон. Когда вернулась мама Зина, работавшая до трех, все спали. Утром она проводила гостей на автобусную станцию, и они уехали по пыльной плоской дороге. Сидя в тряске и жарком автобусе, Таня вспомнила, что ночью ей снился сон со вчерашней музыкой, но крупней размером, и исполнялась она совершенно необычными по звучанию инструментами...

Одесса с пригородами кончилась минут через сорок, началась пыльная ухабистая дорога, поля, убитые жарой, сгоревшая кукуруза и ковыль. Первой растрясло Козу, она накануне увлеклась со шведским товарищем не только танцами, но и экзотического состава коктейлями, которые в ее русском желудке топорщились и без тряской дороги. Потом затошнило Мишку. Таня держалась всех крепче, но на третьем часу болтанки, годной разве что для тренировки космонавтов, а не для нежных существ, отчасти и беременных, и она расклеилась.

Вылезли они из автобуса у ряда беленых халуп, серых от пыли садов и помидорных огородов. Называлось это чудо природы поселок Курортное. Ни о каком «куре» не могло быть и речи. Были все те же пыльные поля, море категорически отсутствовало. Словом, кроме жары и свирепого солнца, не было ничего. У проходящей мимо тетки с ведром, полным помидоров, они спросили, где тут море.

— Да вона, — неопределенно махнула она. — А вы на квартиру?

— На квартиру.

И тетка повела их к себе. Но по дороге встретились еще две. Они остановились, быстро и не совсем понятно трещали на русском, но не вполне узнаваемом языке. После чего первая тетка передала их с рук на руки другой, и другая повела их в новом направлении. Обнаружились чахлые кипарисы, а за ними нечто курортное. Это был дом отдыха, позади которого снова произрастали беленые домики, и в один из них привели приезжих. Сняли отдельный домик в огороде, возле дощатой уборной и с жестяным умывальником, приколоченным огромным ржавым гвоздем к нелепой одинокой стене, оставшейся от разрушенного сарая. Вокруг домика простирались грядки с помидорами редкого сорта «бычье сердце» — лилово-багровыми огромными красавцами, скорее фруктами, чем овощами... Это и была единственная местная достопримечательность, лучший здешний деликатес, он же и почти единственная пища людей, свиней и кур. Из помидоров варили борщ, варенье, выпаривали из них пасту, сушили и гноили. В местном магазинчике, как выяснилось на следующий день, не было хлеба, масла, сыра, молока, творога, мяса и еще много чего, но продавалась низкосортная мука, растительное масло, рыбные консервы и шоколадные конфеты... Пока что, поев дорожных припасов, выданных мамой Зиной, они отправились искать море, которого до сих пор еще не видели и про которое хозяйка, махнув рукой, сказала: «Да вона!»

Они пошли в указанном направлении по выбитой среди ковылей тропинке и дошли до крутого обрыва. Земля кончилась, началось море. Оно невидимо и неслышимо плескалось далеко под ногами и плавно переходило в небо в сером слепом мареве, без намека на линию горизонта.

Вниз шла земляная лестница, кое-где укрепленная шестами. Таня с Козой свели по ней упирающегося Мишку, который был трусоват и довольно неповоротлив. Одолев метров тридцать осыпающихся ступеней, оказались на песчаном берегу, совершенно безлюдном и трогательно-унылом, как берег необитаемого острова.

— Потряс, — сказала Коза.

— Конец света, — подтвердила Таня.

— Здесь ничего нет, — разочарованно заныл Мишка.

— Чего здесь нет? — удивилась Коза.

— Где мороженое продают и вообще, — объяснил Мишка свое недомыслие.

Море было мелкое, теплое, серое... Прикидывалось смирным, ручным, как будто не оно обрушило здешний берег своими осенними штормами и отъело у здешних мест многие километры бесплодной, но твердой земли...

Они купались, учили Мишку плавать, построили лабиринт из мокрого песка, потом заснули и проснулись под вечер, когда солнце утихомирилось и с моря подул ветерок...

Хозяйка, повариха из местного дома отдыха, оказалась просто клад. Она отвела их вечером на кухню, показала погреб, где на полке стояли в стеклянных банках залитые соленой водой куски сливочного масла и пирамиды из тушенки, насущного хлеба советского человека.

— Берите, потом рассчитаемся. Вы с дитём, — великодушно предложила хозяйка.

Отдых устраивался шикарно: за всю жизнь они не съели такого количества свиной тушенки и сливочного масла, сколько за эти странные две недели южного отдыха. О помидорах и говорить нечего — после этого лета они узнали, что тот продукт, который продают под именем помидоров во всех других местах, не имеет к ним никакого отношения.

Однако главное открытие они сделали еще через три дня, когда, наскучив печальным еле живым морем, вышли наконец к лиману.

Песчаная коса, местами поросшая тростником и полынью, тянулась на много километров, омываемая с одной стороны все тем же вялым морем, а с другой — стоячей водой лимана, вернее, одной из его длинных стариц. Весь здешний край удивительным образом напоминал эту небольшую косу: заброшенный, почти безымянный, отрезанный от собственной истории и чуждый настоящему времени. Это была окраина бессарабских степей, площадка древнего мира, истоптанная скифами, гетами, сарматами и прочими безымянными племенами. Некогда окраина Римской империи, теперь пустошь другой, современной империи. Несчастливая, покинутая всеми богами, родина белесого ковыля и мелкой душевной пыли...

Уже покрытые солнечными ожогами, Таня с Викторией в длинных сарафанах, накрыв малиновые спины полотенцами, волокли за собой Мишку в пижамных штанах вдоль безлюдного берега, пытаясь найти место, где можно было бы укрыться от прямых солнечных лучей. В полдень никто, кроме приезжих, на улицу не выходил — местные люди жили по южным законам, норовили, вне зависимости от расписания работы, устроить в это время сиесту...

Нашли холмик с тремя кустами, под которыми дрожал намек на тень. Легли на горячем песке. В поперечнике коса в этом месте была метров сто, тропа пролежала ближе к лиману, и, отдышавшись, они искупались в его пресной воде. Вода была мало сказать теплая — горячая. Нашли привязанную в камышах полузатопленную лодку, которая надолго заняла Мишку. Утки с подросшими утятами сновали вдоль берега, привычные к жару, к теплой воде, к сытости. Мелководье кишело мальками — как в консервной банке с рыбными консервами. Только без томата. Заросли тростника полнились живым шуршанием, кто-то там сновал, шебуршился, издавал звуки. На маленькой песчаной отмели наследили неведомые разнокалиберные лапы, и Мишка склонился над ними, изучая письмена.

Таня сложила руки на животе, постучала пальцем:

— Тебе хорошо? Ты доволен?

И поняла, что да, хорошо...

Запасливая Коза, тащившая с собой кроме воды и еды еще и пухлый том, пристроила голову в жидкой тени и раскрыла книгу. Стала читать вслух:

«Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая

же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор...»

Таня заглянула через плечо:

— Толстой? Перечитываешь? Зачем?

— Честное слово, не знаю. Тянет. Почти каждый год, обязательно летом. Вот так, на пляже. В поезде... Во саду ли, в огороде... Вроде как родственника навестить. Из чувства долга. Но и по любви тоже. И скучновато. И необходимо.

— Да, да. Знаю. И мама моя вот так же всю жизнь Толстого читала. Ее отец, мой дед, был толстовец или что-то в этом роде. Его расстреляли.

— Да что ты? Толстовцев тоже брали? — удивилась Коза.

— А как же? Обязательно... — Она закрыла глаза. Увидела неожиданно яркую картину — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба... — Я не люблю его. Нет, не так. Вот он пишет, что не верит в музыку Баха, в любовь женщин, в красоту гор, и ты с ним готов согласиться. А он — раз! — напишет вдруг три предложения о красоте гор, так что бьет тебе по глазам... И все переворачивается...

Она перекатилась со спины на живот, уперлась локтем в песок:

— Спасибо тебе, что ты меня в эту дыру вытащила. Место, конечно, потрясающее... Безлюдье...

В действительности отдыхающих было довольно много, их можно было наблюдать по утрам на местном базарчике — жители Запорожья, Донецка, Кишинева. Особенно много отдыхающих подъезжало к концу недели. Но все они дружно группировались на двух пляжах — санаторном и, как его называли, общем... Молдаване с вислыми усами, украинские шахтеры, багровым загаром наспех покрывающие затемненные угольной пылью лица, их полнотелые жены и орущие дети раскладывали домашние припасы на прибрежной загаженной полосе, выпивали теплую водку, играли в круговой волейбол, плескались в мелководье и уезжали, оставив после себя смердящие горы отбросов, смываемые очистительными осенне-зимними штормами. Кем бы они себя ни называли, они были истинными потомками исчезнувшего варварского мира.

Ни песчаная коса, ни дикий морской берег под лестницей никого не интересовали. Миновав унавоженный общий пляж, Таня со своими спутниками выходила на косу, и уже через двести метров совершенно исчезали остатки варварской стоянки. А уж если, следуя за изгибом косы, они проходили три-четыре километра, то оказывались в таком отдалении, в такой необитаемости, что и вообразить невозможно...

Именно во вторую субботу их пребывания на лимане, уже отболев ожогами, они забрались на самую середину косы, где сохранились развалины неопределенного каменного строения. Вероятно, зимние волны достигали этих развалин, а приезжающие народы — нет, и оттого ни битых бутылок, ни консервных банок не водилось в корнях жалких кустиков, выросших под прикрытием нагроможденных камней... Подошли поближе и увидели там укромно, между камней, натянутый из простыни тент, а под тентом нескольких молодых людей.

— Музыканты из клуба, — бросив беглый взгляд в их сторону, тут же узнала Таня.

— Какого клуба? — удивилась Коза.

— Ну, морского, где наша мама Зина...

— Я на них и внимания не обратила. У тебя, Тань, потрясающая зрительная память. Как ты запомнила? — удивилась Коза.

Пианист, самый из них старший, толстоносый и мохноногий, махал им приветливо рукой:

— Welcome, ladies, welcome!

Все звали его Гариком, но имя у него было другое, труднопроизносимое армянское, и когда он выпивал первую рюмку чего угодно, то немед-

ленно переходил на английский, который знал особым джазовым образом: исключительно через музыкальные термины и тексты классических блюзов. Джазисты были сплошь чокнутые люди в те времена, но среди Таниных друзей таковых до сегодняшнего дня не водилось. Саксофонист сидел почти спиной, но Таня узнала его по светлым прямым волосам такой длины, которая в те годы считалась вызовом общественному спокойствию. Он оглянулся, посмотрел на Таню, и она немедленно схватила за живот — ребенок взбрыкнул с необыкновенной силой.

— Ты чего? — спросила его Таня.

Он бултыхнулся еще раз и затих.

Все в порядке.

Таня с Козой еще раздумывали, стоит ли свернуть в их сторону или сделать вид, что они идут своим путем, но Мишка уже подбежал к музыкантам и сообщил:

— А вы на нашем месте сидите. Мы здесь всегда...

И они не прошли мимо, остановились... Эти десять метров, что отделяли Таню от саксофониста, были как будто сделаны рапидом: он поднял к виску замедленную руку, прядь волос шевельнулась длинным томительным движением. Он коснулся волос, замер, медленно повел шеей, улыбнулся углами губ, и они потекли вверх, и открылись крупные верхние зубы и мелкие нижние, как у молодого щенка. И это все было крупным кадром, с увеличением. Он улыбался Тане, он смотрел на нее все тем же замедленным взглядом, и Таня уже тогда, кажется, догадалась, что в эту минуту совершается ее судьба.

Музыканты были пьяны, но в меру. Вечером они должны были играть в местном доме отдыха и соблюдали рабочую норму. Они играли вместе уже полгода и отлично знали, до какой поры вино музыку улучшает, а с какого момента разрушает. Попивали кисленькое винцо. Гарик запал на Козу. Ударник стал клеиться к Тане. Таня глаз не сводила с Сергея. В шесть часов, когда солнечный жар ослабел, все вместе двинулись в сторону дома отдыха. При въезде на косу ребята оставили машину. Коза с Мишкой пошли домой ужинать. Таня втиснулась на заднее сиденье и поехала с музыкантами. Сергей ей ужасно понравился. Как никто и никогда.

Концерт прошел с большим успехом. После концерта долго танцевали, уже под магнитофонную музыку. И все музыканты сильно напились. Сергей не танцевал. Они сидели за самодельной эстрадой и целовались до одури, пока он не сказал ей, что ему отведена здесь какая-то комната, но номера он не помнит. Однако на ключе была приколотая клеенчатая бирка с фиолетовыми цифрами.

## 14

Таня не проснулась — очнулась: двухместный номер, убогая комната с парой деревянных кроватей и тумбочкой между ними, был наполнен горячим густым светом, как аквариум водой. Никаких мелких движений, легкой дрожи и суетни, какие бывают ранним утром. Было так тихо, как бывает только в полдень, в час, когда солнце в зените. Миг замирания — это был он.

— И я в зените, — улыбнулась Таня, положила ладони на выпуклый живот и погладила его с боков. — Мы в зените!

Вершина жизни, вершина горы и гора ее живота — все это было в родстве между собой.

— Ты чувствуешь? — спросила она у живота. — Ты чувствуешь, мы с тобой влюбились...

Живот почему-то был ее сообщником. Она посмотрела на спящего рядом Сергея. Руки его она разглядела еще с вечера: небольшие, с загибающимися вверх последними фалангами, с увеличенными суставами в попереч-

ных складках кожи, ногти с белыми пятнышками, означающими не то дефицит какого-то витамина, не то нежданный подарок, заготовленный судьбой... Она покосилась — рука эта, доверчиво развернувшись вверх ладонью, лежала на ее плече. В середине мякоти венериного бугра она нашла глубокий шрам. Еще один был на предплечье. Было много подробностей у этого мальчишеского тела, которые она не успела заметить с вечера, но заранее полюбила. Большой палец на ноге сильно выдавался вперед, ступня небольшая и узкая, как у женщины. Ворс густых белых волос на голени... лежит на боку, одна нога согнута в колене. В укромной тени, среди светлых завитков, скромное спящее орудие и совершенно не безликое — прежде Тане казалось, что мужские члены слегка различаются по величине, в остальном же предметы абсолютно одинаковые. Этот был с характерным изгибом, повторяющим линию губ, и выражал простодушие и способность к самозабвению... Таня тронула рукой молочно-белую кожу, маленький лоскуток на бедре, не покрытый загаром. Кожа по-женски нежная. Грудь же покрыта была мягкой порослью, светлой, как выгоревший мох.

Она потрогала шрам на ладони — это будет мое любимое место.

Он пошарил другой рукой возле себя, придвинул ее к себе:

— Ты куда? Не уходи...

— Никогда, — ответила Таня. — А в уборную можно?

— Ни за что.

Он прижал ее к себе — все сходилось замечательно. Никогда прежде он не испытывал такого совпадения. Не открывая глаз, он спросил ее:

— Ты откуда взялась?

— Да ниоткуда. Я всегда была, — засмеялась Таня.

— Видимо, да, — согласился он, ощупывая руками шею, грудь, живот.

— Открой глаза, — попросила Таня.

— Боюсь, — улыбнулся он, но глаза открыл.

— Ну и как? — Таня приподнялась и слегка отстранилась.

— Отлично, — успокоил он ее, а может, и себя. — Все было отлично, только я совершенно твоего лица не запомнил. У меня, знаешь, однажды на этом месте такая травма была. Проснулся, а рядом...

Таня зажала ему рот рукой:

— Забудь. Все, что было раньше, немедленно забудь. Ты Сергей, я Таня, остальное не имеет значения.

Сергей засмеялся:

— Хорошо. Но вообще-то у меня жена есть.

— А у меня муж. Даже два. И скоро будет ребенок...

— В каком смысле? — Сергей привстал, опершись на локоть.

Таня взяла его руку и положила на живот:

— Месяца через три, три с половиной.

Живот был тугой, наполненный. Сергей отдернул руку, как будто обжегся о чайник:

— Ты даешь... Такого со мной еще не было...

— И со мной, — засмеялась Таня. — Всегда бывает первый раз... Ты у меня в первый раз.

Он встал и пошел в душ, постоял под жидкой теплой струей несколько минут. Попил из ладоней противной воды.

«Дурная девка. Сейчас же прогоню», — решил он и вышел из душа. Она уже стояла возле двери и тут же проскользнула внутрь. Фигура у нее была чудесная, и грудь, и талия. Живот был небольшой, но вполне заметный.

Он снова лег в постель. Закурил.

— Одевайся и уходи, — попросил он ее, когда она села рядом с ним на кровати.

Она покачала головой:

— Чего ты испугался? Все в порядке. Никуда я не уйду от тебя.

— Там в тебе ребенок, я же могу ему нарушить что-нибудь. Тебе вообще-то трахаться можно в таком положении?

— А тебе показалось, что нельзя?

— Мне не показалось. Я просто не заметил.

— А я думаю, что очень даже можно. Я вообще и на юг-то поехала, чтобы ему удовольствие доставить. — Она прихватила живот руками.

— В каком это смысле?

Таня засмеялась:

— Поплывать, на солнышке поваляться.

Она нырнула в постель, под простыню, обхватила его за шею:

— Все, что нравится мне, нравится и ему. Честное слово.

Она была чудесная девочка, и испуг его прошел, а желание — осталось.

И даже, пожалуй, была особая привлекательность в этом ее тугом животе, натянутых сосках и усиленной женственности, проистекавшей из ее беременности. Весь день они провели в номере, вышли только один раз за минеральной водой...

Вечером музыканты дали второй концерт, и Таня ни на минуту не отрывалась от Серезиной музыки, которая была продолжением их новенькой любви, потом переночевали, наутро получили очень приличные деньги за выступления и уехали. Таня, забежав на минуту к Козе, прихватила дорожную сумку, коснулась скользким поцелуем Мишкиной макушки и Викиной щеки и исчезла из поля зрения Козы на всю оставшуюся жизнь.

## 15

Половину августа и весь сентябрь длились гастроли джазового трио. Они называли себя «ГАЗ» — Габриелян, Александров, Зворыкин. Это был их первый совместный год, они учились быть единым организмом, и у них только-только начало получаться. Что ни день, они совершали открытия. Хотя от всегдашней привычки к питью они не отказались, но, в сущности, пьянели не от вина, а от неслыханного кайфа возникающей из-под рук музыки. Старшим — и ведущим мотором всего предприятия — был Гарик Габриелян, единственный из них профессионал, изгнанный из Ленинградской консерватории с последнего курса, совершающий головокружительный побег из замка классической красоты в вольные области джазовой импровизации. Ударник Александров, отставной инженер, сумасшедший с экзотическими идеями, помешанный в то время на левитации, но имеющий также нездоровое влечение к снежному человеку, инопланетянам и внеземным цивилизациям, вовсю выстукивал на четырех гулких барабанах, множестве погремушек и трещоток позывные к неведомым силам. Он убеждал всех, что при правильно поставленной перкуSSIONной технике полет — столь же естественное для человека действие, как, например, плавание. Плавать, кстати, он так и не научился. Семью годами позже он набрел на золотую жилу шаманизма и улетел-таки в заповедь прямо с больничной койки занюханной психиатрической больницы на окраине Ленинграда...

Саксофонист Сергей Зворыкин тоже был из породы музыкальных маменьков. Он бросил к этому времени Технологический институт, насмерть разругался с отцом, профессором партийных наук, ушел из дому и женился на сорокалетней отставной балерине, чем вбил последний гвоздь в гроб своей репутации нормального человека. Таков был Танин избранник и его друзья. Оказалось, что они и есть те самые люди, по которым так тосковала Таня: не врачи вроде отца, самого из всех лучшего, не ученые вроде Марлены Сергеевны, вооруженные ножничками и пинцетами для ковыряния в глубине беременной крысиной матки, не диссиденты, настырные и вдохновенные, вроде старого Гольдберга и его сыновей, не шумная и бес-

толковая полубогема Вики-Козы, а именно эти мало и плохо разговаривающие, расплывчато думающие, да и вообще не думающие ни о каких животрепещущих проблемах, моральных, социальных и политических, пришлись Тане по сердцу. Они ничего не делали, ничего не добивались и никуда не стремились — они просто играли свою музыку, играли в свою музыку, доверяли ей говорить за себя и радовались, что у нее, у музыки, так здорово получается...

Таня вслушивалась: не только на репетициях и на концертах, но и во все остальное время, с утра до ночи, с ночи до утра. Оказалось, что музыка звучит непрерывно, а не только в те минуты, когда бьют по клавишам или дудят в трубы...

Она рассказала о своем открытии Сергею. Он только головой покачал: — Ну, конечно. И во сне тоже. Даже особенно...

Таня напрягла память, или воображение, или еще какой-то орган, отвечающий за ночную жизнь сознания, и вспомнила: да, и во сне есть музыка, только ее невозможно упомнить... С того дня, как она это осознала, параллельно действию, в котором она принимала участие, побежала звуковая дорожка, непрерывная и все время меняющаяся, как вид из окна вагона, неотделимый от движения поезда...

Музыка, которую производили джазисты, была лишь составной частью того, что двигалось рядом, жило и пело в шорохах, всплесках, звуках человеческой речи — но не в плоском смысле слов, а в тембрах голосов, их перекличках, в интонациях и ритмическом рисунке... Механические звуки и природные голоса моря, ветра, дождя, удаляясь и приближаясь, присутствовали то как фоновые шумы, то, набирая силу, вели основную партию... Эта длящаяся музыка не имела задуманного заранее плана, жила вне гармонического квадрата, была полна произвола или случайности, но все же была не звуковым хаосом, а именно музыкой и, невзирая на свою непрерывность и бесконечность, выходила на каденции, завершаясь в логических точках и снова развиваясь почти от любой случайной ноты...

Когда Таня, лежа на теплом песке грязнотопотого пляжа, попыталась выразить это ощущение словесно, Сергей сухо кивнул:

— Алеаторика. Это называется алеаторика. В случайности заложено большое богатство возможностей.

— Как стеклышки в калейдоскопе? — оживилась Таня.

— Можно и так. Ты с Гариком поговори, он теорию музыки исключительно сечет, я-то все по дороге хватал.

— Все, ну совершенно все уже открыто, — огорчилась Таня. — Куда ни сунешься, все уже изучено, расписано...

— Дурочка ты, — засмеялся Сергей. Он погладил расплывшуюся горку ее твердого живота. — Ты не перегреешься? Давай-ка в тень, а?

За две недели он привык к Тане и к ее животу так, как будто прожил шесть лет с ней, а не с отставной балериной Полуэктовой, начисто лишенной женских выпуклостей и мягкостей, что, кстати сказать, тогда очень ему нравилось...

Отыграв в Одессе еще две недели, трио собралось на Кавказ.

— Сначала мы посадим тебя в поезд, а потом уж двинем, — объявил Тане Гарик.

Таня попросила не отсылать ее, оставить до конца гастролей. Сергей добавил:

— Ну хоть на недельку, Гарик. В Сочи отработаем и отправим Татьяну уже из Сочи. И с билетами к тому времени будет полегче.

Эта была чистая правда — билеты и на поезд, и на самолет в конце августа действительно достать было сложно.

— А пузо? — нахмурился Гарик. У него было двое детей, и он, единственный из всех, знал по собственному отцовскому опыту, что беременность неизменно оканчивается родами.



Таня сложила тонкие руки на животе:

— Гарик, миленький, да мне еще больше двух месяцев ходить... Не прогоняй меня. Я на что-нибудь вам пригожусь...

Гарик отмахнулся:

— Ты прям как царевна-лягушка... В конце концов, это Серегино дело. Не мое...

Гарик был классическим кавказским бабником — считал своим священным долгом отдолбить всех толстогрудых блондинок и при этом боготворил свою умную и ученую жену, рано постаревшую грузинку с кандидатской степенью и нулевым бюстгалтером. Он готов был одобрить любой Серегин роман, тем более, что балерину, манерную и глупую, он терпеть не мог, но Танина беременность ставила Гарика в тупик:

— Ты что, больной, Серегин? Танька девчонка хорошая, но как ты ее ебешь с чужой начинкой, не понимаю...

А Сергея Танин живот страшно волновал. Брак его с Полуэктовой, отвлеченно-сексуальной и бесплодной, как камень, был заключен деловито и холодно: поначалу он снимал у нее комнату, потом стал приносить в дом кефир и выгуливать двух ее борзых, очутился как-то случайно в ее постели и женился демонстративно, чтоб доказать миру, а главным образом родителям, свою полную от всех независимость. Балерина на пенсии привлекла его когда-то своей полной непохожестью ни на что, ему известное, Таня — полнейшим сходством в восприятии мира, ходами мысли и поворотами чувства, а главное, протестантской жадной истины, что в практике жизни оборачивалось протестом против любой формы лжи, казенной или общежитийской...

— У нас с тобой полное совпадение на молекулярном уровне, — констатировала Таня удивительный факт, и Сергей соглашался...

Маленькое в Танином животе совершенно ничему не мешало. Таня же утверждала, что сын ее радуется, потому что она нашла ему правильного отца. Сергей и тут не возражал.

Было и еще одно обстоятельство, глубоко интимное: Таня, несмотря на весь свой дерзкий кураж, с ребеночком, завязавшимся от благотворительного акта, трогательно-бесстыдно рассматривая анатомию мужчины — до чего раньше не снисходила, — простодушно призналась Сергею, что до этого лета не испытывала того нечеловеческого восторга, который испытывает любая живая тварь, от дождевого червя до гиппопотама: непосредственный результат трения слизистых оболочек и последующий мощный разряд центральной нервной системы...

— Это самое существенное различие между мужчиной и женщиной, что у мужчин получается с кем угодно и всегда, — сонно философствовала Таня.

— Ты ошибаешься, я знаю много женщин, у которых тоже получается всегда, — возражал Сергей.

— Но мне почему-то больше не хочется проверять, много ли на свете мужиков, с которыми у меня это получится. Пожалуй, я остановлюсь на тебе.

— Только ты имей в виду, что на мне уже остановились, — смеялся Сергей...

Время от времени Таня звонила в Москву, Витальке и отцу. До Обнинска дозвониться было невозможно: в лаборатории у Гены стоял один городской телефон на весь этаж, в общежитии дежурный по ночам к телефону не подзывал. А поговорить Таня хотела бы именно с Геней, рассказать, что влюбилась до полусмерти и возвращается в Москву не собираясь. Ни отцу, ни Витальке сказать такое она не решилась бы: Виталька слишком самолюбив, отец — логичен и серьезен. Он и так требовал немедленного возвращения, кричал в трубку, что конец седьмого месяца особенно опасен, что она рискует ребенком.

— Ему хорошо, папочка! И мне хорошо! Нам так хорошо! Мы еще немало здесь побудем! — Одной рукой она держала трубку, второй — Сережину руку...

— Выслать денег? — спрашивал Павел Алексеевич.

— Денег не надо. Никаких денег не присылай. Я послезавтра в Сухуми еду! — радостно кричала она, а Павел Алексеевич, окончив разговор, шел в кабинет пропустить успокоительный стаканчик. Он действительно очень тревожился: сложение у Тани было материнское, та же узость малого таза, опасность расхождения тазовых костей... Ей бы на сохранении полежать.

Павлу Алексеевичу и в голову не могло прийти, что она не вернется к родам в Москву, останется рожать в чужом городе, в неизвестные руки...

Но произошло все именно так. Гастроли, удачно начавшиеся в Ялте, с еще большим успехом прошедшие в Одессе, в Сочи достигли пика успеха. В Сухуми их приняли гораздо суше, в Батуми из четырех намеченных концертов они дали только два. Жаркая Аджария встретила их холодно, отчасти из-за начавшегося сбора мандаринов, и они уехали, прервав полулегальный договор. Гарик все порывался отправить ее домой, но она отговаривалась, пока он не махнул рукой.

За последний месяц Таня заметно отяжелела, ребенок то по несколько дней не давал о себе знать, а то вдруг устраивал внутри такую возню, как будто там была целая детская компания. Ночами Сергей держал руки на ее животе и ощущал ладонью не то пятку, не то кулак, что-то брыкающееся и имеющее вполне ясные очертания.

— А я ведь двойню могу родить, — пугала Таня Сергея, но он был легкомыслен и беспечен:

— А какая разница? Двое так двое. Один серый, другой белый, два веселых гуся, — хлопал он по вздувшемуся боку, прижимался губами к тонкой коже, растянувшейся изнутри от напора, и влечение его от прикосновения к живому дому будущего ребенка не только не угасало, а, напротив, все возрастало. — Мне так нравится, мне ужасно нравится. Ты всегда будешь у меня ходить беременная и рожать все время... Это гадость ужасная — аборт. Полуэктова в молодые годы каждые три месяца скреблась как нечего делать. Балетные не рожают. Мы с тобой никогда... никогда... так красиво. Осторожно... очень осторожно... Я не поврежу тебя...

До самого дня родов они не могли друг от друга оторваться.

В Москву Таня так и не вернулась. Прилетела в Питер в середине октября. Жить им было негде. На первое время поселились у Леша Александрова, ударника. Когда-то его семье выделили гостиную с тремя итальянскими окнами в барской квартире на улице Рубинштейна, но гигантскую комнату давно уже перегородили деревянными стенами на четыре длинных пенала, с тремя четвертями окна в каждом. Правда, на Лешу, после смерти матери и бабушки, приходилось целых две комнатухи, в одну из которых он запустил друзей. Деньги, заработанные на гастролях, быстро кончились, и жили они теперь с Лешей одной бедняцкой семьей: Таня жарила картошку, стирала, убирала запущенные комнаты и слушала музыку — ту несмолкающую звуковую дорожку, которую научилась слышать во время их поездки...

В середине декабря «скорая помощь» отвезла Таню в роддом. Ее не хотели принимать без документов из женской консультации. Единственное, что при ней было, — паспорт с московской пропиской да родовые схватки. Пока в приемном отделении ее ругали за безответственность, отошли воды, и им ничего не оставалось, как уложить роженицу на каталку и отвезти в родильное отделение. Роды принимала одна из тех акушерок, которых в Институте усовершенствования врачей обучал Павел Алексеевич, и, увидев наскоро написанный листок со знаменитой фамилией, акушерка спросила Таню, не родственница ли она доктору Кукоцкому. Узнав, что

родная дочь, акушерка больше не отходила от нее ни на шаг и приняла на исходе десятого часа, что для первых родов хороший и даже быстрый срок, маленькую девочку с довольно длинными черными волосиками.

Узнав, что родилась девочка, Таня горько заплакала. Никогда еще не испытывала она такого глубокого разочарования...

Акушерка, приняв роды, позвонила в Москву, разыскала домашний телефон Павла Алексеевича и поздравила с рождением внучки.

## 16

Павел Алексеевич положил телефонную трубку. Сердце вдруг опустело, замерло, а потом разразилось барабанной дробью.

«Ого, ударов сто восемьдесят, — прикинул он. — Пароксизмальная тахикардия...»

Потянулся за часами — половина пятого. Ночная девочка. Родилась между полуночью и поздним рассветом. Шестнадцатое декабря. Самые темные дни года. Близко к солнцевороту.

Секундная стрелка старых, с войны еще, швейцарских часов совершала свой мелочной бег, и Павел Алексеевич автоматически считал пульс. Сто девяносто ударов в минуту.

Спустил ноги с кровати. Сухие жилистые палки. Он ткнул пальцем в подъем — ни намека на отек. «Ладно, слава богу, внучка родилась. Обиду — убрать. Мое огорчение не имеет никакого значения».

Он сидел довольно долго, ждал, пока ритм установится. «Скорее всего синусовая аритмия», — поставил Павел Алексеевич скорый диагноз.

Он встал и совершил ночной обход квартиры, обследовал дом, в котором прожил почти двадцать лет. Высокий, обритый наголо старик в старом солдатском белье сгорбившись прошел по коридору и зажег свет в прихожей: все было донельзя обшарпанно. Сначала заглянул в девичью — там стояли две кровати. На одной спала Тома, на другой, Таниной, возвышалась гора неглаженного белья. В полутьме комнаты неприятно клубились темные массы листьев, пахло влажной землей...

Он свернул по коридору влево, заглянул в бывшую спальню, Еленину комнату. Сложный запах — больницы, пыли и какой-то горьковатой травы.

Грязно. В доме стало очень грязно. Василиса плохо видит, да и вообще толком убирать никогда не умела. Тома работает, учится, большая нагрузка на девочке. Надо позвать Прасковью, уборщицу из отделения. Впрочем, невозможно — Василиса обидится... Но ребенка в эту комнату не поселишь. Ко мне, в кабинет. Это оптимальный вариант. А у себя я и сам все вычищу. Кроватьку посреди комнаты, места много. Пеленальный столик привезу из отделения. И оформлю сразу же пенсию... Как хорошо, что исполнилось уже шестьдесят пять...

Елена не спала. Она смотрела на темный силуэт в дверях. Свет бил из-за его спины, над головой и плечами образовалось подобие нимба.

— Это ты? — спросила Елена.

Павел Алексеевич сел у нее в ногах. Елена всегда любила спать на высоко взбитых подушках. Прежде, когда он спал на этой широкой кровати, ее подушки стояли торчком в левой части постели, а его, маленькая и плоская, лежала справа... Он просунул руку под одеяло, погладил ноги в шелковистых носочках.

— Мне только что позвонили из Ленинграда: Таня родила девочку.

— Нет, нет, — мягко перебила его Елена, — это я родила девочку.

— Таня выросла, вышла замуж и родила дочку, — повторил Павел Алексеевич.

В полумраке блеснули Еленины глаза:

— Слишком рано. Слишком темно. Где Танечка?

— В Ленинграде.

— Позови ее, пусть войдет сюда. Я ее давно не вижу... Она в школе?

— Тане двадцать три года. Она в Ленинграде. Там она родила дочку, — терпеливо повторял Павел Алексеевич.

— Говори другое, папа, — попросила его Елена. — Этого я не понимаю.

Павел Алексеевич подвинул круглый табурет к изголовью кровати. Молодая Мурка, устроившаяся под Елениной рукой, встрепенулась, открыла один глаз. Павел Алексеевич присел рядом с женой, взял ее за руку. Рука была сухая, прохладная, почти невесомая.

Много лет его звали ПА. На работе произносили «Пе-А», потому что была такая мода — звать руководителей по их инициалам. Дома в лучшие их семейные годы его звали «па». Но теперь Павел Алексеевич подумал, не принимает ли его Елена за своего отца. Подержал ее за руку, погладил по пушистым нечесаным волосам и решил не выяснять, за кого она его принимает. Не так уж это важно...

— Я поеду сейчас в Ленинград, посмотрю, как там обстоят дела, и постараюсь их привезти, — сообщил он Елене.

— Это хорошо, — вздохнула она. — Пусть Танечка войдет.

Павел Алексеевич продолжал, игнорируя неспособность Елены поддерживать связный диалог:

— Мне кажется, у нее какой-то конфликт с мужем. Может, он ее чем-то обидел, я не знаю. И спрашивать не собираюсь. Виталий звонил последний раз на прошлой неделе, спрашивал о Тане, я сказал, что она в Ленинграде, собирается скоро приехать, но адреса своего она мне не сообщила. А что ты думаешь по этому поводу?

Елена растерялась, забеспокоилась:

— Я не знаю, как ты считаешь... Ты сам... Я не...

— В любом случае ей с ребенком лучше находиться дома, чем где бы то ни было, не так ли? — задал он вопрос, на который достаточно было и кивка головы.

Но Елена его уже не слышала. Она беспокойно шарила вокруг себя руками, и он догадался, что она искала убежавшую Мурку, в которой нуждалась всякий раз, когда попадала в затруднительное положение. Кошка сидела в кресле, поодаль. Он взял ее и переложил к Елене на кровать. Елена прижала ее обеими руками, улыбнулась. Она коснулась животного и словно покинула пространство спальни — взгляд ее не то чтобы сделался бессмысленным, но он сфокусировался где-то вонне, за пределами здешнего мира...

Павел Алексеевич посидел еще немного, потом вышел в кабинет и позвонил в справочную. Оказалось, что вполне успеваешь на дневной ленинградский поезд. Взял портфель, положил в него зубную щетку, белый халат и армейскую фляжку с разведенным спиртом, запас которого он всегда держал в доме. Решил никого не предупреждать, просто вечером позвонить из Ленинграда. О ночлеге он не беспокоился: был у него старый друг, у которого всегда мог остановиться, была и академическая гостиница на улице Халтурина, где место ему всегда предоставили бы... Он поехал на вокзал, неожиданно быстро купил билет и успел еще заехать в клинику: была там одна тяжелая женщина, на которую он хотел до отъезда взглянуть и дать относительно нее кое-какие указания лечащему врачу...

Ленинградский дневной шел бестолково долго, а у Павла Алексеевича даже книги с собой не оказалось. Он с любопытством разглядывал своих попутчиков, совсем молодую парочку, украдкой целовавшуюся, и прикидывал, старше ли они Тани... Вероятно, они были даже моложе... Пока не стемнело, смотрел в окно — приятное мелькание отвлекало от тягостных мыслей. В молодости для него было исключительно важным чувство собственной правоты, и многие его поступки определялись именно этим внутренним ощущением. Он был в растерянности: Таня поступила совсем

уж никудашно. Надо признаться, что она бросила больную мать — без всяких объяснений. Теперь, с какой-то маниакальной последовательностью, она всех заставляет волноваться — мужа, отца, Василису, в конце концов... безрассудно и безответственно рождает неизвестно где, неизвестно к кому пойдет с ребенком жить, на что будет его содержать... Девочка была кругом не права.

Он, Павел Алексеевич, как будто ни в чем не мог себя обвинить, но это не имело никакого значения. Он брал ее неправоту на себя и ехал к ней, чтобы исправить то неблагоприятное, ту неправильность жизни, которая произошла все-таки по его, Павла Алексеевича, совершенно неопределимой вине. Он укорял себя в неумении организовать жизнь: болеет жена, ушла из дому дочь... Всякий раз, когда его круговая тревожная мысль подходила к этому месту, он открывал свой портфель и делал большой глоток из фляги, обтянутой брезентом. Это была автоматическая реакция, образовавшаяся в конце сороковых, когда вызов в министерство или на собрание в академию обещал неприятности... Гидроксильная группа (—ОН) около насыщенного атома углерода, голубушка, привычным образом защищала его от неприятностей, внешних и внутренних...

Вечером, когда поезд причалил к Московскому вокзалу, фляга была пустехонька, сердце снова тарахтело с удвоенной скоростью, однако на душе полегчало, потому что за время пути, наблюдая боковым зрением юную парочку, которая все норовила коснуться друг друга плечом, локтем, коленом, в голове у него все сообразилось само собой: единственным правдоподобным объяснением невозможного со всех разумных позиций Таниного поведения был новый роман. Он вспомнил один трагический случай подобного рода: году в сорок шестом или седьмом женщина, помещенная в самом конце беременности на сохранение, Галина Кроль ее звали — красавица, полковничья жена, — влюбилась в ассистента кафедры Володю Сапожникова, и произошло это буквально за несколько дней до родов. Роман был столь бурным, что к моменту выписки Галина с ребенком отказалась возвращаться к мужу и переехала к Володе. Ее муж выследил разлучника и разрядил в него пистолет. Бедная женщина осталась и без мужа, и без любовника: один был убит, второго посадили... А лет пять спустя она снова пришла. Когда уже был Центр по изучению бесплодия... Галина вышла снова замуж, поменяла фамилию и года три лечилась, прежде чем снова забеременеть. Со вторым ребенком роды были тяжелые, ягодичное предлежание... Зачем-то память держит сотни и сотни случаев... Так Павел Алексеевич готовил себя к встрече с дочерью и утешал себя тем, что Виталик вряд ли станет кого-нибудь преследовать...

От вокзала Павел Алексеевич взял такси и через двадцать минут был в роддоме. Заведующая отделением ждала его: не каждый день академики посещали рядовой роддом. Он вымыл руки и надел халат. Его повели в общую палату, где на второй койке от двери лежала худая, с кругами вокруг глаз и распухшими губами дорогая девочка, похожая на подростка и даже, может быть, на мальчика-подростка... Он не сразу узнал ее, а она, увидев отца, тихо ойкнула и вылетела из койки прямо к нему на шею.

Они вцепились друг в друга — никакого места для обиды не оказалось.

— Папка, это гениально, что ты приехал... Какой ты все-таки... Вели, чтобы тебе девочку показали. Как там мама? Что Томка?

Он гладил стриженую головку, плечи, рука удивлялась ее худобе, и пальцы наслаждались от прикосновения к острым лопаточкам...

— Малышка моя дорогая, глупая, — шептал он.

Соседки по палате смотрели во все глаза — Таня была среди них особой птичкой: хотя она ничего про себя не рассказывала, но за эти сутки составилось общественное подозрение, что девчонка безмужняя, шальная и что-то с ней не так... Теперь же оказалось, что особенность ее еще и в том, что отец ее кто-то знаменитый...

Потом Тане дали халат, и они вместе пошли в детскую палату. В крошечных кроватках, похожих на кукольные, лежали белые свертки размером чуть больше батона.

— Ищи, показывай, — шепотом сказал Павел Алексеевич.

Местная врачиха из наскоро образовавшейся свиты было ткнулась вперед, но он сделал предупреждающий знак: не надо.

Загадки большой не было, в ногах висели таблички с фамилиями матерей, но Павел Алексеевич вглядывался в каждое из крошечных лиц, желая узнать среди них родное.

— Вот, — указала Таня на младенца. У изножья была написана фиолетовыми буквами их фамилия... Девочка спала. На высокий лоб спадала темная челка, личико желтоватое, нос большой, рот маленький, крепко сжатый. — Красивая? — ревниво спросила Таня.

Павел Алексеевич вынул сверток из постели, сердце заколотилось: наш ребенок... Потом подковырнул мизинцем угол пеленки, заправленный внутрь с задней стороны свертка, и положил его на пеленальный стол. Девочка с чмоканьем открыла рот и пискнула. Павел Алексеевич выпростал ее из пеленок, скovyрнул распашонку... расправил ножки, выровнял их, перевернул на животик тем ловким движением, которым женщины перекидывают блины на сковородке, сравнил складочки под еле намеченными ягодницами, развел ножки, прощупал тазобедренный сустав — он знал это конституционно слабое место — и приподнял девочку за ноги... Провел пальцем по позвоночнику, ощупал затылок, темя, снова повернул ее на спину. Потом ощупал ее выпуклый живот, нажал пальцем возле перевязанного стебелька пуповины.

— Совсем свеженькая, — пробормотал. — Печень немного увеличена, желтушка новорожденных, не страшно. Ты не все еще забыла? Понимаешь, что там сейчас происходит? Ювенильный гемоглобин распадается... — положил три толстых пальца на грудь слева. Потом взял крошечную ручку, расправил кулачки и коснулся мягких, загнутых на концах ногтей.

— Фонендоскоп, — бросил он в пространство, и тут же в руках его, как из воздуха, оказался металлический кружок с наушниками. Слушал с минуту. — Нормально. Мне показалось, немного ноготки голубоваты. Нет, сердце в порядке. Порока, во всяком случае, нет.

Девочка уцепилась за его палец, взглянула на него молочными, как у котенка, глазами и шевельнула верхней губой. Таня смотрела на все эти манипуляции как замороженная: отец с младенцем в руках чем-то напомнил ей Сергея с саксофоном — та же нежность и дерзость в обращении, свобода движения и легкость прикосновения...

— Великолепный ребеночек. Я таких больше всего люблю — маленькая, сухая, хорошая мускулатура... Знаешь, она не в вашу породу. Она в Гольдберга. Отправлю ему в лагерь телеграмму, пусть радуется, — тихо шепнул Тане в ухо. — Поздравляю тебя, девочка... Через денек-другой соберемся и поедем домой.

Таня и не думала ехать в Москву, но в этот момент, то ли от родильной слабости, то ли от отцовской полнейшей уверенности и уместности здесь, возле новорожденной девочки, она легко согласилась:

— Поедем, но ненадолго. Я вообще-то в Питер переезжаю. У меня здесь... — Она задумалась на минуту, как объяснить отцу, что именно у нее здесь. — У меня здесь все.

Павел Алексеевич кивнул понимающе:

— Я так и подумал.

«Дорогой Сергей! С каким наслаждением пишет рука твое имя! Какое у тебя правильное, даже единственно возможное имя. А ведь мог быть Виталик или Гена... Я поздравляю тебя с собой, а себя — с тобой. Я живу во

всем другом, чем вчера. У меня родилась девочка. Похоже, нас ужасно обманули, подсунули ее вместо мальчика. Мне скоро понадобится мальчик, ты это имей в виду. Мальчик, похожий на тебя.

С тех пор, как ты, мир ужасно изменился. Потому что раньше я смотрела на все с одной точки зрения, а теперь с двух, — а как бы это было тебе? Целую тебя куда захочу. На этот раз в ямку под шеей и в шрам, который на левой. Маленькая девочка шлет тебе привет. Молока у меня никакого нет, но говорят, что еще может прийти. Принеси кефира и большое полотенце. Было больно, но быстро прошло. Таня».

Сергей прочитал письмо, аккуратно сложил листок по сгибу и сунул во внутренний карман куртки. Он только что передал усатой приемщице в окошко букет чайных роз, кое-какие продукты и записку. Спросил, куда выходят окна Таниной палаты, и долго не мог сообразить, как их найти. Он уже с вечера знал, что Таня родила, пил по этому поводу всю ночь с друзьями, а теперь вдруг почувствовал, что ужасно хочет видеть ее, и не из окна, а живьем. Он отошел от справочной, направился к служебному входу. Там сидела вахтерша:

— Ты куда?

— Я мастер по починке медоборудования, — сымпровизировал он, — вызвали во второе отделение синхрофазотрон починять. Где раздеться-то?

Синхрофазотрон, почему-то попавший Сергею на язык, вахтершу вполне удовлетворил.

— Гардеробщик заболел, ты сам разденься да повесь. У нас не крадут, все свои, — пропустила его вахтерша, и он, скинув куртку, снял с общественного гвоздя синий рабочий халат отсутствующего гардеробщика и понесся вверх по лестнице.

Дверь в отделение была закрыта, он позвонил. Через некоторое время открыла медсестра:

— Вам что?

— Вызывали по поводу ремонта оборудования, — стараясь не дышать в лицо сестре винным паром, ответил Сергей.

— А, это к старшей сестре, в седьмую комнату, — буркнула сестра и растворилась.

Сергей сразу увидел нужную ему дверь — четвертая палата. Таня стояла возле окна, спиной к нему, в синем больничном халате, очень высокая и очень худая.

— Таня, — позвал он ее.

Она обернулась. Он никогда еще не видел ее небеременной, и она показалась ему чужой и страшно юной.

Букет лежал на тумбочке, еще не поставленный в воду. Видно, она сразу, получив передачу, кинулась к окну, посмотреть на него.

— Как ты прошел сюда? — спросила Таня, смущенно освобождаясь от его объятий. Тетки со всех коек уставились на них во все глаза.

— Меня вызвали. Синхрофазотрон починять. — Он все еще продолжал игру, и не напрасно, — одна, почти пожилая, четвертого родившая, уже собралась жаловаться, потому что вообще-то посещения были запрещены...

— Только что детей унесли. Жаль, если б минут на двадцать раньше, ты бы мог на нее посмотреть, — улыбалась Таня глупейшей улыбкой.

Сергей показался ей в этот миг ослепительно красивым и нестерпимо родным. Она давно и прочно забыла, что ребенок не имеет к нему никакого отношения, и страстно желала похвастать. После того, как вчера вечером Павел Алексеевич похвалил ее дочку, она стала ей гораздо больше нравиться.

— Выйдем куда-нибудь, пока меня отсюда не выгнали...

В отделении в этот час было затишье, они дернули одну дверь, вторую и нашли пустую бельевую, куда Таня его затолкала. Здесь они уткнулись друг

в друга, зашептали в уши горячие глупости, вцепились губами и зубами друг в друга и между поцелуями сообщили друг другу множество важных вещей: Таня сказала ему, что они после выписки едут на недолгое время в Москву, он ей — что был у Полуэктовой, сказал той, что у него родилась дочка и что Полуэктову пригласили вести балетный класс в Пермском хореографическом училище и она предложила им пожить в ее квартире...

— У твоей жены? — изумилась Таня.

— А что такого? Это нормально. Будем стеречь ее дом и гулять с ее собаками...

Таня сжала его запястья:

— Ладно, это потом решим, вообще-то здорово, что она такая... великодушная, что ли?

— Нет, ты не понимаешь. Просто ей так удобно. У нее две борзых, с ними совсем не просто... А меня собаки слушают...

И они снова уткнулись друг в друга, и Таня нащупала языком уплотнение на его губе — от мундштука саксофона... Их не тревожили в бельевой целый час, и они проверили, не изменилось ли чего по той причине, что живота больше у Тани не было... Но все было как надо: горячее — горячим, влажное — влажным, сухое — сухим... И любовь, как выяснилось, нисколько не уменьшилась...

## 18

Через трое суток после родов Таня почувствовала себя заново рожденной, как будто рождение ее дочери и ей сообщило некое качество новизны. В сущности, так оно и было: она была новорожденной матерью, и, хотя она еще ничего не знала о пожизненном бремени материнства, о неотменимой и часто до болезненности изменяющей психику женщины связи с ребенком, в ней безжала мысль, которой ей хотелось поделиться в первую очередь с дочерью. Она опускала в деликатно открытый рот ребенка коричневый фасолевидный сосок и старалась внушить тугому свертку, что они любят друг друга, мать и дочь, и будут радоваться друг другу, и друг другу принадлежать, но не безраздельно... что у нее, Тани, будет еще своя отдельная жизнь, но зато и Таня даст ей, когда та подрастет, свободу и право жить по-своему, и что она будет старшая дочь, а потом еще будет мальчик, и еще один мальчик, и девочка... «И наша семья совсем не будет походить на другие, где папаши орут на мамаш, ссорятся из-за денег, визжат дети, отнимая друг у друга игрушки... а у нас будет дом в Крыму, и сад, и музыка...» Таня, не дорисовав картины счастливого будущего, засыпала, пока девочка еще сосала. Удивительная досталась ей девочка: сон от нее шел волнами, как тепло от костра... Такой силы и власти сна Таня никогда не знала. Нянька забирала накормленного ребенка и уносила, а Таня, отмечая какое-то около себя шевеление, не имела воли проснуться...

Спустя неделю Таню выписали, Павел Алексеевич привез ее с ребенком в большой холодный номер дорогой гостиницы. Девочку положили поперек широченной кровати карельской березы, укрыли поверх шерстяного одеяла еще и ватным. Вскоре пришел Сергей — с букетом замерзших роз, шампанским и саксофоном. Он стащил с себя полную сырого мороза куртку и кинулся к ребенку. Присел на кровать, чтобы разглядеть новое лицо среди многослойной упаковки:

— Ой-ей-ей, какая же маленькая. И как от нее сном несет!

— Она ужасно снотворная девица, это точно, — согласилась Таня. — Ее как в палату принесут, я тут же отрубалась.

Вообще-то Таня не собиралась ехать в Москву, но получалось не совсем так, как хотелось: Полуэктова должна была уезжать в Пермь только в конце января, а в квартире у Леши Александра возник затяжной скандал с соседями, не желающими терпеть малого ребенка за фанерной стеной...



Ехать в Москву, к Таниным родителям, Сергей отказался: он своими был сыт по горло. Танин отъезд его огорчил, главным образом из-за того, что он сам уже успел раззвонить по всему городу, что у него родилась дочь, выпито было за неделю немало водки и сухого вина по этому поводу, а теперь и предьявить было некого.

Таня наскоро познакомилась отца с Сергеем и отпросилась погулять. Павел Алексеевич отпустил дочь на три часа, до следующего кормления, и остался с внучкой. Через пять минут после Таниного ухода он, облученный снотворной энергией младенца, уснул крепким сном и проспал до самого Таниного прихода. Ему снилось, что он спит, и во сне этого вторичного сна стояло на дворе лето, шумная детская компания собиралась на пруд. Он был самый старший среди детей, и были еще его младшие сестры, в природе не существовавшие, но очень убедительно представленные Леночкой, исполнявшей роль восьмилетней, и Томой в образе двухлетней. Другие дети были знакомые, но тоже все переделанные из взрослых, с которыми он встречался в более поздние годы своей жизни. Однако двойственность этих детей совершенно не вызывала удивления у Павла Алексеевича, беспокоило скорее то обстоятельство, что один мальчик был неизвестно кто. И только в самом конце сна, когда все гурьбой высыпали за ворота их старой дачи в Мамонтовке, оказалось, что в неизвестном мальчике замаскировался этот Танечкин Сергей, и тогда Павел Алексеевич успокоился и проснулся из более глубокого сна в более мелкий, прижал к себе сверток в толстом одеяле, на минуту подумал, хочет ли он идти на пруд с этими ряжеными детьми, но решил больше туда не возвращаться...

На следующий день, в четверть девятого утра, Павел Алексеевич с дочерью и внучкой были дома, на Новослободской. Тома еще не успела уйти на работу, Василиса вылезла из чулана и стояла со старой Муркой в ногах, в своей встречающей позе, при выходе из кухни в коридор, опершись рукой о стену. Из приоткрытой двери в Еленину комнату сначала высунулась молодая Мурка, а следом за ней Елена в наброшенном на плечи халате...

— Танечка, я тебя так давно жду, — сказала Елена внятно и радостно, и Таня, сунув дочь растерянной Томе, которая все не знала, что говорить и что делать, целовала мать, но та легонько отбивалась и тянулась к свертку:

— Танечка...

— Мамочка, это моя дочка.

— Это моя дочка, — эхом повторила Елена, а на лице ее изобразилось мучительное напряжение.

— Идем, мамочка, сейчас я тебе ее всю покажу...

Таня уложила ребенка на материнскую постель, а Павел Алексеевич порадовался, что Таня правильно себя держит: не отпугивает бедную Елену, а вовлекает в новое событие...

Таня разгрела одежды, выпростала маленькое тело. Девочка открыла глаза и зевнула.

Елена смотрела напряженно и как будто разочарованно.

— Ну, как она тебе? Нравится?

Елена стыдливо опустила голову, отвела глаза:

— Это не Танечка. Это другая девочка.

— Мам, конечно, не Танечка. Мы ее еще никак не назвали. Может, Мария? Маша, а?

— Евгения, — еле слышно прошептала Елена.

Таня не расслышала. Василиса повторила:

— Как еще? Евгения, по бабушке...

Таня склонилась над девочкой, запикивающей кулачок в рот.

— Не знаю... Надо подумать. Евгения?

Пока домашние толпились над ребенком, Таню как будто приливная волна подняла вверх, подержала мгновение и отпустила...

— Папа, делаем ремонт, — сказала она отцу через пятнадцать минут, обойдя дом и заглянув в захламленные углы.

— Да, собственно, давно пора, — согласился Павел Алексеевич, — только сейчас, я думаю, не время. Ребенок в доме. Может, летом, когда вы на дачу поедете...

— Нет, нет, я потом в Питер уеду, надо сейчас. Начнем с детской... Потом места общего пользования, кабинет, спальню...

И она понеслась, так что только брызги грязной мыльной воды полетели в разные стороны...

Вечером, когда Тома пришла с работы, половина ее цветов была роздана по соседям, половина выброшена, мебель составлена на середину, все увязано, с малярками договорено... У Павла Алексеевича возникло ощущение, что их ветшающий дом, стоявший как брошенный корабль на якоре, стронулся с места и куда-то целеустремленно поплыл, сонная команда очнулась, и даже мебель, расслабленная и осевшая, выстроилась и подтянулась... Василиса, никогда и ничего из дома не выбрасывавшая, сдалась под Таниным напором и собственноручно вынесла из своего чулана истлевшее одеяло, подаренное Евгенией Федоровной в девятьсот одиннадцатом году сильно не новым. Но и этого Тане показалось мало, она размашистым веселым движением вынесла на помойку надбитые тарелки, прогоревшие кастрюльки, впрок сохраняемые пустые стеклянные банки, все слезавшееся, нищенски скопидомское хозяйство Василисы.

Безымянная девочка почти безмолвно присутствовала в этой осмысленной суматохе, ничему не мешая, почти не требуя к себе внимания. Таня поселила ее в бельевой корзине, обшив ее изнутри свежим ситцем, и сначала таскала корзину из комнаты в комнату. Потом Елена попросила оставить девочку около ее постели, и образовался тихий угол, которого Таня пока не трогала. Поразительна была быстрота, с которой преобразился дом: бывшая детская была закончена через неделю, и хотя Томины заросли потерпели большие потери, оставшиеся в живых растения свежо сверкали на фоне песчано-желтых обоев, напоминающих о тепле африканских пустынь.

Следующая неделя была посвящена кухне и ванной. Домашнее питание отменилось. Таня покупала в кулинарии дешевую еду в несметных количествах, кормила рабочих, домашних и набегавших время от времени знакомых. Виталик позвонил на третий день, и Таня его безразлично-радостно приветствовала. Он сразу же приехал, нахмуренный, с обиженным видом, но она не сочла нужным замечать выражение его лица. Показала дочку с таким видом, как будто это была лично ее вещица. На его предложение переехать на Профсоюзную Таня обидно улыбнулась, но пообещала его навестить, как только управится с домашними делами здесь.

— У нас сейчас Валентина живет, — сообщил Виталик главную новость.

— А что же ты ее не привез? — удивилась Таня.

— Да она придет, она у Павла Алексеевича часто бывает. Знаешь, адвокатские хлопоты... Может, освободят досрочно. Статья, понимаешь, такая, что с ней по двум третям...

«Это мне надо было бы делами Ильи Иосифовича заниматься... Они все-таки все до единого удивительно бестолковые», — думала Таня. Но это было несправедливо: Валентина была вполне толковая и все, что ни делала, продумывала тщательно, выполняла последовательно...

Спала Таня в кабинете у Павла Алексеевича, между бельевой корзиной с дочкой и телефоном — Сергей звонил по ночам, они подолгу разговаривали о повседневной чепухе, о девочке, которую еще никак не назвали, о ремонте и о полужетковских борзых, а потом Сергей ставил кассету, чтобы Таня послушала музыку, которую Сергей сегодня играл... А играл он в эту неделю много, почти каждый вечер, поскольку всюду шли ново-

годние вечера, и было много приглашений — в институты, клубы и кафе... В новогоднюю ночь Таня совсем уж было собралась в Питер, хитро разузнала у Сергея, где он будет играть, и даже купила билет на дневной поезд. Но накануне загнул такой лютый мороз, что Таня, так и не сказав Сергею о своих тайных планах, поездку отменила. Вспомнила, как холодно было в поезде, когда она возвращалась в Москву с новорожденной дочкой. Испугалась, что простудит девочку... Это решение оказалось более чем мудрым, поскольку Сергей, следуя той же логике каприза или сюрприза, сам приехал на эту ночь в Москву и переждал промежуточные несколько часов на вокзале.

Ремонт к этому времени уже охватил, как пожар, всю квартиру. В доме пахло краской, клеем и жареным гусем. Стол был накрыт в бывшей детской. Тома, по Таниному приказу, нарядила елочными игрушками двухметровую фатсию, называемую профанами фиговым деревом. Во главе стола сидел Павел Алексеевич, рядом с ним в кресле принаряженная Таней Елена с детски радостным лицом. Василиса облачилась в ковровый желто-малиновый платок и стеснялась его, как будто вышла с голыми плечами. Зато Тома и впрямь надела платье с глубоким декольте, то самое, сшитое на Танину свадьбу, и устроила на маленькой головке большого барана из начесанных волос. Гостей было трое Гольдбергов, два брата и Валентина, в девичестве Грызкина, молодая мачеха Таниных отставных мужей. Корзина с девочкой стояла поодаль, на Томиной кровати, — она-то и была главным действующим лицом, и Павел Алексеевич прекрасно понимал, что, если бы не она, не приехала бы Таня домой и не устроила бы всей этой прекрасной пертурбации.

Без четверти двенадцать раздался звонок. Таня побежала открывать, заготовив ехидную фразу соседке Розе Самойловне, которая заходила сегодня уже раз пятнадцать и успела одолжить все, что только в доме было, — от соли и табуретки до свечей и салфеток... В легкой суконной куртке и в огромной меховой шапке, с саксофоном и спортивной сумкой в руке в дверях стоял Сергей...

Это был самый странный семейный праздник, который только можно вообразить. Помимо Тани и Сергея, счастливых, не озабоченных ни прошлым, ни будущим, каждый из присутствующих переживал острое отчуждение и одиночество. Как будто естественные родственные связи разрушились, перемешались и извратились: жена Павла Алексеевича давно уже стала ему ребенком, зато дочь за последние две недели оказалась совершенно неожиданно настоящей главой семьи; Елена, впервые за три года сидевшая за многолюдным столом, испытывала похожее на тошноту беспокойство от множества знакомых, но полностью утративших имена людей. Даже дочь Танечка, очень похожая на себя Таня, слегка двоилась, потому что лежащая в корзинке девочка тоже была Танечкой, но частично, как если бы был проведен разрез или частичное сечение, и невидимые внутренние очертания предмета, показываемые обычно штриховыми линиями, которые выявил этот разрез, как раз и были той маленькой девочкой... Василиса своим восставшим из тьмы глазом видела на плоской картине световые пятна и цветные контуры тел, и нежное пятно Томочки было единственно успокоительным. Таня серой тонкой птицей порхала вокруг стола, всем раскладывала на тарелки еду, кинула и ей, Василисе, кусок скоромного гуся, — и думать забыла, что Рождественский пост, — и все притулялась на ходу, все трогала молодого длинноволосого в черном, не из духовных ли, — и при муже, все при муже, и Елена вот так же, а муж сидит и смотрит, и хорошо ли... И, исполнившись отвращения к предьявленной ей картине, Василиса взмолилась: Господи, помилуй, Господи... Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих погибшее сердце мое, яко един свят еси и Господь... Отлетали, опадали слова, забывались и путались и те обрывки псалмов и молитв, которые держала Василиса в

слабеющей памяти, и оставалось одно только сокрушение о близких, которые все сплошь плохо жили, и дурное делали, и заповедей Божьих не соблюдали, и все так, и мирские, и духовные... Грехи, грехи наши тяжкие...

Валентина Гольдберг, воспитанная в староверской чистоплотности — от тела, избы и обихода до помыслов и действий, — ни в малой степени от своих предков не уклонившаяся, несмотря на полный и окончательный разрыв с ними, скорбно наблюдала за Таней. Павла Алексеевича она узнала уже после ареста Ильи Иосифовича, доверилась ему и полюбила и теперь никак не могла свести воедино хорошо ей известную от Виталика историю их странного брака, невообразимого семейного треугольника, появление этого длинноволосого музыканта, очевидно, Таниного любовника, да и саму Таню, которую она видела в первый раз и заранее невзлюбила, а увидев, испытала к ней почему-то явную симпатию... хотя кроме протеста и возмущения что еще может вызывать эта девица, которая ведет себя кое-как, ни о чем не думает, разрушила отношения между братьями... распущенная, распущенная...

Братья — или мужья — Гольдберги держались корректно, но было им не «хоть что», как полагала Василиса. Оба они болезненно отнеслись к появлению самозванца. Впервые за последний год они испытали одновременно одно и то же чувство — состояние, знакомое им с раннего детства, может быть, одно из первых осознанных впечатлений, — досады и справедливости поражения... Этот музыкант и впрямь очень подходил Тане, и видна была их иноприродность, инопланетность, что ли... то, что в Тане было слегка означено, на нем было ясным-ясно написано. Особенно когда он расчехлил свой саксофон, велел Тане немного его поддержать, и она немедленно, не ломаясь, сгребла с пианино наваленные на него газеты, предупредила, что более расстроенного инструмента никто сроду не слышал, и села, не чинясь, и он показал ей аккомпанемент на басах, и она перехватила. И Павел Алексеевич сразу же догадался, что Таня в последние месяцы наигрывала... А Сергей извлек из своей дудки какие-то поисковые трели, Таня к нему подлаживалась, заходила то справа, то слева, так они потолкались на каком-то неопределенном месте, а потом Сергей спел на своем саксофоне длинную радостную фразу, которая окончилась таким счастливым воплем, что братья Гольдберги переглянулись родственно и почувствовали себя во дворе малаховской школы, на большой перемене, среди вражды деревенских, поселковых и интернатских, где им особо доставалось за непринадлежность ни к кому...

Елена при первых же звуках саксофона вцепилась в обшлаг мужниной домашней куртки: она услышала, а вернее сказать, увидела происходящую музыку как множество плавных лекальных кривых, разбегающихся из темной сердцевины металлического горла, и самая главная из них, тугая и матовая, как свежая резина, превращалась в плоскую кривую и раскатывалась стройной спиралью Архимеда, которая все расширялась, заполняла всю комнату и разлетевшимся рукавом выхлестывала в окно... А сам звук, оказывается, был проекцией какого-то неизвестного, неназванного продукта, воспроизводимого с видимым напряжением длинноволосым юношей со знакомым лицом...

Павел Алексеевич удивился, до чего же ловко Таня аккомпанирует, не забыла, видимо, музыкальных уроков, — и порадовался.

Сергей пригасил звук, выдул из саксофона остатки, и Елена увидела, как опали в воздухе кривые, вылиняли и растворились. Лицо у молодого человека было не просто знакомым, а наизусть известным: брови густые, светлые, в одну линию, верхняя губа чуть нависает над нижней... Он положил саксофон рядом с корзинкой, мотнул головой, залез пятерней в волосы, отбросил назад знакомым жестом... «Полно песку в волосах», — пришло в голову Елене...

А потом Таня унесла корзинку со спящей девочкой в кабинет к Павлу Алексеевичу, и они там закрылись с Сергеем, и гости, проходя по коридору в уборную мимо двери кабинета, слышали, что они смеялись. Часа два болтали и смеялись. А утром Сергей ушел, когда все спали. Павел Алексеевич уложил спать Елену и прилег в спальне, на своем прежнем месте, и, не раздеваясь, проспал до позднего часа, — с вечера он выпил изрядно. Елена же почти не спала, лежала с открытыми глазами и вспоминала, откуда знаком ей музыкант, и, кажется, вспомнила...

К концу января ремонт был закончен. Дом обновился, Василиса теперь ничего не могла найти — и кастрюли, и тарелки, и постное масло, все стояло на новых местах, и она от постоянных поисков так уставала, что в конце концов унесла в свой чулан хлеб, завернула его в полотенце и держала теперь его в своей тумбочке. Хозяйство Таня передала Томе, сделала запас крупы и макарон, сахара и муки. Повесила новые занавески и купила стиральную машину... Потом объявила Павлу Алексеевичу, что уезжает.

— Мама к ней привыкла, оставь ее у нас. Наладишь в Ленинграде жизнь, заберешь, — просил ее Павел Алексеевич.

За то время, что внучка провела в их доме, он понял, что дожил до такого времени своей жизни, когда одна маленькая девочка способна заменить ему всю его профессиональную деятельность, студентов, учеников и, главное, пациентов, и, что бы ни делал он в отделении — разглядывал ли трясущиеся линии кардиограммы, влезал зрячими пальцами в кровоточащий разрыв матки, пальпировал ли плодоносные животы, — ни на минуту не забывает он о девочке в плетеной корзине. Он внутренне отмечал ее новорожденное, небогатое время: сейчас она спит, уже просыпается, сосет, срыгивает, тужится и сучит ножками, производит серьезный акт испражнения и снова засыпает... единственным и постоянным его желанием стало пребывание рядом с этой корзинкой, с девочкой, исходящей младенческим излучением, сладостным сном. В ней было еще мало индивидуального, но прорезалось уже родовое: брови раскинулись длинно, и несколько волосков топорщилось в том месте, где могла прорасти потом фамильная кисточка. Пожалуй, она напоминала ежонка: длинный носик, слипшиеся иголочками пряди волос... Но лоб, высокий лоб Гольдберга...

Тане было уже два года, когда она появилась в жизни Павла Алексеевича, и была она красивым и ласковым ребенком, доброжелательным и доверчивым, а эта крошка была почти совсем никакая, она не завоевывала сердца деда, ей просто-напросто от самого рождения дана была власть над Павлом Алексеевичем, и он наслаждался, сидя рядом с ее корзинкой, помогая Тане купать ее, касаясь красных нехоженых ножек... Это было чисто природное чувство, не нуждающееся ни в оправдании, ни в объяснении: так лев любит львенка, волк — волчонка, орел — орленка... И в этой точке открывалось, что любая педагогика есть бред и холодный рационализм, и когда начинается педагогика, отступает природное чувство, глубокое, животное чувство любви к детенышу... Самое низкое из всех высоких чувств...

— Я говорю это совершенно серьезно. Донорское молоко подберем. Я завтра же подам заявление об уходе...

— Пап, ну что ты говоришь? — Таня смотрела в морщинистое лицо отца, ловила совершенно прежде неизвестное в нем выражение — просьбы... И от этого ей становилось не по себе, и она возмущалась: — Да что ты в самом деле? Не представляю тебя на пенсии! Кашу ты ей варить будешь, что ли? С коляской гулять?

Он кивал:

— Угу. С удовольствием. Я, Таня, мало семьей занимался. А сейчас самое время. Будем с мамой коляску прогуливать.

— Мама в полном отсутствии, — хмуро замечала Таня.

— Не знаю. Не уверен...

Таня обняла его за шею, пощекотала за ушами:

— Папка, ты чудной, ей-богу. Я привезу тебе девочку, обязательно. Я, знаешь, хочу много детей. Девочек и мальчиков, штук пять.

Павел Алексеевич взял в горсть Танины руки, попорченные стиркой и ремонтом, поцеловал и пошел на кухню выпить совершенно необходимую дозу — три четверти небольшого, в крупную грань, стакана. Что-то перекраивалось в его стареющей голове: почему среди десятков тысяч детей, принятых на свет, спасенных, даже спроектированных его интуицией, эта девочка и другие двое или трое, которые могут появиться от Тани, так драгоценны? «Ведь я даже не могу сказать КРОВЬ... Никакой крови, никакого родства, ничего, кроме иррационального, необъяснимого, капризного и никчемного выбора сердца...»

Таня торопилась. У нее был целый список дел, которые она одно за другим вычеркивала — невыветрившаяся привычка человека ответственного и организованного... Самым дорогостоящим и трудоемким делом была замена всей сантехники, включая и ванну, которой в последнее время стало невозможно пользоваться из-за постоянной течи; самым деликатным — крещение дочки. Для проведения этого благотивного мероприятия в качестве эксперта была привлечена Василиса, в качестве крестной — Тома. Для начала Василиса наотрез отказалась идти в ближайшую к дому Пименовскую церковь, запятнавшую себя, по Василисиному пониманию, былой принадлежностью к «обновленче ву», и предложила ехать в какой-то деревенский храм в дальнем Подмоскowie, где служил «правильный» священник. Но Таня удивительно легко расправилась с Василисиними принципами, сказавши, что в такую даль она ни за что не поедет, поскольку и сама-то она точно не знает, с чего это ей взбрело в голову крестить ребенка, и если уж возникают такие трудности, она готова и отказаться от этой блажи. На этом Василиса поджала губы и стала менять домашние, подрезанные валенки на уличные, с калошами... Тайнство крещения совершили в Пименовском храме. С того дня девочка окончательно определилась Евгенией, и Таня вычеркнула последний крестик из московского делового списка. Оставалось только перед отъездом искупать Елену в новой ванне. Уже больше года ванной не пользовались, вставляли под душ и, не затыкая ванны затычкой, наскоро споласкивались, чтобы не залить соседей.

Теперь Таня наполнила ванну. Елена прижимала к себе локти, слабо сопротивлялась.

— Надо раздеться. Смотри, мамочка, водичку уже набрали... — уговаривала ее Таня, и та неохотно подчинялась.

Худоба матери была болезненной, и дело было не в низком весе, — сама Таня до пятидесяти килограммов недотягивала, и Тани пришлось в голову при виде материнской наготы, что скелет человеческого уныл и беспол, и только куски пронизанного жиром мяса создают и женскую прелесть, и мужскую крепость, и даже само различие между мужчиной и женщиной... От материнской былой женственности остались бледные булочки груди и смутная тень почти безволосого лобка.

Наконец Таня усадила мать в теплую воду. Елена легла, вытянув ноги:

— Как хорошо...

«Я как Хам», — усмехнулась Таня и намылила мочалку. Смотреть было неприлично, а мыть, подстригать, вытирать — пожалуйста...

— Подожди, Танечка. Я полежу немного. Такое блаженство... Что, ванна прежде была испорчена? — спросила Елена очень здоровым голосом.

— Да. Теперь починили.

Елена прикрыла глаза. Волосы сползли в воду, намокли. Таня отвела их в сторону.

— В воде все меняется. У меня голова в теплой воде намного лучше делается. Я не хочу, чтобы ты жила дома. Я не хочу, чтобы ты жила со

мной. Я все забываю, и мне кажется, что я сейчас забыла гораздо больше, чем помню. Но скоро я забуду и то, как много я забыла. Ты не пугайся, я не имею в виду ничего страшного, я просто умираю таким необыкновенным способом, из середины головы. Мне сейчас очень хорошо. Мне давно так хорошо не было, и я хочу с тобой попрощаться. Меня съедает дыра. Почему-то происходящее со мной очень стыдно. И я не знаю, останется ли что-нибудь в самом конце. Скажи, сколько мне лет?

— Тебе скоро исполнится пятьдесят два...

— А тебе?

— Мне двадцать три.

— Хорошо. Вода остыла. Добавь еще горячей... Я ни в чем и ни в ком не уверена. Иногда приходят чужие люди, а иногда знакомые... А бывает так, что Василиса, а в ней еще кто-то... Я и в себе не уверена... Ты про это знаешь.

— Нет, мамочка. Я ничего про это не знаю...

— Ладно, бог с ними. Я хотела тебе сказать, что сию минуту я — я, а ты — ты и я тебя очень люблю. И я сейчас с тобой прощаюсь. А потом ты меня намыль... А потом уезжай...

Таня хотела что-то возразить, но язык не повернулся, потому что все, что бы она ни сказала, было бы жалкими, ничего не значащими словами. Она намылила волосы матери, слегка запрокинув ей голову, чтобы мыло не стекало в глаза, потерла кожу головы, направила струю из душа, чтобы смыть пену... Промыла все складки узкого тела, протерла насухо, смазала детским кремом. Потом надела длинную байковую рубашу и отвела в постель. Было около девяти часов вечера. Вскоре пришел Павел Алексеевич — в тот день он читал вечерние лекции в Институте усовершенствования врачей. У Тани уже все было собрано. Они поужинали вместе, и он проводил девочек на вокзал. Московский период в жизни Тани окончился.

## 19

Свое последнее заключение счастливчик Гольдберг ни дня не провел на общих работах — сразу взяли санитаром в больничку. Заведующая, пожилая и разленившаяся до кучи, прости господи, говна тетка сонно перевалила на него половину своей работы. Несмотря на всю свою гнилость, двадцать лет оттрубив в лагерной медицине, меньше всякой другой области медицины имеющей право на это название, заведующая вяло отстаивала Илью Иосифовича перед начальством, и по меньшей мере два раза ей удалось избавить его от перевода на общие работы...

Будь на ее месте врач-мужчина, Илья Иосифович не стерпел бы, несмотря на покровительство, ее сонного равнодушия к больным, вороватости и мелкой подлости, но примирило его с заведующей его собственное сострадание, превосходящее все его принципы: при ней постоянно паслась двадцатилетняя дочь-дебилка, которую она боялась оставлять одну дома, и биография — горькая, советская и неизбывная, как непогребенный покойник, шла за ней по следу...

Публичное правдолюбие Гольдберга, неприличное, как заплатка на заднице, молчало, может быть, впервые в жизни. За те два с лишним года, что он тянул лямку санитаря по должности и помощника заведующей по службе, он ни разу не устроил ей бурного обсуждения, не обличил, не швырнул кружкой, не рявкнул... При прощании она сказала Гольдбергу слова, его удивившие и даже устыдившие: она оказалась и умней, и лучше, чем он думал. А может быть, дело именно в том и состояло, что Илья Иосифович с его старорежимным великодушием и смехотворным благородством, обычно принимаемым за непродоходимую глупость, поднял врачиху на короткий миг на свой уровень, и она коряво произнесла неказистые слова, достойные предсмертной исповеди, а потом спросила, чем мо-

жет быть ему полезна... После чего села толстой задницей на свой обитый красным плюшем стул и выполняла еще целых двадцать лет свою скучную службу, потому что надо было кормить дочь-дебилку и посылать кое-что вдовой многолетней сестре, муж которой давным-давно пропал в родной системе...

Словом, распрощался Илья Иосифович с Елизаветой Георгиевной Витте и шагнул за ворота. Они закрылись за ним, и он зашагал на станцию с малой толикой денег и справкой об освобождении... Местный поезд останавливался на этой не значащейся на картах станции поздним вечером, а вернее сказать, даже не останавливался окончательно, а притормаживал и в момент, когда, казалось, остановится, уже и трогался... Сюда, в дощатый павильон почти не существующей станции, за час до прихода поезда заглянула Елизавета Георгиевна, «Куча», как привык называть ее про себя Гольдберг, и дала Илье Иосифовичу сверток с едой. Тетрадь, считая из листов, всунута была между буханкой хлеба и двумя банками тушенки...

— Нравственные основы подорваны, Паша. Нравственные основы жизни, нравственные основы науки... Но жив человек. — Гольдберг держал костлявую ладонь на тетрадке, сшитой из листов, которые прежде хранились порознь, а вместе собрались лишь накануне освобождения.

Снова, спустя три года, они сидели в кабинете Павла Алексеевича, друзья, теперь сроднившиеся по прихоти детей, у которых ничего не разберешь, кроме того, что девочка Евгения, их общая внучка, жива-здорова, проживает в Ленинграде с Таней и длинноволосым джазистом, принявшим на себя с большим удовольствием немалые заботы отцовства... Выпили старики сначала с тостами, потом просто приподнимая стакан повыше носа и останавливая на мгновенье руку...

— Здоров...

— Дыра из дыр, Паша, дыра из дыр... Однако заведующая мне из Новосибирского университета журналы выписывала. Американские, немецкие, французские... С тридцатых годов начиная. Вот, Паша, я одну брешь вроде прикрыл, которая после закрытия Медико-генетического института образовалась. Эта книга не столько для ученых, сколько для врачей такой специализации, которой пока еще нет... Учебник не учебник... Так, введение в медицинскую генетику...

Павел Алексеевич взялся за бутылку, она уже была легонькой... «Как же я одряб, однако... Илюша каков богатырь: худ, шея как у ощипанного петуха, даже лысина стала морщинистой, и откуда берутся силы, энергия...»

Прошло чуть больше двух недель с тех пор, как Гольдберг объявился в Москве. За это время он успел встретиться с десятком коллег, вник в научный процесс и порадовался серьезному уровню мышления, — хотя больших достижений не обнаружил, — побывал в двух издательствах, представил проект написанной уже книги и понял, что на скорую публикацию рассчитывать не приходится. Падение Хрущева, происшедшее, пока Гольдберг отбывал свой последний срок, только тем и было для него интересно, что оно означало окончательное крушение Лысенко с его приспешниками. Самым существенным событием за время его отсутствия представлялась организация Института генетики. Естественно, он первым делом помчался к новому его директору, знакомому с довоенных лет, хорошей выучки генетику, известному в молодые годы по прозвищу Боня, произведенному от Бонапарта...

Первые сорок минут встречи Гольдберг разливался соловьем, щедро сыпал свой цветной бисер отнюдь не перед свиньей... Зверь, который перед ним сидел, смотрел на него жесткими голубыми глазами, обладал стальными челюстями, железной хваткой и алмазной крепости честолюбив-



ем, соответствующим юношескому прозвищу... Но у них было и много общего: великие учителя, дефектная родословная — если еврейский лесоторговец может сравниться с сибирским заводчиком, — лагерный опыт и первосортные мозги... Директор слушал в высшей степени внимательно, но ни словом, ни движением брови не обнаруживал своего отношения.

Только через сорок минут Гольдберг почувствовал мировое оледенение, доползшее до него по длинному, буквой «Г», столу от лысого корытшки, в буддийской неподвижности восседавшего во главе письменного стола, в центре большого кабинета, в самом средоточии обновленной генетической науки.

Гольдберг замолк, пораженный недобрым предчувствием. Молчал и директор. Он умел держать паузу. Гольдберг — нет.

Илья Иосифович остановил поток своих излияний, все по поводу медицинской генетики, от самых общих организационных соображений, связанных еще с проектом Павла Алексеевича по созданию генетико-консультационных центров, до самых отвлеченных идей, для реализации которых понадобится лет тридцать... Перебив сам себя, резко спросил:

— Коля, ты дашь мне лабораторию?

Директор действительно лицом несколько смахивал на Наполеона: мелкие черты, пухлый подбородок мягко переплывал в короткую массивную шею. Исключительной значительности незначительное лицо... Мозги его напряженно работали, но никакого выражения на лице не наблюдалось. Отказать волоком, предоставить этому вострому дураку самому сообразить с течением времени, что «да» в некоторых случаях означает всего лишь разновидность «нет», или сразу пырнуть ножичком... Врагами-то они все равно были и будут еще злейшими, это директор твердо знал. Расчета у него никакого здесь не было, речь шла только о личном удовольствии. Поэтому он подержал еще некоторое время абсолютно неокрашенную паузу — у его аспирантов в такие минуты начинались схватки медвежьей болезни — и, сверкнув в псевдоулыбке новыми чересчур белыми пластмассовыми зубами и перебрав несколько вариантов с оттенками разной степени обидности, ответил:

— Нет, Илья. Ты мне совершенно не нужен...

Все это пересказал Илья Иосифович своему другу.

— Оказалось, Пашенька, что ему не нужен ни я, ни Сидоров, ни Соколов, ни Сахаров. Шурочка Прокофьева ему не нужна, Бельговский, Раппопорт. Тимофеев-Ресовский особенно не нужен. А набирает он мелкую сошку, ландскнехтов и романтическую молодежь, которая из яйца вчера вылупилась. И теперь я возвращаюсь, дорогой мой, к началу нашего разговора: нравственные основы подорваны. Безнравственная наука оказывается хуже и опаснее безнравственного невежества...

Тут Павел Алексеевич оживился:

— Вот-вот, Илья, всегдашняя твоя тенденция, все в одну кучу валишь. Путаешься в понятиях. Нравственного невежества быть не может. Нравственным может быть малограмотный. И вовсе безграмотный человек, как наша Василиса, может быть нравственным. Из твоих слов следует, что наука антитеза невежеству. Это ошибочно. Наука — это способ организации знания, невежество — отказ от познания. Невежество — не малознание, а установка. Парацельс, к примеру, об устройстве человеческого тела знал меньше, чем сегодня рядовой врач, но невеждой его никак не назовешь. Он знал об относительности познания. Невежество ничего не предполагает, кроме своего собственного уровня, именно поэтому нравственного невежества не бывает. Невежество ненавидит все, что ему недоступно. Отрицает все, что требует напряжения, усилия, изменения точки зрения. Да, впрочем, что касается науки, я не думаю, что и у науки есть нравственное измерение. По-

знание не имеет нравственного оттенка, только люди могут быть безнравственными, а не физика или химия, а уж тем более математика...

Гольдберг засмеялся, с боков рта выглянули последние невыпавшие премоляры:

— Пашка, ты, может, и прав, но мне такая правота не подходит. Если есть прогресс, благо человечества, значит, та наука, которая направлена на достижение некоторого условного блага, она нравственна, а которая это благо не имеет в виду — пусть провалится. Рака!

— Ну извини, — развел руками Павел Алексеевич. — Если следовать твоей логике, тогда наука может быть марксистско-ленинской, сталинской, буржуазной и даже рабоче-крестьянской! Увольте!

И они завелись на полночи, по косточкам перебирая науку в целом, теорию и практику — в частности, недалекое прошлое и светлое будущее. Язвили, ругались, хохотали, допили и вторую бутылку. А под утро Илья Иосифович шлепнул себя по лысине, выругался:

— Старый дурак, я ж Валентине не позвонил.

И он набрал номер. Валентина сидела все это время на кончике стула, обхватив свой высокий живот, образовавшийся со времени трехдневного свидания с мужем в лагерной зоне, и составила уже точный план своего поведения на завтра и на послезавтра, и первым делом наметила поехать утром к Павлу Алексеевичу, у которого телефон не отвечал, — значит, обыск и не дают трубку снять, — потом в районное отделение госбезопасности, потом к адвокату. Или сначала к адвокату... А главное, основную рукопись книги немедленно забрать у машинистки и спрятать в хорошем месте...

Илья Иосифович поднял трубку — гудка не было.

— У тебя телефон сломался, гудка нет. Я поеду. Валентина ходит с ума. Она, знаешь, Паша, на седьмом месяце... — Гольдберг как будто извинялся.

Павел Алексеевич попытался отговорить Илью Иосифовича ехать домой. Было без малого пять утра. И только после того, как несгибаемый товарищ хлопнул дверью, Павел Алексеевич сообразил наконец, что милая нескладная Валентина рождает ребенка не от кого другого, а от старого, ссутулившегося и высохшего Ильи и что разговоры разговорами, но вовсе не в науке дело, не в том, нравственна она или не очень, а самое важное заключается в том, что, уткнувшись носом в скрещенные ладони, покрытый пушком, скользкий от смазки, не набравший еще пигмента и оттого желтовато-бесцветный, сосредоточенный и сам в себе совершенный, плавает младенец в тесноте своего первого дома, в Валентиной матке, дитя старости, но и любви, со всеми ее физиологическими неизбежностями — поцелуями, объятиями, эрекцией, фрикцией и эякуляцией... Павел Алексеевич вздохнул: семенники, кора надпочечников... андрогены, несколько разновидностей стероидов... попробовал вспомнить формулу тестостерона... И по этой самой причине, активности желез внутренней секреции, Илью Иосифовича жжет глобальный интерес к нравственной основе гносеологии, а его, Павла Алексеевича, задавившего свои гормональные всплески, терзает лишь частное беспокойство о Тане, о внучке Жене, о жене Елене, которую он оставит на Тому и Василису в ближайшую субботу, когда отправится в Питер навещать своих дорогих девочек...

Ленинградская жизнь сразу же показалась Тане более породистой, с интересным корешком, и как-то лучше обставленной во всех отношениях, — и улицы, и вещи, и люди обладали большим удельным весом, что ли. Прошлое выглядело из-под каждого куста, и надо было быть полным оборотом вроде милейшего Толи Александрова, чтобы двадцать лет ставить горячую сковородку на наборный столик и не поинтересоваться,

кому раньше он принадлежал. А принадлежал он Зинаиде Гиппиус, которая проживала именно в этой комнате, въехав в нее юной девицей с молодым мужем. Город был прекрасен неисчезающей историей, но следы от сковородки присутствовали повсеместно, отчего иногда находила тоска. Тосковать, однако, было некогда: маленький ребенок не позволял. Утренняя и дневная жизнь были наполнены хлопотами, а по вечерам начиналась жизнь богемная, артистическая. Нашли тетю Шуру, которая за небольшие деньги оставалась с Женей на вечер, а то и на ночь. Таня же с Сергеем бегали по гостям, по кафешкам, которых возникло немало в те годы, выпивали, покуривали, танцевали. Сергей время от времени выступал. Их трио не только не распалось, а, напротив, делалось все известней в молодежном мире, но известность эта носила характер домашний и полуподпольный.

В свою вторую петербургскую зиму Таня испытала тяжкую сонливость и оцепенение, с которыми боролась безуспешно, и спала с декабря по февраль вместе с Женечкой по двенадцать часов в сутки. Зато когда зимняя тьма несколько отступила, она развела очень целенаправленную деятельность, и уже в феврале ей удалось снять довольно прилично оборудованную мастерскую. Там она собиралась начать производство странных украшений из проволоки и дешевых сибирских камней, добытых на Урале приятелем-геологом.

Дочка Танина была одарена чудесным нравом, сама себя забавляла, никогда не скучала, и довольно было сунуть ей в руки игрушку, ложку, веревочку, и она презабавнейшим образом часами их исследовала, пробовала на свежий зуб, заталкивала в карман, крутила и извлекала из любого предмета массу интереса. Сергей девочку полюбил естественнейшим образом, как Павел Алексеевич когда-то саму Таню, так что мало кто из друзей и знал, что девочка вовсе не дочка Сергею, а Таня — не жена. Проблема замужества-супружества несколько не занимала парочку. Собственно говоря, оба они официально были не свободны: Сергей женат на Полуэктовой, Таня замужем за Гольдбергом. Единственная проблема, которая могла возникнуть, — это отсутствие у Тани прописки для устройства на работу или при обращении в поликлинику. Но ни на какую службу Таня не собиралась и была вполне здорова. А случись что с дочкой, она немедленно села бы в поезд и наутро вручила бы заболевшего ребенка в лучшие на свете руки... Но ничего такого не случалось, даже насморка.

Вставала Таня рано, как работающая женщина, кормила Женю, собирала ее, уже тяжеленькую в шубке, шапке и всей начинке, которую полагалось надевать на детей в ту пору, когда не научились еще делать пуховые комбинезоны и гигроскопические памперсы, и, погрузив в коляску, в любую погоду ехала с левого берега на разночинную Петроградскую сторону, где ухитрилась она снять себе мастерскую на левом берегу малой Невки, рядом с домом художника Матюшина, о котором в то время понятия не имела, но вскоре вникла и в эти странные родники авангардизма, которые всегда пробивались из здешних гнилых болот.

Дорога от дома до мастерской занимала никак не меньше часа, и это была хорошая прогулка, после которой Женя спала часик в ставшей тесной коляске. Таня строила крупные, нарочито грубые украшения с черными агатами и раухтопазами, моду на которые собиралась внедрить на невском левобережье, среди претенциозных сверстниц, любительниц петербургского джаза. Она с детства знала за собой это особое качество: когда она что-нибудь на себя надевала, все одноклассницы немедленно следовали за ней... Поэтому первое, что надо было теперь сделать, — нацепить на себя побольше самодельной красоты, тусоваться и ждать покупателей.

В обед приходил Сергей, управившись с утренними делами — собачьим выгулом и общением с саксофоном, — и приносил какой-нибудь купленной в кулинарии еды и кефир Женьке. Хотя той шел второй год, она

любила младенческое питание и явно предпочитала питье еде. Таня ставила чайник на электроплитку, Сергей заваривал. Считалось, что он делает это лучше всех. Обедали по-студенчески. Белый хлеб он по-питерски называл булкой, с едой обращался бережно и скупое — блокада поставила свою печать, хотя его, больного мальчонку, вывезли в тот год по льду...

А потом он либо уходил встречаться со своими ребятами, играть, просто трепаться, выпивать, либо они проводили день до вечера не расставаясь. Тогда он ложился на грязную кушетку, играл с Женей.

Их совместные обеды завершались вредными с точки зрения усвоения пищи послеобеденными играми. Он подбрасывал пляшущую в руках девочку, стараясь уловить ритм ее движений и выдвывая губами прерывистый трубный звук, Таня отбивала молоточком свой рабочий бит — металл о металл, а Сергей радовался тому, как ритмически осмысленно все их существование, все пронизано музыкальным смыслом, а сами они представляют собой такое славное трио, в котором — основа, лидерство, сублидерство — все как в настоящем джаз-ансамбле, и даже акустическое пространство делится на обособленные ниши, как три мелодических голоса в нью-орлеанских диксилендах...

— У нас потрясающий джем-сешн... — сообщил Сергей Тане, и она, отбив очередной каскад ударов, возразила:

— Нет, у нас отличная семейная музыкальная шкатулка.

— Ты что? В шкатулке мертвая музыка...

— Ты прав, прав, — мгновенно согласилась Таня.

Они не задумывались о счастье, как не размышляла о нем блаженная пара в нескончаемо летнем саду, не озабоченная ни хлебом насущным, ни здоровьем, ни банковским счетом. Даже квартирный вопрос их не беспокоил — они жили бесплатно в богатой буржуазной квартире в обмен на бесплатную же услугу, оказываемую хозяйке: кормили и выгуливали двух глупых борзых красавцев. Это была работа, но Сергей привык к ней, знал, где покупать кости, какое добавлять мясо, у кого доставать витамины. Две огромные кастрюли не сходили с плиты, и случалось, Таня с Сергеем и себе накладывали из собачьей кастрюли, слегка подсолвив. Кроме того, оставить дочку на приходящую Шуру они могли, а вот поручить кому-нибудь выгулять собак было совершенно невозможно. Поэтому ежеутренние и ежевечерние выгулы собак были неотменимой обязанностью Сергея, и иногда ему приходилось брать такси и мчаться к часу ночи домой, чтобы вывести Грея и Долли. Когда Сергею случалось напиться — а он отрубался намертво, — Таня выводила собак по очереди, боялась, что с двумя не справится. Вообще, как ни странно, любви у нее с этими роскошными красавцами не получилось.

Проблемы, несмотря на неправдоподобную идиллию, конечно, были. Например, климат. Холодный. Или вот как достать в ночное время бутылку водки. У таксиста? Махнуть в аэропорт? Или политический строй... Неудобный и отчасти опасный. С другой стороны, всюду есть какой-то строй, а там, где его нет, либо горные кручи, либо дикие звери с ядовитыми змеями. И другие неудобства...

Всем было плохо, а этим ребятам, в шестидесятых, жилось прекрасно. В это трудно поверить, требуются веские доказательства, опрос свидетелей, показания очевидцев. За давностью лет многое стерлось в памяти, и каждый помнит о своем: Гольдберг — лагерную зону, Павел Алексеевич — медленно уходящую все дальше от живых людей Елену в ее странном промежуточном состоянии, Тома — очереди за продуктами, в которых все равно приходилось стоять, несмотря на кое-какой продуктовый паек, приносимый в дом ПА. Другим запомнился ввод войск в Чехословакию. Обыски и аресты. Подпольщина. Запуск Гагарина в космос. Радиогам и телесвистопляска. Память о тесноте жизни, о страхе, растворенном в воздухе, как сахар в чаю.

По своему легкомыслию они не боялись повседневно, а скорее минутами пугались. Но, очнувшись от испуга, брали в руки свою спасительную музыку, которая мало сказать делала их свободными, она сама по себе и была свободой. На этом месте происходил невидимый водораздел между Сергеем и его родителями. Вот по этой самой причине и трясло их друг от друга, Сережиного марксистско-ленинского папашу и папашино музыкалствующего хулигана сына. Были они друг другу серной кислотой... Детская привязанность, родительская любовь, пошипев, изошли едким дымом, и в прожженной дыре ни жалости, ни сострадания не образовалось...

Мать подслала к ним в гости бывшую одноклассницу Сергея, Нину Костикову, девочку из их двора, влюбленную в него с первого класса. У нее была миссия: устроить семейную встречу.

— А тебе что, трудно? — ходатайствовала Нина за Сережину мать. — Да покажи ты им Женьку.

— А ты скажи ей, что ребенок не мой, она и успокоится. — Он взял девочку на руку, прижал ее лобик к своему, прогудел: «ууу». Женя запрывала от радости. — Ты скажи, что мне ее в подоле принесли. В подоле сарафана. — И он захохотал, будто пошутил бог весть как остроумно.

Таня поднимала бровь кисточкой:

— Чем тебе мой сарафан не нравится? Ладно, следующего я тебе прямо в руки принесу...

О новом ребенке она не забывала. Несколько раз ей казалось, что забеременела, но каждый раз ошибалась. Дочку свою она очень любила, но хотела мальчика, и в этом ее желании была странная настойчивость, как будто она обязана была родить его для каких-то неведомых высших целей. С бытовой стороны второй ребенок был бы безумием. Но не меньшим был и первый. То, что называется материальной базой, полностью отсутствовало. Хотя деньги в дом приходили от Сережиных выступлений, да и Павел Алексеевич, навещавший их раз в месяц-полтора, всегда оставлял деньги. Таня этим слегка тяготилась, но надеялась, что скоро и сама начнет зарабатывать. Однако оба они, и Сергей, и Таня, исключали потную каторгу подневольного труда, считали, что деньги на пропитание должны образовываться сами собой, в процессе их свободной игры...

Таня тем временем все глубже въезжала в музыкальную стихию. Завела даже себе блок-флейту, потихоньку от Сережи с ней слегка беседовала. Инструмент был бедненький, но звук трогательный, ребячий... Таня не пропускала ни одного выступления Сережиного трио, ходила с ним слушать и другие джазовые группы, которых в Питере развелось немало. Стоящих музыкантов было не так уж много, все были на виду. Кумиром Сергея в ту пору был Герман Лукьянов, москвич, музыкант консерваторский, другой социальной природы — сноб во фраке, играющий на многих инструментах, в те годы в основном на флюгельгорне, и к тому же интересный композитор. Позже Сергей в нем разочаровался, увлекся Чекасиным... Но вообще все сходили с ума от Колтрейна и Коулмена. Каждую новую пластинку праздновали, Сергей даже годовщины первого прослушивания справлял. Обсасывали с Гариком каждую ноту и обсуждали каждый поворот, каждое созвучие, все смещения и сдвиги, разрывы в привычной звуковой логике. Хотя Тане гораздо интереснее было слушать живую музыку, чем ее часовые разборы, она вполне понимала, о чем идет речь: музыкальное образование, хоть и небольшое, у нее было.

Самым счастливым обстоятельством оказалось полное слияние всех компонентов жизни, которые обыкновенно лишь кое-как сосуществуют, а то и раздергивают человека в разные стороны. У Тани любовная, семейная, творческая и рутинно-бытовая линия были сплавлены воедино, и повседневность проживалась «музыкально», по тем же самым законам, по которым организуется музыкальное произведение, скажем симфония. Ее

забавляла эта аналогия, и она ранним утром, когда Сергей еще спал, а Женечка уже ворковала в кровати, отдавалась сонатному *allegro*, двухтемному взаимодействию, в котором первая тема, Сережина, поначалу была сильней и объемней, а потом сдавалась и уступала детской, лепечущей и радостной. *Andante* она улавливала на темной улице, катя перед собой коляску, и трехчастная форма его соотносилась в географией улиц, так что последняя часть, к стати сказать самая невнятная, начиналась на Петроградской стороне.

В мастерской музыка поначалу переставала звучать — она раздевала дочку, поила водой из бутылочки, сажала на горшок и укладывала в коляску на дообеденный сон. После чего Таня выкуривала первую за день сигарету и шла к верстаку. Здесь ее настигало скерцо, и оно забавляло, слегка подстегивало, торопило, и так она доживала до финала, который выходил на рондо, и возникал повтор, нежное сцепление с утренней темой, связанной со спящим Сергеем, который появлялся к обеду. Звонки в дверь, и так симпатично все выстраивалось — *abacadae...*

Весной начинался музыкальный сезон. Тане хотелось поехать с Сергеем на джазовый фестиваль в Днепропетровск, а потом в Крым. К концу зимы успели надоесть два-три джазовых питерских клуба, к тому же с лучшим из них, с «Квадратом», расстроились отношения. Сергей не страдал честолюбием, был миролюбив и приветлив, а Гарик периодически вступал в глупый конфликт с кем-нибудь из джазовых старейшин города — то с Голоухиным, то с Лисовским. Таня, к тому времени уже разбиравшаяся до некоторой степени в джазовой жизни, познакомившаяся со многими музыкантами, считала, что Сергею надо от Гарика уходить. Играли они отлично, но Гарик не давал Сергею той степени свободы, до которой он уже дорос. Сергей все больше сочинял. Гарик на его упражнения смотрел снисходительно, посмеивался, но как-то, в пьянке, сказал жестко и недвусмысленно:

— Пока ты у меня играешь, мы играем мою музыку...

Сергей огорчился. Таня еще больше. Ей даже показалось, что настал момент, когда ей надо вмешаться и слегка направить ситуацию. Сергея уже зимой приглашали в «Диксиленд». Да мало ли с кем еще можно играть, не сошлось же все клином на Гарике... Она позвонила отцу, спросила, горит ли он по-прежнему желанием взять Женьку на лето. Если да, то она приедет и поживет немного в Москве, чтобы дочь ко всем попривыкла...

В середине мая Павел Алексеевич встречал Таню с Женей на Ленинградском вокзале. Все свои служебные дела он плавно заканчивал к концу месяца. Теперь ему хотелось только одного: остаться на даче с внучкой, кормить ее кашей по утрам, водить гулять, разгадывать ее невнятные слова и первые мысли. Женщины его семьи все более выходили из строя: Елена неохотно вставала с кресла, Василиса одряхла, и зрение ее, несмотря на удачно сделанную операцию, было очень слабым. Тома помогала ему сколько возможно, но ее вечерняя учеба отнимала у нее много времени, и Павел Алексеевич только тихо удивлялся, почему именно Тома, с ее очень средними способностями, так усердствует в науках, в то время как Таня сидит в полуподвале, что-то мастерит ловкими руками и оставляет в полном бездействии свою прекрасно организованную голову...

Внучка, которую он навещал в марте, не забыла его, потянула ручки и подставила щеку для поцелуя. Он поцеловал сливочную кожу и наполнился горячим воздухом, как аэростат...

Неделю прожила Таня дома. Сделала глубокую, с выворачиванием углов, уборку. Вымыла окна. Была очень ласкова с Василисой, отвела ее в баню: другого способа мытья Василиса не признавала, а ходить одна боялась после того, как упала в бане на каменный пол. Тома редко соглашалась ее сопровождать. К тому же несубботного мытья Василиса тоже не признавала, а у Тома на субботы обычно были свои планы. Баня была неподалеку, на Селезневке, и Василиса всегда носила с собой свой таз, лы-

ковое мочало (где только она его добывала?), вонючее дегтярное мыло и смену белья. Впервые за всю жизнь Василиса принимала Танину помощь. Сначала Таня помогла ей стащить толстое пальто, запинаящееся в рукавах, потом нагнулась и сняла с нее всесезонные валенки. Теперь она и летом, как настоящая деревенская старуха, одевалась по-зимнему. Уже несколько лет, как Василиса перестала носить туфли... Василиса скривила рот и сказала самоосуждающе:

— Ну, барыня, дожила...

Потом Василиса сама проворно расстегнула байковый халат и сняла серое залатанное белье. Нагота ее была такой же нищенской, как одежда. Серое морщинистое тело, узловатые длинные ноги в чернильных венах и красной сыпи мелких сосудов, ссходящаяся, как у паука, грудная клетка с большим крестом чуть ли не на пупке. Смотреть на Василису было неловко, но зрение ее было таким слабым, что она не чувствовала Таниного взгляда, да и при всей своей природной стыдливости в бане Василиса снимала с себя стыд вместе с одеждой. Между ног ее Таня заметила розово-серый, размером с кулак, мешочек довольно отвратительного вида...

— Вась, что у тебя там болтается?

Василиса чуть пригнулась, слегка присела, расставив ноги, и, сделав ловкое движение, заткнула внутрь высунувшийся мешочек.

— Детница, Танечка, оторвалась. В тридцатом году еще, телегу тянули... Да ничё, ничё... Оно не болеет...

Таня усадила ее на лавку, поставила под ноги таз с горячей водой, взяла казенную шайку и стала ее мыть лыковым мочалом. Василиса постанывала, кряхтела, выражала всяческое удовольствие...

Ужас, какой ужас... Всю жизнь она нас обслуживала, таскала сумки, мыла окна, гладила белье неподъемным чугунным утюгом... Вправляла выпадающую матку и лезла на стремянку... В доме у первого в стране гинеколога... Сказать отцу? Ужас, ужас... Таня, стоя во вьетнамских резиновых шлепанцах на скользком полу, натирая костлявую старческую спину, бормотала:

— Господи, ну что с вами делать-то? Васенька, ну что, мне, что ли, домой надо переезжать... Ну что же вы такие старые-то сделались...

Стоял шум голосов, лилась вода, и Василиса ее не слышала.

«Все. Порезвилась. Теперь надо возвращаться домой, — сказала себе Таня. И пришла в отчаяние от ужасной перспективы жизни в своем старом доме, между дряхлеющей Василисой и выжившей из ума матерью, с дочкой, с Сережей... — И самое нестерпимое — пробивающийся даже после самой тщательной уборки запах застарелой мочи, кошачьей и человеческой, прокисшей еды, пыли, трухи, умирания... — Бедный отец, как он все это вытягивает? И она вспомнила его выстуженный кабинет, постоянную пустую бутылку между двумя тумбами письменного стола... — Если бы Тому снять с работы, пусть бы домом занималась», — и сразу же поняла, что это стыдно.

Когда Таня довела разомлевшую Василису до дому, усадила на кухне рядом с чайником, решение было принято: она едет сейчас на дачу, готовит ее к летнему сезону, договаривается с какой-нибудь местной теткой, чтобы помогала по хозяйству, перевозит всех и оставляет до осени. А осенью, после возвращения в город, она переедет в Москву... С Сергеем... Последнее было со знаком вопроса... Но, в конце концов, можно и снимать комнату... А джаз всюду играют!

Тома не любила детей. Не любила детства, своего собственного и всяческого, и всего, что связано с деторождением. Никакой Фрейд был не нужен, чтобы объяснить ее глубокое отвращение ко всей той сфере жизни, где существует притяжение полов, от невинного лапания в углах до гнус-

ного пыхтения, сопровождающего соитие, которому с детства была она свидетелем. Материнская гнилая постель, на которой происходила любовная мистерия и где настигла дворничиху, имя которой давно уже забылось во дворе, ее малопочтенная смерть, была ночным кошмаром Тома. Всякий раз, когда Тома заболела и у нее поднималась высокая температура, ей казалось, что лежит она в их семейном логовище. Она открывала глаза: Елена Георгиевна сидела рядом с ее чистой накрахмаленной постелью, вязала толстым крючком что-то серое или бежевое и, увидев, что Тома проснулась, давала ей теплого чаю с лимоном и обтирала мокрый лоб... Вечером заходил Павел Алексеевич и приносил что-нибудь удивительное — однажды стеклянного прозрачного зайца размером с настоящую мышь. Потом она его потеряла на даче или его украли одна из дачных соседок, и было большое горе. Другой раз Павел Алексеевич принес ей маленькую коробочку с ножницами, пинцетом и острой штучкой неизвестно для чего. Он приносил Томе подарок, целовал сидящую рядом с постелью Елену Георгиевну в голову, и Томе было совершенно очевидно, что между этими чистыми, хорошо пахнущими и красиво одетыми людьми, несмотря на то что были они мужем и женой, не могло происходить той гнусной гадости, от которой померла бедная мамка. Они и спали в разных комнатах.

Многое из того, что видела Тома в доме Кукоцких, она объясняла самым фантастическим образом, но в данном случае она не ошибалась: никакой такой гадости между супругами не происходило, причем именно с момента ее водворения в их доме...

Что же касается маникюрного набора, он сохранился по сей день и не потерял своего значения. А значение его было в том, что, когда Таня болела, он всегда приносил два подарка, обеим девочкам, и больной, и здоровой. Однако если болела Тома, то Тане он ничего не приносил... Поэтому, когда Тома была маленькой, она была уверена, что Павел Алексеевич любит ее больше, чем Таню. Понятие справедливости, при которой все отмерялось ровно по весу, по размеру, по количеству, сохранилось у нее навсегда, хотя отчасти и поколебалось догадкой, что не все так просто. Но Тома сложным вещам всегда предпочитала простые...

В доме у Кукоцких о справедливости вообще и речи не было. И поровну ничего не делили. За обедом всем полагалось по две котлеты. Но Таня от второй часто отказывалась. Василиса же вообще никогда не ела мяса. Долгое время Тома думала, что ей мяса не дают «по справедливости», то есть потому, что она прислуга. Позже оказалось, что Василиса сама не хочет мяса. Зато, прожив несколько месяцев в доме, Тома развела, выследила, что у Василисы есть своя особая еда, которую в доме никто другой не ест: в чулане у нее хранился сушеный белый хлеб, нарезанный мелкими кусочками, и Василиса его ела по утрам, от всех втайне. Значит, какая-то справедливость и здесь существовала. Тома как-то вошла в чулан, нашла завернутый в тряпочку хлеб, попробовала кусочек — он был совершенно безвкусный. Ничего в нем особенного не было...

Живя с матерью и братьями, Тома постоянно участвовала в дележке — маленькие братья всегда хватали куски побольше и получше, постоянно ссорились из-за еды. Мать тоже ссорилась со всеми по разным поводам, и ссоры, даже драки, все были из-за несправедливости. У Кукоцких все было вопреки справедливости, и это было удивительно, особенно в первое время. Летом, на даче, Павел Алексеевич сбрасывал со своего блюда первую клубнику в тарелку Елене Георгиевне, а она, смеясь, пересыпала ягоды Василисе, которая сердилась:

— Не буду я вашу слякоту есть, детям отдай...

А Таня клубнику, как и котлеты, не любила, и ягоды замыкали застольный круг в Томиной тарелке...

Зато теперь, когда в доме появилась Женя, Тома наконец осознала радость отдавания. Забавно, что почувствовала это Тома впервые на той же



даче, с той же первой ягодой клубникой, выросшей на «своей» грядке. Их было всего с десяток, первых, уже красных, не совсем еще дозревших ягод, с Василисиной плантации, и Василиса с гордостью поставила их в воскресенье на стол:

— Первины вам...

Павел Алексеевич разделил всем по две ягоды, а последнюю, непарную, положил Жене. И опять, как в детстве, начался застольный передел. Павел Алексеевич положил одну ягоду в рот, вторую сунул Жене. Женя засунула в рот все ягоды, смешно скривилась, но зачмокала от удовольствия...

Василиса что-то ворчала, похоже, что на клубнику тоже у нее был пост. И тут, глядя на Женькино гастрономическое наслаждение, написанное на вымазанном соком лице, Тома поняла, что ей вкуснее смотреть, как ест ребенок, чем есть самой...

Так незаметно получилось, что Тома полюбила Женю, племянницу, как она ее определяла...

Девочка жила в доме деда уже второй год. Павел Алексеевич считал, что ребенок должен быть с ними, пока у Тани жизнь не организуется. Так и получилось, что прошлогодний дачный сезон растянулся на целый год. Тане все не удавалось перебраться в Москву. Она довольно часто приезжала на несколько дней, и только теперь, к началу июля, все стало складываться. Павлу Алексеевичу перед самым выходом на пенсию удалось выхлопотать однокомнатную кооперативную квартиру в новом академическом доме — для Тома. Бывшая девичья должна была вернуться в Танино владение, правда владение это было не единоличным, а семейным, вместе с Сергеем и Женей. Собственная квартира, добытая хлопотами Павла Алексеевича и на его деньги, представлялась Томе сказочной фантазией. Дом еще не был вполне достроен, но она ездила уже несколько раз на Ленинский проспект, в дальний его конец, ходила вокруг почти законченной стройки и даже постояла возле будущего подъезда. Ей подарено было имение, собственный остров, и в голове ее в связи с этим происходила перестановка всех окружающих по отношению к себе самой — собственная ценность, как ей казалось, неизмеримо возросла... Среди сослуживцев, а тем более сверстниц, она не знала никого, кто обладал бы подобным сокровищем. Сверх того она еще не могла понять, почему квартиру построили ей, а не Тане, родной дочери, к тому же в некотором роде семейной?

Конечно же Павлу Алексеевичу прежде Тома пришла в голову эта идея. Более того, он обсуждал ее с дочерью в один из ее приездов в Москву. Он как раз и начал именно с того, что предложил Тане построить двухкомнатную квартиру для ее семьи. Но Таня, ни минуты не колеблясь, отказалась: единственным мотивом ее возвращения в Москву были «наши старушки, которые все более приходят в упадок, и переезжаю я для того, чтоб за ними ухаживать»... Павла Алексеевича неприятно задело, что Таня уравнила снисходительным словом «старушки» Елену и Василису...

С Питером расставаться было трудно: у Сергея произошел какой-то прорыв, он осваивал один за другим новые инструменты: то играл на самодельных сдвоенных дудочках необычное хроматическое двухголосье, то упражнялся на бассет-горне и в конце концов, по следам великого Роналда Керка, завелся на совсем уж экзотическое музицирование на двух саксофонах сразу. И все получалось. Музыкальная дорожка крутилась непрестанно, и все чаще Сергей вытаскивал из этого звучащего гула свою собственную музыку. Одну из его композиций, «Черные камешки», Гарик, после долгих сомнений, стал играть...

Таня работала много, ее черные камешки входили в моду, чему способствовала приезжавшая на каникулы из Перми Полуэктова. Правда, на время ее приездов Сергею с Таней и Женькой приходилось полностью перебираться в мастерскую, на чем Полуэктова, собственно говоря, не настаивала: ревность была ей не знакома. Таня ей даже нравилась, к тому же ее

собственная жизнь в Перми сильно пошла в гору. Ее классы считались лучшими, из репетитора она превращалась в хореографа, а новый роман, первый в ее жизни роман с человеком «из публики», придал ей бодрости, куража и совершенно не свойственного ей добродушия... Таня подарила Полуэктовой пару своих изделий, та очень удачно продемонстрировала их в Мариинском театре, где танцевала до пенсии, и весь кордебалет, повинуюсь коллективному инстинкту, встал в очередь к Тане за ее украшениями. Таня еле успевала выполнять заказы. Сама Таня тоже вошла в моду: их с Сергеем постоянно приглашали на все тусовки, от театральных премьер до квартирных концертов. Теперь Таня носила короткие черные платья и длинные коричневые волосы, росшие с удивительной скоростью: за два года они укрыли ее острые лопатки. Оттого что она постоянно находилась на берегу музыки, как на берегу моря, тело ее было собрано и даже в полной неподвижности несло в себе заряд скрытого движения. Но главное событие происходило втайне и в темноте: Таня была беременна, безмерно этому радовалась, но никому, кроме Сергея, об этом пока не говорила, даже Павлу Алексеевичу. Решено было, что они вместе с Сергеем последние два свободных от домашних обязательств месяца проведут с ним в гастрольной поездке по Крыму и Кавказу, после окончания гастролей поедут на Международный джазовый фестиваль в Прибалтику, потом, собрав быстренько свое небогатое барахлишко и подведя черту под питерской жизнью, переедут в Москву — рожать сына, воспитывать Женьку и ухаживать за стариками.

То обстоятельство, что трудности обещали быть огромными, Таню только подзадоривало: она была так полна счастьем и силой, так бесстрашна и легкомысленна, что даже немного торопила время. Но это несколько не мешало ежедневному наслаждению...

Начались гастроли, что было особенно восхитительно, с Одессы, с того самого Интернационального клуба моряков, где Таня впервые увидела Сергея. Здесь они и справили условную третью годовщину их союза. В Курортном выступлении на этот раз не было, но они наняли на день машину и махнули туда. Там ничего не изменилось — все стояло на своих местах: и пыльные мазанки, и помидорные плантации. Спустились по осыпающейся лестнице к бесцветному морю, оно за три года еще сильнее подмыло берег, ступени внизу были совсем размыты.

— Не для пьяненьких, — заметила Таня. Сергей подал ей руку. Она приняла руку, хотя чувствовала себя вполне уверенно.

Искупались и решили взглянуть на косу. Шофер ждал наверху. Коренной одессит, он был мрачен и молчалив, живое опровержение ходячего мнения об одесситах. Он подбросил их до дюн, до того самого места, где три года тому назад застряла Гарикова машина. Таня с Сергеем пошли на косу. День был будний, народу почти не было, возле памятной развалины никто не загорал, только валялось несколько пустых бутылок, наполовину засыпанных песком. Жары, той жгучей и липкой жары, которая стояла тогда, не было. Дул ветерок от моря. Колыхал Танин красный сарафан — она специально надела его, чтобы воспроизвести все, как было. Они искупались голышом. Легли на песок, в полутени полуразрушенного строения... Таня обняла Сергея, он немедленно отозвался. Теперь все было по-другому. Они повзрослели и стали осторожны. Младенца, который плавал внутри и уже начал первые разминки, ударяя изнутри то ножкой, то кулаком, они боялись обеспокоить, и любовь их, пианиссимо и легато, была совсем иной, чем та, первая, бурная и беспамятная. Но хорошо было и то, и другое...

Уложив руки Сергея на живот, сказала ему в ухо:

— Мальчик будет большой, не то что Женька, мелочь пузатая...

Потом Сергей достал из сумки бутылку вина, два помидора, яйца и зелень. Зеленый лук был пожелтевший, заматерелый. Хлеб раскрошился.

Таня пожевала вялое перышко, посолила корку хлеба, откусила. Еда не шла в нее. Выпила два глотка вина, и, собрав остатки, они пошли к машине. Пока шли, у Тани пошла кровь носом. Сергей намочил красный сарафан в воде лимана, приложил довольно теплый компресс. Кровь унялась быстро. Надо было торопиться, вечером было выступление.

Приехали за час до начала. Таню мутило, болел затылок и мышцы ног. Она было надела вечернее платье, зеленое, на бретельках, веселое платице, которое уже натягивалось на животе, но в последнюю минуту решила остаться в номере. Легла и сразу же заснула. Но очень быстро проснулась от боли. Положила руки на живот, спросила:

— Ну, как ты?

Мальчик не отвечал. Видимо, с ним было все в порядке. Наверное, надо было бы выпить анальгин. Но, во-первых, его не было, во-вторых, Таня не очень хотела принимать медикаменты. Незадолго до того, как пришел Сергей, опять пошла кровь носом.

— Может, вызвать врача? — забеспокоился Сергей.

Таня сморщила губы, она не хотела медицины. Во время прошлой беременности она даже не удосужилась завести медицинской карточки, не делала никаких там положенных анализов и даже немного гордилась тем, что избежала всей суеты, которую теперешние женщины разводят вокруг такого естественного и здорового дела, как деторождение...

Чуть позже в номер заглянули Гарик и Толя, уже слегка выпившие, с двумя бутылками — початой вина и закупоренной водки. Толя вина не признавал, а у Гарика было острое чувство стиля: он считал, что летом на юге пить водку может только последний алкоголик. Другое дело — зимой...

— Старуха, ты мне не нравишься, — объявил Гарик с порога. — Не прыгаешь, не скачешь, а горько-горько плачешь... Вы как знаете, а я вызываю «скорую»...

Он решительно направился к телефону. Телефон не работал.

Таня остановила Гарика:

— Давай до утра подождем... Мне кажется, я бы чаю с лимоном выпила. И, черт с ним, несите анальгин...

Чаю Тане принесли, после анальгина стало лучше. Она заснула. Проснулась в четыре часа, с рвотой. На этот раз Сергей ждать не стал, спустился к администратору и вызвал «скорую помощь».

Пожилая еврейка бегло посмотрела Таню и сказала, что увозит ее немедленно. Говорила она раздраженно, даже угрожающе, страшно не понравилась Тане, но мышцы ломило, тянуло в затылке, и боль разливалась по стенке живота.

Таня пыталась возражать, но врачаха не стала ее слушать, как будто та была несмышленым ребенком, обратилась к Сергею:

— Печень на три пальца висит. Я на себя такую ответственность не беру. Вы зачем меня вызывали, просто поговорить? Если хотите получить медицинскую помощь, срочно госпитализировать. Вы объясните своей жене, что она может ребенка потерять.

Чем-то ей Таня так не глянулась, она в ее сторону даже не смотрела.

Таню увезли, и сразу после этого все пошло кувырком. В клубе произошла авария водоснабжения, и его закрыли по техническим причинам. Выступление сорвалось. Весь день они были заняты только переживаниями, и Толя Александров по этому поводу напился, что само по себе было не страшно, но он в какой-то пивной подрался, и ему здорово влепили в глаз. Сергей мотался в больницу по три раза на день — там ему ничего не сообщали, да еще и лечащего врача он два дня не мог отыскать: то он уже ушел, то еще не пришел. Потом настали выходные, и лечащего уже не было вообще, а был дежурный, которого тоже не удалось отловить: то он

обедает, то вызван к тяжелому больному. Все сотрудники прекрасно знали, что он запил и не вышел на работу.

В отделение патологии не пускали: там был карантин. Все зависло и остановилось, и даже испортилась погода — пошел дождь.

Тане становилось все хуже и хуже, и настала минута, когда она испугалась. На левом предплечье она обнаружила синяк, и такой же кровоподтек расплывался на боку. Затылок продолжало ломить. Живот болел неприличной жгучей металлической болью. Приходили медсестры, щупали живот и измеряли давление... Температура была нормальной. Чувствовала себя Таня все хуже, и на третьи сутки она решилась вызвать отца.

Нашла у соседок бумагу и карандаш, написала записку Сергею, чтобы он позвонил отцу в Москву и вызвал его. Записки выбрасывали в окно. Субботним утром Сергей подобрал Танино письмо, кое-как нацарапанное, немногословное и отчаянное. Он тут же поехал на почту и отбил Павлу Алексевичу телеграмму.

К вечеру Сергей пришел под окно с саксофоном. Обычно посетители выкликали снизу, с пыльного газона, своих Верок и Галек, и те вывешивали с подоконников разбухшие молоком груди и улыбки сообщниц, которым дело удалось. Среди десятка местных новоиспеченных папаш, мореходных, блатных и торговых, Сергей был единственным худым, длинноволосым и трезвым. К тому же он испытывал не коллективную радость деторождения, а персональную тревогу и страх, угнездившийся, видимо, на дне желудка, потому что зарубцевавшаяся давно язва не то чтобы болела, но давала какие-то злоеющие сигналы...

Кричать с газона — Таня была на третьем этаже — Сергей не стал. Он вынул инструмент из чехла, приложил трость к губам и тихо сказал:

— Та-ня...

Таня услышала, но не сразу смогла подойти к окну. Когда она оторвалась от подушки, закружилась голова и накатила тошнота. Но желудок давно был пуст, она перетерпела резкую и бесплодную судорогу, дотаскилась до окна. Ноги отчаянно ломило при каждом шаге, а живот, казалось, был налит свинцом... Она высунулась в окно, когда Сергей уже в третий раз выводил железным узким горлышком тягучее «Та-ня...».

Он не сразу узнал ее — она собрала волосы кверху, в пучок, как носила всю жизнь ее мать. Да и больнично-арестантский халат делал ее чужой и громоздкой... Она махнула рукой — жест был Танин, не воспроизводимый никем другим... А Таня, глядя на него сверху, узнавала свою любимую минуту: когда он брал в руки инструмент и из миловидно-невзрачного юноши превращался в музыканта по той самой формуле, которая человека и лошадь обращает во всадника, мужчину и оружие в воина: когда сумма человеческого и нечеловеческого превышает значение каждого в отдельности.

Сергей держал саксофон в руках. Правая была снизу, пальцы на клапах, левая вверху, на басах, у поворота металлического корпуса, подбородок был запрокинут, а нижняя губа оттопырена... там, внутри, есть нежная мозоль от трости, ее можно потрогать языком... Он держал в руках саксофон, глупое, в общем, животное, выдумка мастера, гибрид дерева и металла с куском пластмассы в придачу, да и по форме не самый совершенный, и клапы у саксофона не очень красиво вырастают из тела, и раструб, наверное, слишком резко вывернут... Мало ли было в семействе духовых красавцев: флейта с ее древней простотой, все ее простодушные родственники от сиринкса до цевницы, кленовый фагот с зачаточным раструбом и клювообразной головкой, аптечный, аскетичный цуг-тромбон, педантически свернутой латунный корнет с глупым вентильным механизмом, завитая улиткой торжественная валторна... А раструб гобоя? Вывернутая до глубины души воронка трубы? Саксофон, конечно, не был самым совер-

шенным, зато обертоны его голоса передавали человеческие оттенки нежности, ликования или печали, и, кроме всего прочего, они были друг для друга резонаторами, Сергей и саксофон... Вдвоем им удавалось произносить такое, что в одиночку Сергею никогда бы не удалось. И он взял трость в напряженные губы, зубы уперлись в натертую с годами складочку в изнанке нижней губы, и бархатно-синее «ля» сказало: начинаем!

И они, Сергей со своим «Selmer'ом», начали легко, непринужденно, совершенно не озабоченные тем, что же такое важное им надо сказать Тане. Это были «Гигантские шаги» Ролстона, и Таня сразу же узнала эту продвигающуюся по большим терциям напряженную музыку: до — ми — фа диез, и ключ менялся в течение темы трижды, но Сергей не дошел до конца, свернул в свое собственное соло, потом прошел восходящим пассажем на высоту, огляделся и взошел еще раз туда, где саксофонные возможности кончаются, а потом осторожно сошел вниз по блюзовой гамме, и Таня начала узнавать что-то смутно знакомое, много раз слышанное... может, «Always say good bye» Хейдена... или похожее... или Сережино...

Она вспомнила, как писала ему письмо из родильного дома, три года тому назад, в Питере, когда родила Женьку, и какие высокопарные глупости... как прекрасно обходятся они, Сергей со своим «Selmer'ом», без всяких слов, и теперь, если вся эта история хорошо закончится, она никогда больше не будет говорить глупостей, потому что стыдно их говорить, когда есть музыка, которая никогда глупостей не говорит... И сейчас музыка говорила внятно, строго и нисколько не развязно, как могло бы показаться тому, кто не владеет ее ясным и прозрачным языком: прощайтесь, прощайтесь... всегда... навсегда прощайтесь... и маленькие звуки, острые, зубренные, металлические, были так же безжалостны, как и прекрасны...

Таня держала руками наполненный болью живот. Неужели он погибнет, малыш, со сложенными под подбородком ладонями, с мягкими ушками, запечатанным еще ртом, светленький, на Сережу похожий, с верхней губой, которая чуть нависает над нижней... бедный Павлик... несостоявшийся Павлик...

Сергей больше не увидел Таню живой. Не увидел ее и Павел Алексеевич. Он приехал с дачи и нашел в двери две телеграммы — одну от Сергея, с просьбой о приезде, вторую, отбитую двумя сутками позже, с заверенной подписью главного врача, извещающую о смерти Татьяны Павловны Кукоцкой.

Через сутки Павел Алексеевич стоял возле обитого пятнистой жестью стола, и это была горчайшая минута его жизни. Тонкое пламя жизни, зеленые отсветы работающего сердца, сгустки энергии, вырабатываемые отдельными органами, были уже отключены. Она была пластмассово-оливкового цвета, загорелая девочка, с гематомами на предплечьях и на икрах, с прозекторскими швами, обличающими самозванных врачей в тяжком преступлении перед природой. Протокол о вскрытии он уже видел. Историю болезни, заполненную задним числом, ему тоже предъявили. Вся больница, от главврача до последней медсестры, замерла в ужасе — ждали кары. Доктор Кукоцкий увидел с первого взгляда, что диагноз не поставлен, лечения не производилось в первые двое суток после поступления в больницу, что необходимые анализы были сделаны слишком поздно, что беременность усугубила ситуацию... и что вытащил бы он свою девочку, если бы приехал с дачи не во вторник, а в прошлую пятницу...

Сходство Тани с матерью было неправдоподобным и мучительным. Вот так же он стоял четверть века тому назад перед молодой Еленой, приблизившейся вплотную к смерти, и в том же самом ракурсе видел каштановые подобранные волосы, тонкие ноздри и брови с кисточками у основания...

«Никогда. Никогда не узнает об этом Елена», — подумал он и поразился мгновенной догадке: а не для того ли Елена ушла в свой пустой, загадочный и безумный мир, чтобы не узнать о том, что давно прозревало ее вешее сердце...

Он прошел в кабинет главного врача и попросил собрать заведующих отделений. Главврач пытался возражать, но Павел Алексеевич взглянул на него по-генеральски, и тот кинулся звонить секретарше: срочно всех пригласить к нему. Через пять минут в кабинете сидели шесть врачей. Перед Павлом Алексеевичем лежал протокол вскрытия и история болезни.

— Случай требует экстренного разбора, — произнес Павел Алексеевич. Врачи переглянулись. — Количество промахов, ошибок и врачебных преступлений переходит все границы. Инфекционного больного положили в отделение патологии. Ни биохимического анализа крови, ни бактериологического исследования не было произведено. Диагноз не поставлен. Предполагаю, что мы имеем дело с болезнью Вейля, *Morbus Weilli*. Если это лептоспироз, необходимо принимать срочные меры.

Патологоанатом, маленький кривоватый восточный человек с крашеными усами, страшно забеспокоился:

— Позвольте, коллега, у нас нет никаких оснований для таких выводов. Вы видели протокол, вам предоставили возможность осмотреть, — труп? тело? на мгновение замялся усатый, — больную. Какие у вас основания...

— Гнездный распад с геморрагиями в мышцах, петехиальная сыпь. История болезни ничему не соответствует. Была интоксикация. Внутривенные вливания, о которых здесь написано, не производились. Я осмотрел вены... Полагаю, что лечение вообще не производилось. Но сейчас речь не об этом. В вашем роддоме — гепатит.

Павел Алексеевич сделал все то, что сделал бы в любом другом случае: позвонил в горздрав, вызвал заведующего санэпидстанции и главного эпидемиолога. Городскую медицину залихорадило сверху донизу, так что даже уборщицы стали мыть сортиры два раза в день, средний медперсонал не напивался по ночам, а кухня остерегалась с выносом ворованного масла и мяса.

Три дня провел Павел Алексеевич в больнице, а на четвертый, вместе с Сергеем, вставшим в душевный столбняк и полное онемение, сел в поезд. В багажном вагоне стоял цинковый гроб, с маленьким прямоугольным окошечком, в котором видна была белая, многократно сложенная марля.

На последние Гариковы деньги — свои Павел Алексеевич истратил, да и Сергей тоже — купили четыре бутылки водки. Эту теплую водку они пили долго, медленно, понемногу, закусывая кусочками раскрошившегося печенья из пачки — ничего другого не было — в молчании... Потом Сергей лег на нижнюю полку, обнял футляр с упрятым внутри инструментом и проспал до Москвы. Павел Алексеевич тридцать шесть часов глаз не сомкнул — сидел напротив спящего молодого человека, смотрел на его измученное лицо. Он был белокож, краснота лежала на веках, на ноздрях. Белесая редкая щетина прорывала нежную кожу щек, образуя мельчайшие гнойнички... Подергивались покрытые запекшимися корочками губы. Он погладил во сне кожаный бок футляра и что-то пробормотал. Павел Алексеевич не расслышал. Он думал о том, как изменилась бы их жизнь, когда еще двое мужчин появилось бы в доме, этот молодой, милый и тот, которому не суждено было... А еще он думал о том, что произошло с его дочерью: от того момента, когда вертлявая спираль с местной гнилой водой попала в желудок, всосалась в слизистую, с кровотоком разошлась по всему телу, угнездилась в хорошо снабжаемых кислородом мышцах и своим ядом отравила кровь так сильно, что бедная печень, и без того нагруженная беременностью, не смогла ее очистить... Никакого вспомогательного

ясновидения не нужно было теперь Павлу Алексеевичу: проклятая эта картина, грубая и ясная, как рисунок в букваре, стояла перед его глазами...

Все устроилось. Виталик Гольдберг встретил их на Курском вокзале. На Немецком кладбище уже была открыта фамильная могила — в двух шагах от доктора Гааза. Там лежали дед и прадед Павла Алексеевича. И теперь, нарушая природную очередность, уложена была Таня. Никого, кроме отца, мужа и любовника Тани, не было на этих похоронах.

Сергей хотел сразу же уехать, но Павел Алексеевич попросил его остаться ночевать. И Сергей остался. Квартира была пустая, летняя, пыльная. Павел Алексеевич дал какую-то таблетку. Выпили водки. Потом Сергей лег на Томину кушетку. В эту комнату они с Таней, Женькой и мальчиком должны были въехать через несколько месяцев.

## 22

В Питере Сергей никому не объявил о своем приезде. Он сразу же поехал в мастерскую. Ключей у него не было: они остались в Одессе среди Таниных вещей. Он легко взломал дверь. Там был беспорядок, оставленный ими при отъезде. В раковине стоял невымытый в спешке кофейник. Из заварного чайника выплескивался таинственный цветок плесени. Черное Танино платье висело на деревянных плечиках на стене. Туфли на высоких шпильках, в которых Таня делалась на полголовы его выше — вообще-то они были одного роста, — наступив одна на другую, стояли возле узкой кушетки... Накануне отъезда они ходили на вечеринку к молодому режиссеру, который собирался пригласить его для какой-то неопределенно-привлекательной постановки... Господи, и кушеточка-то была не прибрана, полосатая простыня свисала с изножья, и единственная подушка, которую они во сне тягали каждый в свою сторону, хранила примятость...

Сергей ткнулся лицом в подушку — обожгло запахом. Она еще была здесь. На белой подушке свился спиралью ее темный волос. Под подушкой лежали в комок сбившиеся маленькие черные трусы. Он лег на кушетку одетым и заснул.

Проснулся через неопределенное время, попил из крана воды, помочился в раковину: уборная была на лестничной клетке, одна на все четыре подвальных квартиры, и тоже под замком. Ключ от уборной висел на гвоздике при входе, но Сергей решил почему-то, что он остался в Таниной связке в Одессе.

Он снова лег спать, уже раздевшись. Танин запах обострялся всякий раз, когда он вылезал из постели и возвращался в нее снова. Все, что осталось, — запах и комок нейлоновых трусиков. Он хранил их неопределенное количество дней и ночей. Засыпал, просыпался. Пил из крана. Писал в раковину. Есть не хотелось. Некормленный желудок бездействовал.

Наконец он вылез из-под одеяла и сел возле Таниного рабочего стола. Потрогал ее инструменты, заготовки. Металл ничего не говорил ему о Тане. Зато когда он открыл пеструю жестяную коробку с черными камнями, то долго не мог от них оторваться. Они как будто сохранили прикосновение ее рук — полированный слоистый агат, черно-синий магнетит, шероховатый черный нефрит и самый любимый, прозрачный обсидиан... Он взял два наугад и сунул в карман джинсов. Потом прихватил футляр и вышел из мастерской. Дверь, не запертая изнутри на крюк, болталась в дверном проеме, замок-то был выломан. Он вернулся, нашел плотницкий молоток с гвоздодером, большой гвоздь. Вбил гвоздь снаружи в дверную раму и согнул его ударом молотка так, чтобы дверь казалась запертой. Потом положил молоток под коврик, чтобы было чем выдернуть гвоздь, когда вернется. Мелькнула странная мысль: а вернусь ли сюда?

Полуэктова, которую все считали всемирно известной стервой — но Сергей-то знал, что она хоть и правда сучка, но все равно человек, — полагала, что он застрял в Москве. Гарик позвонил в Питер еще из Одессы и всех оповестил о смерти Тани. Он же сказал, что Сергей отправился в Москву с гробом. Все Серезины друзья были уверены, что он там и остался.

Ключи от квартиры Полуэктовой Сергей, видимо, потерял, во всяком случае, он позвонил в дверь, совершенно не уверенный в том, что ему откроют. Ему открыла сама хозяйка в лакированной черной прическе с балетным кукишем на макушке и в полном макияже.

— Вам кого? — спросила она и осеклась. Узнала она Сергея не сразу. Он был худ, в длинной щетине или в редкой бородке, бледен желтушным оттенком и вид имел самый невменяемый. Грей рванулся к нему — лизнуть в губы... Он стоял в дверях безучастно, как будто и пришел сюда бессознательно, на автопилоте...

Полуэктова ахнула, заорала некрасивым высоким голосом, засыпала глупой скороречью:

— Ты что, позвонить не мог, да? Я уезжаю сегодня. Черт, как все глупо, глупо. Не смей ничего говорить. Я все знаю. Только не об этом... Собак я забираю. Все. Ты чего не звонил, чучело? Я квартиру сдала. Может, лучше бы тебе оставила? Не смей мне ничего говорить!

Она обняла его за плечи — свой мальчишка, не пойми кто, ученик, старый любовник, племянник, дружочек... Всегда у нее было так, мимо жанра, и никогда не было солидного, положительного, состоятельного... То есть, кажется, именно теперь такой наклеывался... Не сглазить бы. Никакого артистизма, то, что надо. Гремин, Гремин. Настоящий генерал...

Она погладила Серезу по грязным нечесаным патлам, которые он и резиночкой не подхватил, потерялась резиночка, пошлепала по спине, оттолкнула:

— Иди в ванную, я поест тебе приготовлю.

Он прошел в ванную, пустил пышную, с живым напором рвущуюся из крана струю и сообразил, что не мылся чуть ли не с Одессы... Он лег в горячую воду, еле переносимую, и заплакал...

А стерва Полуэктова звонила в Пермь своему генералу и писклявым, столь не идущим ее могучему воинскому духу голосом сообщала о перемене планов: встречать не надо, она сдает билеты и остается по меньшей мере на неделю. Ее бывший муж, только что овдовевший, свалился как снег на голову, и придется с ним повозиться, потому что в таком состоянии она не может его оставить одного...

Генерал кивал в трубку, говорил сухо «да, да, да» и дивился, какая правильная, сильная, настоящая баба ему досталась, даром что балерина с плоской жесткой грудью и мускулистой, как у новобранца, спиной, и улыбался, и замирал ожившим низом, потому что такой бабы в жизни у него не было, он и не догадывался, что такие бывают...

Полуэктовой недели не хватило. Она провозилась в Сергеем почти месяц, и кормила едой и таблетками, и ставила его любимую музыку, и заставляла гулять с собаками — и постепенно он приходил в себя и стал играть. И в тот самый день, когда он снова должен был выступать в клубе после большого перерыва, Полуэктова улетела к своему седовласому любовнику, который, хоть и не совсем вышел ростом, во всех остальных отношениях был самым правильным мужем даже для примы-балерины и за время сверхпланового ожидания принял окончательное решение покончить со своим затянувшимся вдовством и жениться на исключительной, выдающейся женщине, с прошлым бляди и будущим гранд-дамы региона, равного по площади пятнадцати Бельгиям, восьми Франциям и пяти Германиям вместе взятым...



Купчинский житель Семен Курилко, сотрудник милиции, старшина, дежурил в ночь в отделении и изметелил задержанного. Не сверх обычного, в меру, а тот к утру помер. Музейный оказался работник. И вот из-за этого узкобрючного пидараса, тощего недоебка, начались у Семена такие неприятности, что вся его жизнь пошла наперекосяк. Выгнали из милиции, еще и говорили: благодари, что срок не повесили... Ушла жена, уехала с дочкой в Карелию; потом померла мать, которая одна только его и поддерживала, не говоря о том, что кормила; после всего этого Семен заболел — раскрошил топором в яростном припадке детскую площадку новую, только что поставленную, с домиком для лазанья, с песочницей и деревянным резным медведем. Прямо у заваленного насмерть медведя его повязали и свезли в психушку. Лечили почти год и выпустили на волю, в родную комнату в Купчине. Пока он болел, соседи его обобрали, унесли одеяла и приемник «Спидолу», от хороших времен оставшуюся.

В милиции Семен прослужил восемь лет, сразу после армии, и никакой другой профессии не имел. Инвалидную пенсию ему дали, но маленькую. Хорошо, что был непьющий, а то и на еду еле хватало. Аппетит был хороший, пенсии не соответствующий. В больнице он сильно растолстел, и ему теперь больше требовалось. Он так понимал, что худому не так много питания надо, как телесному. Он пошел бы работать куда-нибудь, в ВОХР, например, но туда не брали за то, что из милиции отчислен. Пошел было в типографию грузчиком, но и оттуда выгнали, надо сказать, за глупость: курить у них было запрещено, а он все закуривал по привычке. Его раз поймали, другой, третий, и начальник цеха, молодой парень, только после института, такой же узкобрючный поганец, как тот, музейный работник, из-за которого все в милиции так получилось, выгнал его.

И опять остался Семен ни с чем. И вот тут и взяла его большая злость на тощую эту молодежь, на всех умников, которые всю жизнь ему испакостили. И взял тогда Семен заточку. Тонкую, острую, потолще спицы, потоньше напильника. Она у него дома давно хранилась, с милицейских времен, отобрал при задержании у блатного. Зачем притырил, и сам не знал. Сунул в рукав, зацепил острие под ремешок от часов. Часы были сломанные, давно уже не ходили, а тутгодились. Получилось ловко.

Жил Семен около кладбища имени жертв Девятого января, на одноименном проспекте, в глубоком дворе, образованном тремя двухэтажными домами-бараками, в двадцати минутах ходьбы от станции. Первого мая тысяча девятьсот шестьдесят первого года, в любимый праздничный день, когда в милиции дел по горло — пьянки, поножовщина, веселая гульба, — он совершил первый свой боевой вылет. Он прошелся пешком до станции, сел в электричку и доехал до Витебского вокзала. Оттуда свернул налево, на Загородный проспект, и, не торопясь, разглядывая прохожих, пошел в сторону Технологического института. Здесь, в проходном дворе, перерытом траншеей и утратившем из-за этого на время свою проходную функцию — люди заглядывали во двор, доходили до траншеи и возвращались обратно в арку, откуда пришли, — он сел на лавочку и сидел до самого вечера, потому что все не складывалось его дело: то народ шел кучно, то одинокий человек был не той породы, которая была ему нужна. И только в девятом часу зашел пидарас тощий, патлатый, в узких брюках, еще и с тонким портфельчиком. К тому же и пьяный. Он не искал прохода на другую улицу, ему нужно было всего лишь укромное место, темный угол, чтобы слить быстротечное пиво. И когда он отжурчал в подходящем месте, Семен подошел к нему сзади и всадил заточку точно куда надо, чуть сбоку и между ребрами. Она поначалу запнулась как будто о плотную пленку, а потом как по маслу... Туда и обратно. Парень, даже не обернувшись, охнул, ткнулся носом в стену и осел. Семен на портфель и не взгля-

нул, а заточку аккуратно отбер кухонной тряпкой, предусмотрительно им захваченной из дому, засунул инструмент в рукав, под часовой ремень, и вышел из двора той новой походкой, негнущейся и манекенной, которая образовалась у него после больничного излечения...

Следующий боевой вылет состоялся Седьмого ноября и тоже прошел успешно. Теперь он уже знал, что и в будущем году на Первое мая отметит он свой праздник таким образом, как душа его желает: ткнет заточкой этого поганца, тощего пидараса, жида плюгавого...

Три года подряд он ходил в тот проходной двор. Там траншею давно заделали, люди шли не то что большим потоком, но ручейком. В светлое время, майское, гуще, в темное, ноябрьское, пожиже. Семену всегда везло — один раз парень был с букетом цветов, другой раз с магнитофоном, третий нес при себе две коробки с тортами, связанные вместе. Некоторых он уже и забыл. Сначала он его выслеживал — сразу узнавал эту породу. Потом догонял на ходу, прилеплялся на мгновение, брал правой рукой за плечо, а левой бил. Семен был левша, в школе переученный, так что писал он правой, а другие дела мог делать обеими, но левой сподручнее.

Уже набралось семеро, когда в очереди в магазине он услышал бабий разговор, что в городе объявился убийца, которого уже десять лет не могут найти, а он, маньяк, убивает только по праздникам, на все красные числа, и что на все праздники мужчин режет, а на Восьмое марта, раз в году, непременно женщину. Сперва Семен только удивился и только через несколько дней смекнул, что речь-то о нем шла. Преувеличили, конечно, и насчет лет, и насчет праздников. Но в корне правильно. Спустя недели две, проходя мимо прежней своей работы, увидел на большом листе: «Разыскивается...» Было приклеено три фотографии, двух мужиков и одной бабы-мошеницы, с именами, а вместо четвертой фотографии нарисованная картинка — фоторобот. Всего только было у той картинке с Семеном общего, что крутые надбровные дуги да коротко стриженная голова.

И тут Семен испугался, затаился, из дому неделю не выходил, пока не съел все до последней макаронины. Дело шло уже к ноябрю, и он решил в тот год седьмого из дому не выходить. Этот розыск его не только испугал, еще и раззадорил. Седьмого-восьмого он дома пересидел, еле удержал себя, даже руки тряслись. А девятого вышел. И произвел всю операцию очень хорошо и удачно. В руках у парня ничего такого не было, но зато была на лице его бороденка пижонская, и был он точно пидарас гнойный...

Самочувствие у Семена после боевого вылета всегда поправлялось. Он даже прирабатывал теперь время от времени в мебельном магазине грузчиком. Только перед праздниками он начинал беспокоиться и вспоминать, куда спрятал заточку. Прятал он ее в доме, каждый раз на новом месте, и однажды запомнил, где схоронил, — весь дом обыскал, пока нашел. А всего-то под клеенку на столе, где стол к стене прислоняется, спрятал... Да и праздничные дни он теперь решил обходить, пару-тройку дней раньше или позже... В милиции-то сплошь дураки сидят, это уж Семен хорошо знал. Им скажут в праздники ловить, они в другой день нипочем не выйдут.

В ноябре шестьдесят шестого пошел черед десятому номеру. Но Семени случилось сильно простудиться к этому времени. Был у него кашель, ломало кости, и он откладывал уже не три дня, а почти целую неделю. Даже подумал, что, может, и вовсе в этот раз пропустит. Но как-то не получилось пропустить. Тянуло на охоту. Только пятнадцатого числа надел он заветные часики, снарядил заточку и вышел из дому в светлое еще время, в начале четвертого. Доехал, как всегда, до Витебского вокзала и пошел по Загородному проспекту. Но свернул не в сторону Технологического, а пошел в другую сторону, по Московскому проспекту...

Он плохо знал Ленинград — родился он в Купчине и редко добирался до города. Мать так и говорила всегда: в город поедем... В школьные годы

возили несколько раз на экскурсии. Армейская служба выпала тоже в поселке, в Курской области, в колонии, — так что он был житель не городской, не деревенский, пожизненно пригородный: ни лошадь запрячь, ни на стадион пойти... До милицейской службы он и дорогу толком перейти не мог и до сих пор в незнакомых местах легко терялся...

Московский проспект вывел его на площадь. Он посмотрел на крайний дом — на табличке стояло «Площадь мира». Народ шел довольно густо. Здесь было много магазинов. Площадь была кривая, с многими улочками, на нее выходящими. Он свернул в один переулок поуже и потише и подумал, что напрасно не пошел к Технологическому, там все было знакомо. Однако переулок, по которому он теперь двигался, был, в общем-то, подходящим. Семен заглянул в один двор, в другой — они были здесь колодцами, проходной все не попадался... Тогда он зашел в глубокую подворотню и стал около двери бывшей дворницкой, выходявшей в арку. «Скупка вещей у населения» — скромненькая надпись на плотно закрытой двери. Изредка шли прохожие, но обзора не было, разглядеть как следует никого не удавалось. К тому же все больше топали тетки с сумками. Семени пришло в голову, что в праздники на улицах больше молодых мужиков, а по будням сплошь тетки.

Тогда он сделал по-другому: стал ходить по переулку от угла до угла, пока не увидел «своего». Он шел навстречу, и Семен просто задрожал — он был самый-самый... Те девять, которые были до него, просто в счет не шли по сравнению с этим. Парень был в джинсовой куртке, которая была ему велика, тощий и точно музейный работник. Светлый, по-бабьи завязанный хвост мотался по спине. И шел он медленно, расхлябанно. Даже ботинки успел заметить Семен — тоже были особенные, не простые ботинки... А в руке он тащил чемоданчик, тоже какой-то особенный, не как у людей. У Семена дух зашелся. Это было как любовь с первого взгляда, как пламя узнавания. Такого острого чувства Семен никогда еще не испытывал. И не было в этот момент никакой ненависти, им владел восторг охотника, восхищенного красотой дичи...

Но дичь эта тащилась довольно медленно и все время обтекалась прохожими. Семен шел теперь за ним, в нескольких шагах. Ему захотелось еще раз посмотреть на его лицо, и он перешел на другую сторону переулка, обогнал и зашел на него с фасада. Мордочка у него была с кулачок, лисья, и был он в задумчивости. Пидарас, ну я тебя сейчас сделаю...

Семен опять пристроился сзади. Они миновали одну подворотню, и пока они подходили к следующей, с дворницкой в арке, Семен все успел сообразить и вытащил конец заточки из-под ремешка часов. Когда они поравнялись с той подворотней, Семен положил правую руку парню на плечо, а левую, с заточкой, пустил в дело. Заминка была самая ничтожная, джинсовка придержала движение острия, но Семен чуткой и опытной уже рукой почувствовал, что входит хорошо, и то обычное сопротивление скрипнувшей под острием межреберной ткани он тоже прошел, и заточка скользнула дальше плавно, мягко, но и упруго...

Парень охнул, дернулся сначала как будто вверх, а потом начал падать вперед, но Семен не дал ему упасть, схватил его двумя руками за плечи и затолкнул в подворотню. Парень норовил упасть, но Семен волок его вглубь подворотни — хотел оставить его во дворе, чтобы с улицы не было видно лежащего тела. Но тут дверь дворницкой приоткрылась, возник большой, приличного вида мужик и с интересом посмотрел на Семена.

Семен бросил парня и выскочил из подворотни. Он побежал вперед, по обезлюдевшему переулку, без всякого маршрута, и одно только держал в голове: заточку-то он не успел выдернуть...

Два обстоятельства спасли жизнь Сергею. Первое — оставшаяся в сердце заточка. Второе — приличного вида мужик, вышедший из двери, был директором скупки. А в прошлом он был фельдшером. Удерживая Сергея

на весу, он крикнул в раскрытую дверь, чтобы вызвали «скорую» и срочно дали бы ему пластырь... Впрочем, врачи, выведившие Сергея из клинической смерти, зашивавшие насквозь проколотый перикард, говорили потом Сергею:

— Чудо, Сережа, чудо. Один случай на миллион.

Сергей просил отдать ему заточку, но это было невозможно, она стала «вещдоком», и он ее даже и не видел.

А Семена арестовали на третий день. Он был обвинен в двадцати шести убийствах, из них три с изнасилованиями. Он признал «свои», а остального на себя не брал, отрицал. Но так уж было решено свыше: списать на него все милицейские «висяки». Ему дали высшую меру и привели ее в исполнение спустя полгода. На апелляцию не подавали, психиатрической экспертизы не проводили...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Каждый раз, когда Женя останавливалась перед дверью квартиры, где прошло ее детство, она испытывала сложнейшее чувство: умиление, гнев, тоску и нежность. Дверь была обшарпана, медная табличка с фамилией покойного деда помутнела. Возле двери, к раздражению соседей, второй год стоял сломанный стул, на котором громоздился ворох набитых каким-то Томочкиным дерьмом пакетов. Дух убожества и коммуналки.

Ключей у Жени не было с тех пор, как поменяли старый замок. Так получилось, что ключа ее не лишали, а просто как-то забыли дать новый. Женя спросила раз, но вопроса не заметили... Позвонила. Тома колченого, постукивая палочкой, шла по коридору. У нее, бедняги, опять разыгрался артрит.

— Женечка, ты? — Открыла. Заахала: — Какая ты кругленькая стала!

Из бабушкиной комнаты выглянул Михаил Федорович со своим запахом шипра, пота и почему-то старой кожи...

«Как я к ним несправедлива все-таки, — укорила себя Женя. — По воскресеньям они не воняют. Они же по субботам моются».

Женина внутренняя улыбка чуть отразилась на губах:

— Здравствуйте, Михаил Федорович.

Пока служил в армии, он приветствовал первым старших по чину. Теперь, на гражданке, когда подполковников вокруг не было, он сам прихотливо выбирал, с кем ему положено здороваться первым: с директором, заместителем по хозяйственной части (по научной — тот сам первый здоровался), с заведующим поликлиникой, к которой был прикреплен...

Михаил Федорович кивнул с достоинством:

— Здрсс...

Без имени. И остался стоять в дверях. Что было необычно.

Женя сняла поочередно ботинки, склоняясь над своим животом то вправо, то влево. С отвращением надела старые, с грубыми зашивками тапочки и двинулась по коридору в бабушкину комнату. Тома остановила ее:

— Женек, у нас перестановка. Нам Розины большой шкаф книжный отдали. Он там не встал, пришлось его сюда... Михал Федыча коллекция как раз вошла, а бабушку мы переселили в Василисину комнату...

Кровь бросилась Жене в голову. Не мытьем, так катаньем. Выселили-таки бабушку в чулан.

— То есть как? — У Жени от ярости челюсть задрожала. Коллекция Михаила Федоровича была умопомрачительная по идиотизму: вырезки из газет и журналов, касающиеся авиации...

— Да какая ей разница? Она и не заметила. Там тихо, спокойно. Сундук Василисин вынесли, стул ее поставили. Она там и кушать может. Покойная Василиса всегда там ела.

Михаил Федорович все стоял в дверях бабушкиной комнаты в полной готовности вступить.

Женя ничего не ответила, удержалась. Пошла на кухню, даже не заглянув в комнату, которая на прошлой неделе была бабушкина и всегда была бабушкина...

Прошла через кухню, открыла дверь в чулан. В чулане после Василисиной смерти ничего не меняли. Две большие иконы, с детства знакомые, Казанская и Илья Пророк, не то разбитый красноармейским топором в незапамятные времена, не то от старости треснувший, грубо склеенный, шов проходит по летящему вниз красному плащу, отделяя его от смуглой руки... Ну где же вы там, помощники беспомощные?

Бабушка сидела на венском стуле с прорезанным сиденьем, лицом к маленькому окошку, выходящему в глухую кирпичную стену. Под стулом стояло ведро. В чулане пахло мочой и старческой немощью. Одна серая кошка спала на одеяле, покрывающем топчан. Вторая сидела на коленях у Елены Георгиевны, и пальцы с неровно подрезанными ногтями лежали на полосатом боку.

Женя поцеловала редеющие волосы с двумя изгибами на висках, куда молодая Леночка вкалывала невидимки. Старуха погладила кошачий бок.

— Здравствуй, бабуля. Зачем же ты сюда... — начала Женя мучительно, потому что понимала, что лучше бы ей помолчать в этой постыдной, невозможной ситуации. — Сейчас ванну принимать будем...

Старуха молча погладила ее по руке. На кухне лилась вода, стучали ножами. Тома с мужем все делила пополам, и домашнюю работу тоже. Четыре картофелины чистили на пару, две он, две она. Из соображений семейной справедливости.

Женя направилась в ванную. На кухне мимоходом заметила, что Тома с Михаилом Федоровичем перебирают гречку.

В ванной было всегдашнее, неопишное. На веревках висело мокрое белье. По субботам у них был банный день. Полдня готовились, полдня мылись. А потом отдыхали — с чаем, конфетами и пряниками. Патриархальный сюжет. Все всерьез. В воскресенье утром, до прихода Жени, производилась недельная стирка в крохотной стиральной машине, которую купил Михаил Федорович для нужд своей маленькой семьи. Бабушкино поганое белье стирать в ней он не разрешал — был брезглив.

Женя вытащила из-под ванны таз. Из цинкового бачка с перекошенной крышкой достала ветхие тряпочки, обрывки простынь, все подмоченное, подпачканное. Памперсы, которые Женя когда-то покупала, в дело не шли: Тома считала, что они синтетические, а синтетики Михаил Федорович не признавал. Женя давно уже перестала приносить в дом что-нибудь для бабушки: Тома все новое немедленно убирала, приговаривая:

— Ой, Женек, до чего рубашечка хороша, прям хоть в гроб клади...

В такие минуты Женя не знала, кого ей следует больше жалеть: бабушку, обломавшую свою бедную психику, чтобы не замечать того, с чем сражаться невозможно, или тетю Тому, с мышью мордочкой, с негнушимся от артроза коленом, счастливую своим замужеством, гордую за свое прошлое, настоящее и будущее, к которому она делала медленные и уверенные шаги. Она писала кандидатскую диссертацию о вирусных заболеваниях своих вечнозеленых... и чувствовала себя духовной наследницей своего знаменитого отчима, Павла Алексеевича Кукоцкого. Возможно, так оно и было...

Женя разобрала свалку на стульчике-перекладине, куда сажала для мытья бабушку. Старые тазы, один в другом, банки, обтрепанные мочалки. О, бедность...

Замочила в самом большом тазу, отвернув нос, бабушкины тряпки, затолкала таз под ванну. После мытья будет стирка. Вычистила ванну. Краны текли, из-под ванны сочилась вода. Все было ветхим, но изобрета-

тельно починенным. Михаил Федорович был гений по части подвязывания веревочек, подкручивания проволочек, изобретения затычек и заплаток. Интересно, что он там делал в своей авиации?

Наконец все готово. Вода чуть горячее, чем надо. Остынет, пока она бабушку разберет. Капнула напоследок шампунь в воду. Для пены. Тома никогда ничего не берет из того, что Женя в дом приносит. Они с Михаилом Федоровичем шампунями не пользуются, заграничного не переносят. Патриоты. Ни мыла, ни лекарств, ни одежды. И присказка ко всему — наше, отечественное... О, убожество...

Женя подняла бабушку со стула:

— Пошли, бабуля, все готово.

Елена Георгиевна послушно встала. Спина прямая, ноги сухие, длинные, к старости покривившиеся... Женя обхватила ее за хрупкие плечи, повела. Шла бабушка хорошо, только рваный тапочек мешал, задиралась отклеившаяся подошва. Три пары новых, не меньше, лежало у Тома. О, жадность...

Вошли в ванную. Бабушка указала пальцем на защелку. Женя задвинула. Медленное раздевание. Бабушка как будто хочет Жене помочь, но и сопротивляется одновременно. Теревит петлю халата. Забыла, как пуговица расстегивается. Силится вспомнить. Не может.

Женя помогает раздеться.

Черт ее знает, какие у нее соображения, почему Тома изобрела эти идиотские резинки под коленями? Почему нельзя надеть памперс, подложить пеленку, в конце концов?

Разделись.

— Ну вот, теперь подними ногу. Правую. Держись за меня. — Живот мешает. Очень мешает живот. — Теперь другую...

Елена Георгиевна легко поднимает свои длинные ноги. Ступня ужасная. Ногти покрыты желто-серым грибком. Косточка выпирает. Откуда могут взяться мозоли у человека, который двадцать лет ничего, кроме домашних тапочек, не носит? Елена Георгиевна стоит в воде по колено и не может сообразить, как сесть. Фигура — диво дивное. Тонкая талия, крутые бока. Грудь маленькая, нисколько не обвисшая, со свежим соском. Живот поджатый, пупок укрылся в поперечной складке. Еще одна складка — поперечный шов под пупком. Тело безволосое, белое, все присборенное, как мятая папиросная бумага. И лицо белое. Только волосы на подбородке растут. Раньше Женя их выдергивала пинцетом, а теперь стала ножницами стричь. Времени мало. Очень мало времени. А родится ребенок, вообще непонятно, как буду успевать... Наверное, надо будет ее забрать к себе, на Профсоюзную, как только отец переедет на новую квартиру. В старой отцовской, с двумя смежными, разместимся как-нибудь... Но Тома еще может заартачиться...

— Садись, дорогая, садись, — подталкивает Женя бабушку легонько в спину.

Та опасливо присаживается. Женя направляет ей в спину струю душа. Бабушка стонет от удовольствия. Сейчас произойдет то, ради чего Женя приезжает сюда уже десять лет. С тех самых пор, как умер дедушка и она переехала к отцу.

— Спасибо, деточка, — говорит Елена Георгиевна.

Тома уверена, что Елена Георгиевна вообще разучилась говорить. Это не так. Она разговаривает. Но только здесь, в закрытой на защелку ванной, когда Женя усаживает ее в теплую воду. Между ними необъяснимая близость. Женю растил дедушка. Бабушка всегда молчаливо присутствовала, ласково наблюдала за ней. Сколько Женя себя помнит, бабушка всегда была больна. И всегда они любили друг друга, если вообще может существовать бессловесная, бездеятельная, воздушная — ни на что практическое не опирающаяся — любовь. Женя гладит ее по голове:

— Хорошо?

— Блаженство... Господи, какое блаженство... Мы ходили в Сибири в баню все вместе — Павел Алексеевич, Танечка, Василиса... И веники были... Снегу было много... Ты помнишь, деточка?

«Интересно, за кого она меня принимает?» — думает Женя. Но, в сущности, это не имеет никакого значения. Ради этого Женя и приходит. В неделю раз Елена Георгиевна произносит несколько слов. На считанные минуты восстанавливается связь со здешним миром.

— Зачем ты в чулан переселилась? — спросила ее Женя.

— В чулан? Какая разница... Пусть. — И доверительно: — А почему ты Танечку не привела? — Встрепенулась и смутилась.

Больше всего Женя страдала в те минуты, когда чувствовала, что бабушка переживает растерянность и недоумение. Женя намылила губку и провела вдоль выпирающего позвоночника. Что ей ответить? Иногда Жене казалось, что бабушка принимает ее за свою покойную дочь. Так оно, вероятно, и было, потому что в спутанных речах иногда проскальзывало имя Тани, обращенное к ней... Но случалось, что бабушка называла ее мамой...

— Вода хорошая? Не остыла?

— Очень... Спасибо, деточка. — Подумала и сказала шепотом: — Сегодня на меня какой-то мужчина кричал.

— Михаил Федорович? Михаил Федорович кричал?

— Ну что ты, деточка, он себе такого не позволит. Кто-то чужой кричал. Женя слегка откинула голову, положила руку на лоб:

— Головку помоем. Ты глаза зажмурь, чтоб мыло не попало.

Елена Георгиевна послушно закрыла глаза. Пока Женя мыла ей волосы, она набирала в горсти воду и вылиwała себе на плечи, гоняла пальцами — играла, как играют дети, разве что без плавающих пластмассовых уточек и корабликов... Потом сказала неожиданно:

— На Томочку не сердись. Она сирота.

Женя уже ополоснула вымытую голову, подняла наверх жгут волос и всунула шпильку, чтобы не мешались...

— А я кто? А ты? Мы все сироты. Не понимаю, почему ее надо особенно жалеть?

— Голова — одна сплошная дыра. Трудно, — пожаловалась Елена Георгиевна.

— У меня тоже, — призналась Женя. — Вчера весь дом перерыла, часа три паспорт искала. Не могла вспомнить, куда положила. Вставай, пожалуйста. Из душа тебя окачу, и все...

Женя помогла Елене Георгиевне выйти из ванны, вытерла ее расползающейся от ветхости купальной простыней, смазала детским кремом ноги, паховые складки, опрелости, обещавшие со временем превратиться в пролежни, надела чистую рубашку и чистый халат. Повязала тюрбаном полотенце и, протерев рукой запотевшее зеркало, велела бабушке посмотреть на себя:

— Видишь, какая ты красивая.

Елена Георгиевна покачала головой и засмеялась. Там, в зеркале, видела она совсем другую картину...

В следующее воскресенье Женя не смогла приехать — накануне муж отвоз ее в роддом. В те воскресные послеобеденные часы, когда Женя обычно расчесывала и сушила седые, переставшие с годами виться волосы Елены, уже произошло полное раскрытие маточного зева и началось изгнание плода: головка ребенка вошла в плоскость входа в малый таз. Они все еще составляли единое целое, Женя и ее ребенок. Волны мышечных сокращений и спадов были согласованны, но уже наступал момент, когда он начал совершать первые самостоятельные движения...

Женя кричала, когда терпеть было не под силу, наступало облегчение, потом накатывало снова. «Наверное, если бы дед был жив, он сделал бы, чтоб не так больно...» — думала она в те минуты, когда могла думать. Это была совместная тяжелая работа — ее, ребенка и акушерки, лица которой она совершенно не запомнила. Зато остался в памяти властный и ласковый голос: дыши глубже... руки положи на грудь... считай до десяти... не надо тужиться... а теперь покричи, покричи... хорошо...

Это был самый несовершенный из всех природных механизмов деторождения — человеческие роды. Ни одно из животных так не страдает. Болезненность, длительность, иногда опасность для жизни роженицы — знак особого положения человека в этом мире. Двунорого, с расправленной спиной, впередсмотрящего, свободнорукого... единственного в мире существа, осознающего связь между зачатием и деторождением, плотской любовью и той другой, ведомой одному лишь человеку. Жертва прямохождению — считали некоторые. Плата за первородный грех — утверждали другие.

Ребенок уже пригнул головку, так что малый родничок оказался впереди, чуть повернул ее и, отогнув голову, вошел под лобковую дугу. Боль была такая невыносимая, что в глазах Жени потемнело. Акушерка пошлепала ее по боку:

— Мамочка! Все хорошо... немножко потерпеть осталось. — И заметила кому-то в сторону: — Передний вид затылочного предлежания.

Слезы и пот заливали Женино лицо. Прорезалась головка. Он уже поворачивался плечами, и акушерка, обхватив двумя руками мокрую продолговатую головку, выводила переднее плечико...

Елена на своем венском троне с унизительной дырой в сиденье задремала. Ей снился сон: в яркий весенний день, когда листва уже появилась, но каждый отдельный лист еще маленький, бледный и не набрал полноты цвета, она идет по Малой Бронной, сворачивает в Трехпрудный, поднимает голову и видит, что на последнем этаже дома, на полукруглом декоративном балкончике, под полуциркульным окном их старой квартиры, множество людей. Ей хочется разглядеть, кто же там стоит, и она оказывается вровень с балконом, и даже чуть выше балюстрады, и видит, что там, на раскладушке, лежит ее дед, очень старый, с не совсем живым лицом, рядом с ним — бабушка Евгения Федоровна, Василиса, мама, отец, молодые братья, и все ее ждут, чтобы сообщить что-то важное и радостное. И удивительно, как столько людей умещается на крохотном балкончике. А их делается все больше, и вдруг посреди всех появляются двое людей, молодой человек, высокий, густогривый, с не очень чистой кожей и пухлым ртом, и молодая женщина, похожая на Танечку, или на Женю, или на Томочку, с младенцем на руках. Павел Алексеевич берет младенца в руки и поворачивает его к ней лицом... И в этом младенце вся радость мира, и свет, и смысл. Как будто посреди солнечного дня взошло еще одно солнце... младенец этот принадлежит им, а они — ему. И Елена Георгиевна плачет от совершенного счастья и чуть-чуть при этом удивляется, потому что она чувствует одновременно соленую сладость слез и совершенную свою бестелесность...

Виталий вечером того же дня поехал на Центральный телеграф: он по каким-то соображениям с домашнего телефона в Америку не звонил. С отцом его соединили очень быстро. Илья Иосифович снял трубку, услышал голос сына — быстрый, деловой, без «здравствуйте, как поживаете».

— Женька сына родила. Поздравляю с правнуком. — Без лишних комментариев.

Уложился в минуту. Зато до Ленинграда он дозванивался минут двадцать. Сказал Сергею, что все в порядке. Родился мальчик, и никаких родовых осложнений.



— Могу я приехать? — спросил Сергей.

— Ты позвони Женьке, когда она из роддома выйдет. И договоришься с ней.

Он не питал особой слабости к этому длинноволосому музыканту и даже несколько ревновал к нему Женю. Что их связывало, совершенно непонятно...

А Илья Иосифович давно уже решил, что поедет в Москву, когда родится правнук. Виза была готова. Валентина сначала была категорически против, но потом сдалась — при условии, что и сама поедет. Оставалось только билеты заказать. Их старшая дочь, родившаяся через четыре месяца после Жени, живет отдельно. Младшую, шестнадцатилетнюю, увезенную из России малышкой, они никогда одну не оставляли: она робкая, довольно странная девочка. Решили, что ей будет полезно десять дней жить самостоятельно.

Была некоторая сложность с Валентиной работой. Она преподавала в Гарвардском университете и так сразу взять отпуск не могла. Но свой курс она заканчивала читать через три недели. Что же касается Ильи Иосифовича, он был давно на пенсии, состоял почетным членом десятка разнообразных обществ и редколлегий и уехать мог в любой момент.

Последние три года он читает Тору по-немецки и по-английски и сетует, что родители не отдали его в детстве в хедер. Учить иврит в восемьдесят шесть лет непросто. С другой стороны, трудности его не пугают. Такого собеседника, каким был Павел Алексеевич, у него нет и никогда не будет. Он часто с ним мысленно беседует и даже ссорится. Хотя надо признать, что сближение между ними происходит: Илья Иосифович склоняется к существованию Мирового Разума и носится с идеей, что Библия представляет собой грандиозную шифровку, космическое послание Мирового Разума к человечеству. Но человечество еще не созрело, чтобы эту шифровку прочитать. С Генкой, который живет в Нью-Йорке, он постоянно пытается обсуждать богословские проблемы, но тот решительно предпочитает всякую восточную собачатину, начиная от китайской кухни и кончая карате. Узнав, что у Жени родился сын и отец собирается в связи с этим ехать в Москву, он встревожился:

— Что за развлечения в твоем возрасте! Пошли ей лучше денег! Да и я готов...

Но Илья Иосифович стоял твердо:

— Не учите меня жить! У девочки есть дед. У меня есть правнук. Жаль, Пашка не дожил.

.....  
 .....  
 .....



---

---

МАРИНА КУДИМОВА

\*

## УТЮГ

### *Характеристика*

Март. Обветрены уста...  
Живописные места!  
Жаль, что рейсовый автобус  
Ходит только до моста.  
Если б угры или фрязи  
Обжились в таком краю,  
Под бетон ушли бы грязи  
В туристическом раю.

Что ты, что ты! Тьфу, не сглазь, —  
Пусть уж лучше будет грязь!  
Просто власть лукавым глазом  
До нее не добралась.  
Пешеходу грейдер сносен  
Чуть ли не до посевной.  
Правда, есть еще и осень, —  
Но не сразу ж за весной!

Так куда же я иду  
По замерзшему пруду,  
Посередке, там, где с лодки  
Самый раз кидать уду?  
Правда, если встанешь рано,  
Прежде целого села,  
Правда, если рыбохрана  
Накануне подпила.

Снег уже слоится весь,  
Как бумаги чистой десь...  
Я иду пока что к цели,  
И она пока что есть.  
Очевидна и конкретна,  
Казуистики чужда.  
По зиме — три километра,  
Летом — больше вдоль пруда.

Что ж! Для цели — невдали,  
Хоть считай на лье и ли.  
Там жила в усадьбе тетка  
Гончаровой Натали.

Там в моей каморе дымной  
Даже мыши не живут.  
Там меня Марин Владимной  
Соблазнительно зовут.

Там, не по летам мудра,  
Нечистоты из ведра  
Льет в канаву Антонина,  
Медицинская сестра.  
И такие знает были,  
Что не в радость ей и флирт.  
Мы с ней делим быт бобылий,  
Пьем неразведенный спирт.

Там от инея пернат  
И нахохлен старый сад.  
Досыпает до подъема  
Специальный интернат.  
Где я вкусы возмущаю,  
Набекрень нося берет,  
Где я тайно замещаю  
Кадр, гуляющий декрет.

Где, прошедший сквозь барак,  
В винно-водочных парах  
Невменяемый директор  
Топит совесть или страх.  
И душой своей незлою  
Заодно со всей страной  
Грезит «Малою землею»,  
«Возрожденьем», «Целиной».

Там сейчас, как дважды два,  
Спит и мой четвертый «А»...  
В спальне утром плюс двенадцать  
По причине воровства.  
Всей стране легко ли, туго ль  
На недвижимом возу.  
Кочегары хитят уголь —  
Сраму ни в одном глазу.

Если страж подслеп и хром,  
Вор не зазрится воров...  
А мальчишечьи покои  
Пахнут что твой гипподром...  
Плавно, будто бы намылясь,  
Нарождается заря...  
У окна — однофамилец  
Пламенного Кобзаря.

Отвращает корешей  
Серной течью из ушей.  
Он из дома новым папой  
Вытолкан сюда взащей.  
Их стеречь остался на ночь,  
Перестроживши на дню,  
Воспитатель Петр Иванович, —  
Я сейчас его сменяю.

Здесь мужчина-педагог  
Без натяжки царь и бог.  
Он изъяны дисциплины  
Мордобитьем превозмог:  
— Придавлю тебя, нахала,  
Аж посыпется труха!  
Руки ложь на одеяло  
От онанова греха...

Бледен изжелта, как воск,  
С опухолью, жрущей мозг,  
Дрыхнет Паша-обаяща,  
Избежав моченых розг.  
Вспылчивее дикобраза,  
Благороден, словно лев...  
Предки Пашу в год два раза  
Навешают, протрезвев.

Положительный Блинов  
Вовсе пусть не видит снов —  
Ни родителей кровавых,  
Ни дорожных катастроф...  
От него лежат налево  
Малолетние дельцы —  
Братья Жора и Валера,  
Антиподы-близнецы.

Генетический каприз —  
Квазимодо и Нарцисс.  
Собирают с однолеток  
Препорядочный акциз.  
Входят в прочный, регулярный,  
Сводный летом и зимой  
Продотряд каникулярный  
Не берушихся домой.

Мамки — ночные бойцы,  
Забубенные отцы, —  
Вот и мают кошт казенный  
Антиподы-близнецы.  
Государственной заботе  
Предоставлены они.  
Педагог, забудь о льготе,  
Отпускные скомкай дни.

Смена утренняя — крест:  
Поголовный диурез...  
А напротив спят девчонки —  
Восемнадцать койко-мест.  
Воспитания пробелы,  
Роковые имена —  
Нелли, Стеллы, Изабеллы,  
Точно в «Яме» Куприна.

В изголовии — киот  
Из журнала дамских мод,  
Бонбоньерки из открыток  
С видами целебных вод.

Сучки, язвы и занозы —  
Слабый пол в четвертом «А».  
Неестественные позы  
И заемные слова.

У одной туберкулез,  
У другой педикулез,  
А у третьей, перестарки,  
Кукиши грудных желез.  
И подглазья посинели  
На потраву стукачам,  
Но — секрет полишинеля  
Их забавы по ночам.

Воздух мартовский сквозист...  
Время — точный прогнозист.  
Я иду после ангины  
И несу больничный лист.  
Наста корка вырезная,  
Желтой наледи наплыв...  
Я стихи пишу — я знаю,  
Что такое перерыв.

Это значит — все с нуля,  
Снова с «до», засев на «ля».  
Выстлалась на месте вспашки  
Целиковая земля.  
Ни былиночки, ни щели —  
Лишь сорняк да самосад.  
Время — хитрые качели:  
Вверх — вперед, а вниз — назад.

Не воздам я по грехам  
Ни орлам, ни петухам,  
Ибо временные кадры  
Втуне детям и стихам...  
Гололедка на угорье  
Да поваленный забор, —  
Здесь натура в переборе,  
А дизайна недобор...

Кто стоит сам по себе —  
Вне общины, не в гурьбе,  
Без пальтишка, в непотребном  
Интернатовском хэбэ?  
Коридором крался длинным,  
Вахтенного обминул,  
Требованья дисциплины  
Не чинясь перешагнул!

Он дверной откинул крюк...  
Ну, подарок, ну, кунштюк!  
Как зовут его, не помню,  
А по прозвищу — Утюг.  
Здесь, где верховодит навык —  
Не эксперимент сырой,

Где ни левых нет, ни правых,  
А единый общий строй!..

Раз, в утробном ни гугу,  
Стало тошно Утюгу.  
Сочлененья он расправил —  
Дескать, больше не могу.  
И в щелеобразный выход,  
Подтянувшись на руках,  
Устремился слишком лихо,  
Сплющив голову в висках.

Нет бы уповать на вдруг,  
Как прибоя, ждать потуг...  
Акушер щипцы отбросил,  
Буркнул: — Тоже мне утюг!.. —  
В мир, на диво гармоничный,  
Прибыл он, полуживой,  
Но за то, что выбил днище,  
Поплатился головой.

Не умен и не дурак,  
Акушерский этот брак  
В сильных чувствах замечен  
Тоже не был — ну никак...  
Упасает око веко,  
Я пасу четвертый «А»,  
Маленького человека  
Различая, но едва.

Да и чем еще судьба  
Сверх конического лба  
Одарила самозванца  
И восставшего раба?  
Древа жизни хилый листик,  
Не мизер и не ва-банк,  
Должностных характеристик  
Неприметный левый фланг.

Из варяг идя и грек,  
Личность нажил имярек,  
Дополнительности признак  
Внес в понятие «человек»...  
Хоть картина Рафаэля  
И превыше сапога,  
Ординарность в самом деле  
Мне мила и дорога.

Но герой, попавши в круг,  
Спился с круга, сделал крюк,  
А нарушил распорядок  
Снова именно Утюг!  
Тут бедняга на сердяге,  
Сирота на сироте.  
Тут боишься в передряге  
Молвить слово в простоте...

Из уютного житья  
Почерпнуть могла бы я  
Матерьяльца лишь на очерк  
«Многодетная семья».  
Где родят без понуждений,  
А и требуют наград, —  
Вот дитя без рассуждений  
И попало в интернат.

Впрочем, шлянье во дворе  
Без пальтишка на заре  
Попаданием чревато  
К Антонине, медсестре.  
Но гулять полуодетым  
Он привычен по утрам,  
Ибо семьям многодетным  
Не до выдуманных драм.

Может, кто его побил?  
Может, образ в нем сгубил  
Воспитатель Петр Иваныч,  
Мужеловец и дебил?  
Пахнет малый, как творожный  
Завалившийся сырок...  
(Глаз таможенный, смех безбожный  
Мне откликнутся в свой срок!)

Отворяю горлом звук,  
Строгостью глушу испуг:  
— Ты кого тут ожидаешь?  
— Вас! — осклабился Утюг...  
Я б хотела, чтоб холера  
Иссушила мой состав.  
Чтобы Жора и Валера  
Шли, объятая распростав.

Чтоб, не застегнув штанов,  
Мчался горестный Блинов,  
Чтоб за Пашей-обаяшей —  
Строем — десять пацанов,  
На которых за полгода  
Я ухлопала пять лет,  
У которых ни свободы,  
Ни ее эрзаца нет.

У которых из слюнявок  
Детство вырвала беда,  
У которых только навик  
И надежда — кой-когда.  
Чтоб они ко мне навстречу  
Вышли сонмом, чуть дыша.  
Чтобы встала выше речи  
Их молчащая душа...

Мой глотательный недуг  
Выполоскан — и затух.

Мне навстречу в одиночку  
Никакой пришел Утюг.  
Умилителен, но скучен,  
Как тут воду ни мути.  
Он — почти — благополучен,  
Он безнравственен — почти.

Утюга отец и мать  
Не душить, так обнимать  
Будут дома в дни каникул —  
Тоже надо понимать!  
— Это что еще за штуки  
Ты устраиваешь тут?! —  
Ледяные в цыпках руки  
Шею дают, книзу гнут...  
— Ну чего ты! Ну идем,  
Через пять минут подъем... —  
И малиновая пена  
Заливает окоем...

Скоро все мои пробелы  
Явят — это не секрет —  
Нелли, Стеллы, Изабеллы  
Той, гуляющей декрет.  
И меня с моим беретом  
На большие времена  
Вмиг затмит авторитетом  
Постоянная она.

Под вишневую пургу  
Я отсюда убегу.  
Что скажу я на прощанье  
Преданному Утюгу?  
Мы присядем на дорогу  
В отцветающем саду.  
Я предам любовью много,  
А героя не найду.

Где поймешь, где угадаешь,  
Перейдешь на воляпюк...

— Ты кого тут ожидаешь?  
— Вас! — отвечает Утюг.





---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

*Очерки изгнания*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(1979 — 1982)

Глава 6

РУССКАЯ БОЛЬ

В уединении ты счастлив, ты — поэт! —

узнал Пушкин, сравнив свои творческие периоды одиночества и суеты света.

И я — предчувствовал с детства так. И узнал это счастливое одиночество в коктерекской ссылке — и как же, искренно, щемило мне уезжать оттуда в круговороте возникших реабилитаций. В июне 1956 я покинул свою благоданную ссылку — и только через 20 лет, в июне 1976, и почти дата в дату, добрался до желанного вольного уединения, теперь в Вермонте. И с первого же дня накинудся на проступивший мне столыпинский том «Августа», потом на необъятный «Март», — да вот за годы и не отрывался ни на день, разве на гарвардский.

И не переставал удивляться и благодарить: и поставил же Господь меня в положение — лучшее, о каком может мечтать писатель, и лучшее из худших, какое может состроиться при погубленной нашей истории и при стране, угнетённой уже по-за 60 лет.

Вот — я имел теперь свободу ничего не шифровать, не прятать, не рассказывать по друзьям, но держать открыто, соединённо все материалы и все рукописи на просторных столах.

И — я мог получить из библиотек любой нужный мне источник. Да ведь ещё ранее того, ещё в первую цюрихскую суету старые русские эмигранты слали мне и без просьбы моей — все необходимые книги. Я получил их в свою библиотеку прежде, чем узнал список нужного мне, — и почти всё оказалось вот у меня. А лучшее хранилище по истории революции, Гуверовский институт, где из старых газет выступило передо мной и убийство Столыпина (заножавшее загадкой ещё мою юность), и всё огромное здание «Марта», — Гувер всё звал меня приезжать и работать дальше, слал мне ксерокопии материалов чуть не пудами, а стараниями Е. А. Пашиной ещё добавились и микрофильмы всех петербургских газет революции, бесценный подарок.

---

© А. Солженицын.

Первая часть автобиографической книги Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире» в № 9, 11 за 1998 и № 2 за 1999 год.

А ещё же — сколько наслали мне воспоминаний уцелевшие старики, современники революции. Из последних сил, из последнего зрения, иногда последними движениями старческого пера, в свои 85 — 89 лет, в отзыв мне, они описывали кто полную свою жизнь, кто — уникальные революционные случаи, которых нигде бы не найти, — воспоминания, свои или умерших родственников, обречённые погибнуть, — вот уже более трёхсот, и всё шлют. Сперва этот наплыв принимала Аля — и отвечала старикам-авторам, и просматривала, читала, отбирала для меня возможно нужные ближайшие кусочки. Мне же первой предстояло отбирать свидетельства о Гулаге, для последней редакции «Архипелага», — и таких свидетелей, к прежним советским, добавилось ещё три десятка. Наконец с осени 1980 мог я сесть за воспоминания только революционные. Умиравшая эмиграция своим последним выдохом послала мне помогательную волну. Связь времён, кроваво разорванная большевиками, — чудесно, нежданно соединилась в уходящий последний возможный момент. (Многие, кого успел и лично узнать, умерли на моей памяти, уже за эти годы. Стали мы звать отца Андрея служить в ночь под старый Новый год в нашей домово́й церковке панихиду по всем им, кто скончался в минувший год. Мальчи́кам рассказывали о каждом: кто он, что пережил.)

Но ещё ж и укрепил меня Господь тем, что, живя на Западе, я мог быть независим от изводящего и унижительного кружения в чужеземной среде: мне не надо было искать средств на жизнь. И я никогда не интересовался, придутся ли мои книги по вкусу западной публике, «будут ли их покупать». Я привык в СССР почти ничего не зарабатывать, но почти ничего и не тратить. Увы, на Западе так нельзя, да ещё с семьёй. И не сразу я понял, как огромен посланный мне дар ещё и обеспеченности — а потому полнейшей независимости. Я оказался беспрепятственно и наедине со своей достигнутой работой, писал книги — без малейшей оглядки. Независимость! — это шире и действенней, чем только одна свобода. Без неё — не выполнить бы мне свою задачу. А так — западная жизнь протекала в стороне от меня, не задевая рабочего ритма. И безвозвратно уходило время только в том, что безвозвратно изнурялась моя родина.

А сам на себе — я будто не испытывал хода времени: вот уже третью тысячу дней по единому распорядку, всегда в глубокой тишине, о которой истерзанно мечтал всю советскую жизнь, без телефона в рабочем доме, без телевизора, всегда в чистом воздухе (по швейцарскому обычаю — открыты окна в спальне и в мороз), на здоровой пище американской провинции, ни разу не обратясь по-серьёзному к врачам, в 63 года ныряя головою в ледяной пруд, — я и сегодня как будто не старше тех 57 лет, с которыми сюда приехал, а то и куда моложе. И скорее чувствую себя ровесником не своим сверстникам, а 40 — 45-летним, да вот — жене своей, как будто с ними весь будущий путь до конца. Ну только, может, не бывает *лавинных* дней, когда вдохновение сшибает с ног, только успевай записывать картины, фразы, идеи. Но даже то молодое чувство испытываю к 64 годам, что ещё не окончен мой *рост* — ни в искусстве, ни в мысли.

Полгода упиваюсь работой в просторном высоком «стрельчатом» кабинете, правда зимою холодном, — с большими окнами, с люками в крыше, с обширными столами для раскладки множества мелких выписок. А на летние полгода переезжаю в домик у пруда, и от этой смены рабочего места — какой-то ещё новый прилив рабочих сил, ещё что-то вливается, какая-то новая ёмкость в душе. (Это чувство и у Али: «молодеем здесь».) Тут природа настолько плотно окружает, что превращается и в бедствие: бурундучки шныряют под ногами сразу по нескольку, в траве порой проскальзывают гадючки, под полом дома шурушит и вздыхает енот; что ни заря — белки бомбят железную крышу срезанными шишками, а крылатые (как летучие мыши) серые белки зимой поселяются на чердаке большого дома и устраивают возню в разное время суток. Но кого я ласково люблю — это койотов: зимой они часто бродят по нашему

участку, подходят и к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить его не берусь, а — очень люблю.

Однако все эти шумки и звуки только выявляют нашу «удивительную, упоительную, сосредоточенную тишину», как однажды записала Аля. Она углубляется в работу с такой же страстью, как и я: «только бы не помешали!» Не миг, но быстро и уверенно она освоилась и устоялась с непривычным бытом жизни не городской, как всегда вела, а на лесном отшибе: свои особенности, потребности, задачи и границы возможного.

Нам с Алей легко разговаривать: понимаем в четверть-слова, или даже только по малому движению, по выражению лица, и без траты слов на очевидности, на повторы. А что говорится — то движет вперёд, что-то новое добавляет, или причину задуматься.

Оглядываясь, не могу не признать минувшие шесть лет в Пяти Ручьях — самыми счастливыми в моей жизни. Налетали западные неприятности — и проходили побочной пеной. Как раз в эти годы развился громкий лай на меня — но не испортил мне ни одного рабочего дня, да я его и не замечал, по пословичному назиданию: в ино время не думай, не знай, что люди говорят. А те ругательства, те журналы я только складывал стопкой на полку, и годами не читал, доселе, — лишь вот для «Зёрнышка» думаю впервые прочесть, чтобы заодно и поспорить, экономия времени.

Когда углублён в неповторимый труд — других задач не знаешь, не воспринимаешь. В разные годы за это время ставились мои пьесы — в Германии, Дании, Англии, Штатах, приглашали меня на премьеры, — никогда не ездил. А уж разные сходки, встречи — мне дико, как бесплодно кружатся там, в нью-йоркском или парижском смерче; а им — дико такое гробокопательное чудачество, уйти от мира. Некоторые американские литературные критики, меря по себе, судили, что это «хорошо организованная реклама». (Критики! — им и не в толк, в чём работа писателя? Уединиться для работы мечтает каждый, кому есть что сказать. Говорят, тут в Вермонте, и рядом, умные так и делают — Роберт Пенн Уоррен, Сэлинджер. Здесь же когда-то десять лет прожил Киплинг. Вот если б я ездил по всем приглашениям и выступал — вот это была бы самореклама.)

Но за выбранное мною лесное уединение дети платили свою цену.

Старшему Мите и так уже досталось два года вживаться в швейцарскую школу и жизнь — вдруг перенёсся в фермерский американский штат, учи заново и язык, и заново завоевывай себе авторитет среди сверстников (правда, уже намного превосходя их жизненным опытом, и при мобильности характера, резкой удивительности и широте поступков, он быстро вызвал у них любовь и даже почитание). И опять же — езжай в хорошую дальнюю школу, где новые порядки, потом в Бостонский университет, на отделение инженер-механиков (с детства влюблён в моторы). И после первого же там семестра попадает с сокурсниками в автомобильную аварию: повреждены глазной и лицевой нерв, ухо, да сама жизнь была под угрозой, десять дней и ночей Аля просидела около него в бостонском госпитале. Спустя полгода лицевой нерв восстановился, а природное митино здоровье и жизнелюбие помогли ему вернуться к безущербной активности. Но после этой аварии у Али долго сохранялся страх, ожидание какой-то внезапной новой беды.

А малыши первые годы росли на нашем участке как в русском заповеднике, Аля торопилась напоить их, до выхода в американскую среду, русским языком, ежедневно читала им вслух, они рано пристрастились и к собственному чтению, и к стихам наизусть (свою большую библиотеку Аля привезла почти целиком из Москвы). А я с Ермолаем—Игнатом, соединённо, вёл алгебру и геометрию, со Стёпой позже, отдельно, преодолевая его мечтательную рассеянность, которая сперва тревожила нас, но была предвестием его глубокого вдумывания в мир. Стало ребятам от 7 до 10 — повёл с ними физику и астрономию, и в конце августа, когда рано выступает звёздное небо, водил их с горы и мимо пруда на единственную у нас открытую полянку, откуда можно

было видеть распах звёзд. Там разглядывали и запоминали созвездия и элементы математические, основные линии на небесной сфере, которые в другой день показывал на доске. Созвездия втягивали жадно. Стёпа запоминал лучше всех, и альфы созвездий. (Он и в географии был более чем успешен: обогнав братьев да и родителей — вот уже знал наизусть все страны мира, все столицы, все флаги, — и все же полторы сотни миниатюрных флагов собственноручно изготовил, развесил на стене.) А Игнат поражён был «Альголем» — «звездой дьявола» (за переменную яркость) — и жаловался маме, что ему теперь страшно ложиться спать.

А отец Андрей, служивший теперь в двадцати милях от нас в православной (англоязычной) церкви староэмигрантской общины, раз в неделю занимался с ребятами Законом Божиим, потом всемирной историей. Наши мальчики прислуживали за литургией, Ермолай уже читал Апостола. — Первым учителем английского наших детей стал американец итальянского происхождения Ленард ДиЛисио, милый, скромный и рыцарственный. (Зная неплохо и русский, с 79-го года, после отъезда И. А. Иловойской в Париж, он стал работать и моим секретарём, приезжая два раза в неделю.)

Со всеми этими подготовками сыновей мы успели вовремя, в местных школах уже редко по какому предмету ожидал их серьёзный уровень знаний, а испытание обстановкой — всюду необычное. Сперва — в частной школе, где много трудовых навыков и нестандартных знаний, но никаких домашних заданий и никаких отметок, чтоб не травмировать отстающих, — по меннонитско-социалистическим воззрениям директора. Потом — в общей местной школе, начальной (тоже без особых заданий), потом средней, подальше. Школьный автобус по утрам собирал детей «с холмов», после уроков развозил. Ермолай, на два года моложе соучеников, вытаскивался доказать, что не чужак и достоин быть принят в их общество, для того занимался борьбой карате. А Степан, с его добродушием, оказался незащищён против жестокости школьных нравов, на грубую ругань не способен отвечать руганью, его беззащитная повадка только подогревала атаки, да к тому же — иностранец. На переменах ему не давали участвовать в общих играх, звали *Russian Negro*, требовали, чтоб он ел траву, даже запикивали в рот. Стёпушка был подавлен, говорил матери: «из жизни — нет выхода». А произошёл в Бейруте взрыв на американской базе, погибло 200 морских пехотинцев, — стали травить Степана как «русского шпиона». В школьном автобусе ему заламывали руки назад и били, приговаривая: «коммунист! шпион!» (Организационно задуманные великолепно, эти автобусы, однако, на какой-то час вырывают детей из-под всякого воспитательного надзора, водителю за всеми не уследить, — и самое грубое и безобразное творится именно в них.)

Меньше всех испытал этого школьного драматизма Игнат — из-за рано открывшихся музыкальных способностей. Однако пойдя найди ему в лесной глуши достойных учителей. Выручило, что в 70 милях от нас, в таком же лесу, как и мы, на юге Вермонта живёт знаменитый пианист Рудольф Сёркин, и туда каждое лето к нему съезжается международный Марлборо-фестиваль камерной музыки. Сёркин признал Игната ярко одарённым, определил его к тонкой, талантливой кореянке Чонкийо Шин, ещё далее от нас, в штате Массачусетс (полтора часа в один конец возила стойкая бабушка, а уроки контрапункта — ещё в другую сторону, в Дартмут-колледж, на север от нас). У Игната началась новая плотная жизнь — и в школе он теперь отсиживал не полную неделю, только экзамены по полной программе сдавал.

Я-то мало услезивал за всеми подробностями детской жизни, они не умещались в сжатость и плотность моих дней, — тем большую тяжесть, ответственность, сердечную муку принимала Аля. Она постоянно укрепляла их, что наше изгнание имеет смысл и задачи. Да не столько словами: на сыновей действовал сам дух семьи и непрестанная, увлечённая наша с Алей работа. Вот Ермолай, с десяти лет, на машине IBM стал набирать и первую книгу нашей серии Мемуарной Библиотеки, воспоминания Волкова-Муромцева. Как мы

радовались — не только помощи, но ненапрасной надежде, что мужество и благородство тех русских мальчиков передастся ему. Вскоре затем он уже взялся перепечатывать важную струю моей переписки — с Лидией Корнеевнoй Чуковской; почерк её очень трудно читается — но он преодолел с интересом, узнавая и расспрашивая о деталях подсоветской жизни. Из духа соревнования тут же и восьмилетний Игнат кинулся печатать на машинке, — соревнование, но не зависти. Чужеземное окружение сплачивало. Мальчики вырастали в дружности, сознание нашей необычной ноши передавалось им. Во все свободные детские дни — в каникулы или когда гололёд или снежная буря останавливали ход школьных автобусов, — Аля снова и снова занималась с детьми русскими предметами, а я — математикой и физикой.

Аля как-то вспомнила, повторила наш довысылный девиз: как нам правильно разгадать небесный шифр этих лет? как правильно угадать линию поведения? — теперь уже на Западе. Но пока это понадобится — весь безошибочный шифр был: сидеть и писать, нагонять упущенную русскую историю. Есть у меня такая молитва: «Господи, направь меня!» И когда нужно будет — направит, я живу спокойно.

Конечно, худое дело: всю жизнь работать в запас, в запас, в запас. Но это — жребий разорённой России. Если бы сегодня на родине возживала бы истина о прошлом из глa, и на ней оттачивались бы умы, вырастали бы сильные характеры и целые шеренги делателей, — пришлось бы кстати и книги мои. А тут: старая эмиграция почти вдокон умерла, её внуки врастают в западную жизнь, мои книги им как иностранные, и сами они уже не сила и не нация; а новая Третья эмиграция, читающая главным образом по-русски, хотя и разбирает бойко мои книги в бесплатной нью-йоркской лавочке, но им не внемлет, за ними не идёт. (Нашлась и такая группка аферистов: получали мои портативные «малышки» якобы для бескорыстной отправки в СССР — а сами, через книжную базу в Израиле, пустили их там в продажу.) А современная западная публика — та и вовсе, кажется, отвыкла думать над книгами, разве что над журнальными статьями, и сами западные писатели, в большинстве своём, не претендуют на силу убеждения. Нынешняя западная литература — шекотание нервов или интеллигентному или массовому читателю, она снизилась до забавы и парадокса, утерьяла уровень воспитания умов и характеров.

Итак — в запас, в запас...

И первые шаги запаса — собрание сочинений, в их окончательном виде. Такие смятенные и переколышливые были годы в Советском Союзе — ни один текст никогда до конца не отделан, не доработан, а то ещё и сознательно искажён, подчиняясь тактике укрыва до времени. Если не довершить, дочистить, докончить теперь — то когда же? Не простое писательское желание видеть поскорее эту череду томов — но внутренняя боль, что всё не прибрано, и не на месте, и можно не успеть при жизни.

Современная техника, электронная печатная машина, дала возможность Але вести ежедневный набор и в нашей глухомани, никуда не выходя, и тут же всё поправляя. (Не мог я без «ё»! С трудом заказали несуществующие в IBM головки с «ё» для главного шрифта и петита. А — для остальных шрифтов? Ловчайшая пальцами тёща моя взялась выставлять все недостающие точки над «ё» и все ударения, ведь их тоже нет в шрифтах. Выручила.)

Хотя наша первая печатная машина способна была «запомнить» только три набранные страницы, вынуждая сразу привести их в окончательный вид, не выключив машины, — Аля уже к концу 80-го года сумела набрать, выверить тексты, и мы доредактировали первые восемь томов моего Собрания. Ещё она собрала кропотливые библиографические справки к каждому произведению, обзор всех первопечатаний. Все эти годы Аля работала с удивительной уплотнённостью, умелым совмещением работ, — когда жалко потерять даже час-два из пружинно сжатого дня. Вела напряжённо разрывную жизнь:

ещё же все внешние сношения, ответы на звонки, управление Фондом, конспирация с его московскими сотрудниками, — ещё особый поток. При крайних авралах работала с семи утра до часу ночи, спала по пять часов в сутки, dokonечно изматывалась.

Весной 81-го приобрели мы подобную же печатную машину IBM, но уже с памятью на магнитных картах, что позволяло работать сразу над целыми главами, — теперь-то дело покатилося бодрей! (А как болезненны срывы, когда машина портится, мастер не едет, или, приехав, не справляется починить, надо детали заказывать, — досаднейшая остановка работы, всего разгона и графика!)

По обстоятельствам жизни, у «Октября» была особая, сложная судьба. Я усиленно писал его в 1971 — 72, ещё под Москвой у Ростроповича. Потом накальная советская жизнь — оторвала, покинул надолго. И вот теперь, 10 лет спустя, сел за окончание. За это время в корпус «Октября» вступали всё новые и новые главы — и не всегда находили себе лучшее правильное место в прежней конструкции. Тут Аля дала мне много хороших советов, не только по деталям, как всегда, но и в строении, — я принял. Аля управлялась с «Августом» (тома 11 — 12), докончила публицистику (том 10) — приняла у меня «Октябрь» (тома 13 — 14). А я повёл — вторую сквозную редакцию четырёхтомного «Марта».

Нет, ни электронная наборная машина с большой памятью и ни своя ретивость и усидчивость не привели бы к цели без достойной жены. Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моём замкнутом уединении, когда не может хватить одной авторской головы и примелькавшегося восприятия. Пристальность к тексту, меткий глаз, чуткость к любому фонетическому, ритмическому процарапу, к фальши или истинности тона, штриха, синтагмы, чуткость ко всему в художественном произведении — от крупных конструкций, от верности характеров, до нюансов образов, выражений, порядка их, междометий, знаков препинания. Аля помогала мне критикой, советами, оспорами, она много способствовала улучшению и ясности моих текстов. Когда в своей многотомности я местами уставал, становился небрежен, — в изрядном возрасте и с изрядным именем это особенно грозит, можно устать выделять с прежней тщательностью, — она требовательно настаивала на повышении этих мест (всегда слышала их) и предлагала отличные варианты. Она мне заменяла целую аудиторию верных читателей, которых трудно бы собрать в эмиграции и совсем невозможно в отшибном углу. В одиночку и в одиночестве такую махину не исполнить бы на уровне. Аля не давала мне расползтись в несамокритичности. Через себя, как и я, пропускала каждую фразу и зорко участвовала в последнем пересеве слов при окончательном наборе. А ещё — и яркая память. При непосильном объёме «Колеса» она помнила повторы, которых я не отметил, забыл, не давала мне повторяться. При алином уме и энергии — ей бы развернуться в общественных шагах, у неё мгновенное соображение, способность сразу взять суть вопроса и его последствия, умение успешно спорить публично, — но всё это пока остаётся втуне ради моей нескончаемой работы в замкнутыи.

В таком сотрудничестве составлять и набирать собрание сочинений — наслаждение, ещё одна окончательная важная отделка, и ощущаешь полную (ах, и ещё не полную!) завершённую торопливого труда прошлых лет. Обычно собрание сочинений набирают отдалённые наборщики, и уже как непререкаемый текст. У нас — страница за страницей рождались на глазах, Аля приносит мне их или присылает с детьми, ежедневными порциями на окончательное чтение. К тому ж обладает она и острым графическим чутьём — к шрифтам, расположениям. Книга выходит от нас окончательной, во Франции её лишь переснимают\*.

---

\* А подошло печататься в СССР — так и советские государственные издательства охотно брали наш готовый набор, — так и пошёл он по широкой стране, чего Аля никогда не ждала прежде. (Примеч. 1990.)

Но Аля не только помогала мне сделать очередную книгу, и сделать её лучше, — она соучаствовала душой в каждом томе, иногда страстно — как в допросах Богрова, или в революционных метаниях «Марта», или в судьбах ведущих, но обречённых деятелей, или в накале сценария «Знают истину танки!» — мятеж кенгирских заключённых сжигал ей сердце, как и мне. (Тут ещё — хор над головами танкистов-подавителей: от ранних своих лет она была напитана этой грозной песнью войны: «Вставай, страна огромная! / Вставай на смертный бой!» — той войны, где погиб её отец. А вот, оказывается, к тому году, как ей быть в 8-м классе, так по-новому повернулся памятный мотив, вдвойне — и к экамам, и к самим подавителям: «С фашистской силой тёмною, / с проклятою ордой!» И к *этим* мятежникам она была напитана сурово-жертвенной преданностью — никогда им не изменить и не забыть. И — удастся ли вырастить детей в такой же сквозной верности?..)

Когда в 1959 я писал сценарий «Танков» — я вовсе не надеялся увидеть фильм на экране при жизни. А потом — уже и надеялся, и сильно, и как (будто бы) потрясён будет зритель нашим лагерным восстанием. И ещё из Союза я торопил: вести переговоры с западными режиссёрами. А — ничего не получилось.

Когда на Западе была острая на меня мода — тут возникло две экранизации: совсем неудачный «Круг первый» в Дании (Форда и Форберта) и честный, но далеко не дотянутый норвежско-английский «Иван Денисович» с Томом Кортни. (Сейчас добавился эксперимент «Одно слово правды» по нобелевской лекции.)

Попав сюда, я с пылом хотел ставить «Танки». Но все попытки были неудачны. Сперва горячо брался тот чешский эмигрант, Войтек Ясный, а не было у него сил ставить. Потом приносили мне предложения американских фирм, или просто каких-то кинодеятелей. Я в этом не разбирался, однажды попался, заключил договор с новосозданной лос-анджелесской компанией «Аврора», у которой, оказывается, не было ни опыта, ни средств на постановку, а только думали они под моё имя получить деньги. Стал писать рабочий сценарий Брус Гершензон, бывший сотрудник Белого дома, политически очень точный, но совсем не художник, он выпятил политику, переклонил фильм к агитке. Наниматели расторгли с ним, привлекали какие-то голливудские оценочные упряжки (дикость: по баллам рассчитывают сценарий, насколько фильм понравится американскому зрителю), требовали в моём эпическом фильме без главных лиц — выделить главных двух героев-любowników, дописывать и переставлять сцены, — и я уже договором был связан, неужели уступать? Работу эту делал привлечённый мною Володя Тельников — он и с литературным вкусом, и в лагере сидел.

К тому времени я рассмотрел опасности, от которых может погибнуть и извратиться фильм. Главная — даже не вот американская специфическая порча под занимательность, и даже не политический переклон, а то, что переклон этот будет сделан против России. Не покажут, как оно было, — многонациональное движение, но русские были в центре (а украинцы в Экибастузе даже отшатнулись от мятежа), — а покажут восстание наций против извечной русской тирании.

И я б уже вырваться не мог, скован договором, — но лопнули мои предприниматели, не сыскали денег, — и договор упразднился.

Как я любил годами этот фильм, как надеялся, что он грянет! Но исполнилось 20 лет сценарию — и я обезнадёжился ставить его на чужбине. Да в американской обстановке этого фильма некем вытянуть, и утерян будет воздух.

И так уже я протрезвел, отшибся, отбилса от мысли ставить свой фильм на Западе, что тем более отвергал неоднократно потом предложения ставить «Архипелаг». Эта задача была — ещё куда трудней, и нельзя было её решить без того, чтоб самому садиться за сценарий: ведь должен бы получиться сплав фильма документального и художественного, кадров документальных и актёрской игры. Надо выбрать эпизоды и поставить их в правильный ряд, всем

найти пропорциональное место, а главное — не утратить его общей тональности, не снизиться до памфлета, следить, чтоб не утерян был общий очистительный дух «Архипелага», катарсис. Нельзя было пустить такой фильм здесь снимать без авторского контроля на всех этапах. А это совсем невозможно без разрушения главной работы. Пришлось отказаться.

И отказался от предложения режиссёра известного фильма «Холокост» Бродкина, более взвешенного художественно: снять фильм «Белый котёнок», побег Тэнно, с прихватом и лагерной обстановки. Это был умный замысел. Но и тут я не верил, что на американской натуре сделают всё верно. Уж в России, когда-нибудь.

---

Однако все эти годы чувствовал я на плечах берёмя шире только собственных моих книг. Поставлен я на такое место, и столько нитей ко мне сошлось — что и должен, и, кажется, нетрудно мне, и нельзя не — сплотить хоть малые силы, кто есть, для поднятия из пучин потопленной русской истории. Стал я протягаться, как бы нам начать выпускать историческую серию силами приглашаемых авторов, скажем — Исследования Новейшей Русской Истории, ИНРИ, — именно новейшей, потому что она более всего запущена и жжёт. (Не значит, что XIX век России досконально исследован, нет, — тому тоже мешала накалённость тогдашнего противостояния.)

В ранней эмиграции, сразу после революции, писались больше мемуары и страстная публицистика, а если и попытки исследований, систематизации — то всё же с задачей самооправдания (чем погубил свои работы и П. Н. Милюков). Потом накатила Вторая Мировая война и сильно всё смешала. Редкой удачей выделились книги В. А. Маклакова, С. П. Мельгунова (да и то, по обстоятельствам ли его стеснённой жизни, далеко не отстоенные до прозрачности). А Вторая эмиграция была скорее нема и больше искала, как спастись от предательской союзной выдачи большевикам. Но текут десятилетия — когда же и кому это всё вытягивать и освещать? — ведь давно пришла, и давно ушла пора!

А пристрастные искажения о России плелись ещё разночинской критикой XIX века, затем всей публицистикой освобожденчества, дореволюционной и пореволюционной социалистической эмиграцией, переняты западными учёными (как простейшая схема), теперь освежены и будоражимы яростью публицистов из Третьей эмиграции, — и, найдя себя тут сдавленным всей этой ложью, я возмечтал собрать остатки (начатки?) добросовестных русских научных сил — и дать им плыть в публику при содействии моего имени и при денежной поддержке нашего Фонда. И серию эту (я сразу так размахивался) издавать на нескольких главных языках.

Но — кого же собирать? Кто из старой эмиграции выбивался из скудости и удерживался в университетском мире — те и писали сразу на иностранных языках, и не готовили русских дубликатов для будущей России. Теперь предстояла горькая участь: переводить их труды на русский, да при этом кропотливо выискивая подлинные русские цитаты, использованные авторами, — не переводить же их обратно с иностранного. Да и книг таких достойных, оглядясь, мы поначалу только две и нашли: «Историю либерализма в России» В. В. Леонтовича и «Февральскую революцию» Г. М. Каткова. Получили разрешения издать их по-русски. (Издательства ещё неохотно и давали это право, как бы не упустить прибыли с убыточных русских изданий, — а иностранные варианты серий уже одним этим отменялись.) Жившая до 1979 года с нами И. А. Иловайская перевела с немецкого Леонтовича, частью и Каткова с английского. (Докончить катковский перевод и подготовить к печати ещё потребовало работы нескольких человек и лет.) И только вот с этих достижений прежней эмиграции мы и могли пока начать. Профессор Николай Е. Андреев из Кембриджа обещал нам написать книгу — ничего не дал. Уже близкий к



смерти И. А. Курганов и бодрый к девяноста годам С. Г. Пушкарёв прислали мне фрагменты своих оставшихся или новых рукописей — но это было вяло, слабо, в лучшем случае можно было собрать из них сборный том нескольких авторов, и то не блистал бы научными открытиями. И вот — всё, что ещё имела в исторической науке к концу 70-х годов наша русская эмиграция. Ещё, правда, можно было перепечатывать повторно некоторые статьи из сборников «Русской Академической Группы», но тоже осколки.

Так Россия и оказавшись на воле — не имела сил осмыслить сама себя?..

Оставалось искать авторов среди новейшей эмиграции, давая им на 2 — 3 года «гранты». Аля отначала выражала сомнения (и правильно), что нам такую группу исследователей удастся найти, собрать, убедить. Мне же ощущался несомненный долг: нельзя не попробовать пособить русской истории в её руинах, мы — просто обязаны попробовать.

Первое пересечение тут было — с Михаилом Бернштамом, новоприехавшим диссидентом, очень живого подвижного ума. После неприятия в чикагской академической среде, которую он оскорбил своим полнейшим отрицанием всякой марксистско-советской трактовки, Бернштам с радостью переехал в Вермонт, к нам по соседству, для предполагаемой длительной работы. Широота его замыслов и возможностей проявилась ошеломительно: он готов был писать работы и по экономике, и по демографии, и по истории ленинской партии, и по истории Гражданской войны в любом месте России, и о казачьем донском геноциде. Мы склоняли его — к истории. Он активно использовал соседнюю университетскую библиотеку Дартмут-колледжа с её межбиблиотечным абонементом (которым и я немало попользовался с благодарностью и изумлением от чёткости и богатства американских библиотек). Но когда от проектов Бернштам перешёл к написанию работ, то, при его несомненной талантливости и богатстве локальных знаний, там и здесь, — он смутил нас непрозрачностью письменного выражения, а в находках и догадках своих — смесью достоверностей и сомнительностей. Однако он страстно оспаривал каждое место — впрочем, часто и соглашался. Если ещё отметить его, по началу, склонность вставлять в изложение резкие публицистические выводы — всё вместе делало неизбежную большую редакторскую работу с ним весьма трудной. И на кого же она пала? конечно, на Алю: у меня не было такого терпения и возможности столь отвлечься от «Колеса». — За два года этого бурного сотрудничества Бернштам составил для ИНРИ в окончательном виде — два тома документов, правда весьма полезных: «Независимое рабочее движение в 1918 году» (как большевики, едва придя к власти, подавляли рабочих) и, за тот же 1918, — «Урал и Прикамье. Народное сопротивление». — А дальше надо было нам озаботиться, как помочь Бернштаму не захряснуть в тупиковом вермонтском городке, но прокладывать же свою научную карьеру. Сперва удалось получить для него грант в вашингтонском институте Кеннеди. (Там он всё более склонился к демографии и экономике; кстати: там познакомился с новейшей демографической статистикой об СССР, пока *засекреченной* Госдепартаментом, — и уже тогда с болью сообщил нам, что биологическое вырождение трёх славянских народов может стать к концу 80-х годов уже и необратимым.) А затем — моё участие в совете Гуверского института помогло, хотя не без труда, добыть там место для Бернштама, — где он сразу, к счастью, имел успех.

По эмигрантской цепочке, через нашего священника, отца Андрея, достигла нас просьба об устройстве — от недавнего, и полностью на мели, сорокалетнего эмигранта Бориса Парамонова. Его прошлое, что он всю жизнь проработал на кафедре марксизма-ленинизма, мало располагало. При встрече, когда он приехал к нам для разговора, показался он мне как-то слишком уже неопределённо, хлипок внутренне, хотя и зная: готов писать о чём угодно, было бы предложено, а больше всего его тянуло на психоаналитический разбор писательских личностей. Среди нескольких мыслимых тем для ИНРИ он заявил и такую: «История консервативной мысли в России». Это показалось

заманчиво — в параллель с уже напечатанной нами «Историей либерализма в России» Леонтовича. Что ж, пусть пробует. Мы дали ему от нашего Фонда грант (продолжившийся около двух лет). Да ничего не вышло. Он был способен к писанию коротких статей, скорее даже эссе, построенных вокруг чьей-либо, желательно парадоксальной, посылки, но не вытягивал выстроить книгу. Начал он с Николая I, потом славянофильство, — главы получались вымученные, с нестройным нагромождением, с раздвоением авторских суждений до взаимоисключения. Поначалу ничто не лишало его уверенности: он считал, что всё искупается его *пером*, движением фразы, даже и отвлечённым от последовательности взгляда (который всегда был у него — сквозь толстую призму Фрейда). Но дальше он утонул в Чичерине, в Каткове — и сдался: этой книги он не осилил.

Владимир Тельников, бывший, уже послевоенный, зэк, с начала 70-х работавший на Би-би-си, — много написал из задуманной им работы по русской истории XIX века. Однако, по эмигрантским трудным жизненным обстоятельствам, она не была доведена до последней редакции.

Ещё есть у нас близкий, сочувственный автор — Александр Серебренников, в Нью-Джерси. Он уже много лет увлечён, ведёт пристальнейшие раскопки тайной истории большевизма, несравненно владеет источниками и находит всё новые, пишет детальные разработки отдельных эпизодов, — но тоже, несмотря на наши многие уговоры и содействия, — ни до одной готовой книги не довёл своей работы. (А исключительно оказался полезен мне в сотрудничестве для «Красного Колеса»: добывал редкие издания и ещё более редкие, недоступные сведения. Так, например, он увлекательно «размотал» ленинское Поронино 1914 года: что ни в какой «тюрьме» Ленин там не сидел, там и тюрьмы не было. По убеждению Серебренникова, Ленин уже в Поронино обязался сотрудничать с австрийскими властями, после чего и был так легко отпущен в Швейцарию. Уже в советское время Ганецкий ездил в Поронино уничтожать компрометирующие бумаги, подрывающие всю ленинскую версию событий. С этим добытым Серебренников поспел прежде, чем мы окончательно, в 1983, выпускали новый «Август Четырнадцатого», и я, не перестраиваясь на его материалы и версию его не беря, однако, подправил свой исходный текст так, чтобы он не противоречил ей. — Ещё более сенсационные открытия Серебренников сделал о подрывной деятельности большевицких «страховиков» — Анны Елизаровой и других — в годы 1914 — 1916.)

Что ж, посылно будем серию ИНРИ продолжать, — но не предвидел я такой огромной отвлекающей редакторской нагрузки и такой отчаянной траты времени. Так оказалось тяжело составлять «исследовательскую группу» по русской истории. Для этого надо иметь совершенно свободные силы и отдаться этому полностью.

Другое, что я жадно желал создать, от самого моего попадания на Запад, — это «Летопись русской эмиграции». Блистательно интеллектуальная Первая русская эмиграция прожила полвека на Западе, горела спорами, группировками, оппозициями, программами, книгами, — из нашей советской подглубности мне всегда казалось так ярко-заманчиво это всё узнать! Но вот, приезжаю, — всё кануло, полуистёрлось или измельчало, и нет тому периоду добросовестного умелого летописца. Пройден и загас изрядный кусок русской культуры — но всё население Советского Союза, и особенно нынешнее пытлиное молодое поколение, все десятилетия, от рождения, лишённое по воле коммунистов знать что-либо о талантливой русской эмиграции, — когда открываются продукты, не получают и от эмиграции — ёмкого, сводного, ясного огляда. И это станут собирать в то время, когда уже будет совсем некогда в движении новых российских событий; кто-то из нынешних 30-летних должен будет погрузиться в старые публикации с опозданием, и уже всё равно не к горячему сроку эту летопись написать. Удивительно бываем мы, русские, беззаботны, беспомощны, безруки, недалёковидны!..

А мне так ясно эта Летопись рисовалась: несколько выпусков, 1917 — 20, 1921 — 24 (и всё дальше выразительно ложится по календарным четырёхлетиям). В каждом: справки о группировке русской эмиграции по странам в данный период; обзор организаций, культурных начинаний, органов печати; главные политические и общественные шаги этого периода, с главными аргументами сторон... Ничего не вышло. Предлагал свой проект «Посеву», «Имке», втягивал профессора Н. П. Полторацкого в Питтсбурге (и он уже давал подготовительное задание помощникам из Сан-Франциско), профессора А. Е. Климова (и он работал у нас в Вермонте два зимних месяца, но многообразные задачи отвели его на другое).

Нет русских сил! Не хватает.

Что удалось урядить — Всероссийскую Мемуарную Библиотеку (ВМБ), она начала собираться ещё с осени 1977, по моему возвыву к эмиграции, но не так бурно, как я надеялся: напуганная Вторая эмиграция боится мемуары писать, а Первая кончается. И всё же многие посылают: кто уже имел написанные воспоминания, да не знал, кому оставить в наследство; или кто не мнил свои воспоминания достойными записи и помещенья в архивы, теперь написали для нас.

Заведывать этим архивом и перепиской с авторами на смену отцу Андрею Трегубову нашлась — кто же? — многолетняя в прошлом переводчица ООН, теперь на пенсии и слепнувшая, эмигрантка Нина Викторовна Яценко, живёт не так далеко в Нью-Хэмпшире, к нам раз в неделю, с ночёвкой.

Вот таковы русские кадры...

Наша попытка собирать архив воспоминаний одними русскими силами была в эмиграции уже третьей: после Пражского архива, захваченного большевиками в 1945, и «бахметевского архива» в Нью-Йорке, перехваченного в 1977 Колумбийским университетом. (А парижская эмиграция своего архива не собрала.)

Поступали ко мне настойчивые сведения, что и «Заграничный архив Охранного отделения», переданный из Парижа В. А. Маклаковым в Гувер, и особенно Смоленский архив ГПУ, вывезенный из Смоленска немцами, а затем перенятый американцами (а там, например, и дело о похищении гепеушниками генерала Кутепова из Парижа), — близоруко разбазариваются. Уходит в песок кровь русской истории.

И я уж склонен был рвануться на защиту этих архивов — но не только невыносимо бросать писательскую работу, а и: это ж надо ещё собрать все достоверные подробности расхищения. И: какую американскую аудиторию задевает история о пропавших русских архивах?

Что посылить бы нам попытаться — это на основе ВМБ и прежде присланных воспоминаний современников революции начать издавать Мемуарную серию, из самых ярких мемуаров. Финансировать убыточное, скорей всего, печатанье серии (эмигрантский книжный рынок изнывает от избытка непокупаемых книг) — это ещё самое простое для нас. Но главное: как стянуть к стройности разбродные, рассеянные, повторительные воспоминания слабейших, умирающих стариков? Кому же? — опять Але, вытягивают её пронзительные редакторские способности. Рассыпанные, многоповторительные, с наложенными возвратами, досказами (но ни в одной детали не противоречивые!), воспоминания Н. В. Волкова-Муромцева, выросшего в грибоедовской Хмелите, она перешлила и крепко сплотила, не потеряв ни единого блёстка. — А дальше принялась за притекшие к нам воспоминания советских военнопленных в германском плену — доньне запретная тема, зияющая жестокой тьмой. — А вот лежит несколько томов воспоминаний В. Ф. Клементьева, — я очень поощрял его писать, воспоминания уникальны, — о противобольшевицком подполье в Москве 1918 года, о Таганке и Бутырках 1918 — 20, — но он увлекался беллетризацией повествования, опять-таки надо редактировать к строгости, — нет времени, отложим.

Время, время, где его взять? Аля разрывается: четверо сыновей, да растимых в чужеземьи, — и дать им неповреждённый богатый язык, и сохранить их русскими. И все заботы о Фонде, конспиративная передача в СССР многих тысяч советских рублей. Рядом с этим — тайная «левая» переписка с Москвой и, значит, с каждым же из цепочки передающих; струя жгучего сочувствия к нашим там, и благодарность к старателям, и зоркость к каждой детали — всё предусмотреть, и трезвая оглядка к выражениям: чтоб и в случае провала любого письма — никто б и ни в чём не провалился. От пачки таких писем, всегда составляемых в быстроте, по внезапности оказии, Аля от напряжения лишается сна. А о том же Фонде — и ежегодные бухгалтерские и тематические отчёты швейцарским властям: среди тех, кому помогли, — сколько подследственных, осуждённых, сколько ссыльных, какова помощь семьям, и для поездок на дальние свидания с передачами, и сколько — на детей, и кроме цифр — по мере возможности оправдательные документы, а их-то трудней всего нашим распорядителям составлять, хранить и додержать до передаточной оказии к нам.

И ещё же — публичная, на Западе, защита распорядителей Фонда в СССР. Постоянно уязвимая наша пятая: тамошние распорядители Фонда. Вот, два полных года вела Аля в Штатах и в Европе кипучую кампанию в защиту арестованного Алика Гинзбурга (с незаменимой помощью И. А. Иловайской). Когда на советских вождей нечем повлиять, а Запад не просто взять за сердце — невероятным чудом удалось Гинзбурга освободить. Но разве ГБ оставит в покое наш Фонд? Доходили дурные слухи из Союза о Фонде: после ареста Гинзбурга была чехарда распорядителей, потом пост приняла жена его Арина, но её сильно трясли и подосланные от КГБ угрозы, и прямые завистники, или корыстные искатели, и советники из диссидентских кругов, или просто недоверчивые, что там в этом Фонде творится. Да не бывало, что такое самовольное начинание, как наш Фонд, вот уже восемь лет действует в Советском Союзе — и не задушено! — удивляться ли всем этим неурядицам. Но придумали мы с Алей, что я вмешаюсь: напишу отсюда открытое письмо недоброжелателям Фонда, пошлём его «по левой» в Союз, а там распространить как Самиздат — новая форма. Так и послали. [1]\* И сколько-то обращение это ходило по рукам, сколько-то и помогло.

Потом начались преследования следующего распорядителя — Сергея Ходоровича. Он — правильную линию ведёт, не повторяет ошибку — прямо вступать и в диссидентство, политикой не занимается, только Фондом. Но и его пугали ножом подставные бандиты, то избивала милиция, то квартирные обыски, то задерживали и гипнотизировали в одиночке: выведать пути доставки денег, — ведь восемь лет щёлкает ГБ зубами, а не поймает! Мы думали — всё, арестован и Ходорович, — нет, через две недели отпущен пока. (В январе 1981, в самые тревожные дни его задержания, надо было срочно делать заявление, я написал\*\*, Аля бросилась передавать, — так третьезмигрант из нью-йоркского бюро Би-би-си Козловский *отказался* принять заявление: вы хотите *отвлечь внимание* от годовщины сахаровской ссылки! Какой же искривлённый ход ума!) Держится Ходорович с замечательным самообладанием и тактом. А не дай Бог опять его схватят, и снова Але начинать отчаянную кампанию по его защите — где? как? через чужие не вмешивающиеся американские пути. (И вообще: как долго удастся отстаивать Фонд в СССР против ГБ?..) В конце 1981 я сделал ещё одно заявление о Ходоровиче\*\*\*: предупредить Лубянку, что глаз с него не спускаю.

Или вдруг: где-то в Твери, под тяжёлой советской лапой, внезапно объявляется бесстрашный геофизик Иосиф Дядькин со своими расчётами о много-

\* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце глав.

\*\* Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 2, стр. 547. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы. — *Ред.*)

\*\*\* Там же, т. 2, стр. 590.

миллионных уничтожениях в СССР — и самыми весомыми цифрами. И, конечно, тотчас арестован. Мы — обязаны его защищать (в мае 1980 я призываю западных социологов и демографов вступить за коллегу\*), но Дядькин успел передать к нам и просьбу: найти независимого западного эксперта для оценки его статистической работы. Кому же (не выезжая из Вермонта) найти такого эксперта в Нью-Йорке — Вашингтоне? а для того обеспечить квалифицированный перевод работы Дядькина на английский, да в будущем найти ей издателя? Ну Але же, конечно.

А ещё же отзывается Аля и на многие печали совсем незнакомых людей — а это всё отлив, отлив от вектора нашей работы. И приходские обязанности, и груз хозяйственно-домашних, да ведь всё в невесельи изгнанничества, — много, много сил и сердца её ушло, смотрю, уже седеет прежде времени.

В Советском Союзе, нищие, мы иначе жили: бескорыстные и безбоязненные (ибо угроза была — тюрьма!) помощники так и притекали к нам со всех сторон. А тут — заклятье: нам бы с Алей всего лишь третьего — но умелого, неутомимого, как мы, сотрудника в литературной работе, и закипела б она несравнимо, — и все годы этого третьего нет. Нету третьей пары глаз, чтобы смечать и решать, править и печатать. (И вырастет ли на то кто из детей? И — когда это будет?..)

Нет работников! нет сотрудников! нет союзников! — это теперешнее рыхлое состояние русской эмиграции. Неужели и в других нациях так? или настолько вымерли русские и оскудели?

---

И тем стойчей, гордо додерживаются по многу лет — тоненькие белогвардейские журналы, «Часовой» Орехова, «Наши вести» (бывшего Русского корпуса в Югославии), «Кадетская переключка» — да, тех самых, молоденьких в Гражданскую войну кадет. И даже — «Вестник Общества Ветеранов Великой Войны» (это — 1914 — 1917) не сдаётся! Держатся беспримесные монархисты в аргентинской «Нашей стране», наивно ждут, что вослед большевикам вернётся династия Романовых; слаб их голос, ибо знают, что слушает их узкий круг, лишь одни единомышленники, и вовсе нет мускулов. И все эти издания — никакого собственно фронта не держат, потому что никто из «культурной» печати им и не противостоит: их не читают и не замечают.

Пытались (старый соловчанин Хомяков) создать общерусский журнал в виде «Русского возрождения» (и я ему, чем мог, помогал) — но Зарубежный Синод сам же и выхолостил его: синодальной цензурой, епархиально-назидательным направлением, отчуждением от острых общественных вопросов.

Взялось с горячностью русское национальное «Вече» в Мюнхене (по горячности же взвалив на себя наследство осиповского «Веча», загрязшего в попытках найти общий язык с советским правительством) — но за три номера обнаружили, что и авторов у них нет, и прочных передаточных каналов с родиной тоже нет. Просто — журнал для ещё одной эмигрантской группки.

Бьётся существовать «Голос Зарубежья» Пирожковой — очень устойчивый в антикоммунизме, уже до окаменелости: до полного недоверия, что внутри СССР может когда-либо произойти какое-то благодетельное развитие, а если диссидентское или профсоюзное движение — это непременно манёвр КГБ. От подсоветских ждут и требуют только и именно революции. — А если нет? что остаётся?

Из номера в номер с ним яростно спорит «Свободное Слово Карпатской Руси» — журнал карпатороссов (все они — горячие патриоты России), теперь захваченный несколькими сомнительными эмигрантами из СССР «национального направления». Прямо противоположно Пирожковой они уверенно воз-

---

\* «Публицистика», т. 2, стр. 540.

глашают, что большевики именно и выражают сегодняшнюю Россию, что Россия, даже под большевиками и даже не сбрасывая их, — входит в счастливое возрождение. Таким — всегда мешаю я; и их ярость против меня, уже совсем с другой стороны, — что я предаю Россию евреям, главный предатель я и есть, — может удивить горячность. Защита мною имени «русский» в отличие от «советский» — это, дескать, «стрельба по воробьям»; «„Архипелаг Гулаг” — вчерашний день русской истории»; «Жить не по лжи» — «ловушка для скотского племени»: «это значит стать в оппозицию к существующей власти, тогда честные и порядочные люди останутся за бортом, дети наши не пойдут в институты». «Мудрецы Сиона направляют Солженицына в своих разрушительных антихристианских целях». (Так сложился единый против меня фронт, слева направо от Синявского до Синявина.)

И от нескольких номеров всех этих журналов быстро замечаешь, что редко какой из них обладает хотя бы десятком авторов, а то только четырьмя-пятью, которые уныло и заполняют собой все номера сплошь. По-настоящему, все эти эмигрантские силы только-только бы обеспечили вместе — один плотно содержательный журнал.

Отдельно стоит «Посев», политический орган Народно-Трудового Союза. (Когда зарождался в 20-е годы — звался «национально-трудоустрой», выдвигал русскую тему, — но потом смутился и переназвался. Да ведь и денежную помощь искали.) НТС сумел развить кое-какую агентуру даже под лапю КГБ, имеет ограниченные, но живые связи с кем-то в метрополии: оттого чтение «Посева» сегодня — самое «российское» чтение на Западе, даёт неподдельные живые сведения с родины, открывает её проблемы. Стал журнал и меньше заниматься задачей предполагаемого революционного переворота, переносит внимание на конструкцию русского будущего с высоким нравственным уровнем. (Вообще за последние годы НТС, созданный полстолетия назад и когда-то копировавший с ленинизма боевую организацию, зашатался в своей тактике делать революцию в СССР и «перенимать власть из слабеющих рук КПСС», как уже выражались они. Поняли, что революция погубила бы страну до конца, и теперь перестраиваются искать «конструктивные силы» в руководящих слоях СССР — эх, есть ли они? — и самих себя справедливо считают лишь частью таких конструктивных сил.) — Другой журнал НТС «Грани», не имея своего круга литературных сил, составляется очень разнородно; многое заполняется ищущей литературной публикой из Третьей эмиграции.

У «Вестника РХД» общий духовный уровень — намного выше всей сегодняшней эмигрантской журналистики; до пресечения каналов посылки он энергично читался в Москве в кругах свободомыслящих, от того времени у него ещё сохранились кое-какие пути поступления рукописей из СССР, что заметно оживляет его. В нём весьма сильна религиозная (реформаторская) струя и общекультурная, — однако национальное сознание просвечивает бледно. Состав журнала (большой перевес богословия, литературного архива Серебряного века и Первой эмиграции) затруднял ему стать центром обмена текущих общественных запросов, лишь в 70-х годах Струве решительно перешёл эту преграду. Но входя в такие споры, не раз и схрамывал с тропы, не остережась. (Я — слал им свои возражения. А всё равно не остаётся мне в эмиграции журнала более близкого.)

А что — «Континент»? Я сам же и предложил ему этот смысл: объединить силы Восточной Европы. Это в большой мере и удалось. Но почти не находил я в нём ни одной из исконных линий русского интереса: бедствий современной провинции, деревни, уничтожения крестьянства, православной веры, плена советско-германской войны, репатриации, да и глубже — русской истории и традиции. Выказывал я Максиму, что затея — в русской теме не удалась. Можно было бы «Континенту» не печатать безграмотные упражнения в русской истории Янова, воздерживаться от захваливания в рецензиях ничтожных книг, не клевать на пародийные хохмы, не безобразить задние обложки опусами псевдоживописи, вообще держать контур строже. Но и подумать: при та-

ком значительном печатном пространстве журнала — как Максиму отбирать авторов? Он невольно вплыл, как в смерч, в суматошность и болезненное пузырение Третьей эмиграции, ошалевшей от свободы говорить. (Так и печатают: «Третья эмиграция имеет провиденциальный смысл».) Они — никому не обязаны говорить глубоко и ответственно, — и каким же иным стать журналу (да влекущему гонорарами) в центре политического кипения? Континентская проза, вот уже за 7 лет, мало представила удач, а то шибает несуразностью, эксцентричностью, старанием как-то особенно искобениться, и тогда ощущаешь, что это — сбочь от главной дороги литературы. Но скажем спасибо Максиму, что безупречно выдерживает стержень и против большевиков (впрочем, иногда печатая не слишком раскаявшихся советских), и против западных близоруких радикалов, и против дрянности русскоязычного западного радиовещания. (Вопреки всему духу вокруг — может найти место и для телеграммы долгосидчику Огурцову.)

В Первой эмиграции до Второй войны живыми центрами общественного обмена были газеты, только в Европе и только основных — три: кадетские «Последние новости», «Руль» и более правое «Возрождение», да единственный тогда толстый журнал «Современные записки» (с сильными эсеровским уклоном). С войной (а кто и раньше) они все кончились. «Возрождение» восстановилось в Париже как журнал — но никак не влиятельный, не читаемый. Были и другие разновременные попытки, но это предмет мечтаемой «Летописи эмиграции».

За океаном вслед «Современным запискам» стал издаваться «Новый журнал» — и ещё в 50-х годах был весьма живым, изредка доходившие в СССР номера читались нами с большим интересом. С тех пор, однако, на «Новом журнале» сказался закон вымирания и старенья авторов (да и читателей), волной Третьей эмиграции он и вовсе отсторонён. Каким-то чудом Роман Гуль продолжает выпускать его регулярно, и в нём сохраняется достойный уровень, но размывает его вялость, и от горячих точек жизни он в стороне.

В Штатах ещё до революции возникло усилиями выходцев из России «Новое русское слово». Коммерчески оно крепко держится и до сих пор, а при своей почти единственности на крупную тут русскую эмиграцию — на долгие годы стало и естественной общей антикоммунистической трибуной, и осведомителем о новостях — даже, вынужденно, и для тех, кто не соглашается с другими особенностями газеты. После войны укрепилось оно тем, что раскрыло свои страницы — Второй эмиграции. Но в последнее время ещё более распахнулось оно для Третьей — и, в соревновании с возникающими третьеземлянтскими газетами, усвоило стиль пошлейших объявлений, до бульварности, — а в подаче новостей небрежность и разухабистость шибает с первой же страницы.

В Европе после Второй войны у эмиграции уже не нашлось сил издавать свою газету. Появилась «Русская мысль» — но на американской правительственной поддержке, а потому редактору её С. А. Водову, потом З. А. Шаховской, ясней была линия в годы Холодной войны и затруднительна при «разрядке». В 1979 руководство газетой приняла И. А. Иловайская. Однако выдержать газету вровень со своим названием — непосильно ни ей, и никому. Несколько раз И. А. осмелилась поместить крупные фотографии старых снеженных или обезображенных русских церквей, значительно отметила столетнюю годовщину от убийства Александра II, — и сейчас же свободолюбцы и «плюралисты» Эткинд, Синявский и Любарский написали обыкновенный политический донос в американскую инстанцию, что газета опасно уклоняется к националистическому и монархическому. Я дал в газету отрывок о Столыпине, к 70-летию его убийства, — И. А. уже не решилась напечатать его со столыпинским портретом, как я просил, — ведь он трижды клеймённый. (Ещё бы! На радио «Свобода» — полностью сняли подготовленную о Столыпине передачу; на «Голосе Америки» — по оплошности? — прочли 7 минут из моей столыпинской главы, а продолжение зарезали.) Да само собою, напором, Третья эмиграция честолюбиво ломится и сюда со всяким печатным вздором,

то и дело — самые посредственные перья. Ощущение рядов прежней эмиграции остаётся только на странице похоронных объявлений и от редких повторов старых, полувековой давности, эмигрантских публикаций. Уже никого не удивляет, что в журнальных обзорах «Русской мысли» не минуются новые журналы «Время и мы», «22», но никогда ни вздохом не отразится, даже в упоминаниях, доживающая от 20-х годов русская эмигрантская печать.

И что ж мы за нация, если полтора-двух-миллионное яркое наше рассеяние — кончается как бы ничем? Даже Церковь наша расколота натрое. Видимо, мы неспособны выстаивать в диаспоре — и это порок русского духа: мы слабеем, когда мы не в сплочённых (и командуемых) массах.

После 60 лет нет реальных сил, русские за границей усачиваются в чужеземную почву, выращивают чужеземное поколение. (И как я не видел и не размыслил этого в первое моё швейцарское лето, когда занёсся мечтами о «русском университете»!)

Двухмиллионное русское безлюдье... И нельзя надеяться, что «со временем вырастут силы», могут только догаснуть. Спасибо, что хоть несколько десятилетий сберегали град русской культуры.

Нет, не из эмиграции придёт спасение России (и никогда не приходит из эмиграции). Только — что сделает сама Россия внутри.

А — что сделает? Вот это наше свойство, приобретенное за петербургский и советский периоды, — разобщённости, несамодетельности, ожидания властной собирающей руки, — ведь оно и на родине такое ж, как в диаспоре.

---

Утекло восемь лет моего изгнания. Сквозь коммунистический панцырь не бывает ни видно, ни слышно, ни догадно. Но вот наши друзья, мои соавторы по «Из-под глыб», сумели всё-таки ещё раз публично высказаться — в номере 125 «Вестника РХД», продолжили полемику с нашими оппонентами. А больше — нет сил; кто выдержит десятилетия советского измочаленья? Несломленный вернулся из лагерей Леонид Бородин, с его здоровым строительным патриотизмом и несомненным литературным талантом. (И тоже — повестироманы в самиздат, куда же?..)

Из-под того же панцыря притекают к нам от близких друзей долгожданные пачки «левых» писем — и с каждой такой спрессованной странички бьёт ветер родины. Изредка кто вырвется на Запад, Миша Поливанов на математический конгресс, напишет, как маслом к сердцу. Как будто там нет никого, ничего, — а ведь плещет вода подо льдом, ой плещет! Вдруг прорвалась брошюра Д. С. Лихачёва «О русском». Вдруг прошлой осенью в Милан на блоковский симпозиум выпустили критика Игоря Золотусского — и он отчётливо говорил о гоголевской «Переписке», повернувшей Блока в последние месяцы. Плещет, зреет, невидимо, — и только жаждой души можем угадывать, поддерживать связь с тем процессом.

У Али от каждой весточки: всё больней, что мы живём «в нигде». Говорит: так мучительно ясно всплывает какая-нибудь станция подмосковной электрички, а от неё — знакомая наизусть тропинка, взрытая жилами сосновых корней. А посещают нас и мощные приветы с родины — это обильные вермонтские снега, даже и мощнее, чем в Среднерусьи. Аля замороженно любит снег, утешается им. Зимы у нас в Вермонте — замётные. (Но хотя со всех сторон лес, а на лыжах не походишь: перепады круты, и в спутанных зарослях.)

Главные, определяющие процессы идут, конечно, на родине, как они ни задавлены, ни заморожены. Но упускаю возможность сегодня повлиять на направление следующих поколений — а сколько молодых ложно тянется подбирать объедки перекормленного Запада, — им это кажется таким соблазнительным, — и куда они вырастут? Ещё и это нам всё отольётся.

Да что там! — разоряются дотла, кончаются деревни Средней России! — и разве я могу отсюда вмешаться? А вот: задумали осатанелые большевики по-



врачивать наши северные реки на юг — затопить исконный русский Север в пустой надежде спасти урожай Юга, загубленный их же коллективизацией. Это приводит меня в ярость. Как обуздать их банду? на какую силу где опереться? — нет таких сил в мире.

Советской печати не читаю, по исконному отвращению. Но иногда присылают мне вырезки, прочтёшь — заноешь от тоски: нет, над коммунистическими властями не идут десятилетия, они нисколько не меняют своей фразеологии, омертвелою духа. Нет, они не переменяты, пока не сломятся.

Но какая на советской поверхности видна несомненная надежда — это всё-таки «деревенщики», — нынешнее, под советским гнётом, продолжение традиционной русской литературы. Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаяев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются! И, внезапно, быстрый, уверенный рост Валентина Распутина — такого душевного, и с углублением в суть вещей. (И медленно смелее Солоухин, расслабевший в литературных верхах.) Вот уже второе десятилетие «деревенщики» держатся и пишут — и, сквозь порою казённые вставки или вынужденные умолчания, струится же через их книги подлинный язык, и нынешняя униженная жизнь народа, и мерки неказённой нравственности.

Как-то в «Континенте» критик-эмигрант Ю. Мальцев, отчасти в ответ на мою похвалу деревенщикам, обрушился на них, что они — лгут, не выявляют социальной истины, и никакая поэтою не настоящая литература. Читал я и сознавал себе: да, и я так думал всегда: если нет полноты социальной правды — то это не литература. Да, конечно, деревенщики дают нам не полную правду и в этом смысле изменяют традиции XIX века. Но они же и — противодействуют 65-летнему затоптанию всякого русского чувства на родине. А какая другая ветвь следовала той традиции лучше?

Есть (уже никак не деревенщик, он вообще особняком) очень обещающий Владимов, хорошая у него манера письма, отделанно. И ярко талантливый драматург Рошин. И поэтические имена переходят по советскому болоту, перемененно мерцают: Чичибабин, Кублановский, Чухонцев. (Есть немалые достижения и в «городской», «интеллигентской» литературе, несколько привлекающих имён.)

Когда я досиживал лагерный срок ещё при Сталине — как представлялась мне русская литература будущего, после коммунизма? — светлая, искусная, могучая, и о народных же болях, и обо всём перестраданном с революцией! — только и мог я мечтать быть достойным той литературы и вписаться в неё.

И вот — видные российские литераторы хлынули в эмиграцию, освободились наконец от ненавистной цензуры, и тутошнее общество не игнорирует их, но подхватывает многими издательствами, изданиями, с яркими обложками, находками оформления, рекламами, переводами на языки, — ну, сейчас они нам развернут высокую литературу!

Но что это? Даже те, кто (немногие из них) взялись теперь бранить режим извне, из безопасности, даже и те слова не пикнут о *своём* подлаживании и услужении ему — о своих там лживых книгах, пьесах, киносценариях, томах о «Пламенных революционерах», — взамен на блага ССП — Литфонда. А нет раскаяния, так и верный признак, что литература — мелкая.

Нет, эти освобождённые литераторы — одни бросились в непристойности, и даже буквально в мат, и обильный мат, — как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. (Как сказал эмигрант Авторханов: там это писалось на стенах уборных, а здесь — в книгах.) Уже по этому можно судить об их художественной беспомощности. Другие, ещё обильнее, — в распахнутый секс. Третьи — в *самовыражение*, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип. «Самовыражение» не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. И — есть ли ещё что «выражать»? (Замоднело это словечко уже и в СССР.)

А четвёртым зна́ком ко всему тому — выкрутасный, взбалмошный, да по-рожный авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и как их там ещё. Рассчитано на самую привередливую «эли́ту». (И почему-то отдаются этим элитарным импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем, сформулировал Густав Курбе ещё в 1855: демократическое искусство это и есть реализм.)

Так вот *это* буйное творчество сдерживала советская цензура? Так — пуста была и трата сил на цензурный каток, коммунисты-то ждали враждебного себе, противоборствующего духа.

И почему же такая требуха не ходила в самиздате? А потому что самиздат строг к художественному качеству, он просто не трудился бы распространять легковесную чепуху.

А — язык? на каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя «русскоязычной», но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. *Языку*-то русскому они прежде всего и изменили (хотя иные даже клянутся в верности именно — русскому языку).

Получили свободу слова — да нечего весомого сказать. Развязались от внешних стеснений — а внутренних у них не оказалось. Вместо воскресшей литературы да полилось непотребное пустозвонство. Литераторы — резвятся. (Достойным особняком стоит в эмигрантской литературе конца 70-х Владимир Максимов.) В другом роде упадок, чем под большевицкой крышкой, — но упадок. Какая у них ответственность перед будущей Россией, перед юношеством? Стыдно за такую «свободную» литературу, невозможно её приставить к русской прежней. Не станова́я, а больная, мертворожденная, она лишена той естественной, как воздух, *простоты*, без которой не бывает большой литературы.

Да им мало — расходиться по углам, писать, затем свободно печататься, — их потянуло теперь на литературные конференции («праздник русской литературы», как пишет нью-йоркская газета), пошумней поглаголить о себе и смерить свои растущие тени на отблеском фоне традиционной русской литературы, слишком погрязшей в нравственном подвиге, но, увы, с недоразвитым эстетизмом, который как раз в избытке у нынешних. По наследству ли от ССП они считают: чем чаще собираться на пустоголовье литературных конференций, тем больше расцветёт литература? Прошлой весной собирали сходку в Лос-Анджелесе, близ Голливуда, этой весной — в Бостоне. И все их приглашения: что подлинная культура ныне — только в эмиграции, и что «вторая литература» Третьей эмиграции и есть живительная струя. (Второй тупик Пятой линии...) А Синявский и тут не удерживается от политической стойки: опять — о «пугающей опасности русского национализма», верный его конёк много лет, почти специальность; ещё и с лекциями об этой пугающей опасности колесит ведущий эстет по всему миру.

Но вот ужасная мысль: да не модель ли это и будущей «свободной русской литературы» в метрополии?..

И вот только сейчас, при русском литературном безлюдьи, и при этом третьем эмигрантском шабаше, я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его теперь, какая это была бы сегодня для нас фигура! Когда я был ожесточён борьбой с советским режимом и различал только заборы цензуры, — Твардовский уже тогда видел, что не к одной цензуре сводятся будущие разлагающие опасности для нашей литературы. Твардовский обладал спокойным иммунитетом к «авангардизму», к фальшивой новизне, к духовной порче. Теперь, когда претенциозная эмигрантская литература поскользился в самолюбование, в капризы, в распущенность, — тем более можно вполне оценить такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и чувство меры. Уже тогда натягался, а я не понимал, ещё и этот конфликт: противостояние Твардовского наплыву художественной и национальной безответственности. Я только видел, что его окру-

жение — всё правоверные коммунисты; не видел, как он держит плотину от потопления чужеством. (Хотя не абсолютно он в этом успел.) Прорывом «Ивана Денисовича» Твардовский не дал литературной оттепели излиться в ревдемократическом направлении или исключительно о тюремных страданиях образованных горожан. Я так был распалён борьбой с режимом, что терял национальный взгляд и не мог тогда понять, насколько и как далеко Твардовский — и русский, и крестьянский, и враг «модернистских» фокусов, которые тогда ещё и сами береглись так высказывать. Он ощущал правильный дух — вперёд; к тому, что ныне забренчало так громко, он был насторожен ранее меня. Лишь теперь, после многих годов одиночества — вне родины и вне эмиграции, я увидел Твардовского ещё по-новому. Он был — богатырь, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню, — а я не полностью опознал его и собственную же будущую задачу. Мне уже тогда посылался лучший и наидальний союзник — а мне некогда было помочь ему рассвободить душу и путь. Нашей больной литературе, встающей на ноги, ещё как бы помогли его крупные руки, его подсадка!

Но его перепутало и смолело жестокое проклятое советское сорокалетие, — охват его литературной жизни, все силы его ушли туда.

\* \* \*

При счастливой писательской работе этих лет — совсем бы мне ни во что не вмешиваться, да! Я вполне искренно заявлял, что я — не политический деятель. И ещё бы говорить в своей стране, на родном языке, к понимающим соотечественникам, к нашим существенным нуждам, ощущая себя частью творимого дела. Но когда заявляешь что-то для иностранных телеграфных агентств или пишешь статью для еженедельника, то прежде всего: ну какой там и для чего может быть сочный русский язык? — сиюминутно всё будет смазано в переводе (хорошо, если и не в мысли). И уже заранее невольно обедняешь язык, пишешь серым.

Да ещё вот. Чуть где событие, вскочит шишка, — агентства рвутся, добиваются от меня высказывания — но оно будет действовать всего пять минут, через пять минут уже вскочит в другом месте другая шишка, а эта — будет прочно забыта. Медиа всю душу выкладывает не за глубину — за новость. А для меня написать самое малое общественное заявление — требует найти слитный кусок чувства и мысли, большой концентрации, отдачи, поворота всего существа. Невозможно всё отрывать и отрывать от огромной работы — и тратить, тратить сверхусилия.

А ещё же: каждое вылезание в публицистику немедленно тянет за собой грозды откликов и писем, по объёму во много превышающих мои строки, — и что ж? отвечать? (Удивляюсь, что ещё не догадались в Штатах провести закон, что каждый *имеет право* на ответ — ну наряду с правом личности «всё знать». Под таким законом попотел бы я, отвечая на тысячи писем, до литературы бы уже не дошло.)

А ещё же — хоть на меня и «прошла мода» на Западе, всё равно все эти годы льётся лавина приглашений, не перечсть: приехать выступить, приехать получить премию или почётную степень, прислать приветствие конференции, сборищу (да даже если в простом письме чуть поотчётливее ответишь — уже оглашают как приветствие). Сотни приглашений, никакой месяц не меньше двух десятков, больше всего — внутри Штатов (да ещё ходатайства, поддерживаемые сенаторами), да из Южной Америки, из Азии, из Европы, из ватиканских кругов. В Европе тоже любят поговорить, но в Штатах — особенно: их и жизнь — собраться за столами с разноцветной пищей и речи произносить. Редко отказывался я сам, чаще за меня Ленард Дилисио. Рука отсохнет отвечать, да ведь всякий раз одно и то же: занят, не могу прервать работу, никуда не выезжаю. Но не утомлялись присылать и повторно, и телеграммы, и экспрессы, и совсюду новые, и дальше. И бывают же весьма достойные пригла-

шения — например, почётное членство в Шотландской Академии Наук, или в Баварской Академии Изящных Искусств, — но надо в точно назначенный день быть в Эдинбурге, или, соответственно, в Мюнхене. Срываться и ехать? Никак для меня невозможно, как из Цюриха не поехал в Оксфорд: разрушение работы. — Или приглашает на свой съезд в Америке старая (с 1913) организация «Рыцари Литвы» — чтобы принять медаль «друга Литвы». Я — и друг Литвы, и с лагеря люблю литовцев, — но тогда и ещё в десяти случаях не откажешь, и ехать в одну сторону 8 часов на машине, — нет, отклоняю. А ещё же — шлют рукописи и книги на всех языках (вплоть до польского и сербско-го), чтобы к первым писал предисловия, а на вторые бы отзывался.

Среди приглашений — большая доля и предложений интервью, — газетных, радио, телевидения. (А то — какому-нибудь журналу или даже отдельному корреспонденту дать какое-то разъяснение по частному вопросу, — и для того «охотно готовы» ко мне приехать...) Сладок будешь — расклюют... Для интервью надо переключить внимание с истории революции на современные политические материалы, нарушить весь свой художественный строй, это болезненно.

Но выпадают — и огненные же моменты. В августе 1980 разгорались забастовки польских рабочих, и какие ж молодцы: уже уступают им по хлебу-мясу, — нет! политические требования! Малый клочок земли, так легко подавимый, — а стоят гордо! (Нам бы так!) Кто видел по европейскому телевидению, рассказывал нам: рабочие держатся так строго и достойно, как на церковной службе. Как-то вместе с Алей слушали очередную радиопередачу о них. Аля, горя глазами: «Пошли им приветственную телеграмму!» Я сразу: «Да!» Хоть успеть крикнуть полякам о нашем русском сочувствии. И уже через час Аля передавала телеграфным агентствам и «Голосу Америки»<sup>\*</sup>.

А к декабрю того же 1980 года — опять такое: кажется, вот-вот войдут в Польшу советские войска! — и как *тут* промолчать? не в надежде их остановить, это не в наших силах, — но в нашем долге крикнуть, отделить: что это коммунисты, а не русские, не мы несём позор! Когда танки пойдут — уже некому будет слушать русский голос, и не оправдаешься. Я поспешил с новым заявлением<sup>\*\*</sup>. (А «Голос Америки», это ещё при Картере, струсил и смягчил меня. Не могли они такой дерзости выговорить в ухо советским коммунистам: вместо «кровавые последователи Ленина» передали «Советский Союз»; вместо «сколько народов, чужих и своих, будет перемолото и опозорено в той мясорубке» — «сколько людей погибнет при вторжении». Подменили меня, дипломаты нанюханые. Впрочем, начиная с Рейгана, радиостанция резко прибодрилась.)

И ещё целый год потом мы с замиранием ждали этого позора и этой новой непоправимости в русско-польских отношениях. Но рвение польских коммунистов спасло русский народ от нового пятна и новых проклятий. Когда ввели военное положение Ярузельского — «Дейли ньюз» добивалась меня, требовала... подтвердить, что оно введено *специально*, чтобы испортить западное Рождество! — ну уж, оставайтесь со своим глубокомыслием сами. Но через месяц опять требовали от меня нечто вроде «это неприемлемо! я гневно протестую», — я сел и написал для французского «Экспресса» статью «Главный урок»<sup>\*\*\*</sup>: он в том, что коммунизм — интернационален, и в *каждом* народе есть *свои* прислужники палачей, не обязательно внешние оккупанты.

А ведь я после Гарвардской речи надеялся три года не выступать, держаться в стороне. Однако уже в конце того же 1978 соблазнил меня Янис Сапиет: от имени русского вещания Би-би-си предложил дать интервью по случаю 5-летия моей высылки. (Впрочем, в эти же самые недели: другая сотрудница русской секции Би-би-си, Сильва Рубашова, поздравила меня

\* «Публицистика», т. 2, стр. 544.

\*\* Там же, т. 2, стр. 546.

\*\*\* Там же, т. 3, стр. 7 — 10.

через эфир с 60-летием, — и за это едва не лишилась своего служебного места.)

Такое предложение — сразу потянуло. Чем более отвращался я высказываться для Запада — тем более рвалось сердце обратиться к своим. Да ведь и правда: пять лет как я не с ними, и лишён обратиться к ним, и ни одна русскоязычная станция давно не читает моих книг на родину.

В начале февраля 1979, как раз к годовщине, Сапиев приехал к нам. И сели мы записываться в библиотеке, где книги глушили эхо, а большие окна орамили безмятежный снежный лес.

И в этой обстановке говорил я — медленно, тихо, над беззвучно и бесповоротно утекающей Летой (как и испытывал над «Колесом»).

Сапиев предупредил меня заранее о темах беседы, и, кроме разве Папы Римского, они были достаточно все обращены к России, да это меня и склонило. И мне открылся простор времени рассказать и о своей работе. И, уже имея достаточно проверенные выводы о Февральской революции (совсем не на поверхности эти корешки для советского человека, мне самому не давались 40 лет, хотя это был главный поиск моей жизни), — я решился, может быть зря, опережая «Март» лет на семь, — дать эти выводы слушателям в Союзе прямыми, готовыми, — на много лет раньше остеречь от опасности, которая теперь-то выявилась мне самой главной опасностью нашего будущего: безответственный хаотический «феврализм». И — оборонить русское имя от недоброжелательности американской образованщины (к сегодняшней американской гуманитарной интеллигенции термин «образованщина» вполне подходит) и нашей новой эмигрантщины. И, дерзей того: пользуясь исключительным и первым за пять лет случаем — прямо по радио пытаться, по сути, найти уши тех, кто мог бы, при неизбежном сотрясении, не дать стране раскваситься в новой революционной анархии\*.

Почему, всё-таки, я так никогда и не звал к революции в СССР, хотя это кажется единственно верным каждому действенному человеку, да ещё если с накалённым прошлым? Сперва — из высокого отвращения ко всякой революции (уже я нащупался её в нашей истории). Но с 1973, от «Письма вождям», стало решающим: надо сбросить коммунизм так, чтобы не погубить народ, а для этого — не революция, но переворот. С годами на Западе, видя всю злость к России, я ещё более утвердился в этом.

Я не мог говорить слишком явно, чтоб не отказалось Би-би-си передавать, — но и всё же ясно бы для понимающих. (А через полгода снова стали в СССР все иностранные передачи глушить.)

Я благодарен был Би-би-си, что допустили меня до этой беседы со своими соотечественниками. Самоуверенно я полагал, что такую беседу заслужил. Я совсем забыл об англо-саксонском правиле фифти-фифти: пятьдесят на пятьдесят; в духовной области это значит: перепахать поперёк и постараться разрушить всё кем-либо сказанное или сделанное. Вслед за моим интервью на такие же 45 минут Би-би-си пустило сперва трёх английских знатоков, с апломбом объясняющих, почему русский писатель не понимает русской истории, а они трое понимают. Затем — на следующие 45 минут — трёх «диссидентов», ещё раз нервно настаивающих, что понимают Россию именно они, а не я. Синявский повторял большевицкую агитку, что война 1914 была Россией уже проиграна к Февралю, а Плющ — что Февраль опоздал, а то бы спас Россию, — смех один. Синявский: что у меня советские убеждения, советское воспитание, что «мессианские претензии» Толстого и Достоевского были неопасны, ибо, якобы, мало кто за ними шёл, а фигура Солженицына болезненно опасна тем, что становится «руководящей». (Где? для кого? вздор какой.) Что я отношусь к Третьей эмиграции как советская власть, а потому что... *не терплю конкуренции*. (Вот где вырвался крик души, *табель о рангах* лишает сна.)

\* «Публицистика», т. 2, стр. 483 — 504.

Я в этом интервью, действительно, довольно резко сказал о Третьей эмиграции и даже слишком подробно, что удивило моих друзей на родине: неужели надо было занимать этим драгоценное время? неужели эмигрантский вопрос имеет какое-то значение? Я сказал, что: уехав с родины добровольно и без большой опасности, «третьи» эмигранты обронули право претендовать влиять на будущее России, да ещё призывать западные страны к решению российских вопросов. А худшая их группа — и облыгает Россию, опять-таки с апломбом новейших свидетелей и знатоков пробиваясь в кресла западных экспертов по русскому будущему.

Да, на родине, под сапогом большевиков, это эмигрантское шевеление должно было казаться мелочью. Но здесь — не так виделось. Уже к тому времени, к началу 1979, я осознал как острую опасность: все советские мерзости лепят на лицо России. Когда выплясывали победу Октября — Россия была проклята за то, что ему сопротивлялась. Когда Октябрь провалился в помойную яму — Россию проклинали за то, что она и есть Октябрь. И в глазах всего мира теперь присыхает, что коммунистическая зараза это и есть русская зараза.

Во что разовьётся влияние Третьей эмиграции на западное общественное мнение — я долгое время не придавал значения. Я не считал достойным и важным отрываться от работы на внутриэмигрантскую полемику: это не могло иметь веса для русского будущего. Не задумывался, что эти сотни образованцев из новой эмиграции спешат внедриться именно в мозговую ткань западного общества — в университеты, в печатные органы, и что это несомненно удастся им по их духовному и программному сродству с Западом, а особенно с Америкой. Только в 1978 я заметил наглые статьи свежеприбывших советских журналистов вроде Соловьёва и Клепиковой, вдруг неправдоподобно, жонглёрски легко отринувших своё коммунистическое прошлое; затем прислали мне две книги Янова по-английски, уже густо, агрессивно антирусские. Они-то и толкнули меня к этому высказыванию по Би-би-си о Третьей эмиграции.

Но не пришло бы мне в голову начинать с ними борьбу за образ мыслей Запада, это заранее — их выигранное поле. А между тем они всё более обращали острей выступлений против России, русского сознания, а в частности против меня. В июне 1979 выступил Е. Г. Эткинд в парижском левом «Монде», ото всей эмиграции клянясь Западу в верности. «Восточная Европа», написал он, это звучит слишком хорошо как для самоварной, так и для сталинской России, верней говорить: «Западная Азия». Русские представления не изменились со времён генерала Дуракина (хороший, мол, типаж для русских). Недавние русские (это я) мечтают восстановить престол царей и византизм Третьего Рима. (Ах, я такую бы конкурсную работу предложил — «Третий Рим и Третья Эмиграция», вот не дожил Бердяев!) Русские аятоллы (это я) архаичнее иранских: они хотят даже не исламскую республику, но православную монархию (что, ясно, реакционнее). А вообще — религии только разъединяют человечество, соединяют же его нерелигиозные культуры.

Тотчас вослед (очевидно, сроки у них были согласованы, меня Максимов о том и предупреждал), в начале июля, дал и Синявский интервью «Монду». Оказывается, очень его беспокоят раздоры в эмиграции (которые он-то и раздувает), ибо, открывает он нам, и Гражданскую войну в России вызвали — что бы вы думали? — ссоры и споры (а не переворот большевиков). Солженицын, де, своим неодобрением эмиграции воздвигает барьер, мешающий людям бежать из современной треклятой России.

Через пару летних месяцев Синявский, однако, смекнул, что раздором-то он и жив, иначе его и вовсе не слышно, новых книг нет годами, — и вот в интервью швейцарской «Вельтвохе» заявил противоположно: что раздоры — признак здоровья эмиграции, это вход русского мышления из самодержавного периода в плюралистический, — иначе во имя единства нас заставят маршировать сплочённым фронтом, под предлогом, что «Солженицын — пророк, мессия России и всего мира».

Не ограничиваясь печатным, Синявский изустно, сколько сил, брызгал всем собеседникам и аудиториям, что Солженицын — монархист, тоталитарист, антисемит, наследник сталинского образа мысли, теократ. (Ну прямо в дуду с КГБ, ведь буквально этими обвинениями оно более всего и старалось сорвать мне активную политическую роль на Западе. Только зря, я и не собирался её играть.)

В ту же дуду не уставал Копелев в Москве надувать иностранным корреспондентам: Солженицын — с диктаторскими замашками, двойник Ленина, союзник Кремля, страшная опасность, а писатель — весьма ограниченных способностей. Через корреспондентов — это готовно перетекало дальше на Запад.

Тем временем и слабышка Ольга Карлайл, ещё не насыщенная своею книгой против меня и наскоком на Гарвардскую речь, напечатала в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» статью «Оживление мифов святой Руси», обширную, с обильными фотографиями (иконы, Илья Глазунов, В. Осипов и я). Отстаивая своё — как внуки Леонида Андреева и приёмной внучки эсера Чернова — наследное понимание России, она предупреждала, что «всё большее число русских возвращается к шовинистическим традициям дореволюционной России», явный элемент этой волны — антисемитизм (к которому она сводит «Ленина в Цюрихе»), и это должно вызвать тревогу на Западе. (А в Соединённых Штатах «антисемитизм» — ещё острее словцо, чем в СССР «буржуазный наймит», только свистни.) Обширная надёрганная её статья была образцом охульной всячины, соскребённой изо всех углов и налепленной кряду: Москва — Третий Рим, славянофилы, театр Любимова, Письмо Вождям, размножение мусульман, Суслов — главный русофил в Политбюро, возрождение православия антисемитично, не стоит защищать арестованного Осипова, — а подтвержденье всему она находит в цитатах из Сахарова, Чалидзе, Турчина, Янова, жены Шрагина и Джорджа Кеннана... И кончала — иконным изображением Синявского.

Так уже с 1978 года это тождество, «Россия — антисемитизм», было основательно обряжено и на верхах американской единотканой прессы. То и дело в «Нью-Йорк таймс» с её приложениями и в других крупных газетах появлялись статьи, что возрождающееся русское национальное сознание есть прежде всего антисемитизм, а значит — хуже всякого коммунизма. А когда главные газеты дружно трубят в одно (а большей частью так и бывает) — это производит на американскую читающую публику (совсем не рядовых американцев) вполне обморочивающее влияние. За несколько месяцев было выдуть настроение, что не коммунизм грозит Америке, а русское национальное сознание. (И Огурцов с Осиповым. Игорь Огурцов, стоически высидев 15 лет, — но и в «Русской мысли» окончание его гигантского срока было отмечено лишь петитом — теперь брошен в усть-вымыскую глухую ссылку, совсем на исходе сил. А Владимир Осипов достаивает вторую восьмёрку.) Взятый тон с тех пор держится и годы. Вот недавно «Вашингтон пост» без зазрения напечатала карикатуру: Владимирская Божья Матерь — с серпом и молотом во лбу, советскими орденами на груди, а вместо младенца — на руках маленький Брежнев. Подпись: «Мать Россия»\*. В Штатах недопустим расизм, но лить помои на Россию как целое и на русских как нацию позволяют себе даже и почтенные люди.

В ту осень, 1979, было модно на Западе ещё и ругаться аятоллой Хомейни (разворачивалась исламская революция в Иране), и вот зазвучали голоса, что православие в России — это всё равно что Хомейни в Иране (по количеству кровавых жертв? по бессердечности церковной диктатуры?). Какой момент! какое нестираемое вlepить клеймо на это православие, чтоб оно уже никогда не встало на ноги? А стиховед и эстет Эткинд не постеснялся в интервью с «Ди Цайт» в сентябре 1979 поставить православие в ряд с ленинизмом, а мне

\* *The Washington Post*, December 14, 1980.

припечатать, что я желаю своей стране — получить аятоллу. Приём неглубоких умов — подхватывать тему с поверхности, — вот «хомейнизм» (и термин придумали они). Но и какая же злая изворотливость. И с этими людьми совместно — мы можем строить будущую Россию?

Весь этот быстрый антирусский разворот в мире показывал мне, что я, очевидно, засиделся, надо было выставляться против этой атаки раньше. Ответ мой созрел одномоментно: отбить от русских хотя б это клеймо! «Персидский трюк» — персидский порошок в глаза русскому человеку, едва встающему с ниц\*.

Напечатал в нескольких европейских странах. Кажется, отбил: «хомейнизм» в иностранной прессе больше нам не лепили.

Только уныло-спесивый Чалидзе, ещё не зная о моём ответе, тащил клейкую кличку в Соединённые Штаты и разворачивал крупными буквами над двумя страницами своей огромной статьи в «Новом русском слове»: «Хомейнизм или национал-коммунизм» (два единственных выхода, оставшихся тем, кто озабочен русской судьбой).

Не стал бы я и петитом об этой статье вспоминать, если бы Сахаров вскоре печатно не признал первостепенной важности её. Подразвился Чалидзе от прежнего. Уже не ставит, как в первых лекциях своих на Западе, юридикс выше этики. Однако «неразрывность прав и обязанностей» он отвергает, «должен признаться — у меня туманное представление о „внутренних обязанностях“... Что такое внутренняя обязанность?» (И кто бы подсказал ему: да голос совести!) Зато уверенно знает «идею прав человека, как она сформулирована цивилизацией» (и как она перекошено докатилась теперь). Прежнее правозащитное движение, оказывается, защищало права *всего народа* (мы не заметили) — но доступно защищать только конкретные случаи, «которые сами о себе заговорили и дали информацию» (столичные диссиденты, еврейские отказники, баптисты — да ещё о гомосексуалах он знал в 1972 и поднимал вопрос на своём с Сахаровым и Шафаревичем Комитете прав), — а остальной народ как защищать, если он «не заговорил о себе» и не даёт информации? Откуда бы знать об обманутых рабочих? обокраденной провинции? об уничтожаемых деревнях? о замученных колхозниках? То и дело Чалидзе обнажает свои советские корешки: «моральное укрепление» советской власти после XX съезда, власть и дальше «меняется и может становиться человечнее», да и «ссылка на практику нынешнего коммунизма и его зверства не может опровергнуть теории Маркса» (так в марксизме: практика — уже не критерий истинности теории?), а неисполнимая «цель Солженицына — показать, что марксизм непременно приведёт [да разве ещё не привёл?] к концентрационным лагерям».

Но при этом же Чалидзе расчётливо оглядывается на Сахарова, и точно в тон ему, да даже его словами, предупреждает об опасности этого Солженицына: «ситуация может стать опасной». А дальше — чего уже Чалидзе на меня не навирает! — и фашистская диктатура в Испании (будто я был там при Франко и подбодрял); и будто я требую от Запада энергичной физической поддержки антикоммунистических сил в СССР; и наоборот же: «вся страсть его речей на Западе обращена к людям в России», а не к Западу (разберись, кого ж я именно убеждаю); и Третий Рим; и что написал Курганов в 1957, Орехов в 1976, и совсем уж никому не известный Удодов, — всё это на меня; и уж конечно антисемитизм; и бессовестный передёрг с крымскими татарами, будто я им враг. Уже привыкли к моему молчанию и вывели, что можно на меня плести любую околесицу, пройдёт. (И с той же обречённой спесивостью Чалидзе будет ещё три года перепечатывать эту свою звёздную статью — в «Континенте», и в разных местах, и отдельными изданиями, то по-русски, то по-английски, где ретушируя, где подрисовывая.)

Но и на том не успокоились наши диссиденты. Ещё через месяц, в ноябре 1979, в твердыне американского радикализма «Нью-Йорк ревью оф букс» на драматическом красном фоне, во всю страницу обложки жирными чёрными буквами распечатано: «Опасности национализма Солженицына». Это было

---

\* «Публицистика», т. 2, стр. 511 — 512.



обширное интервью нашедшей друг друга наконец пары: всё той же выдвигенки Карлайл всё с тем же Синявским. Мнение русских о себе, сказал он, приобретает шовинистический оттенок. И первая тревога: возрождается антисемитизм на всех уровнях. Беспокоит его жажда русского изоляционизма и видения теократического государства. И беспокоит его, что внутри эмиграции, хотя многие разочарованы идеями «Телёнка», «Из-под глыб» и Гарвардской речью, — щадят Солженицына, боясь критиковать его. — Карлайл: Так прежде в Европе закрывали глаза к росту фашизма из-за страха перед коммунизмом. — Синявский подтверждает: От Солженицына много опасностей впереди. В его авторитарном обществе не будет места ни свободной прессе, ни интеллигенции. «Грубо говоря» (любимый приём Синявского — «беря в грубых чертах», без середины и оттенков), Солженицын хочет всю Третью эмиграцию расстрелять. — Карлайл — в ту же тягу, с надеждой: Думаете ли вы, что Солженицын — антисемит? — Синявский: Не в частности, но психологически. Новое русское националистическое движение с неонацистскими оборотами приобретает форму при участии Солженицына.

«Неонацистскими!» — куда же дальше? Чтобы советскому читателю лучше представить: вот такое интервью в Америке — всё равно что статья в «Правде»: смерть диверсанту, закланию врагу народа! Так Синявский делал всё, чтоб отсечь меня от страны, где я поселился. К тому ж после Гарвардской речи меня в американской прессе можно было поносить вполне беспрепятственно.

И Эткинд усвоил новую установку Синявского: да, наши споры — это благодетельный плюрализм. И тут же продемонстрировал его несколькими передёрнутыми лжами против меня по поводу «Ленина в Цюрихе».

Если им не сочинять за меня мою философию, то слаба будет их позиция в споре. Я призывал ко взаимной уступчивости наций, даже ко взаимному раскаянию и великодушию («Из-под глыб»), — они бесстыдно врисовывают мне в руки топор.

И всё ж я безотзывно продолжал бы работать, если бы шло только обо мне; со мной — всё станет на место со временем. Но и новодемократам из Союза и всей радикальной рати американской прессы не столько отвратен я, как в моём лице — русская память, русское сознание, выходящее из обморока.

Это открылось мне тут горькой неожиданностью, острой болью и несправедливостью. Живя в СССР, не устанешь возмущаться каждым шагом лжи и насилия коммунистов. И это заслоняет остальные мировые проблемы и перспективы. И вдруг на Западе услышать как будто же от верных союзников — огульные порицания не СССР, а исторической России... Стало быть: хоть жизнь положи, чтобы упредить Запад от впадения в коммунизм, и преуспей в этом, — тем неблагодарнее утвердится на Западе мнение: какая же скотина русский народ, что не мог удержаться от коммунизма, вот мы же, дескать, удержались. Только крепче будут ляпать на Россию?

Ведь уверен я: большевизм — обречён. На разоблачение его я поработал достаточно, но вот уже и много сил Истории направлено на то. А мне бы — уже не на большевизм тратить усилия, а как помочь будущей России возродиться, и возродиться чистой?

Новые исторические конфигурации складываются много заранее, чем придут в действие. А люди долго ещё не успевают различить их и разобраться.

Однако же что-то я инстинктивно чувствовал. Когда в «Телёнке» в 1971 уделил непропорционально много места спору между «Новым миром» и «Молодой гвардией» — я и сам удивлялся, почему чувствую так необходимым. Но ощутил и выбрал сторону, не сознавая, как этот раскол надолго теперь.

Русская земля не только захвачена большевиками, но густо посыпана от прошлых десятилетий отгоревшим освобожденческим, ревдемократическим и социалистическим пеплом. И, выбиваясь из-под ног захватчика, ещё долго вдыхаешь этот пепел, не замечая. Так и я, считая коммунизм безоговорочным и даже единственным врагом, долго совершал кадетские прихромки, в том же «Круге», в первом издании «Архипелага», это было рассыпано там у меня.

Я не предвидел никакого расщепления противобольшевицкого фронта. И хорошо, что не предвидел, — это давало мне цельность и неукротимость атаки на советскую бетонную крепость — и с тем большей уверенностью меня поддерживала образованщина советская и западная. Без этого не вышло бы победного боя против коммунистов. От моего недоразумения — само складывалось наилучшее тактическое сочетание для битвы со Старой площадью и с Лубянкой. А незримо для меня уже пролегла пропасть — между теми, кто любит Россию и хочет ей спасения, и теми, кто проклинает её и обвиняет во всём происшедшем. Эту, мне ещё непонятную, обстановку вдруг, первым лучом, просветил «Август», напечатанный в 1971. Хотя то был патриотический (без социализма) русский роман — его бешено ругали и шавки коммунистической печати, и журнал национал-большевиков «Вече», — а вся образованская публика отворотила носы, пожимала плечами. «Август» прорезался — и поляризовал общественное сознание. И приоткрыл мне.

А ещё через два года я интуитивно, на ощупь, сам для себя внезапно и ни под чьим влиянием, в одинокий день в Рождестве-на-Истье, протрезвился до «Письма вождям». В лагерное время мы только и мечтали о революции в нашей стране, и потом долгие годы по инерции я оставался в том же чувстве, — а вот открылось мне, что спасение наше — только в эволюции режима, иначе всё у нас разрушится окончательно.

И как враждебно было встречено это «Письмо» на Западе и нашими либералами, как и каждое попечение о России, моё или чьё-нибудь, — открывало мне глаза и дальше. Зубы русоненавистников уже сейчас рвут русское имя. А что же будет потом, когда в слабости и немощи мы будем вылезать из-под развалин осатанелой большевицкой империи? Ведь нам не дадут и приподняться.

По сохранившейся датированной записи 28 июня 1979 года я вижу, что понял проблему уже тогда. Записал: «Постепенно, с годами, к 1978 — 79, выяснился истинный смысл моего нового положения и моя новая задача. Эта задача: отстояние неискажённой русской истории и путей русского будущего. К извечным врагам большевикам прибавляется теперь и враждебная восточная и западная образованщина, да кажется — и круги помогущественней. И поэтому я тут, в Америке, оказываюсь не на подлинной свободе, но опять в клетке. Моя свобода в том, что меня не обыскивают и я могу писать что угодно впрок, но напечатаются даже Узлы — с сопротивлением».

Прошло ещё три года — и почти могу повторить.

С какой дружной яростью накинулись на первые слабенькие ростки возрождения русской мысли. Нам и выбора не оставляют.

Так вот как? Распалил я бой на Главном фронте — а за спиной окрылся какой-то Новый? Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время — без опоры на свою территорию. Свет велик, а деться некуда.

Два жорна.

В реальной войне бывает так: там, где вчера невозможно было даже ползти, всё затаённо зарылось в землю, и только смертоносный огонь подметал местность ото всего живого, — после тяжёлой артподготовки и прорыва — вдруг в проделанные разрывы колючей проволоки, между воронками, опустевшими вражескими бронеколпаками и блиндажами, по вчерашней жуткой неприступной полосе — валит, валит во весь рост второй эшелон и тыловая челядь, валит как по бульвару, как будто тут и не стояла никогда огнесмертная полоса.

Так теперь и я — глаза протираю. Десятилетиями я ощущал себя, может быть, единственным горлом умерших миллионов — против главного нашего всеобщего Врага. Таился, готовился, потом бился, и положил все свои жизненные силы, и едва не саму жизнь, и рвал ту Твердыню подкопами, конспирацией, «Иваном Денисовичем», «Кругом», «Корпусом», «Архипелагом», — а

оказалось? что я только проложил проезжую дорогу для образованщины. Хлынули в этот прорыв и тут же освоились, будто никакого прорыва и не сделано, да и не нужен он был, и Главного Фронта даже не было. Изжито, забыто, и пиво не в честь.

Вот, вольно бродят на открывшемся просторе, — да какая масса уже их, и приезжих-переезжих, и как быстро освоились тут, — и на Западе своих таких же сколько. И главное, что всем мешает и отвратительно, — это вечная, непоправимая и мерзкая Россия, от которой-то и нет никому жизни на Земле.

---

А как могло такое сложиться?

Издавна и ото многого. И от того, что государство Россия громоздилось невообразимой, как бы угрожающей величины, и столь природно богатое. От пугающих сказок, которые рассказывали сперва редкие посетители иностранцы. Потом — от избыточной, неосмысленной военной активности России в Европе — при Елизавете, Екатерине, Павле, Александре Первом, Николае, — да чаще-то и активности не завоевательной, а глупо-бравадной или даже батрацкой в угоду чужим тронам и чужим республикам. И ошеломительной победой над мировым завоевателем Наполеоном, хотя за ней и не последовало корыстных захватов. (Какой сгущённой ненавистью к России Европа ответила в Крымскую войну.) И тем, что Россия была и всегда держалась *особой* и по вере, и по традициям, по складу жизни. И во многом оттого, что во всё предреволюционное столетие царская власть самозабвенно плавала в небесах, не научаясь урокам *публичности*, развившейся в цивилизованном мире, — не догадалась или не снизошла использовать её для общественной защиты и объяснения своих действий: да, мол, нужно ли оправдываться? да перед кем? И за всё столетие какие обвинения ни формулировали против России и какие небывлицы на неё ни лепили (а на пороге XX века недоброжелательность ещё раскалилась) — всё, всё прилипало, наслаивалось, присыхало. По пословице: и борзые облаяли, и воробны ограяли. (Зато большевики единым прыжком вспрыгнули тут — до расслабления западной общественности и ведущих умов Запада.)

А ко всему тому нарастала — особенно в начале XX века — грубость и неумелость русских публицистов право-национального направления. Они не давали себе труда спорить терпеливо, оттеночно, нет, срывались к топорности, а то и к брани. От отчаянного ли видения, что вся Россия уплывает «куда-то не туда», и от беспомощности, неумения исправить это, — они лишь укреплялись в своей глухой круговой групповой правоте: думай *точно*, как мы! громко кричи — *как мы!* — а чуть иначе — ты не наш, ты проданся, ты враг России! Их современник В. В. Шульгин, тоже националист, но с умом и тонкостью, так написал о них однажды: «Им безразлично, кого и за что грызть, было бы мясо на зубах». Почти неправдоподобна, но и как же характерна сила ненависти правых русских националистов к спасителю России Столыпину. (Да и скольких русских писателей отторгли и закляли так же.)

Потом — и умеренных, и крайних националистов — всех закатал большевицкий каток, больше в землю, кого — к долгому-долгому молчанию. А когда ростки разрешились — они были оранжерейные, под наблюдением зоркого огородника, и должны были тянуться только к солнцу багрово-красному.

Так — и потянулись многие. Слабость слабых: прислониться к сильному плечу. Первый же самиздатский национально-русский журнал, осиповское «Вече», был преисполнен симпатии к власти своих же губителей, писал «бог» с маленькой буквы, а «Правительство» с большой. Открывал нам, что «коммунизм зато создал Великую Державу», «русский коммунизм — это особый путь России», колхозы — это традиционное «русское общинное братство». И что на самом деле у этой власти «идеология уже не играет никакой роли». (Поразительное и *точное* совпадение с формулировкой Сахарова! Крайности обречены

сходиться.) Так русский национализм дал себе слабость перескальзывать в национал-большевизм. И сегодня от пресловутого Геннадия Шиманова (с которым меня все Синявские-Яновы как не переплетают и вяжут) мы слышим, что нынешний советский строй — это и есть готовая «православная теократия». Все такие болезненные искажения родились как реакция на полвека антирусских гонений.

Нет! Русский патриотизм от самого 1918 был *анти*советским (как и ленинцы ещё раньше настойчиво заявляли себя *анти*патриотами). Но из-за таких-то сорванных голосов слово «русский» стало тем более распухать не в ту сторону — и из-за них стало проклинаться и запрещаться всякое и чистое выражение русской боли.

А ещё и такие народились русские националисты, которые рванули отречься и от христианства: «христианство размягчает боевой дух», «христианство — троянский конь иудаизма». (А давно ответил С. Н. Булгаков: «На одном национальном принципе не может утвердиться великая нация».) Эти — зовут нас в беспамятство, в новое язычество, либо готовы перенять хоть и любую веру из Азии.

А ещё ж не дремало подтравливать и ЦК-ГБ: эти всплески безудержного национализма подталкивало, поджигало в антиеврейские вспышки — и перед всем миром благородно разводило руками: ну вы же видите! ну кто другой с этим буйным антисемитским национализмом сумеет совладать! вы же видите: всему миру будет лучше, чтобы крепилась коммунистическая власть.

Да, прошли мы (и кто постарше — крепко запомнил) через десятилетия жестоких антиправославных и антирусских гонений. И надо иметь высокое сердце, чтобы не отдалиться ни мести, ни ненависти, не кинуться ни в надутое трубление, ни в мелочное глумление. (Однако — и не в такую же безоглядную православность, когда, во вселенскости, уже становятся равнодушными к национальному бытию своего народа.)

Увы, понятый так строительный национализм — ещё не выступил у нас ощутимо.

А дело — сделано: по всему миру внедрилась, проросла, окопалась несправедливая неприязнь к России. (А как любили нас четыре года войны против Гитлера...)

---

Чужая сторона — дремуч бор.

Из России наши кое-кто удивляются: да что это я взялся так воевать за русское имя перед иностранцами? Ф. Светов публично советует: не надо за Россию оправдываться, а нужно за Россию раскaiваться. Да я и сам так думал всегда, так и делал, «Раскаяние и самоограничение»... (И лично за себя — всегда хотел бы так и продолжать, хотя обливовщики мои оравую злородно тычат и язвят в каждое моё признание.) Но надо потолкаться на западном газетном базаре, чтобы понять: нет, *именно сейчас* — надо вступаться за Россию, а то затравят нас вконец. Россия оболгана уже, оказывается, столетиями, и не должен нам отказать инстинкт самозащиты. Каяться нам, ой, есть в чём, нагрешили, — однако и не перед американской науськанной журналистикой каяться. (Давние эмигранты давно это и усвоили.)

Ну, пусть, можно понять, почему жила в Европе нелюбовь к имперско-монархической России, враждебной всем европейским революциям. Но отчего так ожесточились на всё *русское* — теперь, когда любимая Западом левая идея победила в России, а народ наш — в крайней слабости, даже, может быть, в предконечной гибели? Даже наших смертей и страданий за эти 65 лет не признаёт? Потому ли, что опять держится империя, хотя коммунистическая? — но от неё-то мы и гибнем, она-то нас и высасывает.

И подбавляют жару наши соотечественные наследники тех говорунов, которые уже один раз, в начале века, погубили Россию и теперь замахваются

догубить её ещё и в конце века. Да они давно привыкли, что русская патриотическая сторона в споре с ними слаба: она без чувства меры, без взвешенности, — неумеи спорить на высоте.

Уже один раз я отстаивал Россию на войне — а по сути в укрепление большевикам. Не хочу второй раз воевать и силиться — в укрепление хозяев ещё новой масти. Они так и ждут накинуться на освобождённую для них страну — и управлять ею: через газеты, через мысль, через парламент из депутатов не земских, ну и через капиталы, разумеется.

Вот Аксель Шпрингер который раз зовёт (и приезжал к нам), удивляется моему вдруг политическому бездействию после столь славной борьбы — да почему не еду произносить горячие речи, в Западный Берлин? Не объяснишь ему, как это теперь для меня вдруг устарело. Итак: роман пишу, исторический роман.

Да счастливо судьбою определилось, что, по моей основной тяге, мне и надо замолчать; гнать дальше «Красное Колесо». Этого многолетнего молчания, бездействия, малодействия — и нарочно бы не выдумать. Оно есть — и лучшая физическая позиция в определившемся расположении сил: ведь я почти один, а противников множество.

Я ушёл в «Красное Колесо» с головой, им заполнено всё время, что не сплю (и ночами просыпаюсь от мыслей, записываю). Вечерами допоздна сижу над воспоминаниями стариков, уже кончаю сплошной перечень присланного ими. Над многими их страницами, иногда уже почерками искривлёнными, царапающими, испытываю душевный захват: какая сила духа у кого к 80, у кого к 90 годам, сила духа, не сломленная 60-летними унижениями и нищетой эмиграции, — и это после тяжкого поражения в Гражданской войне. Богатыри! И сколько драгоценного сохранилось в их памяти, сколько дали они мне эпизодов, эпизодов для осколочных «фрагментных» глав, — да без них откуда б я это взял? всё бы кануло.

Когда в первой редакции уже составил, обеспечил огромный объём четырёхтомного «Марта» — *собственно* Февральской революции, — отвалился назад, к «Августу» и «Октябрю», доводить их до окончательности, тоже немалая работа, ибо за 3 — 5 лет, сквозь архивы и воспоминания, — столько новых углублений я испытал в ткань событий, многие места требуют ещё и ещё работы, менять, переписывать. Да, понимаю, что я перегружаю «Колесо» подробностями исторического материала, — но именно он-то и нужен для безусловной доказательности, а клятву верности романной форме я не давал.

Страшно вот: пожар в доме? и рукописи за 10 — 12 лет — вся моя жизнь и душа — сгорят? И когда с весны 1981 Аля взялась за прямой набор «Августа», чётко провела, и отослала в типографию, а с весны этого года взялась и за «Октябрь», — какое облегчение души! От пожара спасти — даже ещё важней, чем издать, хотя и издавать давно пора.

Вся слитность, целостность нашей с Алей жизни — в этом неотклонном ходе работы. И — ни на какую бы суету не отвлекаться, не отвлекаться!

Но как бы не так! Неужели у большевиков зубы отупели? Неужели они дадут ослабить свой Фронт? В это самое время, в конце 1979, ожесточились в СССР гонения на православных (синхронно с западным их посрамлением!): в ноябре арестовали отца Глеба Якунина, общину Огородникова, Христианский комитет защиты верующих, — а в январе 1980 и отца Дмитрия Дудко.

Арест отца Глеба и решил, что пора мне действовать, бить. Бить — в прежнюю Морду, известную.

Однако и сложность такой я не испытывал ещё никогда: надо тут же, в тех же строках, попеременно, начать теснить и другого противника, со всех сторон наседающего на Россию с ложью. Хоть какое-то пространство вокруг стержня русской истории оградить от их лжи.

И так я задумывал большую статью. Как всегда в сложных случаях, составлял Весы: «за» и «против», печатать ли.

*Против.* Ещё нет края, можно подождать, с кардинальными разъяснениями ещё успеем. И читателя на родине не обогащает, для него — вообще непонятная свалка. И опять мне отрываться от «Марта», и опять напрягаться в несвойственном жанре. И нельзя так частить шагами, только что дал «Персидский трюк». И — опять апеллировать к тем, чьего страха перед возвратом русского самосознания — видимо, не успокоишь, не убедишь?

За. Не могу уклониться от внятного оправдания исторической России от клевет, — кто ж это сделает сейчас на Западе за меня? И очиститься надо от «нацизма», который нам лепят. И лично мне — объяснить мою позицию правдивей, всё, что налепили ещё с Гарвардской речи. И отгородиться от «теократии», которую мне всё навешивают. И заодно осадить этих модных «информаторов», клеветников на Россию, безнаказанно треплющих западное внимание. И — американских дутых профессоров-«советологов». Советологи! — уродливая категория западной науки: сколькие, не испытавши несравненного подавительного советского опыта, — громоздят комические диссертации и экспертизы.

Решил — писать: «Чем грозит Америке плохое понимание России». А публицистические статьи мне стало писать труднее всего: неблагоприятно расходуясь в них. Снова — мёртвый язык (под перевод, под обращение к американцам). Чужая аудитория.

Много задач, а кажется — улеглось и удалось. Только очень уж не хотелось в «Нью-Йорк таймс». Том Уитни и Гаррисон Солсбери, приезжавшие к нам, посоветовали: в «Форин Эффэрс», ежеквартальный толстый журнал по внешней политике. Оказался хороший совет, не раскаялся я потом.

Но в самый разгар писания этой статьи — прикатило внезапное предложение журнала «Тайм»: напечатать у них полторы тысячи слов. Заманчиво! — 6 миллионов экземпляров? — читает весь мир, кто только может по-английски. Нельзя отказаться. Но и не хочется отвлекаться. И как же это теперь вырезать из статьи для «Форин Эффэрс»? (Две статьи сразу в голове не растут.) Но как раз динамичный шаг: защитить Россию сразу перед необъятной аудиторией. И так — надёжней повлиять на американцев. И обличать близорукость их союза с красным Китаем, — новый горячий призыв против всякого вообще коммунизма. Значит, снова и снова привычный Главный фронт.

Как-то — удалось. И вся эта уравниловка разнонаправленных стрел. И один и тот же материал подать сразу на двух этажах, на двух высотах: для массы («Коммунизм — у всех на виду и не понят») и для государственной элиты.

Как я выгадывал спокойные годы для работы! Как я хотел бы не высываться три-четыре года! — не дали. «Тайм» напечатал в феврале 1980\*, «Форин Эффэрс» в начале апреля\*\*.

Заодно уж взялся ответить и старому парижскому коминтерновцу Суварину. Против «Ленина в Цюрихе» он тотчас тогда и взыграл по боевой трубе, в защиту своего прежнего вождя: вопреки открытым же теперь документам отвергал, что Ленин получал немецкие деньги, ещё более отвергал и сам психологический тип Ленина, как я его даю, и вообще ни в чём грязном Ленин не замешан. Старое коминтерновское мироощущение неискоренимо. А для французского читателя Суварин — уже патриарх социализма, «лично переписывался с Лениным», написал книгу о Сталине, уж он-то знает, чего не могут знать современные молодые! И напал на мою книгу, напал с передержками, с передёргами, а особенно взволнованно — по национальности Ленина: чтобы вершить дела России, совсем не нужно носить в себе русскую кровь. (Да, конечно, но русский дух — обязательно! А его-то у Ленина и не было.)

Эта язвительная и очень пухлая статья Суварина, оказывается, была издана в его собственном журнальчике в Париже ещё весной 1976. Но я как раз был в Калифорнии, в заглоте подготовки к «Марту», потом сидел в Пяти Ру-

\* «Публицистика», т. 1, стр. 329 — 335.

\*\* Там же, стр. 336 — 381.

чьях, под стук строителей писал столыпинский том, тут и семья приехала, осваивались, — в тот год никто из нас и не обратил внимания на эту статью, насколько она вредна. Я её заметил по кусочному (и предвзятому) переводу в журнале «Время и мы» — и взгорячился отвечать. И. А. Иловойская сделала мне полный перевод суваринской статьи в начале 1978. А уже вроде и глупо отвечать через два года. Отложил. Однако — жгло: слишком заядло он захватил российские вопросы. И хотя позорно поздно, через четыре года, но теперь с разгону — я написал ответ и Суварину\*.

Статья в «Тайме» не вовлекла меня в дальнейшие споры, хотя были отклики. (И такие, от старых русских эмигрантов: как это «коммунизм не понят», если западные воротилы прекрасно его понимают отначала, и долго он их даже устраивал?)

Зато с «Форин Эффэрс» — не развяжешься. Обиженные американские профессора и американские вовсе дуралеи — посыпали ответы в два следующих квартальных номера. Ивана Грозного они охотно вспоминают; а вот тут, в начале XX века, кто и как конкретно подготовил и провёл изобретательный революционный террор, — давайте всё забудем и спишем на дурные русские традиции. И редакция теперь приглашала автора отвечать, — и как же уклониться? А до чего обидно — тратить силы, бултыхаться в этой радикальной пене трёхвекового просвещенческого вырождения, продираться через лес холодного непонимания (ибо им не вообразить советской как бы подводной обстановки, а они судят с суши), — да чтобы этих же самых мудрецов предупредить об истинной опасности.

И летом 1980 пришлось опять бросать «Март» и напряжённо включаться в навязанную полемику\*\*.

Действительно, старики-эмигранты правы, не могут западные специалисты настолько сплошь заблуждаться, чтобы не видеть зла и грозной опасности коммунизма. И мне и противникам было ясно, что спор идёт не о прояснении истины о коммунизме, они в каждой строчке кричали: «Надоела нам ваша Россия, мешает!»

Обе мои статьи в «Форин Эффэрс», соединённые в отдельную книгу, вышли в Штатах, потом и в Англии, и во Франции.

А Суварин — тот, конечно, само собою ввязался в спор. Я — ответ ему («Истуар»\*\*\*), а он мне — новый ответ к осени, уже третья его статья, да у него время не нагруженное, как у меня, он может и до десяти раз спорить. (Но этот фронт — противокommунистический, на него перья есть, и в «Русской мысли» уже другие за меня доспаривали.)

Да и без общественных выступлений в эти два года не обошлось.

Ныло сердце об Игоре Огурцове, стойко отсиживавшем уже 13-й год заключения. В новейшее время никому так не досталось, однако судьба его как «русского националиста» мало кого интересовала на Западе. Эмигранты-диссиденты так и распространяли о нём: «по советским законам он сидит заслуженно», — а стало быть, не надо о нём и хлопотать. Не хотелось мне обращаться к американской администрации (никогда не обращался до того) — но решил послать письмо президенту Картеру [2]. Эффекта не было, конечно, лишь отписка из канцелярии.

Одновременно послал письмо двум видным сенаторам-демократам, Джексону и Мойнихену, оппонентам Президента. Но не состоялась помощь и от них. Хотя Мойнихен сочувствовал, и даже приезжал к нам, — а всё прошло беспоследственно.

В сентябре 1979 в Вашингтоне собралась 3-я сессия Сахаровских слушаний. Написал я обращение об Огурцове, Аля поехала и прочла там\*\*\*\*. Разумеется, тоже последствий не имело. (Кроме враждебных.)

\* «Публицистика», т. 2, стр. 513 — 518.

\*\* Там же, т. 1, стр. 382 — 405.

\*\*\* Там же, т. 2, стр. 541 — 543.

\*\*\*\* Там же, стр. 508 — 510.

А ведь каждый раз надо искать новые сильные и свежие слова, это трудно пишется.

А тут — моя 90-летняя теперь тётя Ира, много влиявшая на моё воспитание в детстве. Аля звала её с собою из Георгиевска за границу, когда семья собиралась ехать вслед за мной. В тот момент выезду тёти препятствий не было, но тогда она отказалась, боясь переезда. А затем всё слабела в одиночестве, и в своих ужасных условиях слепла, гложла — и попросилась, чтоб мы её взяли теперь.

Задача нелёгкая, мучительная: мне, отсюда, — и обращаться к советским властям? Но надо. Стали действовать через Государственный Департамент США: послать вызов от меня в СССР тётю Ире. Анкеты, анкеты. Послали. Всё ж я думал, что отпустят. И ошибся: отказали! Просто, наверно, из дрожи злости к моему имени, лишь бы — мне поперёк! Оставалась 90-летняя умирать в конуре.

Но — мне стыдно было поднимать мировой теле-газетный шум из-за своей семейной истории, как другие не стесняются; стыдно кричать, что вот держат *заложницу*, — когда и весь мир болен, и на родине несчётные страдальцы в лагерях. Невозможно заслонять большие всеобщие вопросы своими личными. Всё же через знакомого русского американца, корреспондента Данилова, послал маленькую заметку в «Вашингтон пост» — «Империя и старуха»: ещё крохотный, но разительный пример, как имперские мужи отыгрываются на старой женщине, держат в конуре без водопровода, без уборной, без электричества, без ухода и без пенсии, и не дают мне купить ей в СССР квартиру — и не отпускают её ко мне, и даже пресекают нашу переписку с ней. Правительство великой державы не брезгует мстить 90-летней старухе за то, что её племянник не воспитался в духе марксизма.

В переложении и с сокращениями — заметка появилась в «Вашингтон пост». Но никакого, разумеется, впечатления ни на Запад, ни на Восток.

Тем временем наши друзья перевезли тётю в Москву, к Диме Борисову. (И вослед в Георгиевске — опоздавшая милиция с допросами: кто увёз? куда? применяли при том насилие?) Дима писал от её имени заявление в Президиум Верховного Совета — отпустить к племяннику, — всё без толку. Тогда, в декабре 1979, клоня свою голову, я решил дать телеграмму новой восходящей звезде:

«СССР, Москва, Старая площадь, члену Политбюро ЦК Константину Черненко. — Советское посольство Вашингтоне сообщило категорическом отказе моей единственной родственнице Ирине Ивановне Щербак визе выехать ко мне в Соединённые Штаты тчк неужели мало всего оглашённого позора чтобы ещё добавить произвол над девяностолетней слепой глухой скрюченной бездомной старухой вопросительный дайте указание отпустите старуху не вынуждайте меня оглашать».

И — что ж ещё оглашать?..

Разумеется — молчание. Как могут эти крохоборцы в чём-нибудь уступить, если доступно нанести вред Солженищину?

Судьба тёти тяготела на мне: 17 лет из-за работы, конспирации и борьбы я не сумел убедить её расстаться с привычным Георгиевском, переехать к нам поближе, и устроить её получше. Летом 1971 уже ехал к ней — на пути ожог\*, и вернулся с дороги. Всю жизнь я платил только общественные долги — ну хоть теперь-то, наконец, заплатить личный? И вот — прибегаю к необычному для меня телефону — да ещё куда? — звоню консулу в советское посольство! Убеждаю, предупреждаю: все выиграют, если отпустить старуху без шума, за чем она вам?

Всё, конечно, зря. Не отпустили.

---

\* Спустя 20 лет открылось: покушение ГБ на меня в Новочеркасске, см. в «Телёнке» Приложение [46]. (Примеч. 1993.)



А ещё через несколько дней — выслали Сахарова из Москвы. Терпели-терпели, клокотало у властей уже давно, но последнее сверхотважное заявление учёного против ввода войск в Афганистан — под грозный размах этого события и попало: всё равно будет взрыв мирового гнева, так заодно.

С каким чувством поехал он? Ведь не просто схватила и поволокла бульдожья челюсть — но под Девятый Вал большой войны. Так — и схоронят заживо?

А вскоре за тем дошло до нас, раскрупнейше было напечатано, — последнее перед ссылкой заявление Сахарова, от 18 января 1980, как бы завещание на эту пору. И — о чём же? О статье Чалидзе! — вот об этой лукавой, виляво состроненной статье, с подтасовками, с советским прононсом, — только за то, что она против русского национального сознания и против меня? — находил Сахаров «её опубликование целесообразным», она «в стиле серьёзной и хорошо аргументированной полемики», «талантливая дискуссия, очень важная для всех»...

Сахаров?

Его дивное явление в России можно ли было предвидеть? Я думаю: да. По исконному русскому расположению — *должны* пробирать людей раскаяние и совесть. И какой бы корыстный ни стянули правящий обруч на шею России, как бы они все там ни ожесточили, ни заелись, ни забылись, — но время от времени должны оттуда выбрасываться ошеломлённые, очнувшиеся, раскаявшиеся сердца. По упавшему качеству этого слоя — не столько, сколько вырывались из дворянского благополучия, но всё же! И такие случаи (не беру в расчёт партийных беглецов от расправы) уже были не раз: Виктор Кравченко, Игорь Гузенко, Анатолий Федосеев и менее известные невозвращенцы. А вот — дошло и до слоя академического. Новизна помягчавшего времени вместе с научными размерами Сахарова и его атомными заслугами перед родиной — дали ему возможность совершить свой подвиг-переход у себя в стране.

Да, это — по-нашему! И я, например, при своём оптимизме, всегда так ожидал: проявятся! появятся такие люди (я думал — их будет больше), кто презрит блага, вознесённость, богатство — и попутствует к народным страданиям. И — какие возможности таились бы в таких переходах!

Трудней было предвидеть состав мирочувствия такого человека, — хотя лишь по кустости нашего зрения, а задним-то числом распишешь легко. Из какой почвы ему подняться? Не только полвека прокатанной, укатанной кровавым катком большевиков, но и перед тем ещё полвека опрысканной, как вытравителем, — освобожденческим презрением к составу российской истории. И именно из такой среды, столичной интеллигенции, Андрей Дмитриевич и родом. По семейной атмосфере он вырос на щедрой интеллигентской «всечеловечности» и верен ей исключительно последовательно, — и взнесенный к Нобелевской премии, и вот теперь низвергнутый в ссылку. По опыту же своей юности он вырос на «советском интернационализме», впитал и его (да гуманистические корни — одни и те же), и при всех потом разочарованиях в советской системе — от этой стороны идеологии тоже не мог оторваться. Он так прямо и пишет, что даже мысль о нации, всякое обращение к нации, а не к отдельному человеку, считает философской ошибкой.

Затем собственная жизнь Сахарова на технической службе государству вряд ли оставляла ему просторы для исторических и социальных размышлений («сверхсекретность и сверхнапряжение, в которых жил 20 лет», «более 20 лет в этом фантастическом страшном мире», его слова). Всё это сочеталось и с общесоветским принудительным незнанием русской истории. Ни в чём когда-либо им сказанном или написанном не просквозила память, что нашей истории — больше тысячи лет, этого воздуха у Сахарова нет. Все его исторические анализы начинаются от хрущёвского периода или от конца сталинского, не глубже по времени. Он воспринимает так, что «контуры важнейших современных проблем впервые обрисовались» после Второй Мировой войны, — тогда как проблемам этим, кроме разве экологии, по меньшей мере столетие, а каким и два, и три.

Естественное состояние Сахарова в кругу представлений физики — при переходе в область социальную не успело дать ему своеобразной общественной идеи, но склонило к сильному преувеличению роли технического прогресса. Его мировоззрение составилось из наследственных гуманистических (антропоцентрических) идей, с которыми мировое общество таким уязвимым вступило в XX век. Немудрено, что Сахаров и подписал (в 1973, среди малоизвестных трёхсот человек) размашистый Гуманистический Манифест II, сводящий этику к человеческим *интересам* и специально заострённый против всех религий (хотя Сахаров тут и сделал оговорку, не слишком сильную). В остальном же содержались в Манифесте всё любимые идеи Сахарова: бесконечный научный прогресс; всеобщее универсальное (понимай: вненациональное) образование; перешагнуть за пределы национального суверенитета, единое мировое законодательство; наднациональное мировое правительство; экономическое развитие не должно оставаться в компетенции нации. (То есть чтобы нация и вообще не распоряжалась укладом своей жизни.)

Так и по последний день (1981) мы получаем от Сахарова всё ту же идеализацию технического прогресса, всё тот же идеал будущего: «научно регулируемый всесторонний прогресс», — ещё один учёный соблазн: возьмутся ли «научно всесторонне регулировать» как искусство (мысль Сахарова 1968 года), так и всю духовную жизнь? — а она и есть главная возможная доля прогресса человеческого существа, — тогда это страшно. А без духовной жизни — материальный прогресс пуст, и не есть прогресс. Однако Сахаров упорно верит, что именно учёным дано оценивать прогресс в целом. Даже («Мир через полвека», 1976): вот возникнут летающие города с термоядерными установками, а общемировое регулирование перейдёт в общемировое правительство. Эти расплывчатые картины будущего по сахаровскому эскизу — вполне ирреальны, Сахаров выступает пророком некой призрачной сверх-страны, без осязаемого прошлого, во всяком случае без нашего прошлого. Его лозунги от неподвижного повторения становятся с годами всё более надоблачными. Да ведь со своих 27 лет в мире ядерных взрывов — как и не потерять опорности в реальном мире! Сахаров и сам так высказывается: что сделать по его общественной программе в нашей стране ничего нельзя, он не верит в успех, а действует из верности идеалу.

Снисходительность Сахарова к коммунизму и к социализму, которую в «Размышлениях», 15 лет назад («взгляды автора являются глубоко социалистическими», «нравственная привлекательность идей социализма», «выход был указан ещё Лениным»...), я воспринял лишь как тактический манёвр подгнётного автора, — к моему затем изумлению оказалась истинно присуща ему. Это — тоже продолжение старорадикального греха русской интеллигенции: насилие *слева* — прохвалять и прощать. С тех пор мы не раз встречаем у Сахарова то «источник наших трудностей — не в социалистическом строе» (письмо руководителям партии); то идеализацию 20-х годов в СССР — «большие надежды, дух воодушевления»; то — «лжесоциализм тоталитарный», которому с надеждой противопоставляются «социалистические идеи в плюралистической модификации»; то — термин «сталинизм», предполагающий, что коммунизм в общем-то был лучше, но загубили. Уже в ссылке в 1980 у него выплывает: «лозунги коммунизма, когда-то [во времена ЧОНа и продотрядов?] отражавшие стремление к справедливости и счастью для всех на Земле»... — И даже не исключает (письмо Брежневу, 1980, «Континент», № 25), что одна из причин оккупации Афганистана — «бескорыстная помощь земельной реформе и другим социальным преобразованиям».

Да, сам Сахаров всегда проявляет высокую личную нравственную силу — и оттого ли возлагает на неё расширительные надежды, нигде не допуская к ней примеси религии, даже не оговаривая так. (И не спросит: а существовали ли вообще нравственные понятия *прежде* и *до* всяких религий, хотя бы языческих?) Религия для него — отчуждённое чудачество, часто и кроваво опасное. В атеизме же — он прочен, тут он — верный наследник дореволюцион-

ной интеллигенции. Даже призыв человека «к осознанию вины и к помощи ближнему» он озаглавливает не Христом, а Швейцером...

И — к чему же неизбежно должно свестись такое мировоззрение? Конечно же и только к «правам человека», — *«идеологии прав человека»*, как теперь прямее говорит и сам Сахаров. «Защита прав человека стала общемировой идеологией».

Но как это понять: «идеология прав человека»? «Права», возведенные в ранг *идеологии*, что это такое? Да это же — давно известный анархизм! И это — желанное российское будущее? Да ведь ещё умница В. А. Маклаков поправлял своих разъярённых кадетов: надо заботиться не только о правах человека, но и правах государства! Добиваясь прав каждому, надо же помнить и об *обязанностях* каждого — надо же позаботиться и о целом! Наше столетнее Освободительное Движение как раз и добивалось только — прав каждому, исключительно — прав. И — развалило Россию. В 1917 мы как раз и получили — небывалые, несравненные права, а страна — тотчас погибла. Все наши события 1917 года начались разве с подавления прав? а не с полного их разгула? — рабочие захватили право бить в морду администрацию, солдаты — право уезжать с фронта, крестьяне — валить не свой лес, разбирать на части лесопилки или мельницы, самим брать землю, все горожане — требовать неограниченного увеличения зарплаты, — и русское демократическое правительство всему этому легко уступало. Ведь когда мечтаются «права человека», то подразумевается прежде всего интеллигентское право печататься и произносить речи — однако за тем покатится полный размах других «прав», где уже не отличат слово от угрозы, свободу от безнаказанности, собственность от воровства. И особенно в XX веке, когда повсеместно на Земле разнуздались инстинкты, — как же можно на первое и *единственное* место выдвигать «права человека»? Медицински говоря, назойливое втолакивание «прав человека» есть программа независимого одноклеточного существования, то есть ракового развития общества.

Сахаров, по-видимому, не отдаёт себе отчёта в том, чего и никогда не понимали русские либералы и радикалы, все четыре Думы, и что тщетно втолковывал им Столыпин: что не может создаваться гражданственность прежде гражданина, и не правовые вольности могут вылечить больной государственный и народный организм, а прежде того — физическое лечение всего организма.

А как, насколько, до чего мы больны — это Сахаров знает. Особенно узнал в годы своего диссидентства, на низах, уже преследуемый, в скитаниях вокруг судов, в столкновениях с простой жизнью. В той же «Стране и мире» он даёт немалый обзор наших болезней: позорно низкие зарплаты, тесное худое жильё, малые пенсии, скудные больницы, плохая врачебная помощь, плохое качество продуктов питания, плохое снабжение товарами, всеобщее пьянство, невозможность семейного воспитания, паспортное прикрепление, низкое качество образования, нищета учителей и врачей, ещё не пишет «демографическое вырождение», но к 1975 это ещё не было так ясно, да ещё оно и не всеобщее, коснулось только славянских ветвей да малых народов Севера.

Да, сегодняшний Сахаров достаточно много видит в советской жизни, он уже не кабинетный удаленец. И — какую же вопиющую боль, какую страстную безотложную нужду он возносит первее и выше всех болей и нужд раздавленной, обескровленной, обеспамятенной и умирающей страны? Право дышать? Право есть? Право пить чистую воду, а не из колодцев прошлого века и не из отравленных рек? Право на здоровье? рожать здоровых детей? Или бы: право на свободное передвижение по стране с правом вольного найма на работу и увольнения, то есть освобождения от крепостничества?

Нет! Первейшим правом — он объявляет *право на эмиграцию!* Это — сотрясательно, поразительно, это можно было бы считать какой-то дурной оговоркой — если бы Сахаров не произнёс бы и не написал бы этого многожды. В «Стране и мире», вслед за описанием советской жизни, стоит вторым разделом, ещё до проблемы разоружения — любимой и заслуженной проблемы Са-

харова, до всеобщего разоружения: «О свободе выбора страны проживания». Это — 1975 год. И с тех пор много раз он заявляет, что право на эмиграцию — «ключевая проблема», «первое и важнейшее» из всех прав человека, — переворачивая вверх ногами все разумные представления об условии жизни народов. В эти годы у нас насильственно «закрывают» тысячи «бесперспективных» деревень, насильственно изгоняют людей из мест их рождения, до конца уничтожают Среднюю Россию, — Сахаров ни звука об этом, ничего этого не замечает, а: право на эмиграцию!! Через 5 лет, уже вот высланный в Нижний Новгород, — в одном из первых, теперь затруднённых и редких интервью («Вашингтон пост», март 1980): «Преследование *всех слоёв* (выделено мною. — А. С.) советского общества проявляется в ограничении эмиграции». А мы-то думали, что преследование колхозников — в эксплуатации их от зари до зари, в бесплатной работе, в безземельи, в изнурении, в нищете, в безодежде, в безобувности, — нет! — преследование колхозников в том, что их не выпускают в Америку! — И ещё через два года, в декабре 1981, после своей триумфальной голодовочной победы, Сахаров думает всё так же, об этом свидетельствует корреспондентам приехавшая в Москву Е. Г. Боннэр: «Основное [!] право всякого человека — право покинуть страну проживания». То есть право бежать из гибнущей страны.

Столько лет подряд и так настойчиво. Вместо всех теорий общественного устройства — какая же дикая идеология бегства. В какой же стране какое коренное население способно выдвинуть такое «первое право»? Сахаров выстроил такое объяснение: исключительность права на эмиграцию в том, что оно есть гарантия выполнения прав для остающихся. То есть: если будет свобода эмиграции, то под неумолимой угрозой, что всё население уедет в Америку, — будут установлены в СССР полные гражданские права? Изумишься: как может учёный физик — создать и сам поверить в такое химерическое построение? А потому что тут работала не только логика, а эмоциональная предокраска познания: хоч, чтобы было так!

Уж не говоря, что весьма заметная еврейская эмиграция, отхлынувшая из СССР за несколько лет, ослабила напор за гражданские права в СССР, — она вообще сбила диссидентское движение: для многих диссидентов открылся заманчивый лёгкий выход, и тем шире открывался, чем диссидент настойчивей. В результате диссидентское движение опало силами и не возглавило общественного прорыва.

Да ведь это только говорилось — «всеобщее право на эмиграцию». Хотя Сахаров печатал («О стране и мире»), что эмиграция трагически необходима украинцам, русским, литовцам, латышам, эстонцам, — но те миллионы или сотни тысяч всех их, кто уехал в прежние войны, напротив, трагически тоскуют по родной земле, где только и дорого получить и свободу, и хлеб, а не на чужбине. Был убедительный пример у Сахарова: порыв к отъезду у немцев, — но это скорей не эмиграция, а ре-эмиграция, на свою исконную родину. И так, при всех добавочных построениях, — и сторонникам, и противникам, и близким и дальним было ясно, что речь идёт только и исключительно об эмиграции еврейской, для того и вся теоретическая конструкция, в том и боль Сахарова, да так он и писал: «Я понимаю и уважаю национальные чувства евреев, едущих строить свою новообретенную родину», — так и мы, другие многие, тоже так понимаем и уважаем.

Однако у Сахарова это нечастый случай, когда национальные чувства встречаются в положительном контексте. С той же решимостью он не дрогнул вмешаться во внутренние распри Соединённых Штатов, горячо защищать от американских критиков поправку Джексона (там винули, что на ней потерпела ущерб американская торговля), один раз обращался к Верховному Совету СССР, четыре раза — к американскому Конгрессу, и одёргивал конгрессме-

---

\* Ну вот, настало в России время безгранично свободной эмиграции — и много ли процветания мы от этого получили? (Примеч. 1996.)

нов, готовых идти на компромисс с Советами, и особо — к собранию «Еврейских активистов в США»; и затем — к английскому, французскому, западно-германскому и японскому парламентам, — чтоб они и у себя ввели такие же поправки Джексона и остановкой торговли и кредитов заставили бы СССР выпускать евреев, — и убеждал, что таким путём может быть установлена вся в целом честная демократическая разрядка с СССР.

И столько усилий, столько хлопот (и столько личного риска!) — ради того, чтобы для малой доли населения добиться — яркой привилегии, которой остальным в нынешних условиях не видать.

Невольно и сам Сахаров увлекался этим порывом, прорывом через его грудь. В иные периоды прямо добивался для себя заграничной (в тех условиях необратимой бы) поездки, хотя добавлял трезво: «Я не могу рассчитывать на поездку или на эмиграцию как выход для себя».

Но обречённый оставаться телом в той стране, для которой 20 лет работал сверхсекретно и которую вооружил страшнейшим оружием современности, — Сахаров всё более вглядывается в Запад (не настолько, однако, чтобы развидеть его пороки и опасности), обращается к нему гласно, и обёрнут к нему, и переносится душевными эманациями. Он — и видит «всесильную на Западе левую моду, боязнь отстать от века». Однако успокаивает себя и Запад, что «в конечном счёте западный интеллигент не подведёт, с демагогами и политиками ему не по пути». Сахаров «с уважением, граничащим с завистью», относится к западной интеллигенции, «не сомневается в альтруизме и гуманности большинства её» и только диву даёт, что ведущие американские газеты цензурируют его, искажают, пропускают фамилии эков, смягчают выражения. Настойчиво (и так же тщетно, как и я) старается он убедить западных людей, что борьба за права человека на Востоке укрепляет позиции самого Запада. Сахаров сердцем пытается перенестись в их заботы, наивно советует «всемирную политическую амнистию» (то есть и «красных бригад»? и всех террористов? — каша). И восхищается левовывихнутой «Эмнести Интернешнл». И убеждает Запад «не вести местной [то есть внутриполитической] борьбы» (которая одна только и раззаряет западных политиков) — ибо она «ослабляет западный мир». (Но это же и есть у них та самая завидная партийно-парламентская демократия!) И наивно убеждает Европу не допускать в себе антиамериканизма...

Сахаров — великий утопист, и своими утопиями он приносит ущерб тем, кто слишком верит ему. То и дело он поселяет в западном обществе между верными и сомнительные представления и надежды.

В своём вдохновлении Запада далеко перейдя правозащитные рамки, Сахаров призывает Запад приложить усилия восстановить утерянное стратегическое равновесие (для чего требует от Запада «экономических жертв и политической смелости»), против одностороннего западного разоружения, не допустить зависимости от нефти, оказывать на Советский Союз неослабное политическое давление (но «не отказывать СССР в кредитах»...). — «Я считаю необходимым давление на советские власти... Ослабив давление, мы [?!] можем потерять достигнутое; продолжая давление, мы добиваемся улучшения ситуации». (Что вполне верно.) Сахаров обращается то «к парламентам всех стран», то к правительствам; президенту Картеру пишет несколько назидательно: «наш и Ваш долг... Важно, чтобы президент США продолжал усилия...»

Да, всеобщий и бескрайний успех Сахарова у западной прессы и у западных политических деятелей впечатляет сроднённостью их взглядов и установок. Оплачивают ему и тот долг почёта, который 30 лет упускали заплатить Раулю Валленбергу (Сахаров возглащён теперь в Израиле «узником Сиона», уникальное решение Кнессета в январе 1980).

Конечно, все 70-е годы Сахаров отдавал себе отчёт в опасности своего уже крайнего политико-стратегического и внешнего противостояния советскому государству, но отчасти и не отдавал, теряя сознание политических границ и душевно сливаясь с союзным Западом. За все эти годы Сахаров рассыпает по

всемирной публичности бесстрашные (ведь изнутри Союза!) и беспощадные оценки советскому строю: показная, малозффективная социальная структура; беспринципность, бесконтрольность динамичной внешней политики, подкреплённая свободой финансов; жестокость; тайные подрывные действия; бездарная хищная бюрократия; нарушения договоров; поставки оружия для расширения кровавых конфликтов; и что истинно делается во Вьетнаме. Сахаров отважно (и со знанием дела) разоблачал все возможные в ядерных переговорах скрытые расчёты советского правительства, ищущего, как выиграть для СССР первый ядерный удар. Указывал и на верные (только неосуществимые) планы разоружения — при открытости и контроле.

Всё же в декабре 1976 ему приходится выслушать блудливый вопрос западного корреспондента: такое впечатление, что общественная деятельность Сахарова была более заметной до присуждения Нобелевской премии, чем после?

И это спрошено о том годе, когда Сахаров у суда Джемилёва в Омске бил по лицу гебистов и милиционера, и — на другой день после того, как он, демонстрируя на площади Пушкина уважение к мифической советской конституции, обнажил на морозе свою редкую серебристую седину, а гебисты со смехом высыпали на неё из кульков грязь и снег!

И разве понять американскому корреспонденту эту русскую нашу темь, как из дремучей глуши, прослышав, что в Москве появился академик — защитник справедливости, шлют и шлют ему корявые челобитные без адреса: батюшка! заступись, обижают! И между решением мировых проблем нужно Сахарову едва не каждое письмо прочесть и голову ломать, как, при всеобщем беззаконии, продвинуть законную просьбу. А с сердцем, открытым каждому страданию, не мог он зажмуриваться и отклонять.

Но тот корреспондент своим вопросом будто наклёвал: в самом начале 1977 Сахарову пришлось стать в ещё небывало резкое противостояние с Госбезопасностью — и эти месяцы я считаю вершинными в его борьбе, вершиной его мужества. Это случилось — от взрыва 8 января в московском метро и подлой заметочки Виктора Луи на Запад, что взрыв произведен диссидентами. Сахаров почувствовал на себе ответственность за всё диссидентское движение, намеченное к разгрому, — и 12 января издал обращение к мировой общественности: что репрессивные органы власти (читай — ГБ) всё чаще применяют уголовные методы (а уже было несколько известных избиений, и академика Лихачёва тоже), убивают безвестно, а теперь «я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в метро — это провокация репрессивных органов или определённых в них кругов».

И только западные люди могут не оценить, что значит бросить вот такое в лицо ГБ и на весь мир, — голова под топор!

Но и ГБ — струсило и отступило, как всегда перед мужественным поступком, если он на свету.

В ближайшие за тем недели поединок пошатал Сахарова крепко. Сюда пришёлся и грозный вызов в прокуратуру, откуда он мог бы и не выйти, — и он с достоинством держался там и не сломился дать требуемое опровержение. И на другой день — ещё снова, в интервью, поддержал своё обвинение. И в эти же роковые недели был подкреплён заявлением Госдепартамента, затем личным письмом от нововступившего президента Картера. Перепуганное ГБ погнало прокурора оправдываться в «Нью-Йорк таймс» — какое падение для Дракона! — Сахаров достойно ответил и в «Нью-Йорк таймс». (А президент Картер тут же отступил и заявил, что ему «не следовало публично» поддерживать Сахарова. Но он... примет его неофициально, *если* тот приедет в Соединённые Штаты... Смех и слёзы.)

Устоял Сахаров. И продолжал отзываться по многим поводам частных преследований. И тщетность десятков его обращений не приводила его в отчаяние. Однако и тогда, и раньше, и позже не скрывал: опасаясь не столько ареста, сколько мафии, «подпольной уголовно-мафиозной деятельности» (и опять же верно — тут возможности ГБ вовсе безграничны), — особенно в отноше-

нии жены и её детей, «преследование их для меня несравненно трагичнее, чем что-либо другое».

И ГБ хорошо это знало. И использовало. Вся жизнь Сахарова и Е. Г. Боннэр была наполнена угрожающими и издевательскими письмами; вскрывая любой конверт, они не знали, какую подменённую гадость или насмешку там найдут (конверт от АФТ — КПП, а внутри — рисунок бронтозавра). А угрозы были весьма действительны, ибо вот одного за другим диссидента то избивали, то убивали таинственные непоимные молодцы. И угрозы (его собственную непреклонность ГБ уже оценило) так и шли в уязвимое сахаровское место — детям Боннэр. Это сопрягалось и с трёхлетним квартирным мучением, чисто советским изобретением: то непропиской Сахарова в квартире жены, то вообще лишением московской прописки, то помехами в квартирном обмене; то служебными неприятностями детям Боннэр.

И тут нервы Сахарова не выдержали. Столько сделав для эмиграции других, для вознесения эмиграции в высшее право человека, — как было ему удержаться, не требовать такого права и для своих близких? Теперь делал он особые заявления о судьбе детей жены, называя их заложниками. И, довольно неожиданно, эти настояния имели успех: за год после взрыва в метро и такого резкого конфликта — отпущены были в Америку и падчерица с мужем, и пасынок, выехавший, как потом обнаружилось, даже слишком поспешно; вслед за ними уехала и тёща.

Сахаров сам искренно готовился стать жертвой. Но когда в январе 1980 года разразилась его ссылка в Нижний Новгород — проявилось, что к удару этому он всё же не был готов. Спустя два месяца ссылки (март 1980) Сахаров, ещё, видимо, не понимая необратимости происшедшего, просился за границу, «если мне не дадут вернуться в мою московскую квартиру». И даже сейчас, через два года (январь 1982, агентство ЮПИ): «моё желание — увидеться с родными, которые *вынуждены были эмигрировать*, и — желание видеть мир». Да закрутили власти — куда жёстче обычной ссылки, на переходе к аресту: постовой у двери, к нему не пускают, сопровождают по городу, не дают разговаривать со встречными на улицах.

Степень испытанного Сахаровым удара надо оценить по потерянной им высоте. Если я к своему бунту шёл от жизни, прожитой в вечных, от детства, *низах*, то он — от постоянных, с молодости, *верхов*. Это несравненно тяжелей.

И вот, если прежде Сахаров всегда настаивал, что нельзя никого призывать к жертвам и твёрдости, теперь он стал обвинять всех академиков: «молчание моих коллег является их соучастием». А я всегда считал, что *призывать* — можно, а вот *упрекать* — недопустимо — недопустимо и при сахаровской мягкости ожидалось бы менее всего. Этак — и его тоже можно считать соучастником послевоенного сталинского террора? Иные другие академики, занятые иногда и полезнейшей для страны работой, виноваты ли в том, что не растоптали её из солидарности с Сахаровым? Каждый должен сам определять посильную ему меру жертвы.

Тут, в свои мрачные, отчаянные месяцы, Сахаров обречён был вовлечься и в длительное унижение: в хлопоты об отъезде в Америку невесты пасынка, брак с которой тот не успел оформить впопыхах своей эмиграции. Вероятно, Сахаровым двигало чувство вины перед детьми своей жены, или невыносимо ему было наблюдать её материнские терзания, но размер и тон этой кампании быстро достигли гротеска. И вот его статьи и интервью, посылаемые из Нижнего, с содержанием мирового значения, стали казаться лишь преамбулами, пристройками к главной концовке: учёные всего мира, требуйте от своих государственных деятелей, чтобы отпустили в Америку Лизу Алексееву! — И без усилий Сахарова его высылка в Нижний с самого начала вызвала громкий международный раскат — до правительственных заявлений, до резолюции американского Конгресса. Однако тут многие на Западе, кто глубоко преклонялся перед Сахаровым и упорно бился в помощь ему, вот и с Лизой сейчас, — испытали всё же некоторое смущение.

Но и эти призывы не сразу раскачали планету. И Сахаров закланно решился на голодовку. Судьба Лизы Алексеевой на несколько недель заслонила в мировой прессе все мировые проблемы — и в самые те дни декабря 1981, вот недавно, когда решалась, перед Ярузельским, судьба Польши. За 8 лет до того Сахаров объявлял свою первую голодовку, при приезде Никсона в Москву, в поддержку 84-х эзков, — и тогда, в свои 52 года, прекратил голодовку на 4-й день из-за угрозы здоровью. Теперь, в 60 лет, он объявил центром своего высшего напряжения, высшего риска своей жизни — эмиграцию ещё нигде не сидевшей, никакой борьбой не отмеченной девушки, и проголодал 16 дней, а пожалуй мог бы голодать и до смерти.

Е. Г. Боннэр по приезде в Москву заявила: «Победа нашей голодовки — победа прав человека вообще!» Увы. Пятидесятники Ващенко простодушно поверили, что с такой же горячностью мир будет защищать и их, — держали долгую семейную голодовку, уже прорвавшись в американское посольство, с требованием эмиграции для себя, — и обманулись.

Конечно, весь многолетний спуск Сахарова из верхних слоёв в нижние («в Нижний»), сперва добровольный, потом уже и нет, дался ему со сложной душевной перестройкой, — и, вероятно, ему самому вся его внутренняя история кажется цельной и единственно неизбежной. Ещё и в 1975 он испытывает в себе муки советского сознания: «Эта глава получилась-таки по обычным нашим стандартам довольно „злопахательской“». В мучительные часы я время от времени невольно ощущаю чувство неловкости, почти стыда. Делом ли я занят?» — вполне ещё советско-патриотический вопрос. И отвечает: «Нет, я не предаю никого, не бросаю тень на их честный труд». И: «Если я внутренне честен, то мне не в чем упрекнуть себя».

Насколько первые сомнения избыточны, настолько последнее отпущение поспешно. Можно быть вполне внутренне честным и прямолинейным, как Сахаров и есть, но промахнуться на поверхностном взгляде и чувстве, на неведи и непонимании отечественной истории — и так отшатнуться от её русла.

По тому, как Сахаров преодолевает советский гнёт, как он протестовал против вторжения в Афганистан, можно лишь восхищаться его неуклонным спокойным бесстрашием. Однако на жизненном своём пути, развиваясь душевно и выстраивая всечеловеческие проекты, Сахаров dokonечно выполняет свой долг перед демократическим движением, перед «правами человека», перед еврейской эмиграцией, перед Западом — но не перед смертельно больной Россией. Многих истинных русских проблем он не поднимает, не защищает так самозабвенно и горячо. Произнёс и сам он один раз эту сакраментальную (но не его и не свойственную ему) мысль: «Народ без исторической памяти обречён на деградацию», — однако не применил её к народу русскому. Думая о будущем России, мы не смеем оставаться равнодушными к тому, что Сахаров нам вносит и что обещает. Он показывает на высоком взносе возможности русской совести — но будущее наше он рисует безнационально, в атрофии сыновнего чувства. От нашего тела рождён замечательный, светлый человек, но весь порыв своей жертвы и подвига он ставит на службу — не собственно родине. Как и для всех февралистов: Сахарову достаточно свободы — а Россия там где-то поблекла.

Неужели попросту: нет русской боли?..

Хотя — я не смею его обвинять в этом: освобожденческо-февральским воздухом у нас отравлены были многие-многие, и сам я на себе это испытал, еле выбрался, так затемнена истина. В Сахарове — доносящим ударом поражает нас «освобожденческая» доктрина XIX века.

В той дореволюционной либерально-освобожденческой традиции господствовал напуг: как бы не выразиться неловко-сочувственно к одиозному понятию «русский», как бы это слово не прилипло к говорящему-пишущему. Так и Сахаров, если вспоминает когда-нибудь русский вопрос, то чаще всего враждебно. Только в этом одном вопросе он проявляет совсем несвойственную ему



резкую неприязнь. Неуместно, когда вовсе не о том идёт разговор с корреспондентами, а что-то болезненно заставляет Сахарова ввернуть: говорит ли о советской оккупации Афганистана — непременно припечатать «имперскую-русскую геополитику». (Россия — никогда не захватывала Афганистан, зато коммунисты — с самого своего начала; уже в 1981 это подробно разбирал читаемый Сахаровым «Континент», № 30. Англия и сегодня цепляется за Фолклендские острова на другой стороне Земли, — вот геополитика, но это не пилится нам в глаза.)

Отвечает итальянскому агентству на вопрос о еврокоммунизме: «Я воздерживаюсь от философской или политической оценки любой идеологии [впрочем, многие идеологии Сахаров решительно оценивает], в том числе и коммунистической». После всего, что они сделали с нашей страной? Зато вот острое, что в нём дрожит вечно воткнутым кинжалом: «Я очень боюсь учений, претендующих на знание высшей истины, — лишённых гибкости и терпимости. Такие черты часто возникают в русле националистических и религиозно-фанатических учений...» И вот, постоянно «осуждая всякие догматические системы» (а православие чаще всего), — Сахаров выражает агентству надежду на успешное развитие итальянского еврокоммунизма.

Православной церкви Сахаров, этот потомок священника, боится, кажется, более всего. Если бывают у него упоминания о православии, то — в духе наследованной радикальной мысли, сквозь зубы, мимоходом, как-нибудь позади пятидесятников. Напротив: «В Польше традиционно велико и благотворно влияние церкви». Это — верно, это — так! — но один бы раз в скобке признать, что и православие было в России не без блага.

Повторяет не им сочинённую, московско-образованскую басню: «Народ и партия едины — не вполне пустые слова». Ну да, изнасилованная и насильник — они ведь едины в какой-то момент.

А вот критический излом — голодовка. За эти дни сколько же перестрадал, передумал. И, выиграв её, пишет Сахаров в первом коротком письме на Запад, что присоединяется к «замечательным словам Михайлы Михайлова»: «Родина — это не географическое и не национальное понятие, родина — это свобода».

Но если родина — это только свобода, то зачем отдельное слово от «свободы», что в нём ещё? «Замечательные слова Михайлы Михайлова» — это шкурный лозунг, известный ещё в Древнем Риме: *ubi bene, ibi patria*.

---

В 1975 Сахаров уклонился вести со мной принципиальную дискуссию — по его подгнётному положению это было вполне объяснимо. Но так, видимо, накапливалось в нём эти годы, что вот, спустя 5 лет, едва донеслась до него из нью-йоркской газеты бесчестная статья Чалидзе «Хомейнизм и национал-коммунизм», — как Сахаров кинулся подпереть своим плечом эту телегу. И послал на Запад «Открытое письмо» (так и назвал, повторилась та же нервная торопливость реакции, как и на «Письмо вождям», — ведь нет для России большей опасности, чем национальное самосознание!), спешил присоединиться: ведь «обсуждаются взгляды Солженицына и его сторонников» (главное — «сторонников», приписанных, сочинённых; это их общий приём: кто им неприятен, записывай в «сторонники Солженицына», и за всё ответит Солженицын). И какие ж это мои («наши») взгляды? — «национализм» (к которому я не принадлежу) и «политизация религии».

Андрей Дмитриевич! Да где же вы у меня встречали «политизацию религии»? Ничего и близко подобного. Это — вы заняты ею, то и дело предупреждая против «политических опасностей» православия. Это — вы написали, что «православие настаораживает» вас, это — по вашему (как и коммунистическому) представлению его нельзя выпускать из человеческих рёбер, из дома, из храма — ни на улицу, ни в общество, ни в школу, ни в университет. Запретить

христианам применять их веру в общественной жизни, — только тогда не будет «политизации»?

Почему, Андрей Дмитриевич, в спорах о России вам всегда отказывает ваше обычное чувство меры? Что я «великорусский националист» — кто же пригвоздил, если не Сахаров? Всю нынешнюю эмигрантскую травлю кто же подтолкнул, если не Сахаров, ещё весной 1974? Кто ж присочинил моему «Письму» «православную хорошо оплачиваемую молодёжь»? Чью же мысль о «мягких идеологах и беспощадных исполнителях» выносит теперь эпитафией Чалидзе, уже на английском языке, подуськивая всеамериканскую печать?

Казалось бы, сколько объединяет нас с Сахаровым\*: ровесники, в одной стране; одновременно и бескомпромиссно встали против господствующей системы, вели одновременные бои и одновременно поносились улюлюкающей прессой; и оба звали не к революции, а к реформам.

А разделила нас — Россия.

## Глава 7

### ТАРАКАНЬЯ РАТЬ

К 1979 я носил в себе замысел «Красного Колеса» 42 года, а непрерывно работал над ним — уже 10 лет. И все-все эти годы собирал — когда в бумаге, когда лишь в одной памяти — эпизоды, случаи, факты, хронологию, доступные материалы, соображения, оценки, мысли. Думаю: без системной методичности, природной мне по характеру, и без математического воспитания ума — работы этой мне бы не совершить. (Да — и кому?) И уже третий год я писал 1-ю редакцию «Марта Семнадцатого», то есть вступил собственно в Революцию, и во все трудности и особенности, связанные с революционным материалом. (Тем досадней, отвлекательней был осенью 1978 вынужденный трёхмесячный отрыв на «Зёрнышко», подтолкнутый гебистской пачкотнёй Ржезача. Возврат от современности — и к Семнадцатому году дался не без усилия.)

Сбор материалов для исторической Эпопеи — работа, которой есть ли границы? есть ли конец? Десятилетия для него и нужны, не меньше. А сбор народного типажа — фотографии, рисунки или словесные описания наружностей, одежд, манеры держаться, говорить — солдат, крестьян, фабричных рабочих, офицеров, штатских интеллигентов, священства? По долгим поискам, случайным крохам накаплиется, накапливается — чтоб, например, единожды изобразить живое, шумное многосолдатское сборище. Объём заготовленного, изученного материала относится к объёму окончательного авторского текста — иногда стократно, а уж двадцатикратно — запросто и сплошь.

Очень важно, и бывает трудно: определить, в какой момент пресечь поступление какого-то вида материалов, ибо уже грозит разбуханием и развалом общей конструкции, — ведь, теоретически говоря, материалы безграничны. Верным признаком тут служит учащение колебаний: брать — или не брать? Когда зарябила, запестрела граница обязательного и необязательного — вот и признак.

В моём случае — величайшую подмогу оказали *старики* — вот те старые эмигранты революционных лет. Они одарили меня и эпизодами — и самим Духом Времени, который только и передадут «не-исторические», рядовые люди. В моём просторном кабинете, всегда худо натопленном зимой, сколько, сколько вечеров я согревался над их воспоминаниями. Каждый такой вечер был для меня освежающая встреча с современниками событий — «моими» современниками по душе, живыми персонажами моего повествования. По вече-

---

\* Об А. Д. Сахарове ещё далее: в Части Третьей и в Части Четвёртой

рам они укрепляли меня к завтрашней работе. Над листами светила настольная лампа, а весь тёмный простор высоченного кабинета был как наполнен — живой, сочувственной, дружественной толпой этих «белогвардейцев». Вот уж, одинок я не бывал ни минуты.

Я чувствовал себя — мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую, — мостом, по которому, через всю пропасть советских лет, перетаскивается тяжело груженный обоз Истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего.

Но и не выйдет: сперва все возможные материалы отобрать, прочесть, изучить — а лишь потом сесть и уже подряд писать эпопею. Нет, то и другое — перемежается, требовательно расчищая себе место. А поэтому бывают и ошибки: только что прочтённый свежий материал пробивается в строчки, может быть, имея прав меньше другого, залежавшегося. Но бывает и такое счастливое состояние полной включённости в суть, в синтетический охват всей темы, что нужные эпизоды, факты, выписки — как горящими буквами написанные в мозгу — сами врезаются в место, не требуя перебора, поисков. Удачи сами начинают выскакивать на помощь из делаемого дела. В иной же день работа кажется застрявшей безнадежно, — но вслед посылается тревожная ночь, — с просыпаниями, с короткими записями при ручном фонарике, чтобы не проснуться бесповоротно, — и тут-то выныривают из бессознательного мысли, не доступные тебе днём, провиживаются самое тебе необходимое. Утром разберёшь свои корявые записи-недописи — ба! да всё нашлось!

А ещё же бывают прямые — и даже сотрясательные — сны с моими персонажами. Трижды, в разное время, зримо, осязаемо снился мне Николай II. Когда я только пришёл к намерению писать его, в конце 1976, — будто мы сидим с ним рядом в зрительских креслах пустого театрального зала, без спектакля, занавес закрыт, — и о чём-то беседуем. Близко, резко вижу его лицо — и в красках. — Позже, вот, в разгар «Марта»: беседуем с ним то о внешней политике России (он говорит мягко и с интересом к предмету), то о наследовании трона, — и он печально качает головой, что Алексей — нет, не мог бы царствовать. — Так же видел я раз и Александра II, когда занимался либералами. — В разное время снились мне генерал Алексеев, Гучков, а то даже и Троцкий, с разными сюжетами, — да как этому не случаться, если я часами сиживал перед их изображениями, вдумываясь, вживаясь. Они становились мне самыми современнейшими современниками, я с ними и жила повседневно неделями и месяцами, а многих и просто любил, пока писал их главы. А как может быть иначе? С лёгкостью, даже только по верхам своего жизненного опыта, мы можем провести через повесть-роман одного, двух, трёх героев — но каково провести полтора человека? с равной ответственностью перед Пальчинским, Шляпниковым, Козьмою Гвоздевым, унтером Кирпичниковым, великими князьями Николаем Николаевичем, Михаилом Александровичем, генералами Корниловым, Крымовым или Родзянкой? (Как я узнал этого излюбленного думского «Самовара» по его смерти! Только так и мог он умереть: разрыв сердца от *радости*: в Сербии ошибочно сообщили ему о падении советской власти...)

И именно исторические лица вместо вымышленных всё властей заполняли книгу, — кто определённо в трагической тональности, кто напрашивался на юмористический тон, но через всех них прослушивался, отстукивал пульс Революции.

И рядом с этими — всей душою втянутыми, пережитыми, как хорошие знакомые, историческими лицами — уже ни я, ни читатель не так-то и нуждались в обилии персонажей вымышленных: достоверность живого бытия уже была почти утверждена и без них — хоть и в простых рядовых из толпы, тоже подлинно бывших.

Малое литературное произведение естественно зарождается с цельного, объёмного замысла. Крупная историческая эпопея не может начаться иначе как с восстановления скелета событий. Лишь её полнота может обеспечить

затем *доказательность* повествования, убедительность достигнутого исторического выяснения — хотя от этой-то полноты повествованию грозит большая объёмность и перегрузка. А не ставя себе такой цели — автору доступно отдаться лишь безответственной игре воображения. (Я-то первые годы работы размахнулся собирать материалы на все двадцать Узлов, до 1922 года, — позже понял, что та работа мне не пригодится.)

Но уже в высветлении, прощупывании этой исторической основы — рождаются попытки писательского осмысления всех осколков и связей между ними. («Потом» таких попыток тоже не наверстаешь.) Это и есть — 1-я редакция. После неё, кажется, повествование уже и лежит перед тобой — и нет его ещё. Тут — начинается 2-я редакция Узла (каждую работу я делал лишь по отдельным Узлам), где достигается *упругость* и проступают сотни внутренних связей повествования, никак не прогляженных и не доступных при собирании и высвете первичного материала.

Переход от 1-й редакции ко 2-й — иногда, при огромности материала, даётся трудно, он требует какого-то внутреннего обновления, подъёма в это полётное состояние. Так весной 1979, над огромным четырёхтомным «Мартом», я испытал внутренний кризис, остановку. Но принуждать себя не нужно: в негаданный момент оживление чувств происходит само, внезапно, — и повлекло, повлекло. В ходе той решающей редакции сами собой возникнут, вспыхнут, напишутся и сами для себя разыщут место ещё десятки необходимых глав. Вот тут: чем меньше плана, тем легче отдаться свободному сердечному течению.

После 2-й редакции книга уже существует, даже если смерть прервёт твоё перо. Но на самом деле впереди ещё много работы, и самой тонкой: тебе ещё самому предстоит открыть заложенную в этих событиях гармонию, красоту, а то и величавость, и символичность, — и помочь же им выявиться! А сколько ещё других детальных и тонких забот возникает — например, по особому укреплению *краёв* (тома, Узла), — условие, так понятное каждому строителю. На всё то идут 3-я и 4-я редакции, со многим ещё перебеливанием глав. Это — как с детьми: чем взрослей они вырастают — тем тоньше и взыскательней заботы о них.

В создании крупного произведения важная роль достаётся правильно угаданному соотношению работ по связям горизонтальным (тот же персонаж, та же общинка, та же тема, как они протягиваются через весь Узел) и вертикальным (как следуют и как стыкуются главы по ходу часов и дней). И те и другие — важны, и справедливо зовут к себе, — но даже авторскому взгляду они не сразу просматриваются и требуют терпеливого к себе внимания. Каждая из этих сюжетных перекидных цепочек по горизонтали — должна быть углажена, отработана автором — и какими-то знаками, метками облегчить и читателю различение, вспоминанье их, несмотря на огромность объёма. Сочетание горизонтальной и вертикальной проработки — из трудных орешков. (Да так — и в каменной кладке этажей.) Во 2-й редакции преобладает, тянет к себе горизонтальная: чтобы войдя в мир персонажа — дольше не расставаться с ним.

Трудней того вести горизонтали по общественным сплоткам (Временное правительство, Думский комитет, Ставка, штабы фронтов, Исполнительный комитет Совета депутатов, большевицкая верхушка) — ибо их взаимовлияния сильно переплетены (математически это назвать: «пучок горизонталей») и ни одну не протянешь порознь: от малых движений того же несмышлёного Родзянки так многое отдаётся на действия других, пока он не потеряет все сцепления и уйдёт в безвлиятельность. Приходится то и дело сочетать протяжку по горизонталям со сверкой по вертикалям: пишешь одну главу, а просматриваешь по смежности ещё дюжину. Напротив, дробные эпизоды февральских дней в Петрограде почти не имеют, не требуют никакой себе горизонтали, и сразу пишутся по вертикали своего дня.

А стыки глав по вертикали, то есть в череде их следования, становятся ещё добавочным рычагом впечатления: это как бы — дополнительный, нена-

писанный, без единой своей строчки кусок текста, который — контрастным сопоставлением или поточным сочленением — углубляет смысл. *Стык* — может дать и такое, чего не выразишь никаким текстом. (Особенно резко стыки работают при передаче бурной революционной обстановки. С её успокоением роль стыков ослабляется, и даже так укладываешь главы, чтоб от читателя меньше требовались рывки переноса.)

По общей протяжности работы бывает так, что иная написанная, но ещё не dokonченная глава лежит без перечёта года три, а то и все пять, — зато же и приступаешь к ней вновь уже душевно выросший, обогащённый, и тем видней необходимые исправления, которых не различал раньше. Надо, надо, чтобы произведение крупное — и зрело же в авторе долго. Так и «Август Четырнадцатого» со всем столыпинским циклом закончен в 1977 — а я всё медлил с его выпуском, только весной 1981 мы с Алей приступили к его набору. Этот замедленный, медлительный, не без торжественности, спуск корабля на воду — органичен для его дальнейшего хода в простор, а ты от него — отчуждаешься. Но, так чувствую, что и мне органично, природно дано ощущать динамические возможности Эпопеи, и её величавую красоту. Не случайно меня ещё с юности потянуло на такую Тему.

Огромный размер Эпопеи настойчиво побуждает автора и к уплотнению в форме глав *обзорных*. Они составляются только из реальных исторических событий, действий исторических лиц и, порой, выразительных цитат из них. В иных случаях такие главы помогают лучше охватить военную или революционную обстановку, в других — сгущённо воспринять общественный феномен. Но авторское изложение при этом не лишается художественной складки, отчего уярчается восприятие куска истории, он притягивает к себе и читательские чувства. (Однако же, в какой-то мере, становится не свободен и от чувств автора.)

Исключительно эффективно, впечатлительно и доказательно — использование выдержек из газет того дня, той недели, — нестираемая, неопровержимая печать общественных настроений, к тому ж богатая фактической информацией. (А когда информация содержит волевою ошибку или преднамеренную ложь — то тем характерней для воздуха эпохи. Газеты — тою живостью отличаются от мемуаристов, что: не знают, что́ будет завтра.) Связанные с точной датой, газетные строки гвоздят нас нестираемыми подробностями событий; для читателя иные бывают лишь повтором, закреплением, либо первым сообщением факта, — но и всегда же окрашены газетными характеристиками, а очень часто питают у читателя чувство юмора, местами обильного: опрометчивые газетчики сами не ощущают, как смешно то, что они пишут. За автором сохраняется — группировка газетных сообщений, их последовательность; она, особенно стыками, даёт ещё охапки настроений, выстраивает целую газетную симфонию.

Обзоры газетные вносят ещё тот плюс, что читатель побуждается к своей собственной активной работе над первичным материалом.

Эта же активность читателя обеспечена и в главах *фрагментных* — сборе живых эпизодов на тему (столица, провинция, железные дороги, армия, деревня), где снова же группировка фрагментов создаёт четвёртое измерение — стыков, сопоставлений. Много таких фрагментов я почерпнул от стариков-воспоминателей, они очень ярко, напряжённо передают осколки эпохи.

Разноречия мыслей выпукло передаются в безличных групповых или массовых диалогах, обсуждениях. А иные общественные сцены послефевральских недель — сами напрашиваются в юмор, если не в хохот.

Отдельно, между глав, крупным шрифтом приводимые *пословицы* призваны выразить народные суждения о только что услышанном (прочтённом) в главе. При удаче — они тоже открывают восприятию добавочное измерение. Иногда — бросают луч и на главу последующую.

Наконец: трудно обозримый объём эпопеи настоятельно требует приводить в конце каждого тома краткое содержание глав (в этом приёме — и тра-

диционная старинность). Помочь найти нужное место тому, кто эту книгу уже читал, а кто не читал — составить какое-то не протокольное впечатление. Эта задача потребовала создать как бы ещё один поджанр. Отчётливо выделяя главные имена и факты — такое содержание не должно быть скучно-перечислительным. Напоминательные маячки для читателя могут содержать в себе эмоциональные полужазы или давать событию такой отсвет, ракурс, какой не был явно выражен в главном тексте, — дополнить его по некой новой ассоциации.

Дивная эта цельность — многомесячной, многолетней работы над глыбой. Никогда не хватает дня. Пересаживаюсь от стола к столу, от рукописи — к раскладкам, и никогда не покидает радостное чувство, что делаю главное дело своей жизни. (Аля, когда б ни вошла, застаёт меня всегда упоённым, счастливым.)

Как бы ни был труден обычный рабочий день — после него всегда ровное, спокойное состояние.

И вот живёшь этой полной жизнью неделями, месяцами, годами — так хочется устраниваться ото всяких внешних столкновений, только бы никто не мешал! Но тут-то и наваливаются — гамузом, кишмя. Увы, вся эта работа моя — год за годом шла под растущий, назойливо визжащий внешний аккомпанемент. Недоброжелатели не утихали, напротив: сочли, что самое время — пришло.

---

Весной 1980 вышло в свет англо-американское издание «Телёнка» — с опозданием в четыре года ото всех других языков, зато в превосходном переводе Гарри Виллетса. Сам я уже восемь лет на Западе — а второго такого английского переводчика по уровню не нашёл. А он и вообще переводит медленно (да и должно быть так, для качества), и здоровье его и близких отягощено эти годы. И вот на самый распространённый язык мира мои книги попадают позже всего.

Однако кому надо, кто за мной слеживает, выжидает, — уже давно прочли «Телёнка» по-русски, — и уже подстораживали выход по-английски. И вот когда открылась им замечательная возможность — с быстротою переползть по мне, где куснуть, где съязвить, где измарать, и во всех случаях громко заявить о самих себе.

Первый и первейший, обгоняя публикацию «Телёнка» в Штатах, поспешил отметить мой когда-то самоявленный биограф Файфер, тогда ссаженный мною из седла. Теперь ото всей обиженной группы Бурга, Беттела, Зильберберга и от общей лево-либеральной страсти, отлично попадая в её поток, Файфер извергся статьёй в литературном журнале «Харперс». Уже поняв, что обо мне в Америке можно печатать любую клевету и как угодно ругаться, Файфер своей статьёй давал ещё новый к тому импульс, вырабатывал клише для газет: реакционер и фанатик, Солженицын расчётливо пользуется ложью и лицемерием наряду с мессианским морализированием. Якобы: вернулся в «Новый мир» к новым ставленникам власти, чтобы только печататься. (Вот уж небылятина, она пошла от фальшивого намёка Лакшина. Как бы и где я мог печататься вообще в СССР после 1970, отверженный всей советской властью? в чём я «вернулся», если и новомирского порога после Твардовского не переступал? Но американским читателям того никак не проверить, не узнать, — пиши, а там прилипнет.) Дальше хлёбово ещё горячее: Солженицын не изменил складу ума верующего коммуниста. Близок к Ленину по фундаментальным политическим и социальным вопросам. Лицемерие гарвардской проповеди. Принял черты тирании, с которой борется. Подобные качества породят новую диктатуру. Эта угроза окажется в будущем больше сегодняшней военной угрозы СССР! (И откуда у них эта дурь о моём будущем тиранстве? — сижу на месте, пишу книги, не езжу создавать ни союзы, ни блоки, ни конференции.)

Над статьёй Файфера я понял, что уже вполне «воспитан» американскими левыми журналистами, уже обвыкся, что будут струить в меня потоки помоев, — уже перестаю и замечать. «Критика» перешла далеко все границы, когда стоит возражать и даже читать её. В чужой стране, к которой не испытываешь нежности и чьей «элиты» мнение не ставишь высоко, — все эти клеветы становятся безразличны. Бороться за своё имя в Америке я не буду: ещё и на этом поле бороться — потеряешь и литературу, и Россию.

Да и на Россию Файфер, бывший хвалебщик советской колхозной системы, тут же проворно поворачивал. Русская жизнь — скотская ферма. Это был бы рай для крестьян, но они не проявят самоотверженной чистоты. (О таких суждениях русская пословица: где прошла свинья — там и почесалась.)

В целях фэйферовской статьи была и реклама лакшинской — вскоре выходящей в Соединённых Штатах уже в форме книги, тоже подгаданно к выходу «Телёнка». (Уже несколько лет тому, как статья Лакшина вышла во Франции, и должна была в Англии появиться давно, но издательство, кажется Кембриджского университета, не рискнуло публиковать, опасаясь многих бранных выражений Лакшина против меня: как бы я не подал в суд.) Воистину, Лакшин двух маток сосёт. Пишут о нём теперь американские журналы: «почитаемый как на Западе, так и на Востоке», «в немилости у властей» (ни дня без видного поста и весомой казённой зарплаты), «не имея возможности отвечать Солженицыну свободно» — он, вот, вольно печатается в американской прессе (без промаха зная, что против *литературного власовца, отщепенца* Солженицына советскому критику выступать похвально).

Эта фэйферовская статья отчётливо выразила (и помогла тиражировать дальше) уже созревшее в эмигрантской образованщине и охотно глозаемое американской: что «Солженицын хуже Брежнева, хуже Сталина, хуже Гитлера» — и уж конечно хуже неприкосновенного Ленина. С тех пор этот тон и утвердится в их прессе на годы. Своей запальчивой недоброжелательностью американская пресса как бы спешила ещё и ещё доубедить меня, что невозможен нам основательный союз с ними против коммунизма.

С пронзительным кличем к выходу в Штатах «Телёнка» выскочила, разумеется, Карлайл — перегнуть никем не читанную книгу. Но так как ещё один перемол собственных мемуаров уже не давал Карлайл нового убедительного, то она пустилась в интервью к историческим корням: о своём приёмном деде Чернове, лидере эсеров; о Ленине, который «не был такой убийца, как Сталин или Гитлер»; а главное её несогласие со мной — конечно же мой известный антисемитизм. Достоверное свидетельство человека, меня «знающего лично много лет», — лучшая спичка к стогу американской соломенной образованности.

Следующим предварением моей книги была установочная руководящая статья профессора Кохена в «Нью-Йорк таймс бук ревью». Тут — несколько ложных цитат. Несколько искажений, не обязательно намеренных, хотя невежественных (вроде того, что я, осуждённый новоэмигрантской литературой за поддержку «деревенщиков», именно будто я и отрицаю что-либо здоровое в нынешней советской литературе, и американский профессор теперь перечислял мне в назидание этих деревенщиков). Но главный состав обвинений уже подобран раньше, не им первым, Кохен просто конспектирует Лакшина: Солженицын отравлен опытом Гулага. (За 17 лет до того, после «Ивана Денисовича» уже упрекала меня советская критика и советские пропагандисты на закрытых лекциях: «заразился лагерной ненавистью». У них перенял Лакшин, от него американцы.) Недемократичный, недобрый, нетерпимый, неправдивый, неблагоприятный. Авторитарные взгляды, презрение к либеральной демократии. «Человек, который, по собственному признанию, лжёт своим друзьям» (это когда скрывал от Твардовского свои подпольные тайны). Готов жертвовать собственными детьми, «чтобы спасти ещё одну рукопись» (не отказываться от «Архипелага» даже при шантаже ГБ, но Кохен не поясняет). «Русские критики, кто знал обоих» (Лакшин), негодуют, что Твардовский в книге оклеветан. А Лакшин, мол, весьма убедительно оспаривает мемуары Солженицына.

Мой портрет написан Кохеном не так развязно, как Файфером, зато из-под его руки, и из самого модного издания, это клеймо станет теперь излюбленным. Представить меня чудовищем — в этом усилия американских образцованцев решительно совпали с усилиями советских.

Задача облегчалась тем, что в Штатах, из-за четырёхлетнего опоздания перевода, «Телёнок» появился не в ореоле моей шумной стычки с Драконом — а остывшим, и перед глазами, раздражёнными моей Гарвардской речью.

Кохен так и формулирует читателю как уже готовую поговорку: «Скажи мне, что ты думаешь о Солженицыне, и я скажу тебе, кто ты». А ведь — подмечено! От самого появления «Ивана Денисовича» я невольно служил как бы раскалывающим лучом. Сперва по мне делились на сталинистов и кто жаждал свободы. Потом (по «Августу», «Письму Патриарху») — на либералов с интернациональными чувствами и патриотов. Теперь в Америке — по сути, тоже делю.

Однако. Хотя радикальный орган и дал тон *своей* критике (да впрочем, есть ли в Америке литературная критика сверх зубоскалства газетных рецензий?) — но по всей Америке и она распалась всё так же поляризованно. Если судить по пачкам отзывов на «Телёнка», которые мне регулярно пересылало издательство, — положительных и нейтральных было всё же больше, чем отрицательных, но — цифры сравнимые. Всё же — резкая враждебность была громче, решительней, и в газетах-журналах крупных. (Тон английских газет был и приличней, и чаще доброжелательный.)

Некоторые копировали Кохена так-таки слитно, одним руководительным абзацем: «Теперь мы знаем Солженицына как человека, лгавшего своим друзьям, отказавшегося оплакивать смерть старой женщины, игнорирующего судьбу советских диссидентов и решившего пожертвовать жизнью своих детей ради одной рукописи». Так и лепили кряду в единой фразе: «лживый, коварный, лицемерный, жестокий, мстительный... эта книга — разоблачение его личности».

В нынешней журналистике, в политике совершенно забыли, понятия не имеют, но даже и в литературе утеряно, что значит говорить о своих ошибках, промахах, а тем более пороках, — так не делает у них теперь никто и никогда. Оттого они ошеломлены моими признаниями в «Архипелаге» и в «Телёнке» — и вывод их только такого уровня: вот, открылись нам его пороки (а мы — насколько, оказывается, лучше его)! И ведущие во всякой травле газеты, как «Нью-Йорк таймс» и «Крисчен сайенс монитор», накидываются остервенело.

Заносчивый, безжалостный. Вероломство, хвастовство. Злословие, святошество. Его природе чуждо раскаяние. Мания величия, нападки фанатика. Невротические прелести помрачённой психики. Его психика глубоко затронута. Шизофрения. Паранойя.

Какой смык с Советами!.. Когда выгодно использовать клевету, чем эти две мировые силы, коммунизм и демократия, так уж друг от друга отличаются? Переброшенный в свободную Америку, с её цветущим, как я думал, разнообразием мнений, никак не мог я ожидать, что именно здесь буду обложен тупой и дремучей клеветой — не слабее советской! Но советской прессе хоть никто не верит, а здешней верят, — и ни один западный журналист и почти ни один «славист» не взял на себя честный труд поискать, найти: ну где-либо у меня подобное написано? сказано? а есть ли хоть гран правды в том?

Читаю рецензии дальше. — Теперь, с опубликованием «Телёнка», трудно его [Солженицына] любить. Его невозможно любить. Всё занят своим [судьбой «Архипелага»]. Запугивал честных и умных людей. Проявляет ханжеское презрение к диссидентам. Запас презрения у него неисчерпаем («поношение» братьев Медведевых и Чалидзе). В изгнании оказался неблагодарным гостем: критикует страны, давшие ему возможность говорить. (Нет, надо только льстить им.) Нападает на приютившую его страну и на руководителей своей прежней страны. (Особенно обидно за тех барашков, за брежневских старцев!) Стремится не к уничтожению Гулага, а только — посадить туда других. Жаждающий власти. Реакционная сила. Следует примеру Ленина. Великий русский аятолла. — Левойший «Нью лидер»: «Часть вины — на нашем правительстве,



которое так некритически приняло Солженицына в свои объятия». — Но, может быть, всех превзошёл Макс Гельтман в еврейском журнале «Мидстрим»: «Он посвящает страницы своей полной родословной... поименовав всех Солженицыных, — все крестьяне, до того, что коровьим навозом почти замараны страницы...»

Ещё в январе 1964 сказал мне Твардовский (записано): «Огромный заряд ненависти против вас». Это за первый только год, как обо мне узнали вообще! Но вот — лишь теперь я это во плоти ощутил, — и шире, чем Твардовский тогда думал.

Я написал, что в разгоне на меня американцы смыкаются с Советами? Но даже и нет. В советской прессе меня травили догматическими мёртвыми формулами, совершенно не задевающими лично, в них была машинность безо всякого личного чувства ко мне. А, скажем, обсуждение «Ракового корпуса» в московской писательской организации — так просто был образец терпимости, даже у неприязненных ораторов. Да даже в распале боя на секретариате СП меня не поносили с такой жёлчью, с такой личной страстной ненавистью, как, вот, американская образованная элита.

По-немецки: беда, бедствие, жалкое состояние — и чужбина — охватываются единым словом: *das Elend*.

Что ж, западная пресса меня когда-то превознесла — имеет право и развенчать. По русской пословице: на чужой стороне три года чёртом прослывёшь. У меня немного не так: сперва я перенёсся к ним как бы ангелом, но тут они быстро прозрели, и теперь уже чёртом я останусь до самого конца, не три года: Солженицын — пугало, Солженицын — вождь Правого крыла. Да тот же «Мидстрим» со всей серьёзностью и предупреждает: «Вождь с усохшим фанатизмом мирского аятолы, хотя и более талантливый, а потому более опасный, потребует [от нас] выдержанной и длительной борьбы». (Борьбы! — заруби на носу.)

(А я-то в 1973 кончал Третье Дополнение к «Телёнку» с распалённой увереностью, что «смерть моя отпрыгнётся» советским властям, «не позавидуешь». Да несколько бы и не отпрыгнулась: Запад вскоре же бы меня забыл и смерть мою простил.)

Да и как писателя — понимали тут меня когда-нибудь? Ну, до сих пор были плохи переводы моих книг, — но вот же самый отличный перевод! Ничего не увидели. Ни одного суждения в уровень с предметом.

Но рядом с потоком записных «колумнистов» (журналистов, плодящих сотни одинаковых статей, сразу по шири американской прессы) изредка прорывались и письма читателей — и они-то увидели в «Телёнке» другое. Так, Томас Уолтерс из университета Северной Каролины: «Если писателю когда-либо приходилось искать родину в самом себе — так это Солженицын».

Конечно, надо сделать ту поправку, что колумнистам невообразима истинная обстановка в Советском Союзе и температура тамошней борьбы. Ведь они такой борьбы никогда не испытали, им не вообразить, что она бывает горячей и быстрее военной. Им не узнать, что с меньшей устремлённостью и не пробить бетонной стены. Американская публика беспечно не ведает силы и беспощадности того врага. Надо было мне пережить этот поединок с Драконом, чтобы через 10 лет в стране легкопёрых журналистов услышать упрёки, что я дрался против ГБ неблагоордно!

Но и те из них, кто был в Советском Союзе и мог бы что-то усвоить, — не усвоили. К навирным речам присоединил свою рецензию и знакомый нам Роберт Кайзер. Он кроме того искусился выступить как «личный свидетель»: и как моя книга односторонняя, но и более: «в важных отношениях книга просто *нечестна*, о чём я могу из первых рук свидетельствовать». И какие ж это «важные отношения»? А вот. В «Телёнке» написано: «Американские корреспонденты [Кайзер и Смит] пришли ко мне без телефонного звонка» (то есть, по тексту ясно: чтобы ГБ из телефона не знало об интервью заранее, и тем более дня и часа его). И этот человек, ведь поживший под московским надзором, теперь притворяется непонима-

ющим: «Выходит дело, мы просто зашли к нему, когда на самом деле мы пришли после сложной подготовки. Он планировал это интервью по крайней мере два месяца, что, по-видимому, хочет скрыть в своих мемуарах». (Но что видно каждому, кто прочёл это место в «Телёнке» открытыми глазами.) А раз одно такое искажение, то — «я опасаясь, что и многие эпизоды в книге искажены, чтобы служить полемическим целям Солженицына».

Тут я (впрочем, с опозданием в год, лишь когда прочёл) не удержался, написал Кайзеру письмо: зачем уж такая личная недобросовестность? А что ж, был телефонный звонок? — ведь не было. Неужели ж Кайзеру не ясно, что речь идёт только о *предохранении от КГБ*? Если это не заведомая недобросовестность — прошу публично и в тех же газетах исправиться. (Уж не стал ему пенять ещё: в 1977 в «Вашингтон пост» он самовольно приписал мне, да в кавычках, как цитату, восхищение президентом Картером, которого я никогда не выражал. Этика американского журналиста? — надо сделать приятное новому демократическому президенту?)

Но разве они умеют исправляться, извиняться? Разве крупный американский журналист чтит себя чем-нибудь меньше, чем апостол Павел? Кайзер ответил: «Я согласен, ни один факт в вашем отчёте не неправилен. Но что я написал в рецензии — это то, во что я верю. Я должен остаться верен своим убеждениям и не вижу причин извиняться».

Итак, оставайтесь, читатели, при «живом свидетельстве», что «книга во многих отношениях нечестна»... И в руках таких созерцателей, гостящих в Москве, — судьбы тех, кто поднимается против всесильной власти!

И уж скажешь: зачем было «Телёнка» издавать в Штатах? Обошлись бы они без него, а мы без них.

Однако, сколько бы ни было искажений в этом злом налёте — а не может быть, чтобы совсем без правды? Что-то они увидели со стороны, какая-то правда да есть, отчего б на ней не поучиться?

Вот, читаю: «Описывает Твардовского с циничной неблагодарностью». — И хором: жесток к Твардовскому!

Очунаюсь: да может, эта пустоголосица в чём-то и наставительна? Жесток? Да, повороты жестокости были: скрывался от А. Т. порою сам, почти всегда скрывал свои предпологаемые удары. Жестоко — но как было биться иначе? Лишь чуть расслабься в чём одном, даже малом, — и бок открыт, и бой проигран. Однако: рисовал я Твардовского в «Телёнке» с чистым и расположенным сердцем, и оттуда никак нельзя вынести дурно о нём.

Вот пишут: «Жажда отмщения [за жертвы Гулага], всегда жившая в Солженицыне, затмила в его трудах всякое различие между политикой и литературой». «Всякое» уж не всякое, но отчасти и затмила, да. Эта непомерная доля политики в литературе — надо бы от неё к старости освободиться.

Или вот: «неблагодарен к друзьям». Они-то не читали «Невидимок» и друзей моих истинных не знают, они зачислят ко мне в друзья Чалидзе и братьев Медведевых, — но я прочитываю: какое ни обезумие боя было и какая ни гонка конспиративного писания — а должен был я искать силы души и время, чтобы смягчать наши крутые повороты для моих друзей и тайных сотрудников. Мог бы быть я позаботливей к ним. Да, отдаюсь борьбе настолько, что забываю смягчить, где и надо бы. (К Александру Яшину в больницу — ведь опоздал...) И как бы — к концу жизни помягчить и уравновесить что-то в прошлом, и всё в будущем?

А пожалуй, наиболее единодушно поражалась и возмущалась американская критика: как это я могу быть так уверен в своей правоте? Ведь известно, что для всяких мнений о всяком деле может существовать лишь равновесие, текучий плюрализм, «фифти-фифти», — и никто не владеет истиной, да и быть её в природе не может, все идеи имеют равные права! А раз у меня такая уверенность — так значит воображает себя мессией.

Тут — прѣпастный разрыв между мирочувствием западного Просвещения и мирочувством христианским. А по-нашему, а по-моему: убеждённость человека, что он нашёл правоту, — нормальное человеческое состояние. Да без него — как же можно действовать? Напротив, это болезненное состояние ми-

ра: потерять ориентиры, что и зачем делается. Сознание, что жизнью своей служишь воле Бога, — здоровое сознание всякого человека, понимающего Бога простым, отнюдь не гордостным сердцем.

Но не только личным ошельмованием проявилась американская критика к «Телёнку», всё же иногда она вспоминала, что считается «литературной». Так вот. Книга — бессвязна. Политический дневник. Мало нового. Ему, по-видимому, нечего больше сказать, а мы не заинтересованы получить от него дальнейшие сказания. Атавистический лексикон. Гибридная проза.

В лужу глядеться — на себя не походить.

На этом пути впредь и надо ждать главных усилий эмигрантско-американской образованщины: доказать, что я мелкий писатель, — это был морок, что приняли за крупного. Образованщине не снести, что появился крупный писатель — а не из её рядов, не с её направлением мозгов. И уж как кинулись перебирать, искать мне «антипода», сколько в разных местах поковырено: то — «антипод Солженицына Зиновьев», то — «антипод Гроссман», то — «антипод Синявский», то «антипод Бродский», то даже — Копелев «антипод», и это ещё не всё.

На Старой Площади тоже ведь рыскали найти мне «антипода» в советской литературе — да так и не нашли.

Но от враждебности ко мне американской прессы я не страдаю — потому что не нуждаюсь в ней печататься, через неё обращаться. Впрочем, и нельзя сказать, чтобы я нисколько не повлиял на Америку за эти годы. Ещё в 1975 и в 1978 мои слова звучали тут дерзким вызовом и «Голос Америки» цензуровал меня, чтобы эти ужасные слова не попали в русские уши, — а вот стал Рейган у власти, и сам цитирует меня иногда; за ним и государственные лица (или даже, совсем бесстыдно, и обернувшиеся журналисты) повторяют меня тогдашнего почти и дословно.

Так теперь-то мне и выступать? — Нет, теперь, когда исправляется их позорная уступчивость против коммунизма, — теперь необходимость в моих речах и отпала.

Слава Богу, при накопленном жизненном материале не нуждаешься окунаться в среду, куда случайно заброшен. И не в газетном информационном потоке живёт писатель, совсем на других глубинах, не нуждается заглатывать эту избыточную шелуху. Только слежу по радио за мировыми событиями, да какая газетная вырезка особенно нужна — ту обычно мне присылают.

А всё ж иногда и взбленишься. В июле 1980 прислали мне статейку из «Крисчен сайенс монитор» («Обозреватель христианской науки») — ядовитой лево-либеральной газеты, из самых влиятельных в Штатах; бостонская, тут по соседству, когда-то просила у меня обстоятельное интервью, я не дал. Теперь там некий Харлоу Робинсон под заголовком: «Солженицын — пронзительно» (или «назойливо», — орёт, значит) печатает: «Солженицын сказал в последнем интервью, что он точно бы возвратился в Россию, *предпочтительно как национальный политический лидер*». Ну, что за мерзавцы? Уж гавкают на меня, как хотят, — чёрт с вами, гавкайте. Но — *сказал*», наглость какова! И не говорил, и в мыслях такого нет. Итак, что делать? Отвлекаться, писать опровержение: «Ваша высоко интеллектуальная газета имеет полное право не знать русской истории и не понимать условий советской жизни, — (это — об остальной их статье), — но не имеет права печатать ложь... Прошу напечатать моё письмо, а от автора жду публичного извинения».

А не напечатают? — не буду ж я с ними судиться, суд — вообще не дело человека, тем более — писателя. Так и присохнет.

Прошло три недели — молчат. Нет угомону, снова писать: «...Должен ли я заключить, что вы отказываетесь поместить моё опровержение — и я свободен в других мерах общественного опубликования об этой подделке?» (На самом деле — ну конечно ничего не буду, нет сил этим заниматься.) Ответ главного редактора! — ах, я к сожалению был на вакациях, когда пришло ваше первое письмо... Мы безуспешно связывались с мистером Робинсоном, чтобы получить от него желаемый комментарий. (Они сами — не могут проверить, что в интервью в «Нью-Йорк таймс» не было ни таких моих, ни хотя бы подобных слов...) Наконец

ещё через месяц печатают моё письмо в отделе «читатели пишут», тут — и реплика Робинсона: *«предпочтительно как национальный политический лидер»* — была его [Робинсона] собственная дополнительная интерпретация, и он сожалеет.

И весь эпизод не стоит растёртого плевка — и на это надо тратить время и внимание. А разве по всей необъятной мировой печати угонишься? будешь опровергать? — Тысячережая газетная ложь.

И вот — масштабы. Мелкая эта дрянца закончилась 8 сентября. А 11-го днём сижу, как всегда, у себя за столиком, под берёзами, близ пруда. Свой участок, огороженный сеточным забором, под два метра. Никого со стороны никогда не бывало, и свои-то не ближе ста метров, на горе, а тут — только бурндуки бегают. В этом уединении которое лето пишу, с рассвобождённой душой. Дует ровный ветерок, скрадьвающий шорохи. Глаза — в бумагу, ничего не слышу и ничего не вбираю косым зрением. И лишь случайно подняв глаза — вижу в полутора метрах от своей головы, на приподнятой тропе, — проходящего мимо рыжего пышного сильного зверя. Такая крупная собака? чья? и так беззвучно? Поворачиваю голову по ходу — и вижу за стволами берёз уже прошедшего мимо меня переднего волка: теперь он оглянулся на заднего и скалит зубы длинной морды: что, мол, отстаёшь? теперь и полностью заднего вижу: прошёл, догоняет того. Ушли.

Я — ничего не успел ни сообразить, ни приготовиться, да даже и палки не было рядом. Волки прошли спокойно и совершенно беззвучно, нашей обычной хоженной тропой по участку, а стол мой — во впадине, так что прошли они ближе двух метров, на уровне моих плеч, и ничто не мешало любому из них прыгнуть к моему горлу. Бог пронёс? сыты были? (Сосед говорит: в нашей округе не живут, это из Канады идут, вслед за голодными лосями; и по местному радио было.)

Сижу и опоминаюсь: вот хорош бы был мой конец (и день в день с провалом архива 11 сентября 1965): съели волки! у себя же на участке за письменным столом. Никто ещё из русских писателей так жалко не кончал. Ликование и хохот врагов. Недописанный «Март», разгрызенная жизнь ещё в полных силах.

А какие опасности проходил!.. Так вот не знаешь, что тебя где ждёт. Не угонешь, где утонешь.

Первые дни стал таскать, прислонять к письменному столу охотничье ружьё. И кому из малышей предстояло спускаться ко мне со страничками от мамы — должен был кричать с горы: «Папа! я иду!!» — и я выходил к нему на встречу.

Но волки не появлялись больше.

А местечко это — я как любил! От моего врытого стола, тесно окружённого пятью стволами берёз, сидишь, как в беседке, — в одну сторону, повыше — площадку у домка, гладко выложенная плитчатыми камнями разной формы (детишки играют: вот — Австралия, вот — Гренландия), и по этим плитам можно быстро размяться, погонять вперёд-назад, у самого пруда. В жаркие дни по несколько раз тут же в пруд и окунался. А в другую сторону, куда пошли те волки, — единственная на всём нашем участке поляна, шагов на полтора, и единственный распахнутый вид на небо, куда и водил я сыновей учить созвездиям. А в летние ночи лунные, и если бессонница, то от прудового домика порой медленно брожу по этой поляне, по колону трава, заглядываюсь на высоченные тополя, через сетчатые же бездействующие ворота — на проезжую пустынную дорогу, и по-за ней — такой же отчётливый безмолвный лунный мир, только звучат переливы от соединившихся трёх ручьёв — тут, рядом, в тёмном приглубке. Мир — наш, земной, а вместе — и какой-то инопланетный. И — зачем я здесь? и — надолго ли?.. Всегда чувствую: нет, я тут временный. А от этого — ещё бреннее, чем и всякому человеку на Земле.

При рыжих волках как не вспомнить и волков красных? Уж они-то как верно могли перелезть и перегрызть ещё раньше. Что там они?

Да по широкой поверхности — всё та же омрачительно-одурительная советская пропаганда, невозможно брать в руки их печатное. Красный фронт продолжает крепко стоять. А я, в отдалении, перестал на нём действовать — и все эти годы, после книжки Ржезача, их как будто не ощущал. Смутно слышал: то какой-то двухтомный пасквильный «роман» издан про меня в ГДР, то какая-то книжечка цекистского профессора Н. Яковлева. Настолько не было мне надобности за ними следить, что лишь этой весной, 1982, разбирая архив вот к этому продолжению Очерков, обнаруживаю сообщение Би-би-си ещё в марте 1976, когда я ездил по Испании, а потом сразу в Калифорнию, бумажки складывались без меня, я к ним не возвращался; и вот теперь с 6-летним опозданием узнаю, что в марте 1976 «Литературная газета» печатала против меня большую статью «Без царя в голове» — и уже там был весь этот наворот: что мой дед, мужик Семён Солженицын, был некий крупный феодал, известный в округе своей жестокостью, и с фантастическими владениями в 15 тысяч гектаров, — тем не менее один его сын почему-то грабил на дорогах с помощью аркана, кастета и кляпа, а другой его сын, мой отец (самых либеральных воззрений), не вынес падения монархии и кончил самоубийством. А я-то двумя годами позже сердился на Ржезача — а он всё это из «Литгазеты» и тяпнул.

Так же до сегодняшнего дня не листал я заказных нападок Н. Яковлева, ещё 1979. (Он и по-английски, оказывается, печатал книгу против меня, ещё другую, «Жизнь во лжи».) Душно и глупо там десятки раз повторяется, что я — марионетка и верный слуга ЦРУ (ещё с подсоветских лет), но не оправдал доверия и поэтому списан в резерв и помещён цеэрушниками в глухую изоляцию в штате Вермонт. Что «Архипелаг Гулаг» — «обобщение усилий государственных ведомств Соединённых Штатов». Обо мне, конечно: «Лакей Смердяков... Слеплен глянцем сапог немецких генералов... За его „нравственной революцией“ скрывается призыв к вооружённой борьбе с Советским государством». Но и: «человек с уголовной, преступной психологией» (какая умилительная близость к диагнозам Лакшина и Файфера о лагерной порче). «Исповедует тоталитаризм... Самодовольный фашист... Дайте только власть людям, описанным и воспетым Солженицыным, и польются потоки крови», — а это уже совершенно *точно* совпадает с обвинениями всей третьемигрантской, затем и американской ведущей прессы. (А «Солженицын-фашист» — буквально так инструктировали и в американском госдепартаменте, я уже упоминал.)

Нет, как ни отрекайтесь, но наша гуманистическая интеллигенция имеет с большевиками одни и те же, одни и те же корешки.

---

Соблазн превратиться в выставочную фигуру, в говоруна, я легко преодолел на Западе, ушёл в работу, никого не трогаю, но разве пресса неугомонная, скандальная — успокоится? Она — должна теревить. В апреле 1981 у наших ворот вдруг замечаем фотосъёмку: дежурят какие-то молодые люди и фотографируют, кто выезжает, въезжает. Журналисты? Аля идёт за ворота. Оказываются — фотографы из «Пари матч», желают «снимать мой образ жизни». — Аля убеждает их, что это невозможно: раз человек не хочет, нельзя ж снимать против его воли. — Но у них задание: очень давно не было вермонтских снимков Солженицына. — Ну, какие-то снимки у нас есть, пошлём в Париж нашему литературному представителю Дюрану, возьмёте у него. — Как будто согласились, уезжают. Прошло 4 месяца, «Пари матч» снарядил в Вермонт новую экспедицию, более наглую. Снова узнаём, что кто-то бродит вокруг, распрашивает, — но не придали значения. Катя, тёща моя, видит невдалеке, проезжая, всё стоящий чей-то автобусик — тоже не обращает внимания. (Потом оказалось — фотографы уже бродили тайком по нашему участку, у нас и собаки ведь нет, и делали снимки, да всё не попадал я.) В это время у нас гостил

Никита Струве, мы с ним ежевечер играем в теннис у самой границы участка — и простежки раздеваемся до одних шортов. Вот отдыхаем между сетями, подходит младший сынок мой Стёпа, собиравший мячи, говорит: «Тут, из-за вала, голова лысая то поднимется, то опустится». Как это? Такого не бывало. Кричу в ту сторону. Тогда по тёмному откосу нашего же участка за деревьями вижу: сбегает какой-то в серо-чёрном. Ещё кричу — тут за валом трещат сучья громко. Шкандыляем туда по сучьям босиком. Их самих уже нет. Но обнаруживаем: они отогнули навес забора над ручьём, оттуда легко пролезали, туда и ушли, впопыхах обронив футляр аппарата. Наверно, уже и уехали. Только тут связываем, что два дня назад долго, назойливо, низко кружился самолёт над нашим участком и крыльями круто наклонялся, — съёмку делал?

Да. Недели через две все снимки появляются в «Пари матч» — и на корте, и с самолёта, и те снимки, которые мы им наивно добросовестно послали. И при них репортаж, начинённый вздором и сплетнями.

А в том же году пишет мне Генрих Бёльль: просит принять для литературного интервью — кого? — корреспондента «Штерна» Серке. Не знаю, чем Бёльлю глаза отвели, да наверно для него «Штерн» — положительный журнал? А у меня от «Штерна» самые тяжёлые воспоминания: и как они извирали мою родословную в самые трудные моменты боя с КГБ; и как «от моего имени» совали в печать «Прусские ночи»; и как пытались судом задержать «Телёнка». Я, разумеется, Серке отказываю. Ничего. Утеревшись, он приезжает в Кавендиш с фотографом, тоже бродит по окрестностям, расспрашивает и собирает сплетни. И это — в тех же днях, что «Пари матч» (а я — и не знаю). Так же и «Штерн» берёт напрокат самолёт, так же нагло, низко, долго в другой день летает над участком. Итак, снимок с воздуха — у него свой. Но нет моего живого — и для этого «литературного интервью» «Штерн» покупает воровской снимок из «Пари матч». А дальше уже сам Серке выкручивайся, сделай вид, что было и интервью, не показывай, что тебя не подпустили. Он так и делает: «Солженицын говорит...» (понимай: ему, Серке, говорит) — и что-нибудь приблизительное к тому моему, что везде напечатано. А — об извечном русском рабстве? «Солженицын отказался поговорить со мной *об этом*». (Подразумевается, что об основном — говорил.) «Биография, являющаяся высокомерие... Предаёт анафеме Запад и Восток... Редко кто принимает всерьёз этого Солженицына... Как и Ленин — ходатай авторитарной системы... Существует неморальность моралистов, человеконенавистничество христиан. Достоевский представил их в фигуре *Великого Инквизитора*». — Вся Тараканья рать такое и твердит, это у них — общий для меня образ, опять сомкнулись, да берут друг у друга.

Какая же ничтожная суэта, какие мелкие перебежки многими ножками.

Впрочем, если доглядеться, и вся серия, в которую был воткнут очерк против меня, неслучайна, вся серия так и задумана: показать благородных художников и изгнанников — «смирненного христианина» Синявского, глубокого мыслителя Зиновьева, возвышенного лирика Бродского, страдальца Войновича — в контраст с лютым грязным инквизитором. И особенно проникновенно о Синявском, кто «жаждет Царствия Божьего», — это «последние наследники искупительного подвига Христа». (Вот ведь, оборотень, каким представился...) Как писал в таких случаях Диккенс: «Слушайте! слушайте!»

Но что этот журналист правильно написал: что я сам себя выталкиваю из западного мира.

И правда: как мне тут жить?

Научит горюна чужая сторона.

Той же осенью — ну кой чёрт подщипывает какую-то «Франс суар», она плетёт: у него шесть вооружённых телохранителей, свора свирепых псов, электрифицированная колючая проволока, но Солженицын освобождён от финансовых забот, его содержит американский миллиардер, имя не названо.

В любом уголке Земли, любой дегенеративный репортёр может печатать обо мне любое враньё — в этом для них святая свобода! святая демократия!

Как мне тут жить?..

\* \* \*

И какими помехами ещё бы меня донять? Да, суды же! Свободные демократические суды. Наша давняя знакомка Карлайл — что теперь должна сделать? После того как злоупотребила моими книгами, загубила дело, и меня же облила ядом в своей книге и затем в лживых статьях, и обвиняла в антисемитизме и в сращённости с новыми русскими фашистами, а я на все её клеветы ответил лишь единожды, подстрочной сноской в американском издании «Телёнка» [3], — что теперь должна сделать? да подать на меня в суд, конечно! Она же — на меня же! И ведь, кажется, эту сноску уж так взвешивали бесстрастно адвокаты издательства «Харпер» и поправляли, уж как обкатано, я удержал про себя все выражения, какие Карлайл заслужила, — нет! супруги Карлайлы подают в суд!

О, великое право личности на защиту судом! Свободный западный человек во всю свою свободную жизнь лишён удовольствия сказать негоднику в глаза, что тот — негодник.

В октябре 1980 Карлайлы дали громкую пресс-конференцию в Сан-Франциско: подают в суд! Солженицын должен узнать, что «он живёт в другом мире». Солженицын должен наконец ответить за то, что нарушил «прайвеси» (частную жизнь) Карлайлов (это после того, что она сама о себе напечатала книгу) — и оклеветал их. И как предварительная (позже будет подсчитана и увеличена) сумма нанесенного им ущерба — 2 миллиона долларов!! А американской прессе только вот эта цифра и нужна. Попорхало по газетам: Карлайлы вчинили Солженицыну иск на 2 миллиона долларов! (Разорить дотла! если дом продать и всё выщипать — и то не расплатиться!) И опять попорхало: она рисковала, вывозила из СССР «Архипелаг» (вовсе не она), — и вот теперь такая ей неблагодарность. (Сразу же — вопль и в Третью эмиграции: «Солженицын дошёл до того, что близкие друзья должны подавать на него в суд за клевету!» — это на лос-анджелесской *литературной* конференции.)

Несколько месяцев перед тем — счастливая, непрерываемая безмятежная работа над «Мартом», как раз подошёл к самым трудным главам завершения первой редакции — прощание Михаила с Зимним дворцом, отречение Михаила, — всё обрубивай! Садись за разборку сваленного архива, ещё счастье, что он при нас, — восстанавливай хронологию «событий», факты, детали, и какие есть на то документы и возможные свидетели — ну, изморение! И все же документы надо представить в английском, нотариально заверенном переводе... Судили меня *там* — судят и *здесь*. Положение подсудимого в свободном мире.

Подано в сан-франциский суд, значит, ещё надо мотаться через континент — адвокатам, а может и мне самому. По американским законам адвокаты могут ещё до суда требовать допроса противоположной стороны под присягой. Итак, я должен буду тянуться на допрос. А потом суд. На суд надо собирать свидетелей. Бетта, правда, покажет, как было. Кое-что знает Никита Струве. А что шло через Хееба — это всё пропало, он ото всего уклонится, уже спрашивали. И, Боже, как больно опять тянуть из души это всё мучительное, эту нашу единственную проваленную линию бывшей тогда борьбы, опять перебирать забытые бумажки, восстанавливать звёнышко за звёнышком, — и что же останется от работы? Душа затмилась, каждый день по несколько раз вспоминаешь.

Тем тяжелей легла на меня эта весть, что именно той осенью 1980 я чувствовал себя особенно, невероятно легко: прочно спал, здоров, приёмист, прекрасно идёт работа, освободился ото всяких глупых забот, как швейцарский скандал с Фондом, и рассчитался с дискуссиями, довольно успешно из них вышел, — и вот теперь только работать! И, кажется, что за мелочь — суд, если не грозит казнь, лагерь, и нет ни муки совести, ни надрыва души, ни потери чести. Разве это можно сравнить с бывалым постоянным давлением КГБ, провалом моего архива в 1965, или мучительным разводом с первой женой?

или случись бы сейчас пожар и уничтожь рукописи — значит, всю жизнь? Да даже проход волков в двух шагах был серьёзней. Да такие ли ещё опасности грозят мне впереди? Да что это в сравнении с тем, как сегодня каждый день угнетены мои соотечественники? да как можно мне, закалённому, потерять душевное равновесие, рабочее состояние — из-за какой дребедени? Убивает ничтожность этого конфликта по сравнению с делаемым делом.

Да, вот что оно значит: *не море топит, а лужа*. Сейчас — западная лужа. В свои последние февральские дни в СССР я заявлял: вся ваша газетная травля не испортит мне одного рабочего дня! И было — так! А здесь вот теперь начинаю жалеть: да стоило ли добавлять эту сноску про Карлайлов? да зачем связался? не хватило смирения — перетерпеть? Сам же в лужу и вступил.

Но нет, нельзя было смолчать на всю её ложь. Это было бы уже унижительно, потеря характера. И ведь она сыграла на общей нашей там подгнётности.

Что ж поделать, озабоченность — это нормальное земное состояние. Подобные случаи в западном мире неизбежны, и моя судьба, наверно, — всё испытать, для полноты картины. Ничего не поделать, кидая работу, начинаю составлять план нашей защиты, возражений, претензий. Приходит длинный иск карлайловского адвоката на длинных, «легальных», тридцати листах с пронумерованными строчками, — змеиный концентрат западного юридизма, но не по-юридически пафосный, с нагнетанием эмоциональных обвинений, — надо же нагнести на 2 миллиона. Иск — не только ко мне, но и к издательству «Харпер энд Роу», однако ясно, что защиту я беру на себя. Какого ж адвоката звать на помощь? Пригожается знакомство со знаменитым Эдвардом Беннетом Вильямсом, который уже демонстративно и благородно брал под защиту погребённого в Гулаге Гинзбурга и, не без его влияния, вырвали Гинзбурга. Вильямс — большой законоискусник и много процессов выигрывал в Штатах. Он присылает к нам в Вермонт своего молодого успешливого помощника Грегори Крейга, родом вермонтца. Несколько часов в напряжении памяти я, по восстановленным записям, рассказываю ему всю досадную историю с Карлайл от 1967 года, с нашими промахами, с её злоупотреблениями. Можно подавать и встречный иск — на её последние статьи против меня. Втащенный в дело, я уже разозлён и теперь готов с ней состязаться до нашего смертного конца, что ж делать. Моё примечание? — только слабая тень того, что я должен о ней сказать. Готов перенести долгий суд, вызывать свидетелей, не жалеть расходов и добиться-таки справедливости. Если я не склонялся перед ГБ — почему я должен теперь склониться перед мелкой пакостью?

Но так говорим, говорим, вспоминаем семь часов подряд, — а на восьмом Крейг объясняет: это будет очень затратно, изнурительно, потянется громкий процесс, всё будет переполаскиваться газетами, телевидением, и в лучшем случае всего лишь докажет вину Карлайл передо мной, — и так ли это много? стоит ли того? и денег? Вот как распаляет бесчеловечная судебная хватка — *он мне* должен доказывать, что — не стоит того, что я слишком оторвусь от работы. У Крейга другой план: издав книгу, Карлайл сама себя сделала так называемым «общественным лицом», — а про такое в Америке можно выражаться свободно. Итак, доказывать, что моё примечание не даёт оснований для её иска. Оно — всего лишь выражение моего личного мнения об общественном лице.

Такова система! — легче любой путь, нежели прямо доказывать правду.

Совет разумен. Ещё который раз приходится считать невозможным объясниться с Карлайл так, как она заслуживает. Свобода, при которой у всех скваны уста и все ползают в компромиссах...

Принимаем план Крейга. Но даже это требует огромной работы адвокатской конторы. На таких же длинных легальных тридцати листах с пронумерованными строчками составляется такой же изнурительный юридический документ, переполненный прецедентами (американское судопроизводство — не так на законах, как на прецедентах): когда, кем и где было отведено обвинение в клевете и утверждено право выражения мнения. (Эти прецеденты теперь



извлекаются из судебной истории страны компьютерами.) Документ составлен, видимо, сильно. Перед судебным слушанием в июле 1981 он вручается противной стороне и должен произвести впечатление.

И — как же поступает Карлайл? Уже, кажется, зная её характер — я мог бы догадаться. А не ожидал шага. За три-четыре дня до слушания её адвокат передаёт через нашего мне — предложение капитулировать!! Карлайлы, так и быть, согласны погасить иск, если я сделаю публичное заявление предлагаемого мне типа: «Мне не были известны обычаи и природа издательской индустрии на Западе. Ввиду озабоченности супругов Карлайл моими заявлениями в „Телёнке” я хотел бы уточнить: я не имел в виду, что Ольга Карлайл распорядилась моими гонорарами бесчестно и корыстно или что помощь супругов была мотивирована желанием финансовой прибыли. Не имел в виду, что они умышленно вводили меня в заблуждение о сроках опубликования „Архипелага”. А если такие толкования возникли, то я очень сожалею и огорчён ущербом, который мог последовать для Карлайлов».

То есть мне предлагали подписать — прямо наоборот тому, как было и как я готов был доказывать? Одновременно — и писательское самоубийство: отвлечься от одного абзаца в такой книге, как «Телёнок», — значит поставить его весь под сомнение, — да тогда и все остальные книги? Когда я и без того окружён стеной клеветы — вот только этого ещё и не хватало.

Я возмущён был не только Карлайлами, но даже и моим милейшим адвокатом: зачем он взялся передавать такое унижительное требование? создал ощущение слабости, которой у нас нет! Крейг отвечал, что так полагается, он обязан был передать.

Ответил он им холодным звонком отклонения.

23 июля в Сан-Франциско состоялся суд. Тщательный рассудительный судья Вильям Шварцер (да опираясь на превосходную аргументацию Крейга!) жёстко выговорил Карлайлам, что их иск — вовсе неоснователен.

А ведь вполне могло быть иначе — и тянуться, и тянуться, и мотать, и опозорить, и разорить, под всеобщее ликование.

Телеграмма — «судья выкинул иск Карлайлов из суда» — была большой радостью, просто камень спал, девять месяцев давил.

Но бессудебный перерыв продлился недолго.

Неутомимый Жорес Медведев, после неудачи его попытки судиться со мной от имени Якубовича, — в октябре 1981 предпринял новую попытку: тоже по поводу примечания о нём в английском издании «Телёнка». При выходе его — Жорес снёс всё там написанное: и что он, за годы на Западе, выражал разнообразно поддержку советской политики, и даже что он находил извинения для насильственной психиатрии (и сам же её жертва), — не оспаривает всё это и теперь, а вот к чему прицепился: к замечанию, что в книге своей он напечатал рисованный план, как пройти к моей московской квартире (беззащитной для провокаций, и с малышами). — Так ныне он писал письмо в издательство «Коллинз», что такого плана *не было* в его книге, и он может теперь подать на меня в суд (ещё пока обдумывает, не подаёт). Издательство «Коллинз», как всегда, сразу размякло, сразу кинулось извиняться, что оно не отвечает за это примечание и предполагает не перепечатывать его больше. С опозданием дошла переписка до меня. — Что за чертовщина? Мы же видели эту книгу с планом (пригласительный билет на московскую нобелевскую церемонию) ещё в Москве — и возмущались, и из Москвы «по левой» писали Жоресу в Лондон, — и вдруг никакого плана не было? Жорес объясняет теперь издательству, что пригласительный билет был сфотографирован только для самого раннего издания его книги, в малом числе, — но не с той стороны, где план, а плана — вообще не было там.

Не знаешь нужды: зачем бы мы его книгу везли из Москвы? Там она где-то и затерялась. А где теперь взять? Ищем. В позднем издании — вообще никакого пригласительного билета. По заказу находят нам раннее издание, «самое первое», — действительно, Жорес прав: пригласительный билет, но не с той стороны, где план. Да что ж, у нас очи повылазили? Мы же видели, оба с Алей! мы же писали ему протест.

Но к счастью: наш друг и доброжелатель Алёша Климов, интересуясь всем, что меня касается, когда-то купил самое наипервое издание, а потом подарил его Майклу Никольсону в Англию. Теперь телефонирует ему туда — посмотреть. У-у-уф. Конечно, всё на месте, с планом.

Значит, Жорес в 1973 по нашему протесту из Москвы молниеносно сменил тираж — и теперь, уверенный, что раннего издания не сохранилось, брал нас на арапа. Но так как уверен не совсем, то не сразу в суд, а пока — угроза, проверить.

Никольсон послал ксерокопию плана напуганному «Коллинзу» для предъявления плуту.

Замолчал Жорес пока. (Да сейчас он подал в суд на Буковского.) Впрочем, нельзя быть уверенным, что вовсе отказался. Ещё что-нибудь выкинет.

Но и на том не кончаются наши судебные передраги. Уже с конца 1978 потянулся слух из Парижа, что в «Имку» зачастил недосуженный ею когда-то Флегон, ведёт расспросы сотрудников о смерти И. В. Морозова, и вообще о делах издательства, и даже не скрывает, что хочет писать разгромную книгу о Солженицыне и об «Имке». Осенью 1979 Флегон и мне прислал о том наглое письмо. Добивался, собственник ли я «Имки» или держатель акций, и страдаю ли я от паранойи, и лечусь ли, и называл меня профессиональным лжецом, — уже этим письмом надирался на суд, по западному этого достаточно для суда. Я оставил без внимания.

Весной 1981 из разных русских библиотек и магазинов, с разных концов Земли, даже из Бразилии и Австралии, стали мне переправлять рассылаемую Флегоном рекламку, на английском и русском языках, его опуса «Вокруг Солженицына» — «литературной бомбы», в которую заодно Флегон включает запрещённые стихи русского прошлого, как его издательство уже напечатало «Луку Мудищева» Баркова. Скоро эта бомба «станет библиографической редкостью и будет продаваться по цене превышающей». Затем из Парижа Никита Струве прислал мне и сам флегоновский двухтомник.

Читат ь эту книгу? — да с первого же перелиста видно, что Флегон резко сорвался, — сорвался уже в одних фотомонтажах и рисунках. Несколько раз я представлен в виде православных ликов — то под Христа Спасителя; то — с орденом Ленина на груди; то — святой с крыльями; то Георгий Победоносец, то — благословляю с церковно-славянским свитком в руках, — и всюду, глумливо, кресты, кресты в изобилии, и традиционное обрамление православных икон. Ненависть к православию у Флегона — бесовски безудержная. И — вообще к исторической России: десятки и десятки карикатур или изображений той отвратительной страны, но за прошлые века, прежде большевиков. И ещё я — в генеральской форме, под царской короной. И вперемежку с тем — монтажи меня же с голыми женщинами, и сам я — рожаю, а вот в виде проститутки, а вот вмонтированы мои фотографии в разное порнографическое окружение ещё несколько раз, — порнография, видимо, главная страсть и слабость Флегона, в которой он удержу совсем не знает, в ущерб себе же. Нецензурщиной, прямым матом, похабными стихами усеяны десятки и десятки его страниц, куда ни глянь. И без чтения видно: это настолько разнуданно, что по лобному монтажу можно подавать на Флегона в суд.

Но книга уж настолько ниже всяких требований простого человеческого приличия, что сама оттолкнёт читателей, кроме самых заядлых моих врагов, — вступать с нею в спор было бы непристойно. Такая грязь — и лучшее свидетельство распушенности до безграничья «свободной» печати. Именно такими

помоями и должна была она в конце концов отозваться\*. (Кстати, книга Флегона вопреки всем издательским законам не содержит никаких выходных данных, и адрес липовый.)

Но на что рассчитывает Флегон? Не может же он рассчитывать, что устоит в суде. Значит — он хочет суда как рекламы для своей книги. Судебный запрет на книгу? Вот тогда она и начнёт ходить. Материальные потери? — Флегону не страшны, за его спиной, видимо, большие денежные средства. (Книга не пошла, и к осени 1981 он разослал вторую афишку: якобы «были оформлены бумаги для подробного разбора книги в английском суде», — кем оформлены? где? и что с ними дальше? — жадно мечтаемое.)

Так не дождётся он суда со мной.

Да не просто хочет он суда — он страстно жаждет его, он только и живёт в судебной атмосфере. Он уже судился, судился многократно, вокруг моих только книг несколько раз, когда пиратствовал. Он судился и с Максом Хэйвордом из Оксфорда, и с покойным Леонидом Раром из «Посева», за статью о своих пиратских изданиях. Он судился с журналом «Прайвит ай» — доказать, что не связан с Луи, — а нет сомнения, что связан: Луи и привёз ему приглаженную в ГБ рукопись Светланы Аллилуевой для опережающего издания, сбить спрос на подлинную, из того вытекло и судебное дело Флегона с Аллилуевой. И ещё с другими издательствами Флегон судился. И частенько выигрывал. А если проигрывал — то объявлял себя банкротом, и почему-то, по английской системе, это всегда безболезненно сходило ему с рук. Флегон и есть тот всевечный тип, который зовётся сутягой и кляузником.

За выходом этой его последней книги, сразу же, весной 81-го года, — такой эпизод: в уважаемый английский книжный магазин заходит русский эмигрант Олег Ленчевский, просматривает книгу Флегона — и в простодушном порыве пишет частное письмо владелице магазина Кристине Файл: как вы можете торговать такой псевдолитературой и порнографией? И что же делает эта дама (могла бы, и не зная русского языка, убедиться по иллюстрациям и побрезговать)? — она посылает Флегону копию письма Ленчевского. А что делает Флегон? Немедленно подаёт в суд на Ленчевского: ведь тот клеветнически утверждает, что книга порнографическая! (Что и видно с первого взгляда.) И начинается — судебный процесс! Ныне идёт.

Хоть два, хоть три суда сразу — видимо, нисколько не тревожит Флегона, это — его болотный воздух. И он ждёт, ждёт — чтобы я подал в суд. Ждал полгода. Не дождался. И тогда, в ноябре 1981, — подал в суд *на меня!* («Джюиш кроникл»: «Писатель привлекает к суду писателя», «Санди телеграф»: «Писатель привлекает к суду Солженицына».) Подаёт в суд — опять же на «Телёнка», на русское издание 1975 года, и английский суд не сумняшесь принимает иск.

Впрочем, после Карлайл уже не так удивисься.

И полугодом мы не прожили без суда: от развязки с Карлайлами всего лишь месяца три. С англосаксонской важностью приехал к нам домой местный вермонтский судейский чиновник и вручил иск от Флегона в британский Высший суд. (Между Англией и Штатами будто такой договор: иски действуют. Может быть, можно было не принять повестки? Аля не нашлась. Ну да изыскали б они способ вручить, наверно.)

За что же — он-то на меня?

Я и думать забыл: в 1972 в Москве, в интервью со Смитом и Кайзером, была такая моя фраза: «Публикация в „Штерне“ руководится из того же центра, откуда и пиратские издания Флегона и Ланген-Мюллера, которыми хотели подорвать систему международной защиты моих книг». Как уже сказано

---

\* А израильский журнал «Круг» отозвался так: «Флегон сражается с Россией»; «никакой русский, а тем более еврей из России, не смог бы переступить свои духовные рубежи с такой безоглядностью». Флегон, де, *доказал*, «что все традиции цензуры, наказаний и тюрем были в царской России страшней, чем в СССР». (Примеч. 1986.)

(глава «Хищники и Лопухи»), Ланген-Мюллер незаконно издал «Август» по-немецки, а Флегон — и по-русски, и по-английски, из-за того уже тогда судился с «Бодли Хэдом». Вся эта картина — подрыва моего самостоятельного издания на Западе, подрыва прав моего адвоката — тогда была очень наглядно видна, и казалось ясно, что этим руководило КГБ, — а моё необычное положение в СССР позволяло мне (да я тогда и не задумывался над юридическими последствиями) безущербно высказывать обвинения и на Востоке, и на Западе. Так и прошло. Тем местом в интервью Смит и Кайзер пренебрегли, по-английски оно не напечатано, только по-немецки. Но в начале 1975, когда в Париже издавался «Телёнок» по-русски, интервью с американцами вошло туда как приложение. И теперь, в конце 1981, можно на это подавать в английский суд? А давность?

Оказывается, изумителен британский закон давности клеветы! Во Франции — три месяца от появления, опоздал пожаловаться — пролетело. (Французы остры и успевают потрепать друг друга оскорблениями.) В Соединённых Штатах — обычно год. В Англии — 6 лет. Так всё равно прошло, уже 6 с половиной? Ничего подобного. Действие клеветы считается *начавшимся* после того, как будет продан в Англии *последний экземпляр* книги. То есть если где-нибудь в одном книжном магазине ещё пылится один экземпляр — давность клеветы ещё не начинала даже исчисляться. А по договорам с другими странами (упаси Бог будущую Россию от этих привередных договоров!) — иски осуществляются по этой давности и в других странах. То есть наследник Флегона ещё и в XXI веке может подать на моего сына или внука где-нибудь в Австралии за эту мою фразу в Москве в 1972 году.

О, британский суд! — твердыня всеевропейского правосознания!

Так вот в чём иск Флегона: из фразы получается, что он — агент КГБ. А он, мол, — не агент!

Бумажки клочок — в суд волочёт.

Ничего не стоило практически погасить его иск: немедленно подать встречный, что он оклеветал меня хуже того в своей книге. И всё будет перекрыто, и его книга будет запрещена. Но это — именно то, чего он хочет, это ещё худший долгий громкий суд, и тогда-то его книга и станет запретным желанным плодом.

Я не шевельнулся.

Вскоре Флегон не выдержал, проговорился в письме к моему уже теперь взятому адвокату в Англии: Солженицын знает, что может остановить мою книгу в 24 часа, но пальцем не шевелит. Если он не согласен с моим описанием — почему он не останавливает книгу? Его долг, если он честный человек, встретиться со мной в суде. И ваш долг, как его представителя, — остановить книгу через суд!

Верно мы разгадали его замысел.

Но вот идиотское положение: будучи только что сверх меры облит грязью из этих зловонных рук — я должен кротко отбиваться от его обвинений в том, что я его оболгал 9 лет назад.

Первое моё чувство было — просто игнорировать флегонский иск: ну что там может быть за суд из Англии в Штаты? да ещё при такой давности (давность меня всего более поражала)? да ещё при неопределённости той моей фразы? да не может же Флегон серьёзно строить на этом суд, какой же это идиотский должен быть суд? Флегон, конечно, в этой форме просто провоцирует меня на встречный иск — но как раз его он и не дождётся. Пусть заочно производят там суд, а что присудят — я и не признаю.

Однако надо было посоветоваться с Вильямсом и Крейгом, моими недавними и блистательными спасителями против Карлайл. И Вильямса первая мысль тоже была — пренебречь, но Крейг убедил, что надо выставить защиту.

И вот опять искать адвоката, на этот раз в Лондоне? Вильямс посоветовал одного известного ему там, Ричарда Сайкса. Но мне теперь снова вести переписку английским юридическим языком? — о, Боже! И каждый новый суд —

это розыск и розыск давно затерянных бумажек, как будто ненужных. Только то облегчение, что английсий суд не может вызвать меня на допрос. Всё прокипит где-то там, а мне лишь — платить, больше или меньше. Защитить в суде мою фразу 1972 года трудно; сейчас, при западном опыте, я бы выразился поаккуратней. Конечно, о Флегоне у меня лишь цепь умозаключений по его многим действиям относительно меня и других. И ещё же: этот якобы «румын» легко выехал на Запад, поселился в Англии и активно занялся халтурным изданием оппозиционных книг из СССР. И в союзе же с Луи. И. А. Иловайская передала нам рассказ Булата Окуджавы, что как-то Флегон приезжал к нему в Мюнхен (он издал пластинку Окуджавы) и в нетрезвой откровенности признался, что отец его *Флегонтов* сотрудничал ещё с ГПУ, был на подпольной работе в Румынии (где и рос сынишка и, видимо, наследовал жизненный путь папаши). В передаче Иловайской: возвратясь в Москву, Окуджава рассказал об этом гебисту «секретарю СП» Ильину, — тот выругался о Флегоне: «Проболтался, дурак!» (Рассказ может быть не вполне точен в передаче.)\*

И Окуджава вот снова в Париже был как раз сейчас, но неудобно просить его свидетельствовать: советский человек не может решиться на такие показания западному суду.

Итак, дело ещё потянется. Сейчас, когда я дописываю эту главу, дело только разгорается. И может быть — проиграем.

Так ещё и этими судами потрепал меня Запад. Всем, чем мог, — верхоглядными или низкими суждениями, клеветой, судами. На Востоке — ГБ, тюрьма, тут — свои формы. Флегон — это ещё новое испытание, когда в ответ на клевету хочется сорваться в резкий поступок — а нельзя, нельзя.

Немало было сделано за эти годы, чтоб утопить меня в мелочах и в помоях. Но сил у меня — ещё много. И, кажется, я проплыл, не утопили.

Вот такие были мои спокойные годы для бестревожного творчества в Вермонте.

А тем временем по одиночке ускользали, уползали из-под советских лап и десятки известных и сотни прежде молчаливых, о ком раньше и подумать такого было нельзя, — а на Западе у всех обнаруживались честолюбия, претенциозные перья, программы и замыслы. Перемещаясь на Запад, где объём эмиграции гораздо меньше, чем объём образованного круга в СССР, — они становились тут как бы крупнее, заметнее, да ещё при наивной доверчивости западной публики. И первой их мыслью, и первым движением было — поливать бранью, но не коммунизм, а Россию и русский патриотизм, а значит заодно — и меня. И этот поворот против меня, и модность этих укулов быстро перенимались и размножались на Западе, ещё и в мои европейские годы, а я как-то и не вникал, не слышал толком, внимания не придавал, а потом с наслаждением нырнул в работу в Пяти Ручьях — и ещё меньше замечал, какой идёт множественный против меня поворот в Америке. Лишь постепенно обнаружилась вся густота и обширность брани, и что я, не как прежде, союзников почти нацело лишён, а — толпы и толпы неприятных. Когда-то был — один враг, Огромный, а тут — множество мелких, неперечислимых, Тараканья Рать. Не одно зевло драконье, а множество мелких, и — как против них? Не наставлять же пику отдельно на каждого? не разбирать же по именам, и каждый их куций шажок?

А между тем: совокупным кишением этой Рати — удалось достичь, чего не могла вся Советская Машина: представить меня миру — злобным фанатиком, безжалостным тираном и действующим предводителем химерических полков. И, наверно, теперь — это надолго припечатано.

Но сама работа моя подсказывала и лучшую естественную тактику: проплывать годами немой льдиной, не отзываясь на сотни их опережающих уку-

\* А теперь вижу, как, в художественном преображении, вся история описана и опубликована самим Окуджавой в рассказе «Выписка из давно минувшего дела». (Примеч. 1994.)

лов. За работой, укроясь от них ото всех, я могу спокойно пережить и четыре таких травли, и в четыре раза гуще. (Да Булгакова они же сильнее травили и опасней, тогда из чекистских подворотен, — так что после газетной статьи да жди, Михаил Афанасьич, стука в дверь.) Теперь они много раз будут высказывать, выюливать, вытягивать на себя ответ. Но у них короткое дыхание, и весь гнев и пафос они нерасчётливо истрачивают сейчас, ещё до моих главных томов. А я плыву себе молча.

В уединении — удивительным кажется это нервное самоистязание их и раздражение, чем они там живут. А я — трёх четвертей написанного ими и во все не читал до последних дней, как писать вот эту Вторую Часть, — теперь пригодилось. И вижу: э-э-э! — поворотливые, лживые, выхватливые, сиюминутные, — однако они все вместе обдают — что там меня! — целую Россию валами облыгания, в том же направлении подтравливая и готовый к тому Запад. И какой же у них численный переизбыток.

Так ещё и это взять на взвал?

Да, хотя бы разок всё же надо их предупредить.

И — написал, легко, быстро, — «Наших плюралистов»\*.

## Глава 8

### ЕЩЁ ЗАБОТАНЬКИ

Кажется — сидели в отшельстве и не было никаких событий эти четыре года. А просматриваю беглые записи, иногда сделанные попутно, для памяти, — ох, много! ох, опятьросло. Мы сидели — так охудатели не сидели.

А ведь зарекался я: уйдя в историю — не соревноваться с современностью. Просветить Запад — что Россия и коммунизм соотносятся так, как больной и его болезнь? — видно, не по силам это мне. После моих статей 1980 в «Форин Эффэрс» особенно видно, какой это неблагодарный путь — толковать Америке. Да что вершителям политики нужно знать — то они отлично понимают, только не вслух.

И ещё, как ни странно, демократии любят лесть едва ли меньше, чем тоталитаризм. Американская демократия — жадно любит лесть, её так приучили. Другое, к чему привыкла американская публика, — непрерывное повторение, как же именно расставлены предметы, неустанное повторение одной и той же простейшей мысли много-много-много раз, — ну разве это работа для писателя? — заново и заново рожать всё ту же аргументацию.

Но как я в Америке ни оболган — всё ещё сохранилось у меня немалое влияние, или любопытство ко мне, и всё льются из разных мест, из разных стран приглашения выступать. И я — здоров, могу ехать куда угодно и выступать в любой форме.

А — не для чего. Не захотят понять. Не то им надо.

Разумны — только самые умеренные усилия: в чём можно — создавать более доброе отношение к коренной России.

Хотел бы молчать, молчать — но нет, не отмолчишься, обстоятельства вытягивают. Вот в апреле 1981 из Украинского института в Гарварде получаю приглашение на «русско-украинскую» конференцию в Торонто. Из письма видно, что предполагается основательное измолачивание двух приглашённых русских: Оболенского из Оксфорда и меня. А надо сказать, что, неожиданно, яростнее всех в Америке отозвались на статьи в «Форин Эффэрс» почему-то — украинские сепаратисты. Даже и понять нельзя, но в чём-то увидели они там угнетение своей национальной мечты и объявили меня — даже сумасшедшим. Я пытался очистить Россию от радикальных и мстительных клевет — и что ж

\* «Публицистика», т. 1, стр. 406 — 444

они накинудись? Да вот, они почти откровенно так и выражают, что с освобождением их родины от коммунизма они готовы и потерпеть, а только — утеснить бы москалей с лица земли; им жаждет признания, что весь мир страдает не от коммунизма, а от русских, и даже маоцзедуновский Китай и Тибет — русские колонии. (Ведь именно украинские сепаратисты протащили через Конгресс Соединённых Штатов тот закон 86 — 90, что не коммунизм всемирный поработоритель, а — русские.)

Руки опускаются. Боже, какая ещё одна вопиющая пропасть! И когда же она так разрылась? Тут и Польша вложилась веками, тут и австрийцы подстрастились в начале века, тут наронено и русского братского невнимания, и натравлено спектаклем советской «национальной политики» (в 1938 в Киеве я не увидел ни одной русской вывески, ни даже дубликата надписи по-русски), — и кому, и когда достанется этот жар разгребать? Когда я был в Виннипеге — мы говорили с головкой украинского Конгресса так, кажется, примирённо, ненапряжённо, — а вот? Вздывают до высшей боли и взрыва.

Когда-нибудь, время ждёт? Нет, вот неизбежно отвечать, — и при ответе ограничиться, а не отписаться. Ответить открытым письмом\*. В Институт послал им тотчас, сама конференция в октябре, но решил опубликовать в июле, перед тем, как будут выплясывать очередную «неделю порабощённых [русскими] наций».

И хотя я написал в самых мягких тонах, как я и чувствую этот вопрос, я душой ощущаю и украинскую сторону, люблю их землю, их быт, их речь, их песни; хотя напомнил свою собственную принадлежность к украинцам и поклялся, что ни я, ни мои сыновья никогда не пойдут на русско-украинскую войну, — в украинских эмигрантских газетах и это моё письмо было встречено всё так же ругательно.

О, наплачемся мы ещё с этим «украинским вопросом»!.. (И ещё надо изучать все подробности давней и недавней истории, и на это — тоже время...)

А вот — текут и текут ко мне жалобные письма от наших русских с радиостанции «Свобода», какое там накаляется враждебное к русским засилие, какой это стал чужой для России голос. В составе «Свободы» есть 15 редакций на языках основных наций СССР — и работают они в круге интересов именно *этих* наций, с *их* точки зрения. Справедливо. А 16-й, по названию «русской», — отказано в этом: «собственно русских» интересов, потребностей, взглядов — и быть не может, на это наложено табу из Вашингтона. 16-я редакция — «общесоветская», и из её скриптов свои третьеземлянтские и надзирающие американские инспекторы тщательно вычёркивают все «неподходящие» им события русской истории, её деятелей, мыслителей, или кастрируют их высказывания, — гася и гася русское самосознание.

И вполне объяснимо: совсем далёкие американцы, на свои американские деньги, — почему они должны искать, что важно и полезно для России, а не сеять то, что, в самой ближней наглядности, в интересах Соединённых Штатов? Но и — как же мне не попытаться хоть что-то, уж совсем невыносимое, исправить? Это — надо сделать, это — для России.

К осени 1981 как-то особенно набралось у меня этих русских жалоб и этих разительных примеров цензурирования скриптов — и тут же молодой энергичный консервативный конгрессмен Лебутийе предложил взять у меня телевизионное интервью специально об американском радиовещании на русском языке. Наше интервью не уместилось в отведенные полчаса (отчасти из-за обилия моего материала, отчасти из-за его занозных политических вопросов), телекомпания NBC обещала ему освободить ленту полного часового интервью для передачи по образовательному каналу — а сама для своей передачи порезала её необратимо. И так — телеинтервью почти пропало: смонтировали неудачно, важное выпало, и передавали после часа ночи. Лишь то — однако

\* «Публицистика», т. 2, стр. 548 — 552.

очень важное — подхватили все газеты, что я предостерегаю Соединённые Штаты от военного союза с Китаем. С полугодовым опозданием английский текст моих ответов напечатал правый еженедельник «Нэйшнл ревью» — из него перепечатавали в Канаде, в Австралии\*.

Я же и в самый день съёмки уже понял, что не помещаюсь, что материал превышает возможности интервью, — и решил избыток дать не в другую публикацию, не в новые дискуссии, но в прямое дело: в тех же днях, в октябре 1981, написал на ту же, русско-американскую, тему письмо Президенту Рейгану с обильной аргументацией и приложением фактов\*\*. Написал, что, разумеется, не жду от него ответа — но прошу вникнуть в суть проблемы.

Кажется, в Белом доме мои посланные соображения оказали некоторое влияние, произошли перестановки на «Голосе Америки», на «Свободе». Рейган даже, вот, публично высказался, что радиовещание — главное оружие Америки. Но всё это на ощупь, что-то где-то медленно бюрократически проворачивается, однако уже прошло рейганского президентства полтора года, — а ничто не сдвинулось! У нас на родине и посегодняя царит представление об «американской деловитости». А и в помине нет её в аппарате власти. Чем острее вопрос, тем американская демократия медлительней, неуклюжей.

Рейган, видимо, не забывал наших заочных отношений 1976 года. Накануне дня его инаугурации 20 января 1981 года к нам в Кавендиш дозвонились из Вашингтона: в этот день Президент хочет позвонить мне из Белого дома, будучи ли я у телефона? Такой звонок был демонстрацией. Аля попросила, чтобы нас предупредили за 15 минут. (В доме, где я работаю, вовсе нет телефона, и обычая у меня телефонного нет, годами не беру трубки — это важное условие ровной работы.) Я набросал, что примерно ему скажу:

«Господин Президент! Вы и без меня сегодня богаты всякими добрыми пожеланиями. Но и я желаю Вам — славного и твёрдого правления. А в частности и особенно желаю — не только как русский, но и как член угрожаемого человечества, — чтобы Вы всегда отчётливо отделяли, где Советский Союз и где Россия; где коммунизм, а где русский народ».

Однако Президент — не позвонил. Да трудно было ему в тех церемониях прерваться. (Или, скорей, решено было, что такая демонстрация — слишком резка для начала.)

А не прошло двух месяцев — стрелял в него молодой негодяй. И как, если не Божьим чудом, объяснить: пуля в сантиметре от сердца — и такое быстрое выздоровление 70-летнего человека? Ещё острее стало наше сочувствие к нему.

Да! — нужен этот президент, в его отчаянной попытке укрепить мир перед амбициями коммунизма.

В первой своей речи после покушения, весной в университете Нотр Дам, он много цитировал мою Гарвардскую речь, — о падении мужества на Западе, и как сдали нервы американской интеллигенции от Вьетнама, какая ошибка искать соглашения с Кубой, о катастрофе гуманистического безрелигиозного сознания, потерявшего Высшее. Это обращение взора к Богу было Рейгану — своё, у сердца.

В следующие месяцы приходили ко мне — не прямые от Рейгана, но через влиятельных вашингтонских лиц — предложения обсудить возможную нашу с ним встречу. Даже и американский посол в Риме послал такой запрос своему знакомому адвокату Гайлеру, защищавшему наш Фонд: при каких условиях принял бы я приглашение нового Президента посетить Белый дом? Я отвечал всем посредникам одинаково, и с совершенной прямоотой: если при встрече будет возможность существенного разговора — я готов приехать; если планируется символическая церемония — нет.

\* «Публицистика», т. 2, стр. 554 — 577.

\*\* Там же, т. 2, стр. 578 — 588.



После этих-то запросов я и счёл себя вправе послать Рейгану письмо о состоянии радиовещания.

В начале зимы 1981 — 82 через двух сенаторов, Кэмп и Джексона, стали доходить до нас слухи, что в Белом доме готовится официальное приглашение мне, уже «лежит на столе». В начале зимы! — когда я особенно погружаюсь в невылазность работы, не выезжаю за ворота, ни даже к парикмахеру, жена стрижёт. Говорю Але: «Буду оттягивать до весны». Она: «Да какое ты право имеешь? как ты можешь диктовать Президенту время?»

Однако стал я размышлять. Может ли что реальное сделать Рейган, чтобы круто изменить отношение Соединённых Штатов к исторической России в отличие от СССР? (Да любая американская администрация по-настоящему не свободна, она под сильным влиянием и явных, и неявных кругов.) Он мог лишь высказываться дружелюбно к России — и делал это. В лучшем случае я мог желать от Рейгана только небольшого усвоения русской точки зрения, чтоб это отразилось хотя бы на части радиовещания. Укреплять Рейгана против коммунизма? К счастью, он в этом не нуждался. Рейган и так совершает немало, хотя бы экономику вытягивает. Этой зимой я впервые стал смотреть и телевизионные новости (раньше — только радио), ещё убеждался в человечности Рейгана, душевности, юморе, — и охотно был бы готов ему помочь, если бы он решил, что в том нуждается. Но долг путь обсуждений, а ещё дольше для него путь самих действий. А поехать мне в Вашингтон — неизбежно ещё с кем-то встречаться, в чём-то участвовать, выступать перед прессой, по крайней мере неделю потратить, разрушить работу, — а толк-то вряд ли будет, стоит ли того? В общем, хотел я, чтобы встреча, если неизбежна, — была бы попожже.

И зима, в самом деле, была ко мне милостива. А суета со встречей взорвалась в начале апреля. Сперва — окольные телефонные слухи из Вашингтона: якобы вместо предполагавшейся личной встречи с Президентом (а уж за ней многолюдного ужина) — планируется ланч, где я — в числе десятка приглашённых, кажется, отставных диссидентов.

Мы не поверили, тут что-то не так: я же заранее всем «разведчикам» ясно ответил, что ни для какой *церемонии* в Вашингтон не поеду, — тем более для символики компанейского ланча. Затем сообщили нам, что Ричард Пайпс, ныне — советник в Белом доме, и на важном месте, — не может разыскать наш телефон (его нет в справочниках), и просит ему позвонить. Странно, телефон наш Белому дому известен. Аля позвонила, это было 7 апреля. Пайпс торопливо объявил, что Солженицына приглашают 11 мая на президентский завтрак с семью-восемью «представителями национальностей», о чём официальное письмо придёт через неделю. Ничего сверх того не объяснял, ничего внятно не спрашивал, — и Аля, разумеется, разговор не длила.

Ну что же, вот и очевидная ясность: не ехать. Придёт обещанное приглашение — и пошлём отказ.

Куда там! На следующий день в «Вашингтон пост» статья — и сразу трезвон повсюду — Президент собирался встречаться с Солженицыным, но его отговорили, будет только завтрак с группой диссидентов.

Вот как? — *отговорили?*

Это — особенность организации всех высших американских учреждений: в них никакие секреты не задерживаются. Да даже, кажется, нельзя отказать, если приходит представитель прессы: о чём бы ни спросил — на всё нужно отвечать. А к Пайпсу хаживает такой маститый журналист, как наш знакомец Роберт Кайзер. И Пайпс сам рад открыть ему свою проницательность, как он сорвал реакционную встречу Президента с Солженицыным. А Роберт Кайзер рад всё это напечатать, показать свою осведомлённость:

«Некоторые чиновники рейгановской администрации посоветовали Белому дому не устраивать частной встречи с Солженицыным теперь, так как он стал символом крайнего русского национализма, который ненавистен многим советским правозащитникам».

(Так это они и есть — «представители национальностей»? Как будто какие нации их выбирали. Обыкновенные прежде диссиденты, нынче эмигрантские политики.)

Ай да пресса! Кайзер выдавал подлинную причину, как и почему была подменена встреча с Президентом. Конечно, Пайпс испытывал ко мне личную ненависть и проявлял её последовательно, и всюду, — он не мог простить мне критики его извращённой Истории России, принимал её как личное оскорбление (в «Форин Эффэрс» я и правда не слишком галантно уподобил его «волку с виолончелью»). Но и сам Пайпс действовал не как отдельность, а выражал настроения американской «элиты», её густой струи, — и я был лишь физическим символом отвратительной им России — России, которая была растоптана в Семнадцатом году, и кажется навсегда, и не смела возродиться ни в какой, даже духовной, форме, ни даже мысль о ней, исторической, — а в моих книгах возрождалась, и как будто живо. Подменной процедурой президентского завтрака не только меня унижали, это бы на здоровье, — но указывали, каково отведут место и чаемой нами России, будущей. До какого же глубокого падения докатилось русское имя на Западе, если над нами тут устраивают такие балаганные номера?

Однако спасибо за выболт, без вашей бы болтовни вас и за хвост не схватить.

Так, ещё за месяц до встречи, не только было нам ясно, что я не еду, но и складывалось отказное письмо. Аля, взволнованная всем событием намного больше меня, да ещё всевременно будоражимая телефоном, — то и дело приносила мне варианты отказных фраз, многие и вошли в письмо, это мы вместе составили. Задача письма была — представить весь расклад сжато, но в его подлинном не-личном масштабе. И при том — не обидеть Президента, жалко, что его втянули в игру против воли и против его собственного видения. Отделить Рейгана от советников. И чтоб это внятно звучало для соотечественников. И внушительно для Старой Площади.

Первую встречу со мной при Форде сорвала боязнь Белого дома перед Москвой, теперь — подчинённость Белого дома противорусским влияниям. Но формулировка Пайпса-Кайзера давала мне возможность, и даже обязывала, ответить шире, чем на одну эту подмену.

Тем самым — письмо становилось вынужденным, но крупным, и даже вызывающим, шагом.

Как всякая борьба, и эта — заставляет ступать и обнажать бока раньше времени. Но когда-то же приходят и сроки, хотя и медленно текут реки истории.

Следующие недели часто звонил к нам телефон, и всё новые долетали перемены, перехватные вести, предположения, вопросы. Вот уже узнаём, что набирают компанию — как бы специально во вражду и унижение мне, там — и Чалидзе, и оскорблявший меня Марк Азбель, и — Синявский... (писатель! эстет! из Парижа! — и жалко спешит, как только поманили, к вашингтонскому столу). А из Белого дома — удивительно — так и нет обещанного письма (Аля пожимает плечами: «неприлично»).

Но пока нет приглашения — не на что и слать отказ.

Тем временем сенаторы-доброжелатели, расчужав, что происходит (в канцелярии Белого дома их ещё и обманывали), — потребовали, чтобы к программе была бы добавлена отдельная встреча со мной, перед ланчем, хотя бы самая краткая. (А — зачем мне такое? И вовсе не нужно.) Но и эта вся попытка, с куцей 15-минутной аудиенцией (7 с половиной минут при переводе...), мучительно томилась в Белом доме: очень боялись даже самой короткой отдельной встречи, — и эта добавочная оговорка так и не вырвалась из канцелярских недр, а припорхнула ко мне опоздавшей телеграммой, уже в самый день ланча, 11 мая.

Приглашение же на ланч в конце концов пришло... в виде картонки входного билета, без единого пояснительного слова.

Но каким же путём послать Президенту моё отказное письмо [4]? Хотелось, чтоб он получил и прочёл его — первым, а не из рук своих чиновников. Воспользовались любезным посредничеством Эдварда Б. Вильямса, имеющего доступ в Белый дом, — и он успел и передать письмо, и объяснить Президенту, как низко его разыграл Пайпс. И 7 мая позвонил нам: что Президент «всё понял» и «не обиделся». Вот и слава Богу.

У нас — большое облегчение.

Но не то — в Белом доме.

Если б сами они не дали утечки, что Солженицын ожидается у Президента, — то сейчас тихо замяли бы, и всё. А теперь — должны как-то объяснять мой неприезд? И — в самые короткие дни.

Телефонные судорожные согласования достигли нас. Сперва — Белый дом предлагает свою формулировку для прессы: «Солженицыну не позволило приехать его расписание».

Мы — отклонили.

Вослед — рано-рано утром 10-го, уже накануне ланча, — Вильямс передаёт, от главного президентского советника и друга, настойчиво: передумайте! приезжайте!

Нет, невозможно.

Посреди дня — с новой формулировкой: «Сейчас не смог принять приглашение, но Президент ждёт встречи с Солженицыным позднее».

Согласились.

Но сомнительно, чтобы Пайпс пропустил в прессу такое.

И в самом деле, днём 10-го, уже зная мой отказ, Пайпс вилял в ГосДепе, что Солженицын завтра приедет. А затем решили, вероятно, вовсе не давать официального разъяснения от Белого дома, лишь пустить «утечку».

И по той же схеме — к Кайзеру, а тот — в «Вашингтон пост» — представили такой жалкий выверт: «Солженицын недоволен, что пресса узнала о приглашении в Белый дом раньше него». Маловато, не тянет. Тогда — ещё огрызок: нашёл неуместным причисление его к диссидентам.

Это — вместо всей содержательности моих доводов.

Тем *вынуждали* нас — огласить суть дела, то есть полное письмо.

Мы решили: достойно будет напечатать только в скромной вермонтской газете, а дальше — заметят, не заметят, — ничего не предлагать нарасхват прессе и агентствам.

И — что ж? У вермонтской газеты переняли многие крупные американские. (Столичная кайзеровская, в буднем выпуске, текст и тут, конечно, изрезала и искажила, — но независимая редакция воскресного выпуска «Вашингтон пост» поместила письмо полностью.)

Так окончилась эта навязанная нам больше чем на месяц побочная нервотрепка. А устройщики выиграли не много: Рейган уже не мог отменить ланча, но спустил его на самый нижний регистр — пришёл без главного советника, не произнёс подготовленной речи, и гости не произносили, не было вожделенной телевизионной съёмки, не было пресс-конференции.

Кипели режиссёры и участники, что я не приехал и всё им испортил, — уж как кипели. Вот странно: если они, как уверяют, за «права человека» и против навязывания воли другому, — так вот я и осуществил самое скромное из прав человека: не поехать по приглашению на завтрак. Откуда ж этот гнев и этот коллективный диктат: «ты должен был!» И диссидент Любарский пишет задыхательную отповедь (и снова пропорция неуверенности: в три раза длинней, чем моё письмо Президенту): и «облыгаю страну, давшую приют», и «забыл Архипелаг Гулаг (это я-то!), и неблагородно отношусь к соотечественникам, и не имею права определять, что является и не является «русским», — а Любарский будет определять? Уже протянули руки к возжам гоголевской Тройки?

Подпортил им и генерал Григоренко, бывший среди них на том завтраке: написал письмо Президенту, что испытывает глубокое чувство вины, что по-

трясён «хитрыми и грязными шагами» организаторов, подменивших встречу Президента со мной, и считает мой неприяезд правильным.

(Но — подхвачено было Советами: «принимаемый в Белом доме как желанный гость Солженицын», — а поправки, конечно, не будет, и кто, когда разберётся? ложь присыхает на десятки лет. — Я укорил Рейгана американскими генералами, метящими в случае атомной войны уничтожить избирательно русских, — и в тех же именно днях, на парадной первомайской странице «Советской России» — наверху во всю ширь все вожди на мавзолейской трибуне, внизу — подвал какого-то поэта служающего, Виталия Коротича\*, в жанре *травли с подлогом*: «г-н Солженицын, выдворенный из Советской страны... публикует фразу, обращённую к нам с вами: „Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!“» — И откуда ж моим соотечественникам знать, что это — сцена из «Архипелага», часть V, глава 2, — это летом 1950 на пересылке в Омске зэки кричат вертухаям, когда их, «распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок», и жизнь им «была уже не в жизнь... не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами». — И этот яд разливается в Советском Союзе по миллионам мозгов: Солженицын призывает сбросить на нашу страну атомную бомбу! И когда ж ещё через эти новые глыбы лжи перебираться?)

А в общем-то Пайпс своего добился: нашу встречу с Рейганом — расстроил, и ставил себе это в заслугу.

Мы — опять на чужой территории. Мы опять в чужих руках.

В прошлом году исполнилось 5 лет нашей жизни в Штатах — и мы получили право на американское гражданство. У нас ведь и никакого нет, беспаспортные. Но, решили с Алей, — не будем брать. Мы чужбинничаем тут с горя, нам тут только до времени перебыть.

А с другой стороны: если не берёшь, остаёшься *ничей*, — то, как бы, выходит, хранишь верность Советскому Союзу? ведь гражданства *российского* у нас и не бывало. И: в наступившей шаткой мировой обстановке жить вовсе без гражданства — беззащитно.

Нет, пока решили всё же не брать.

Предложил французский «Экспресс» печатать у него актуальные статьи — я согласился: во Франции — мой голос заметен. Перепечатавали эти статьи по другим европейским странам — а Штаты и не шелохнулись: они признают только себя центром мира, и только для них и от них должно быть произнесено. Вот опубликованы мои «Танки» — где? во Франции. (И пишут французские критики: это так написано, что уже и видно, хоть не снимай.) Вышел «Круг»-96 — во Франции, даже в Германии, а в Штатах, из-за которых и старался Иннокентий, губил свою жизнь, — нет.

Ощущая себя на чужбине, нельзя отогнать и тревожных мыслей о завещании: при внезапной смерти, а мне 63 года, — кто будет распоряжаться всеми моими оконченными и неоконченными произведениями? кому достанутся мои архивы?

Кажется, спокойно: Але конечно, она на 20 лет моложе меня, и лучше неё никто не разбирается в моём литературном деле. Но вот — только что, в марте, — замечаю у неё подозрительное тёмное пятнышко у виска, и растёт. А у меня от раковых моих времён глаз намётанный: точный цвет меланомы! Да можно сгореть в короткие месяцы! Уговариваю Алю ехать к врачу (про меланому — не говорю), — «да это ерунда!», ни в какую. Всё ж настоял, поехала. Разумеется, тотчас взяли биопсию. Дни ожидания. Доброкачественная, слава Богу. И вырезали.

Но так вот — и живи, надейся. А дети малые? Конечно, случись такое — есть бабушка, есть верные русские друзья. Но сколько ещё у сыновей впереди

\* «Советская Россия», 1982, 2 мая, стр. 1. — Коротич Виталий. Свет и надежда планеты.

лет юридической неправопособности — и что тогда с литературным наследством? — по законам штата Вермонт перейдёт под опеку штатных вермонтских властей... То-то нараспорядятся...

Научит горюна чужая сторона...

---

Этой весной напомнила мне Би-би-си, что осенью исполняется 20 лет от напечатания «Ивана Денисовича», и предложила полностью записать в моём чтении текст для передачи в Россию. Отлично! Я охотно согласился. И вот сейчас, в первые дни июня, приехал заведующий русской секцией Барри Холланд, записывали мы полный текст и интервью\*.

И в тексте «Ивана Денисовича», произнося его для России, я почувствовал вневременную поддержку — нечто начавшееся ранее меня, и весь изойденный путь, и уходящее далеко вперёд за край моей жизни. Уверенней почувствовал себя звеном неистребимого длительного русского хода.

И о Твардовском сказал в интервью то, что вот только-только сейчас записал в этих главах.

Раскладывая: не пора ли в азиатское путешествие? Это путешествие задумано мною уже года два — как ожидаемый перерыв между Узлами. Из-за того что я впервые за шесть лет куда-то еду — решил и написать это дополнение к «Зёрнышку» сейчас: там ещё буду ли жив, а на всякий случай объяснить. Перед каждым новым шагом хочется подвести черту прежнему.

Сперва это путешествие задумывалось просто как разминка: всё сижу-пишу, сижу-пишу, — и это имея свободу движения по всему земному шару! — да хоть закончив «Март» съездить куда-то. Хотя никакого однообразия в нашей вермонтской жизни я не ощущаю и без стеснения чувств готов жить тут до, надеюсь, возврата в Россию, — всё же перерыв в работе располагает ввести в жизнь и что-то непредвиденное, незнаемое, новую полосу зрения. А куда? — не по Америке и не по Европе, уже ездил. Тут — вечный русский интерес к странам дальней Азии.

Но стал я понимать: это не прогулка будет, нет. В Японии, в Корее и на Тайване меня переводят, читают и знают. И там — не избежать острых вопросов. Южнокорейское Культурное общество усиленно и звало меня к публичным выступлениям. (И вот уж где газетчики не возьмутся перепахивать меня на «фифти-фифти».)

Долго обдумывал: а четыре курильских острова? Промолчать, наверно, не придётся. Стал изучать историю вопроса. Отдать — будет по полной справедливости. Старая Россия никогда на них не претендовала — ни капитан Головин в начале XIX века, ни адмирал Путятин в середине его. А сейчас японцы только и настаивают всего лишь на этих четырёх островках — и готовы на дружбу. И так можно снять их память о Южном Сахалине. Так и ответить: на этом вы и можете видеть разницу между старой Россией и новым Советским Союзом, острова — это тоже часть коммунистической проблемы. Хорошо бы даже попытаться содействовать атмосфере русско-японской дружбы, сколь это доступно моим силам.

А Тайвань — это будут впечатления чисто китайские, как побывать бы в самом Китае, а уж добавить наслы коммунизма — это мне легко умозрительно. Тайвань — это опорная точка моей страсти, это наш несостоявшийся врангелевский Крым.

*Вермонт  
Весна 1982*

---

\* «Публицистика», т. 3, стр. 21 — 30

## ПРИЛОЖЕНИЕ

[1]

СТЫДНО!

Письмо в Самиздат

Апрель 1979

Тот вихрь недовольства, подозрений, обвинений, угроз, вымоганий, какой за-вертелся вокруг Русского Общественного Фонда, и главным образом в наименее бедствующей столице, — это наш позор. Никогда в прежней России дело милосердия, тогда широко разлитое, не подвергалось и сравнительно таким насокам зависти, жадности и недоверия. Я не имею в виду прямых вымогателей и подосланных от ГБ. Я, разумеется, не принимаю в счёт Роя Медведева, который то и дело догадливо выпереживается перед властью. Но клевета распространяется в живой человеческой среде, а не получает достойного ответа, даже и от тех, кто принимал помощь Фонда. А многих угнетает, должно быть, привычка советских десятилетий: всегда быть обойденным и всегда обманутым. И уже легче поддаться, чем поверить, что на этот раз обмана нет.

Но ведь работа Фонда — уникальна, почти чудесна в советских условиях, происходит под невыносимым гнётом, в государственной травле, её первый самоотверженный бесстрашный организатор — уже в тюрьме. Неужели же ещё «диссидентскую» клевету надо добавить к усилиям КГБ? Если и сами такие — то что же всё валить на режим? И какое у нас будущее?

Я хорошо знаю принципы распределения помощи Фонда и одобряю их. Помощь ведётся нелицеприятно. Когда позволят условия на нашей Родине — вся его деятельность в цифрах и фактах будет опубликована. Я призываю: не позорить этими тёмными клубами наше пробуждение и тот многократно вымерший Архипелаг, из могильника которого вырос росток Фонда.

*Александр Солженицын.*

[2]

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ КАРТЕРУ

Кавендиш, Вермонт  
4 июня 1979

Господин Президент!

Выдающийся сын русского народа Игорь Огурцов, искавший христианских путей развития России, уже 13-й год непрерывно находится в жестоком заключении, при безжалостном режиме, — и ещё 8 лет нависают над ним, которых ему не пережить. У него опала печень, опустился желудок, в 42 года вылезают волосы, выпадают зубы. Сегодняшняя ситуация даёт Вам редкую возможность освободить хоть несколько человек из безнадежного долгого сидения. От себя и от русского народа я с волнением прошу Вас помочь вызволить Огурцова для лечения и спасения.

*Александр Солженицын.*

[3]

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ О. КАРЛАЙЛ  
К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ «ТЕЛЁНКА»

Я не предполагал расшифровывать имён, но Ольга Карлайл поспешила сделать это сама. Так всегда и бывает: не те ищут славы, кто делает главные дела. Все те

самоотверженные западные люди, кто существенно помогли в моей борьбе, обеспечили весь поток публикаций на Западе, а затем вослед моей высылке тайно вывезли мой большой архив, — те скромно молчат посегодняя. Им посвящён большой, уже написанный раздел этой книги — но не пришло время его печатать. Роль же Карлайл в судьбе моих произведений я вижу последовательно отрицательной. Стечением обстоятельств, — по доверию к семье Андреевых, из которой она происходит, не по знанию её самой, — ей были доверчиво переданы уже вывезенные из СССР тексты «Круга Первого» и «Архипелага», сама она не рисковала ничем ни одну минуту. Американский перевод произвольно редактировал муж, Генри Карлайл, совсем не знающий русского языка, — и оказалась необходимой значительная дальнейшая редакционная работа. Английское издательство отказалось от этого перевода. Остальные переводы «Круга» Карлайл допустила производить небрежно, многие оказались плохи, особенно французский. На этом и закончились труды Ольги Карлайл, которые, как она уверяет теперь, отняли у неё шесть лет жизни, «масса риска», нарушили её журналистическую карьеру, жизнь свободной художницы, — по каким причинам, вероятно, она и оценила услуги, расходы, жертвы, потери, бессонные ночи свои, своего мужа и своего адвоката — около половины гонораров от мировой продажи романа за то время, пока она им управляла. А всю нашу борьбу, описанную в этой книге, она называет «итальянской оперой» и миром мелких интриг. Её поведение, стиль отношений резко противоречили всем нашим представлениям в эти годы борьбы. Весной 1970 мне было передано в СССР от Ольги Карлайл через посредника, что американский перевод «Архипелага Гулага» окончен и готов к публикации. Это давало мне ложную уверенность, что в острый момент «Гулаг» может быстро появиться на самом читаемом в мире языке. На самом деле, этот перевод не был готов даже и в 1973, когда грянул удар по русской рукописи. Так и вышло англоязычное издание позже всех других.

## [4]

## ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РЕЙГАНУ

Кавендиш, 3 мая 1982

Дорогой господин Президент!

Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у неё наконец такой Президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме — ни при Президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять приглашение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьёзного эффективного разговора, — но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт о ланче «для советских диссидентов». Но ни к тем, ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же факт, форма и дата приёма были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имён лиц, среди которых приглашён на 11 мая.

Ещё хуже, что в прессе оглашены также и варианты и колебания Белого дома, и публично названа, а Белым домом не опровергнута формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь «символом крайнего русского национализма». Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь.

Я — вообще не «националист», а патриот. То есть я люблю своё отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят своё. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых, ран уже почти умирающего населения. И уж конечно открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны.

Но удивительно: всё это — не устраивает Ваших близких советников! Они хотят — чего-то другого. Эту программу они называют «крайним русским национализмом», а некоторые американские генералы предлагают уничтожить атомным ударом — избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР — и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов.

Господин Президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли бы нежелательной по той причине, что Вы — патриот Америки, — Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете Президентом, если Вам придется быть в Вермонте — я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил искажительное гласное толкование и весьма вероятно, что мотивы моего неприяда также будут искажены, — боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

*А. Солженицын.*

*(Публикация глав будет продолжена.)*





---

---

# ИЗ НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ



## ЖИЗНЬ БЕЗ КОНЦА

*В неоднократно гибнувшем архиве философа А. Ф. Лосева (1893 — 1988) уцелела обшая в линейчку серая ученическая тетрадь, а в ней — несколько стихотворений 1942 — 1943 годов. Судя по тоже сохранившимся разрозненным черновым листкам, испещренным многочисленными исправлениями, в тетрадь заносился лишь окончательный вариант, да и тот подвергался последующей правке. Впрочем, из двадцати дошедших до нас стихотворений Лосева шесть так и не были переписаны набело.*

*...Лосев, разумеется, отлично знал русскую классическую поэзию, имена Лермонтова и Тютчева были для него особенно значимы. Любил стихи Вл. Соловьева, Ин. Анненского; из символистов особенно ценил Вяч. Иванова и Зинаиду Гиппиус. Изменить отношение к символизму не смогли ни личное знакомство с новой футуристической поэзией в лице сотоварища по Московскому университету Бориса Пастернака, ни книги поэтов других поэтических направлений, попадавшие на полки его личной библиотеки. Лосев так и остался на всю жизнь именно приверженцем символизма.*

*Уцелевшие лосевские стихи распадаются как бы на два цикла: «кавказский» и «дачный». Первый навеян путешествием на Кавказ после освобождения. Второй связан с жизнью в подмосковном дачном поселке Кратово, где Лосевы вынуждены были снимать комнату в 1941 — 1943 годах, когда их московский дом был разрушен немецкой бомбой.*

*Предлагаем читательскому вниманию стихи «кратовского» цикла.*

*Елена Тахо-Годи.*

\* \*  
\*

Благословенна дружба,  
Пришедшая тогда, —  
Таинственная служба,  
Проникшая года.

Над всею жизнью внешней,  
Такою, как у всех,  
Горел огонь нездешний  
Мучений и утех.

О том, чтоб сердце друга  
Всходило в небеса,

Само того же луга  
Нездешняя краса,

Чтобы не омрачалось  
В стране, где зло и тлен,  
К чужому не склонялось,  
Не ведало измен...

Всю жизнь — на чуткой страже:  
Рассветный час и синь,  
Когда пролет лебяжий  
Над холодом пустынь...

**Зимняя дача в Кратове**

Лиловых сумерек мигрень,  
Снегов пустующие очи,  
Печалей мгlistая сирень  
И бесполезность зимней ночи;

Сверло невыплаканных слез,  
Жужжащих мертвенность туманов  
И ключья вздыбленные грез,  
Безрадостных оскал дурманов;

Трескучей жизни мертвый сон,  
Бессонных фильмы сновидений  
И почерневший небосклон  
Ума расстрелянных радений, —

Здесь тускло все погребено,  
Гниет послушно и смиренно,  
И, снегом все замечено,  
Для мира тлеет прикровенно.

И дачка спит под синей мглой,  
Под тяжко-думными снегами,  
Как бы могилка под сосной,  
Людьми забытая с годами.

Уютно зимним вечерком  
Смотреть на милую избушку,  
На живописный бурелом,  
На сосны леса, на опушку.

Картинку эдакую нам  
Давали в детстве с букварями...  
Вот почему на радость вам  
И тут всплыл домик под снегами.

27 — 28 апреля 1942.

**Весна в Кратове**

Туманов жиденький простор,  
Дождей слезливая шарманка,  
Снегов дряхлеющий задор  
И бурь пустая лихоманка,

Чухотка солнца и тепла,  
Бездарной спеси туч тенета,  
И слабоумие гнилья,  
И злость сопливая болота.

О, импотентная весна,  
Ты, вывих мысли неудачной,  
Как бесталанно ты скучна,  
Как вялый вздор ты мямлишь мрачно!

4 — 5 мая 1942.

\* \*  
\*

Я просыпаюсь в ранний час,  
Когда меж снами и дневною  
Тщетою тайны возле нас  
Душе глаголят тишиною.

Ты знаешь эту тишину:  
Она сгибает нам колени,  
Будя в груди у нас весну  
Неведомому восхвалений.

Мой друг, мне хорошо тогда  
В моей простой и детской вере:  
Я вижу мир — в ином всегда,  
В пустом пространстве не затерян.

И с радостью мой новый день  
Я словом верным начинаю:  
Мне драгоценна эта сень,  
Которую я с детства знаю.

И мирные ночей сверчки  
В своих часовенках застенных —  
Глуши невзрачные дьячки —  
О тех же тайнах сокровенных.

\* \*  
\*

У меня были два обрученья,  
Двум невестам я был женихом.  
Может, оба златых облаченья  
Запятнал я, в безумстве, грехом.

Но мои обе светлых невесты  
Были нежны так и хороши,  
Что они обнялись и вместе  
Сохранили мне правду души.

Я пришел — возле них — столь же юным,  
Как и был, к этой вот седине,  
Что еще прикасаюсь к струнам,  
Что еще поклоняюсь весне.

И одна мне дала в моих детях  
Несказанную радость отца,  
А другая — живую в столетях  
Мысль, и мудрость, и жизнь без конца.



---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



## БЕГСТВО ВПЕРЕД?

**П**очему новым президентом России стал бывший офицер КГБ, а не Владимир Буковский, допустим? Вопрос (услышанный мною от И. Б. Роднянской, ею же, как я понимаю, поставленный с чисто эвристической целью) может показаться неожиданным, даже нелепым, если учесть сложившуюся расстановку сил. Но в начале 90-х нелепым показалось бы скорее предположение, что следующим президентом может стать бывший офицер КГБ. Разве только в случае реванша «красных».

Что изменилось за минувшие годы?

Не было недостатка в предупреждениях, что переходный период будет трудным (Солженицын, еще раньше — Г. Федотов, И. Ильин, С. Франк, другие мыслители эмиграции). Но такого провала в некое подобие феодализма (притом наихудших времен), кажется, не ожидал никто. Бывшая номенклатура, в основной части внутренне не готовая к демократии (как, впрочем, и остальной народ тоже в основной своей массе), залегла в своих «уделах», обрастая служащими «структурами», средствами информации и т. д. и в значительной мере утрачивая даже тот диковатый, но по-своему требовательный инстинкт государственности, который был ей свойствен в прошлом. Другие инстинкты заговорили в ней больше остальных — самосохранения и захвата. Вероятно, к ней можно отнести сказанное Ключевским о феодалах эпохи политической раздробленности: «Если бы они были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные лоскутья...»

В таких обстоятельствах задача спасения российской государственности становится одной из самых неотложных. Этого, кажется, не понимают бывшие диссиденты, те, что звучат в эфире радио «Свобода». Зато это хорошо понимает, чувствует Путин. Россия по своей идее — единое, в высокой степени централизованное государство, что «заложено в ее генетическом коде, в традициях, в менталитете людей» («От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным»).

Другая угроза обычно формулируется как чеченская. Хотя на самом деле речь идет не столько о судьбе третьестепенного «субъекта федерации», сколько о чем-то гораздо большем, именно — внешней угрозе. И это тоже хорошо понимает Путин. Некоторые его высказывания дают основание предположить, что в иных обстоятельствах он бы не отказался от рассмотрения вопроса о независимости Чечни. Но: «...я ни на секунду не сомневался, да и для элементарно политически грамотных людей давно было понятно, что Чечня не ограничится только независимостью самой Чечни. Она будет использована как плацдарм для дальнейшего нападения на Россию... Вот захлестнуло бы Дагестан — и все. Кавказ отошел бы весь, это же понятно. Дагестан, Ингушетия, а потом вверх по Волге — Башкортостан, Татарстан. Это же направление в глубь страны». То есть речь идет об исламском экстремизме, поднявшемся, как на дрожжах, в странах «глубокого» Юга и все активнее пробивающемся в вожделенные пределы мусульманских республик СНГ и самой России. Чечня здесь — «точка выброса жала» (воспользуюсь выражением Антонена Арто, употребленным в ином контексте). Завтра могут появиться, и почти наверняка появятся, другие точки.

А бывшие диссиденты, особенно те, что остались за рубежом, как правило, взирают на Северный Кавказ через западные окуляры: они видят здесь нарушения прав человека и ничего больше. Верно, что российская сторона, так сказать, на молекулярном уровне дает немало поводов для вполне справедливого негодования на сей счет. Это результат общего падения нравов (на которое с чеченской стороны еще «накладываются» пережитки дикости и религиозный экстремизм). Так что присутствие в Чечне разных европейских комиссаров, наблюдающих за соблюдением прав человека, было бы совсем нелишним. И наверное, они получили бы гораздо более широкий доступ в Чечню (и, значит, гораздо успешнее выполняли бы свои обязанности), если бы Запад проявил большее понимание российской политики в этих местах.

Но вот как будто нешуточный вопрос: не сворачивает ли новое государственничество, хотя бы отчасти, на старый путь? Не происходит ли «реванш КГБ» (Буковский по радио «Свобода» высказал довольно распространенную в определенных кругах точку зрения) — в той мере, в которой он вообще возможен в изменившихся условиях?

Сам Путин вроде бы не дает оснований для подобных опасений. Его высказывания и его первые действия говорят о том, что от советских гипертрофированных представлений о государстве он ушел бесповоротно. И в целом его программу действий можно, вероятно, назвать либеральной, пусть и с некоторыми коррективами. Заметим, однако, что и Путин нигде (в «Разговорах...») не отрекается от КГБ или, во всяком случае, от того подразделения, в котором служил, — внешней разведки. Он говорит об «ошибках», допущенных в 1953, 1956 и 1968 годах (Берлин, Венгрия, Чехословакия), но не более того. Кто знает, может, он хотел бы высказаться на сей счет более решительно, но не сделал этого из тактических соображений. В то же время некое чувство корпоративной солидарности, которое он испытывает в отношении места своей прежней службы и своих прежних товарищей, несомненно, вполне искренно.

Вероятно, Путина следует определить через оксюморон: это человек старого (советского) — нового склада. Но такой президент «соответствует» стране, какова она есть сегодня.

Сказочный Иван — солдатский сын тридцать лет и три года Лихо одноглазое на плечах носил, так что люди позабыли различать, где кончается Иван и начинается Лихо. Пока в один прекрасный день он не сбросил с себя постылого. В реальности так не получается. Освобождение от советского прошлого, разностороннее осмысление его — процесс, который длится уже более десяти лет и еще затребует немало времени. Иначе, наверное, и не могло сложиться. В годы, предшествовавшие революции, не раз было замечено, что в России народ и интеллигенция живут как бы в разных ритмах: первый — в замедленном, вторая, с ее далеко идущими чаяниями и требованиями, — в убыстренном, «безумном». Нечто подобное наблюдается и сегодня, хотя контраст уже не столь сильно бросается в глаза.

Когда «авангард» (Петр I, большевики) резко уходит вперед в том или ином направлении, «тылы» долго подтягиваются за ним и даже заставляют его в какой-то момент податься назад. Такие разрывы или чреватые великими потрясениями, или являются их следствием. Между тем на сей раз никто, кажется, не хотел, чтобы снова пошел дым коромыслом. Сам Буковский, сколько помню, предупреждал против чересчур резких перемен.

Но в таком случае надо мириться с постепенной, исподволь совершающейся трансформацией «человеческого материала», доставшегося в наследство от советской эпохи. И не переносить на людей автоматически пороки институтов, которым они служили. Заметим, что советская ментальность — не литая, но собранная или, точнее, сбита из разнородных и порою трудносоединимых друг с другом элементов, «блоков», «глыб». Сейчас, в распаде, удивляешься тому, как они вообще могли составлять одно целое. Сравните, например, мир детства и мир взрослого человека — они намного дальше друг от

друга, чем это, вообще говоря, может быть допустимо; кажется, что детей готовили (особенно в 30 — 40-е годы, но и позднее тоже) совсем не для той жизни, какая была в действительности. Или вот, ближе к нашей теме: романтика «щита и меча» и деятельность КГБ по своему объективному значению (на международной арене в частности) — много ли между ними общего? Я это к тому говорю, что среди элементов распавшейся (или распадающейся) советской ментальности есть те, которые алхимики назвали бы *caput mortuum*, «мертвой головой» (остатки предыдущих опытов, не годящиеся для опытов последующих), а есть другие, которые могут еще пойти «в дело».

Алхимия в некотором отношении подобна «живой жизни» — всегда в поиске, хотя часто ищет вслепую и находит не всегда то, что ищет.

В тех же сотрудниках советских спецслужб были человеческие свойства, природные и воспитанные, которые в ином контексте могут оказаться безусловно ценными. Так в алхимическом горне различные вещества, сохраняя некоторые элементы прежней структуры, приобретают новые, в итоге меняя цвет и качество.

Бывшие диссиденты в свое время героически выступили против советской власти, за что, надо полагать, история воздаст им должное; но, взяв однажды критический разбег, они, похоже, не могут уже остановиться и требуют все оставшееся от прошлого разрушить «до основанья, а затем...». Хотя что будет затем, сами толком не знают<sup>1</sup>. Но время не терпит, и, значит, надо не только разрушать старый дом, но одновременно «оживить камни из груд праха» (Неем. 4: 2) и строить новый, эмпирически находя правильные решения. «Подсказчиками» здесь служат наитие (сигналы, посылаемые возбужденной национальной памятью) и здравый смысл.

Кстати, видимый эмпиризм не обязательно означает отсутствие идеи. Гегель писал, что исторические деятели черпают свои цели из источника, содержание которого остается до поры до времени скрытым, — некоего «внутреннего духа, который еще находится под землей и стучится во внешний мир» (цитирую по памяти в уверенности, что существенных неточностей здесь нет). И это несмотря на перемену, которую произвели в мире Просвещение и Французская революция, поставившие его «на голову», иначе говоря, резко усилившие значение интеллектуальной составляющей исторического процесса. Даже не разделяя гегелевского представления об имманентной цели истории, можно согласиться с тем, что доля истины в этом суждении есть.

Конгениально Гегелю его соотечественник Гёте утверждал, что Наполеон, наиболее впечатляющая фигура великой переходной эпохи конца XVIII — начала XIX века, сам не понимал идеи, в которой жил. Это было сказано о человеке неоспоримо выдающемся, и не только на поле боя, но и в делах государственного строительства. Что уж тут говорить об «агентах истории» более скромного калибра.

Кормчий государственного корабля сам может быть ведóm (скажем, неким крылатым гением, как ни анахронично выглядит такое существо в наши дни); что, разумеется, не снижает его ответственности за взятый им курс. Он волен, более того, ему приходится выбирать курс даже в том случае, когда у него есть твердое представление о порядке ценностей. Потому что порядок ценностей — это одно, а область действия воли — другое. Существует, как называл ее Б. П. Вышеславцев, *автономия руля* — наряду с *автономией компаса*.

Самый порядок ценностей независим от времени (компас всегда указывает одно и то же направление, куда бы его ни поместить), но способ, каким он может быть реализован, зависит от конкретных обстоятельств. Сейчас «элита»

<sup>1</sup> Диссиденты, пишет С. В. Николаев, «твердо знали, от чего они желают отказаться, но совсем плохо представляли себе, во имя чего они встают. Свобода понималась как категория преимущественно отрицательная — как „свобода от“, не „свобода для“. Впереди лишь что-то смутно мерцало, мнилось, мерещилось... И положительные задачи, и цели освобождения обернулись по старой и скверной российской традиции расплывчатым, но пленительным социальным миражом, розовой грезой...» («Посев», 1999, № 4).

озабочена национальной идеей: ждут, что она вот-вот явится готовенькой, как некое золотое яблочко на серебряном блюдечке. Не дождутся. Национальную идею надо суметь вырастить; притом усилиями, исходящими не только «от головы», но и от жизненной практики. У нас есть великолепный теоретический корпус, оставленный «старой» Россией и русской эмиграцией, — мне трудно представить, что без опоры на него может возникнуть национальная идея, заслуживающая этого имени. Но он не должен как бы повисать в воздухе. Кроме идейно-теоретических разработок нужны, так сказать, встречные движения полусознательного характера, осуществляемые в различных жизненных планах, не в последнюю очередь в плане политической деятельности.

Разумеется, все это не означает, что критическая оценка советского прошлого утрачивает актуальность. Двигаясь вперед как бы в тумане (будущее всегда туманно), приходится в определенной мере полагаться на интуицию. Но уже пройденная часть исторического пути должна быть освещена безжалостным светом знания.

Вероятно, можно определить взятый новым президентом курс как «бегство вперед». Этот емкий термин (перевод с французского) означает устремленность к поставленным впереди целям и в то же время уход, «бегство» от решения постросов, которые рано или поздно должны быть решены. В данном случае поставленные цели имеют практический характер, а «брошенные» позади вопросы — оценочно-исторический.

«Пока не установлена истина, — пишет Буковский, — не вынесен... приговор — остается незавершенной эта (советская. — Ю. К.) глава нашей истории, не наступает и выздоровление» («Московский процесс»). В этом Буковский, безусловно, прав: настоящее выздоровление придет, когда будут вложены персты в язвы и наступит всеобщее осознание того, какая болезнь однажды поразила организм.

В оправдание верховной власти скажем, что такого рода «судебно-медицинская экспертиза» — не ее все-таки дело; да и не по силам ей она. От первого лица зависит многое, но далеко не все. *Nec Caesar supra grammaticos* — «И Цезарь не выше грамматиков». В данном случае «грамматики» — трудящиеся на ниве просвещения в различных его аспектах: религиозном, научном и культурном. Этот их «муравьиный труд» по разборке остающихся завалов и восстановлению необходимого порядка ценностей способен расчистить путь для преобразований. Но и, наоборот, успешное продвижение по пути реформ будет способствовать переоценке прошлого — и так, даст Бог, мы выйдем из замкнутого круга, в котором топтались целое десятилетие.

А «реванш КГБ», хотя бы только частичный, сейчас уже невозможен. Не те времена. И слишком дискредитирована эта организация, чтобы кто-то мог возмечтать о чем-то подобном. Как теперь представляется, это преступная организация, даже если судить ее по советским критериям. Ведь какая главная цель перед ней стояла? Быть самыми-самыми сильными в мире, всех давить и никого не бояться. А каков итог? Преступление, которое совершило «ЧК — ГБ», — разумеется, не само по себе, но «в связке» с другими ведущими советскими учреждениями (и, разумеется, с партийной верхушкой во главе) — может быть квалифицировано так: соучастие в убийстве России как великой, первоклассной по внешним параметрам державы? (Возможно ли вос-

<sup>2</sup> Факт, который до сознания большинства соотечественников еще не дошел. Слишком уж непривычно для нас видеть свою страну в ряду второстепенных или даже третьестепенных. А если трезво: на многое ли может рассчитывать страна с быстро убывающим населением (в начале века составлявшим примерно десятую часть мирового населения, а сейчас менее 2,5 процента), по объему ВВП занимающая то ли 22-е, то ли 25-е место в мире? Пока еще нам позволяют «повышать голос» ракеты и другая военная техника, но долго ли сможет удивлять мир некогда могучий ВПК — без мощной экономики и с убывающими научными силами? Конечно, кому-то хочется думать, что «страну развалили» отдельные «продажные шкуры», но даже здравый смысл подсказывает, что та кой крах мог быть только

кресение? Как и всякое другое — в порядке чуда. Ибо трезвое рассмотрение вопроса отвергает такую возможность, по крайней мере в перспективе следующего столетия.)

Следовательно, чем скорее нынешние эфэсбэшники снимут со стен портреты Дзержинского, по сию пору украшающие начальственные кабинеты, чем раньше перестанут называть себя по старой привычке «чекистами», тем лучше не только для страны, но и для них самих.

Повторю, что порочность или преступность упомянутых институтов совсем не обязательно накладывает клейма на всех людей, причастных к их деятельности. Так складывается в истории, что люди создают институты, но потом институты начинают помыкать людьми — сначала теми, кто их создал, а потом возрастной сменой, которая уже ничего толком об их происхождении не знает и считает их легитимными не только в политико-юридическом смысле, но и в смысле высокой «логики истории», а значит, имеющими и нравственное оправдание. Чтобы лишить их видимой легитимности, поколебать их и в конечном счете повалить, нужны сильные порывы свежего ветра, вроде того, что подул у нас в годы «перестройки». Собственно, в тех разреженных высотах, где сталкиваются идеи и духовные силы, судьба их уже решена, и единственный реальный союзник, который у них еще остается, — вера в сумеречного домового, иначе говоря, старые привычки.

Отчего, говорят, черт на болоте живет? Смолоду привык.

Здравый смысл, я уверен, работает и будет работать против всяких попыток возвращения к прошлому. Но чтобы судить прошлое по высоким меркам, должны, видимо, явиться люди нового поколения — свежие умы и «белые сердца». Только тогда и наступит час пока я ни я, просветления и «уязвления души в глубоком чувстве» ради подлинного обновления жизни.

Пока же — идет сложный и не слишком торопливый процесс метаморфозы живых тканей национального «тела».

---

результатом долгого марша по неверному пути; да и «продажные шкуры», поскольку таковые действительно есть, не с неба упали, но вполне органично расплодилось в атмосфере позднего советизма.





# ПОЛЕМИКА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА



## ПОДСТАНОВКА

*Лев Николаевич и Александр Семенович*

**А**лександр Семенович больше любит Льва Николаевича, чем Анну Андреевну. В конце своей статьи<sup>1</sup> он помещает собственное стихотворение, которое заканчивается так: «А все-таки всех гениальней Толстой, / Ахматовой лучше, Цветаевой выше!»

Не будем оспаривать: сколько людей (особенно — литераторов), столько и мнений. Здесь дело в другом: Кушнер сравнивает не творческий метод (и результат) Толстого и Ахматовой, не их поэтику (что было бы исключительно сложно — все-таки проза и стихи), не их этику, не их художественные и биографические стратегии, а — *действительную* Анну Андреевну Ахматову уподобляет *вымышленной* героине романа Толстого, хоть бы и гениально заставляющего поверить в существование своей виртуальной, как нынче говорят, героини. «Мне отмщение, и Аз воздам» — знаменитый эпиграф к роману — словно бы отзывается в суровой направленности кушнеровского сравнения.

Можно ли уподоблять реальную жизнь — вымышленной? Почему поэт, литератор, тем более филолог (так рекомендует Кушнера читателям журнальная справка) совершает столь странную, характерную лишь для наивного, неопытного читательского сознания «сшибку» абсолютно разных материй — существующей только на бумаге и в воображении писателя и читателя Анны Аркадьевны и реальной, к тому же лично знакомой Александру Кушнеру Анны Ахматовой? Не просто эффектно сравнивает — как Пастернак в случае с Маяковским и героями Достоевского, — а последовательно и скрупулезно сопоставляет?

Чтобы не быть немедленно уличенным в столь смелой для профессионала подмене, автор начинает статью со своевольного допущения: неприятие самой Ахматовой «главной мысли» толстовского романа безо всяких доказательств сводится им к тому, что «Ахматова узнавала в Анне Карениной себя, идентифицировала себя с нею!». Находя нечто совпадающее во внезапной «окаменелости» лица Карениной и в неосторожно, не при Кушнере будь сказанных словах Ахматовой «я тоже мраморною стану», поэт-филолог продолжает развивать это свое предположение уже как доказанную данность: «Отождествить себя с Анной Карениной, примерить к себе ее душу и облик ей помогало (да, уже так — не в сослагательном наклонении, а утвердительно. — *Н. И.*) не только общее с героиней имя, не только совпадение инициалов А. А.: Анна Андреевна, Анна Аркадьевна (возможно, и псевдоним Ахматова

---

Наталья Борисовна Иванова — критик. Окончила филологический факультет МГУ. Многочисленные публикации в журналах и газетах («Знамя», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Новый мир», «Новое литературное обозрение» и др.), в том числе за рубежом. Автор монографий «Проза Юрия Трифонова» (М., 1984), «Смех против страха, или Фазиль Искандер» (М., 1990) и нескольких сборников литературно-критических статей и эссе.

Печатаю полемическую статью Натальи Ивановой, редакция тем не менее не может согласиться с рядом ее положений и выводов.

<sup>1</sup> Кушнер Александр. Анна Андреевна и Анна Аркадьевна. — «Новый мир», 2000, № 2

выбран был юной Анной Горенко из неосознанной оглядки на Каренину — ведь таким образом гласных „а” в ее имени, отчестве и фамилии стало еще больше), не только внешность (черные волосы), но и „ум”, и „грация”, и „красота”, и „правдивость”».

Следуя логике Кушнера, предположим, а лучше утвердим: отождествить себя с Александром Пушкиным, примерить к себе его душу и облик ему помогало не только общее имя — Александр, не только совпадение инициалов А. С.: Александр Семенович, Александр Сергеевич, не только внешность (волосы отчасти кудрявые, небольшой рост), но и то, что оба сочиняли в рифму. Смешно?

«Примерить» можно платье, но «душа и облик» у Ахматовой — с ранней юности до царственной (правда, у Кушнера другое мнение, мы еще до этого дойдем) старости — свои, незаемные, не нуждающиеся в доказательствах яркой индивидуальности — можно привести хоть вереницу воспоминаний, хоть список изображений: рисунки, живопись, скульптуру, не говоря уж о фотографиях. Доказывать, что Ахматова была более чем самодостаточна и не заемна, даже как-то странно: «списывать» с кого бы то ни было внешность, яркую и необычную, ей не было нужды. Приведу хотя бы впечатление от облика Ахматовой, записанное Н. Н. Пуниным в дневнике за долгое время еще до их сближения, 24 октября 1914 года: «Сегодня возвращался из Петрограда с Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе — она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и большие и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развитые скулы и особенный нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом, ее руки тонки и изящны, но ее фигура — фигура истерички; говорят, в молодости она могла сгибаться так, что голова приходилась между ног. Из-под шляпы пробивалась прядь черных волос; я ее слушал с восхищением, так как, взволнованная, она выкрикивает свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна, она прошла глубокую поэтическую культуру, она устойчива в своем мирозерцании, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве».

В отзыве, где смешаны чувство страха с чувством восхищения, облик двадцатипятилетней Ахматовой абсолютно не совпадает с обликом Карениной — Толстой подчеркивает округленность статности, полную шею с ниткой жемчуга, здоровье красоты. Совпадает только красота как таковая — но у Ахматовой она болезненная, как бы декадентская (на самом деле — чахоточная). Однако вот мы ненароком и втягиваемся в навязанный нам сюжет сравнений! Реальная Ахматова появляется в черном — и Каренина на балу, на удивление Кити, не в лиловом, а в черном: означает ли это, что А. А. «идентифицирует» себя внешне с А. К.? Упаси боже. Женщины вообще очень любят черный цвет — особенно итальянки, русские, абхазки и грузинки. А также армянки и персианки. Но это ничего не значит... Данные строки я пишу, одетая в черный бархатный костюм — с кем идентифицируясь? Да ни с кем. Люблю я черный бархат, вот и все. По Кушнеру же получается, что если женщина предпочитает черное, то и до самоубийства под поездом à la Каренина недалеко...

О псевдониме.

Хорошо известна и, главное, самолично записана Ахматовой история с выбором ею псевдонима — фамилия по легенде некой прабабки, которую А. А. возводила к чингизидам. Ахматова, безусловно, творила свою внешность, свой облик, свою биографию и свое имя — «Какую биографию делают нашему рыжему!» — с восхищением и содроганием о суде над Бродским. *Делают — делали* — но и, конечно, не заимствуя, *делала*. Об этом — чуть погодя. Разберемся сначала с именем. Нареченным.

Имя — Анна.

«О том, какое значение в XX веке поэты придают своему имени и что они способны расслышать в нем, хорошо известно», — и Кушнер набрасывает изготовленную сеть на имена русских поэтов — Блока, Брюсова, Цветаевой и, конечно, Ахматовой. Неосторожно данное родителями при крещении имя провоцирует, по Кушнеру, стремление Ахматовой идентифицировать себя с Карениной: «А как сам он гнусно относится к Анне! — говорила Ахматова Чуковской. — Сначала он просто в нее влюблен, любит ее, черными завитками на затылке... А потом начинает ненавидеть — даже над мертвым ее телом издевается... Помните — „бесстыдно растянутое“...» Из приведенной цитаты Кушнер делает свой вывод: «Так не говорят о вымышленном персонаже — так говорят о себе». Помилуйте, почему это? «Можно подумать, что Толстой не имеет прав на свою героиню, что Анна Каренина — не его создание, а живой человек», «чувствуется кровная обида». Нет, это не Ахматова, это Кушнер уподобляет Каренину живой Ахматовой — и наоборот: «Есть в книге страницы, где Ахматова, кажется, могла бы заменить Анну Каренину, — и такая подстановка не удивила бы нас». *Нас* — это, видимо, Кушнера, который словечком *нас* идентифицирует с собой и увлекает за собой читателя. А вот меня, например, такая *подстановка* удивляет, и даже очень. Отношение Ахматовой к Толстому, к Чехову, к их мыслям и творчеству, плодам их воображения было чрезвычайно личным и очень специальным — ну не любила она, терпеть не могла ни одного, ни другого. Но это никак не значит, что она отождествляла себя с Карениной или Раневской и обижалась за них на их же создателей!

А совпадений — как показывает распространенная любовь к черному цвету — может быть множество, большинство — случайных.

Например, портреты.

Существует иконография Ахматовой.

А у Карениной тоже были портреты — ее (в романе, в романе!) писал художник Михайлов и дилетант Вронский. И что же?.. А ничего.

Творческий метод в данной статье у Кушнера таков: сначала предположить (используя рюбки слова и выражения «по-видимому», «кажется») — и тут же переходить к утверждению: «Роман Толстого, *по-видимому*, был одним из самых сильных впечатлений и переживаний юной Ахматовой» — доказательства отсутствуют, ну и Бог с ними (на самом деле сильнейшим литературным потрясением юной Ахматовой, по ее же свидетельству, стоившим ей «первой бессонной ночи», стал Достоевский, а не Толстой, — «Братья Карамазовы»). «Ахматова, *кажется*, могла бы заменить Анну Каренину» — сказанного достаточно для *подстановки*: почему с большим успехом не героиню Достоевского — Катерину Ивановну или Аглаю, например?

В супчик из Ахматовой годится все — в том числе и случайная встреча с Блоком в 1914 году, и «меня бес дразнит» в его дневнике — чем, предполагает Кушнер, не встреча Анны с Вронским?

Ахматова занесла в одну из «Записных книжек», как будто предчувствуя грядущее кушнерианство, следующую запись: «...„Легенда“, с которой я прошу моих читателей распрощаться навсегда, относится к моему так называемому „роману“ с Блоком. Уже одно опубликование архива А. А. Блока должно было прекратить эти слухи. Однако так не случилось, и в предисловии к только что мной полученной книге моих переводов [на фр<анцузский> язык] г-жа Лаффит пишет обо мне: „qui connut et, dit-on, aime Blok“. Блока я считаю [одним из] не только величайшим европейским поэтом первой четверти двадцатого века, но и человеком-эпохой, т. е. самым характерным представителем своего времени, каким-то чудесным образом впитавшим <его>, горько оплакивала его преждевременную смерть, но знала его крайне мало, в то время, когда мы (вероятно, раз 10) встречались, мне было совсем не до него, и я сначала, когда до меня стала доходить эта, по-видимому, провинциального происхождения сплетня, только смеялась. Однако теперь, когда она грозит перекосить мои стихи и даже биографию, я считаю нужным остановиться на этом вопросе» («Записные книжки», стр. 80). Предположение, вымысел, прости-

тельная поэтическая фантазия Кушнера? Если бы! Ведь дальше следует вполне безапелляционный вывод: «И не кажется случайным...», что Блок как-то сказал Ахматовой, что ему «мешает писать Лев Толстой». То, что эти слова были произнесены Блоком не только перед Ахматовой не единожды, *в том числе* при единственном посещении Ахматовой Блока, задолго до встречи на железной дороге, для азартного охотника Кушнера уже не имеет никакого значения — иначе ведь рухнет вся его вымышленная концепция. Если доказательств нет, позволительно прибегнуть и к Фрейдю: «Вот так проговариваются, так выдают сокровенные мысли и мотивы. Подсознание выносит на поверхность и диктует автору воспоминаний то, о чем он сам, возможно, и не догадывается».

Кушнер таким образом протягивает цепь: от воспоминаний Ахматовой о Блоке — через его слова о Толстом — через встречу Ахматовой с Блоком на станции — к утверждению об идентификации с Карениной.

Если натяжка — подсознание Ахматовой (что, повторяю, остается без всяких доказательств — так, *чтение в сердцах*), то агрессивность, с которой Кушнер пытается навязать читателю свою *idée fixe*, неизбежно вызывает удивление и необходимость понять, *зачем ему* это нужно. Что лежит в основе такого желания убедить в недоказуемом? Навязать неубедительное? Утвердить неутверждаемое?

Но сначала — о той биографии, которую *делали* Анне Ахматовой, героине кушнеровских заметок, — и какую она *делала* себе сама.

И — об облике.

*Имидже*, сказали бы нынче.

Имидж — это нечто застывшее, ожидаемое, выбранная маска, присосая к коже живого человека, сознательно делающего себя персонажем — в творческих либо политических целях.

Попробуем обратиться к первоисточнику — к уже цитированному выше «Записным книжкам» Ахматовой, благо они изданы итальянским «Эйнауди» в 1996 году и доступны всем, в том числе и Кушнеру.

«[А] для Н<иколая> С<тепановича> я была чем-то средним между Семирамидой и Феодорой. (А еще Дева Луны в „Пути Конквистадоров“). Мои атрибуты всегда — луна и жемчуг. („Анна Комнена“). У Амеде<ео> наоборот: он был одержим Египтом и потому ввел меня туда» (стр. 208).

Понятно, кто Николай Степанович (Гумилев), кто — Амедео (Модильяни), кстати, записанный еще одним *ахматоведом* или *ахматолобом*, уж не знаю, как лучше назвать Б. Носика, автора книжки «Анна и Амедео», в любовники Ахматовой (сама же А. А. утверждает в «Записных книжках», что даже на *ты* у Модильяни не было никаких оснований).

Так вот — облик и поведение А. А., запечатленные ею, то есть автопортреты, категорически разнятся от чисто мифологических уподоблений и от кушнеровского портрета тоже. Она сама себя знала, как никто другой.

«Я ехала летом 1921 из Ц<арского> С<ела> в Петерб<ург>. [Вагон]. Бывш<ий> ваг<он> III к<ласса> был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, [и] сидела [у окна] и смотрела в окно на все — [такое] даже знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую „Сафо“, но... спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы живые, жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папиросы загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. „Эта не пропадет“, — сказал один из них про меня. Стихотворение было: „Не бывать тебе в живых“. См. дату в рукоп<иси> — 16 августа 1921 (м. б. ст<арого> стиля)».

И тут же рядом, на следующих страницах торжественно именуемой издателями «записной книжкой № 11», на самом деле «школьной тетради в серой обложке с печатной надписью: „Тетрадь”» (на последней странице обложки метрическая система мер, таблица умножения), то есть тетради самой обыкновенной, ученической, в клеточку, Ахматова набрасывает еще один автопортрет, вспоминая себя несколькими годами (десятилетием?) спустя:

«Какие-то получаемые мною гроши я отдавала Пуниным за обед (свой и Лёвин) и жила на несколько рублей в месяц.

Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое-как заштопанных чулках и в чем-то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень худая, очень бледная — вот какой я была в это время. И это продолжалось годами» (стр. 207).

Мало похоже на царскосельскую утонченно-бледную, изысканно-горбоносую красавицу кисти Н. Пунина (а уж ему, с его хищным глазом профессионального искусствоведа, в визуальной наблюдательной точности никто и никогда отказать не мог).

Еще меньше — на Анну Аркадьевну Каренину в изображении как Льва Николаевича, так и Александра Семеновича.

Это пишет не только поэт о поэте — это пишет поэт о женщине, и женщина о женщине. Безрадостно, безылюзорно. Точно ли? По крайней мере — не приукрашено. Бедность, если не нищета (в последнем описании), ловкость, выживаемость (в первом). Не более того. Куда Карениной до Ахматовой (кстати, *на железной дороге!*)

Небольшое отступление — о «сокровенных мыслях и мотивах», о «подсознании», которое «выносит на поверхность и диктует».

Не так давно Александр Кушнер в «Арионе» разгневанно и даже ядовито прокомментировал воспоминания Эммы Герштейн о Надежде Яковлевне Мандельштам, сначала напечатанные в «Знамени» (1998, № 2), а позже вошедшие частью в большую книгу ее воспоминаний («ИНАПРЕСС», 1998). Общий пафос строгих замечаний Кушнера сводился к тому, что выносить на поверхность сор отношений, обсуждать открыто интимные детали и подробности быта, частную жизнь ушедших поэтов и их окружения не следует. А уж если прибегать к такого рода воспоминаниям, то делать это надо чрезвычайно осторожно.

Позиция Кушнера, выговаривающего Эмме Григорьевне за Надежду Яковлевну, высоконравственна. Он считает, что Герштейн превысила свои «полномочия» представителя эпохи, воспользовалась тем, что «пережила» всех и теперь обладает как бы *последним словом* — никто не может ей ответить.

Однако если его позиция — пусть для меня в этом частном случае неубедительная — тверда, то она должна по справедливости распространяться не только на Эмму Герштейн, но и на других деятелей эпохи. Если это принцип, то почему же он в одном случае применяется, а в другом — легко нарушается?

Что касается эссе «Анна Андреевна и Анна Аркадьевна», то здесь нарушение двойное.

Во-первых, Кушнер заходит слишком далеко в своих предположениях, не только сравнивая (и подравнивая) литературную героиню и реального поэта (что, повторяю, само по себе вызывает недоумение). Не говоря уж о фамильярности — почему, собственно, поэта *Анну Ахматову* читателю преподносят как некую даму по имени *Анна Андреевна*? Сама Ахматова, как известно, ядовито комментировала обращение «мадам» — как будто где-то должен быть и «мсье Ахматов»... Сам Кушнер к Ахматовой особо приближен, как известно, не был. Существует зафиксированный в мемуарах С. Липкина ахматовский отзыв о молодом поэте (догадаться нетрудно, о ком идет речь): «Изящен, но мелко». В то же время во всех воспоминаниях, в «Записных книжках» Ахматовой, во множестве книг разбросаны свидетельства о ее дружественном, теплом и участливом отношении к другим ленинградским молодым поэтам, ровесни-

кам Кушнера, — Иосифу Бродскому, которого она ценила особо, Дмитрию Бобышеву, Анатолию Найману и Евгению Рейну. Не хочу приближать возможную мысль о намеренно запоздалом мщении — мщении тогда, когда уже не сможет ответить она сама, не дающая покоя многим мужчинам, пишущим в рифму, вне зависимости от их идеологической ориентации, — от Юрия Кузнецова, в конце 70-х написавшего вполне издевательскую заметку об ахматовском женском (даже «бабском») в изложении и трактовке Ю. Кузнецова) «самолюбовании» в «ста зеркалах», о «кокете» и эгоцентризме, — до Александра Кушнера.

Кушнер, правда, идет намного дальше Кузнецова (и здесь уже стоит мое «во-вторых»), дальше Б. Эйхенбаума (книгу которого — 1923 года — Ахматова назвала бесстыдной), дальше В. Перцова, объявившего в 1925 году: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», дальше многих и многих западных «исследователей» и славистов, чего (и кого) только Ахматовой не приписывавших, — собственно, заходит туда, куда уж его никак не приглашала «Анна Андреевна», — в спальню, и заводит туда же новомирского читателя. На конкретных высказываниях Кушнера остановимся позже — сейчас речь только о методах, вернее, о «сокровенном», о «подсознании». Потому что если находиться на уровне *сознания*, то странно после полемики о методах с Эммой Герштейн не то чтобы категорически отвергнуть их в своей работе, а, напротив, использовать их, пародийно утрировав.

В ряду «исследователей» и следователей, кроме вышеупомянутых, найдется и обнаружится много имен. Излагая свои замечания к написанным по ее просьбе воспоминаниям подруги по Царскосельской гимназии В. С. Тюльпановой (Срезневской по мужу), Ахматова записывает: «Критика Голлер<баха>, Рождественск<ого> и т. п. (сбор сплетен, вранья)» (стр. 14). Резко? Да, резко, как и непоэтическое определение «скотство», которое возникает в «Записных книжках» в связи с публикацией некоего Шацкого о Мандельштаме, — Шацкого, воспользовавшегося информацией из недобросовестных источников. «У Ш<ацкого> под рукой две книги достаточно „пикантных“ мемуаров — Г. Иванов и Эренбург. <...> Он объявляет, что на стихотворении „Музыка на вокзале“ Мандельштам кончился, стал жалким переводчиком (М. почти ничего не переводил), бродил по кабакам и т. д. (Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова), и вместо трагической фигуры [замечательного] редкостного поэта, который и в годы ссылки в Воронеже продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем „городского сумасшедшего“, проходимца, опустившееся существо. И это в книге, вышедшей под эгидой лучшего и т. д. университета Америки (Гарвардского). [Да будет стыдно „лучшему“ университету Америки и тем, кто допустил такое скотство]» (стр. 18). И дальше записывает:

Непогребенных всех —  
я хоронила их,  
Я всех оплакала, а кто  
меня оплачет.

Ахматова отстаивала достоинство ушедших. Биографии тех, кого помнила и знала, защищала от искажений и посягательств. Долгие годы и до конца своей жизни упрямо и последовательно боролась за точное воспроизведение реалий жизни, за адекватное изложение биографии Н. Гумилева, — множество записей свидетельствует об этом.

Но так же тщательно, внимательно (по необходимости защиты даже по-смертно) Ахматова относилась и к фактам собственной биографии, постоянно возвращаясь к ним при комментировании чужих текстов, ей посвященных, но и не только, а просто постоянно уточняя даты, названия, детали, — если не избежать «сплетен и вранья», то их следует обязательно опровергнуть.

Кушнер задается риторическим вопросом, как бы не требующим иного, кроме положительного, ответа: «И самое главное, не стремилась ли Ахматова всей

своей жизнью, всеми любовными романами <...> поэтическим трудом и славой опровергнуть толстовский взгляд на женщину, взять реванш — в новое время и наяву, а не в романе, — за унижение и катастрофу толстовской героини?»

Нет, не *реваниш* (словцо сказано) и не за Анну Каренину, а терпеливое и твердое разъяснение того, что случилось на ее веку — и жизненным, и литературном. Казалось бы, что можно пройти мимо с презрительным молчаливым негодованием, — но нет, не таков характер Ахматовой: не реванша, а истины требует ее имя, ее репутация, которая подвергалась постоянным нападениям, как прямым, так и косвенным, как у неприязненных и враждебных современников, так и у внешне лояльных и даже восхищенных потомков. И совершала она этот постоянный и утомительный труд не зря.

Например, Кушнер как бы походя замечает: «А сама Анна Андреевна (о, эта фамильярность обращения и интонации свидетельствует о „сокровенном“ не меньше самих рассуждений! — *Н. И.*), была ли она счастлива в любви? Как-то, знаете ли, не очень... Почему так происходило, более или менее понятно: она тяготилась благополучием семейной жизни, ей, поэту, любовь нужна была трагическая, желательно — бесперспективная. И самый долгий период творческого ее молчания объясняется, я думаю, не столько давлением советской власти, сколько мирной жизнью с Пуниным, пока этот союз не рухнул».

Насчет того, «счастлива» ли была в любви Ахматова, «очень» или «не очень», спросить все-таки лучше ее и ее стихи, в крайнем случае — Н. Н. Пунина, нежели постороннего Кушнера. Ахматовой была предназначена долгая творческая жизнь. И разные поэтические циклы, а также воспоминания свидетельствуют о разном, — вторгаться в самое интимное, в святая святых ради высокомерного «как-то, знаете ли, не очень» как-то, знаете ли, не очень хочется. Но поскольку «Дневники и письма» Пунина все-таки вышли и ранее скрытое от глаз стало доступно всем, то можно долго цитировать счастливую любовную переписку, приводить любовные слова, интимные имена и названия, которыми обменивались счастливые, несмотря на трагические, страшные времена (возникновение близости — осень 1922 года), любящие. Благополучия не было и быть не могло — не только из-за характера Ахматовой, мятущейся и страдающей, мучающейся и мучительницы в любви. Эпоха не могла дать возможности для спокойного счастья в любви — при Гражданской войне, голоде, холоде, болезнях и страхах. Кроме того: «...я считаю, что стихи (в особенности лирика), — замечала Ахматова, — не должны литься, как вода по водопроводу, и быть ежедневным занятием поэта. Действительно, с 1925 г<ода> по 1935 я писала немного, но такие же антракты были у моих современников (Пастернака и Мандельштама). Но и то немногое не <могло> появляться из-за пагубного культа личности».

Каково же было *благополучие*?

В конце мая 1960 года Ахматова делает следующую запись:

«После моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление о прекращении моей лит<ературной> деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на лит<ературные> вечера. (Я встретила на Невском М. Шагинян. Она сказала: „Вот вы какая важная особа. О вас было пост<ановление> ЦК: не арестовывать, но и не печатать“). В 1929 г. после „Мы“ и „Красного дерева“ и я вышла из союза...

В мае 1934 г., когда рассылались анкеты для вступления в новый союз, я анкеты не заполнила. Я член союза с 1940 г., что видно из моего билета. Между 1925 — 1939 меня перестали печатать совершенно. (См. критику, начиная с Лелевича 1922 — 33). Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет. Издания «Четки», «Белая стая» и «Anno Domini», напечатанные в Берлине <...> не были допущены в Советский Союз» («Записные книжки», стр. 28).

Далее следует черный список шести уничтоженных и остановленных книг.

Да, многие из невышедших книг пересоставлялись, но впечатляет то государственное упорство, с каким они последовательно останавливались.

Почему Ахматова из тетради в тетрадь, из книжки в книжку записывает и переписывает, уточняет и выверяет факты, касающиеся ее биографии? Только ли потому, что она втайне хотела оставить для будущего портрет, соответствующий своим собственным пожеланиям. (Не будем исключать и этого мотива, вполне естественного. Кто-то из мемуаристов замечает, что у Ахматовой изменилось выражение лица, когда она смотрелась в зеркало. И собиране ею стихов, ей посвященных, «в ста зеркалах», тоже свидетельствует о несомненной *заботе* портретируемого.) Или потому, что она самолично выверяла габариты величественного памятника себе, на что намекают иные из литературоведов, возводящие психологию поведения Ахматовой чуть ли не к «сталинскому», авторитарному типу личности (см., например, статьи А. Жолковского)?

Вот как она сама это объясняла: «Во-первых, на это (искажения и сплетни. — *Н. И.*) есть спрос, во-вторых, надо запачкать меня по всем линиям. В таком случае довольно бессмысленно защищаться или просить о защите. Не одно — так другое» («Записные книжки», стр. 378). Даже если не было стремления «запачкать», а была просто случайная ошибка, недоразумение, оплошность — Ахматова не ленилась и немедленно указывала на неточность. И — очень гневалась, хотя побуждения допустившего оплошность могли быть самые чистые.

Именно поэтому Ахматова в «Записных книжках» подробно описывает судьбу каждого своего сборника, строго оговаривая искажения, — особенно важной ей представляется эта работа в свете того, что, как она полагала в 1962 году (и не без оснований), «современные читатели не знают мои стихи ни новые, ни старые».

Равнодушному глазу может показаться избыточной фиксация на мелких, казалось бы, подробностях. Но Ахматова в своем «крохоборстве» была права — насколько возможно, ее записи помогают восстановить, реконструировать не только факты ее творческой и личной биографии, но и поведение коллег, атмосферу времени, историческое движение событий. Так подробно она объясняет источник высшего недовольства ею, выразившийся еще в первом по ее поводу постановлении: 1) издание за границей в 1923 году стихов, не напечатанных в СССР; 2) статья К. Чуковского «Две России (Ахматова и Маяковский)»; 3) чтение ею в апреле 1924 года на вечере журнала «Русский современник» в зале консерватории (Москва) «Новогодней баллады». Недовольство было, повторяю, высшее — но и Замятин, редактор «Русского современника», тоже на Ахматову гневался («очень дружески ко мне расположенный <...> с неожиданным раздражением <...> „Вы — нам весь номер испортили“»). Эта деталь — раздражение Замятина, из-за травли которого (и Пильняка тоже) в 1929 году Ахматова демонстративно выйдет из Союза писателей, — красноречива.

Ахматова не любила, когда к «Поэме без героя» прилепляли жанровую бирку «историческая», но сама она безусловно проявляла в «Записных книжках» дар исторического летописца и была исторически прозорливой. Память у Ахматовой была до конца дней превосходная, и в недовольство и ярость ее приводили (уже в старости) намеки на некие лакуны и «выпадения».

Но вернемся к тому, что Кушнер называет «благополучием» и «мирной жизнью» (1924 — конец 30-х). О чем свидетельствует поэт — стихами?

Я под крылом у гибели  
Все тридцать лет жила.

Ну хорошо, предположим, что Кушнер стихам Ахматовой не доверяет — лукавит, мол, «Анна Андреевна». Но существует реальность биографической канвы — в том числе и жизни с Пуниным, особой, странной, мучительной, семьи двойной и двойственной, при жене Анне Евгеньевне, — жизни, которую только профан может назвать «благополучной». Кушнер — отнюдь не профан: тем печальнее. Но он выбрал не *додумывание*, не *исторические* предположения, а



чтение в сердцах и даже в подсознании, и с завидной уверенностью распространяет их не только на биографию, но и на творчество Ахматовой.

Вот как он понимает литературный дар Ахматовой в действии.

«Будь Анна Андреевна Львом Николаевичем, — замечает Кушнер, — она бы распорядилась судьбой Анны Аркадьевны по-другому: не бросила бы ее под поезд, устроила бы ей развод, вернула сына Сережу и общее уважение и проследила бы за тем, чтобы Анна была счастлива с Вронским».

Это мне напоминает обратную перспективу некрасовской эпиграммы на роман: «Толстой, ты доказал с терпением и талантом, что женщине не следует „гулять” ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом...» Смех смехом, но любое предположение о том, как бы Чехов разработал толстовский сюжет, а Достоевский — пушкинский, может найти подтверждение в их творчестве — ибо там, где полемика, там и результат. Попытка доказать *полемичность* Ахматовой («Анны Андреевны») к Толстому в отношении судьбы его героини («Анны Аркадьевны») утыкается только ее высказывание о *мусорном старике*, откуда совсем не следует необходимость защиты гения Толстого. Это все равно что Шекспира (известно, что Толстой его терпеть не мог) начать с пафосом защищать от Толстого и доказывать, что стратфордский гений был не чета яснополянскому.

Зачем же предпринята эта попытка, скажем прямо, оглупления «Анны Андреевны», низведения ее до уровня сочинительницы женских романов с благополучным концом? Застольной юмористики с неважным вкусом (опять, кстати, подстановки — ведь не Ахматову, а мемуаристов иронично цитирует Кушнер)? Зачем — упорная игра на понижение, «защита» не нуждающегося в защите Толстого за счет принижения Ахматовой? И так за свою жизнь натерпевшейся унижений и принижений — дабы догнал ее тем же еще и литератор из последующих поколений, да не по чьему-либо указу, а по велению сердца? Да еще такому сильному велению, что завершает статью — об Ахматовой! — стихами собственного изготовления? Неужели для того только, чтобы «отмстить», неужели это ему дано «возмездие» и он «воздал»?

Вряд ли.

Согласиться с Ахматовой, что Кушнер «мелок», не хочется: с несомненной симпатией относилась и всегда относилась к его стихам, хотя всегда понимала «малую форму» его поэтического дарования. И темперамент, и незаемный ум, и редкая наблюдательность, и уникальная способность быть лириком горчайших и счастливейших мгновений. Объяснить данное эссе чисто *мужским* (в новомодном смысле — противостоящим женскому и подавляющим в женском творчестве силу и удачу), антифеминистским началом?

Свободы задуман прирост и души,  
Что можно мужчине, то женщине можно!  
Да! Но то же самое тише скажи,  
Не так безответственно и запыленно.

Кому это Кушнер указывает? На кого направлен строгий указательный палец, императив учительский?

Кому Кушнер делает замечание, дает (или не дает) высказаться?

Женщине.

Женщине вообще.

Ахматовой — в данном частном случае.

Слава ее — цитирую Кушнера: преувеличена, «несравнима с прижизненной известностью, например, Мандельштама или Кузмина».

Наконец «начинаешь понимать, что дело не столько в самих стихах (стихи-то, по Кушнеру, видимо, так себе. — *Н. И.*), сколько именно в опыте становления независимой женской личности и судьбы».

Снисходителен Кушнер к Ахматовой, нечего сказать.

И добавляет: «Сама Ахматова тоже в значительной степени сочинена».

В общем и целом жанр заметок Кушнера можно обозначить так: «Сеанс разоблачительной магии». Иллюзионист разрезает женщину пополам!

Но и это еще не конец.

О последней части кушнеровской статьи я даже не хотела писать — настолько она, скажем так, сомнительна. Неприязнь и отторжение вызывает не «Анна Андреевна», нет, а ее — несмотря на все свои усилия — биограф.

Поэт в роли полиции нравов?

Что ж, бывает и такое.

Кушнер настаивает на том, что эпитет «тайный» выдает поэтическую усталость постаревшей Ахматовой, фиксируя отсутствие новой энергии стиха: «Все привыкли к недосказанности и „тайнам“ ее стихов последних лет. <...> На единственно возможный, неопровержимый, непредсказуемый эпитет сил уже не хватало, — и приблизительным, ничего не обозначающим определением наспех латались прорехи». Но то, что Кушнер относит к «стихам последних лет» и в чем упрекает А. А., на самом деле «не только принцип, но и одна из тем», как отмечает Р. Д. Тименчик, всей ее поэзии — «недосказанность», «порожденная ахматовской поэтикой атмосфера загадки» (из предисловия Р. Д. Тименчика к кн.: Ахматова А. После всего. М., 1989). Что же касается того, что обозначено поэтом-зоилом как «пышная многозначительность и поэтическая стертость», то это стертость кажущаяся — оттого, что открытие качества принадлежало А. А. и уже было — что вполне естественно — «автоматизовано» в ее поэтике; что до эпитета «тайный», то на каждый кушнеровский пример из поздней Ахматовой найдется таковой же — из ранней: «тайная весть о дальнем», «тайно весел», «тайно ведет». Кушнер изумляется, откуда в стихах поздней Ахматовой — да и зачем? — свечи, если давно уже проведено электричество! Ну что можно на это ответить? Ранние критики и читатели Ахматовой (да и иные поздние тоже) были более прозорливы: странно объяснять *поэту* же, а не только *филологу*, один из ведущих, главных принципов поэтики Ахматовой — «прошлое не увядает и сохраняет свою жизненность наряду с все новыми содержаниями», «Ранняя биография Ахматовой все время всплывает в ее поздних стихах» — отсюда и детали интерьера, скажем, удивившие Кушнера свечи, оставшиеся в поэзии Ахматовой с 10-х навсегда — и навсегда живыми. Так же — и любовные мотивы. Кушнер как будто «уличает» Ахматову в *преступной* связи из-за того, что семидесятипятилетняя поэтесса в любовном стихотворении пользуется глаголами в настоящем времени, — господи прости, но ведь стихи — не ежедневник с расписанием и отчетом о проделанном! В качестве *грозного обвинения* Кушнер выдвигает Ахматовой ее стихотворение «Мы до того отравлены друг другом...» (1963, первая публикация — 1974), *сожалея* об отсутствии *внятного* комментария-разгадки и выдвигая свою версию (исходя из окружения Ахматовой в 1963 году). А уж если говорить о настоящем времени, то во множестве ахматовских стихов оно обнаружится — так же, как и переходящие из десятилетия в десятилетие и живые для нее адресаты лирики:

...Но, впрочем, даром  
Тайн не выдаю своих.

Добавлю к стихам слова «Из дневника» (1959), и да простит Кушнер Ахматову за подвергшийся его недоброжелательному выговору эпитет: «У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель». Даже такой искушенный, как Александр Кушнер.

Итак, что же Кушнер хочет прояснить, кого вывести на чистую воду? Ничего хорошего — даже ради соблюдения известного политеса — об «Анне Андреевне» он не сказал: а к финалу и вовсе разошелся. Но если в первых частях статьи звучит интонация как бы сожалеющая, порой даже сочувствующая, редко — иронично-издевательская, высунулась — и спряталась в норку благо-

пристойного сожаления, то чем ближе к концу, тем в голосе повествователя-биографа-следователя все больше появляются ноты торжествующего уличения, преследования, чуть ли не уголовного дела. Что же «шьет» бедной «Анне Андреевне», не в добрый час попавшейся под руку, Александр Семенович? Каренину уже отбросим за ненадобностью — забудьте: «Анна Аркадьевна» понадобилась исключительно в функции одной из ступеней скандальной ракеты.

«Многое из происходившего вокруг Ахматовой в эти последние три-четыре года ее жизни вызывает удивление». Моралист Кушнер, оказывается, и не стремился у нее бывать — да, *не очень-то и хотелось*: «постепенно я понял, почему некоторые старые друзья, любившие Анну Андреевну и испытывавшие к ней глубочайшее уважение, все реже бывали у нее». Кто эти «друзья», интересно бы знать их свидетельства. Ахматова, в молодости посещавшая юридические курсы и в зрелости с юмором, но гордо именовавшая себя порой «юристом», считала, что для выводов о *событии* нужен *свидетель* — хотя бы один кроме *заявителя*. У Кушнера свидетелей нет — но у него есть литературный прием, в частности — метонимия. Некие «друзья» — «реже», и он, Кушнер, тоже. Вопрос: он — «реже» или он — в «друзьях»? Да ни то, ни другое! Но тень на Ахматову, на ее поведение (которое Кушнер вместе с таинственными «друзьями» таинственно осуждает) уже брошена.

Дальше — больше.

Как искусный сочинитель, Кушнер бросил читателю «кость».

Дальше — «мясо».

Поздние стихи Ахматовой, утверждает он безапелляционно, «страшно расплнели, расплылись, страдают водянкой». Ну хорошо — у Кушнера такое мнение, он сам поэт, переубеждать его нелепо; отмечу другое: игра на понижение продолжается. Ни одного доброго слова.

Только — злые.

«Пышная многозначительность».

«Поэтическая стертость».

«Нестерпимая красивость».

«Больше всего умиляет стиль — не то докладной записки, не то правительственного указа».

Молодежь, бывавшая у Ахматовой в ее последние годы, *приговждается* тоже. Достается всем. О Бродском — молчание, а вот Рейна — только Рейна «природный здравый смысл и неповоротливость вытлкнували... из этого хоровода».

Но самое главное, самое скандальное — это опочивальня Ахматовой, которой — в ее семьдесят с лишним — приписывается известно что:

И яростным вином блудодеянья  
Они уже упились до конца.  
Им чистой правды не видать лица  
И слезного не ведать покаянья.

Не важно, что стихи эти — 1958 года, когда никакого «хоровода» еще не было, а не 1964-го; не важно, что в стихах «они», которые к тому же явно осуждаются... нет, моралисту Кушнеру виднее. Здесь уже он и не скрывает своего яростного торжества: настиг, уличил! «Протекут в немом смертельном стане / Эти полчаса...» Вы думали, это музыка стонет в «Адажио Вивальди»? Наивные люди! Вот Кушнер стоял рядом — и свечку держал: «А как все это случилось — тоже известно» (пишет он встык к цитате о «блудодеянье»). И «героя» практически называет, и даже дату: 8 — 12 августа 1963-го. Мемуарист (тот, который последний «герой» в ряду Н. Гумилева, Н. Недоброво, А. Лурье, Н. Пунина) просто *пока что* выпустил главу из своей «дивной книги». Так Александр Семенович этот пробел — для всех, кто интересуется, — восполнил.

Под конец процитирую еще одну автобиографическую заметку, как многое у Ахматовой, пророческую:

«Очевидно, около Сталина в 1946 году был какой-то остроумный человек, который посоветовал ему остроумнейший ход: вынуть обвинение в религиоз-

ности <...> (им были полны ругательные статьи 20-х и 30-х годов — Лелевич, Селивановский) и заменить его обвинением в эротизме».

Ахматова пишет далее о том, как изощренно-идеологически распространялось — для западного общественного мнения в том числе — это обвинение. И вот уже в 1961 году, возмущается Ахматова, в газете «Нью-Йорк трибьюн» обвинение в эротизме подается *шапкою*: «Русские переиздают стихотворения, запрещенные в 20-е годы как эротические». Ахматову до глубины души возмущало не прекращающееся *использование* ее имени и искажение ее творчества — в политических, идеологических, конъюнктурных целях. «Не мне судить о моем творческом пути до 1950 г., когда (1949, 6 ноября) второй раз взяли уже пытанного и приговоренного к расстрелу сына, и надо было его спасти (тогда я написала цикл „Слава миру“), но то, что происходит сейчас, вероятно, имеет свои глубокие корни, и, несмотря на полную мою неактивность (между прочим, когда статья появилась, я лежала в больнице под кислородом), я стою у кого-то на пути, мешаю кому-то».

«Но кому и в чем?» — горестно вопрошает Ахматова.

Статья Кушнера как факт работы подсознания, а не только сознания ее автора дает ответ на этот постоянный для смертного и посмертного пути Ахматовой вопрос.

Блоку мешал писать Лев Толстой.

А Кушнеру мешает не столько Анна Ахматова (не она — главная цель и мишень статьи, хотя и она — тоже), а еще мешают те, кого он пренебрежительно относит к *друзьям Ахматовой*.

Двух — из четырех — он называет: это бесцветный для Кушнера Бобышев и снисходительно помилованный Кушнером Рейн.

Третий — Анатолий Найман, который легко дешифруется как автор «Расказов о Анне Ахматовой». «Гнев» по отношению к Найману (об авторе мемуаров делаются всяческие неприличные намеки) никак не понятен и даже ставит в тупик, ибо сама Ахматова представлена Кушнером самым неприятным образом. Чего уж Найман!..

Не уязвлен ли — сильнее всего — Кушнер четвертым: Иосифом Бродским, которого «Анна Андреевна» оценила и благословила, которого любила и которому благоволила?

Помните это место в статье Кушнера — когда он пытается реконструировать «подсознание» Ахматовой, по Фрейдю вычисляя, почему она записывает слова Блока о Толстом?

Так и на Кушнера найдется Фрейд.

Но завершать на таком грустном итоге не хочется. Хочется воздуху, хочется выйти из спертного пространства, где персонажей сравнивают с поэтами, а поэтам предъявляют обвинительное заключение. На воздух, на воздух! А поскольку я пишу эти строки на берегу Балтики, столь любимой Бродским, то закончу его строками, размыкающими тесноту пошлости.

Стихи — «На столетие Анны Ахматовой».

Страницу и огонь, зерно и жернова,  
секиры острые и усеченный волос —  
Бог сохраняет все; особенно — слова  
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,  
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,  
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст  
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря  
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,  
что спит в родной земле, тебе благодаря  
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН



## СЛОВО КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ: О ЖАНРЕ ОДНОСЛОВИЯ

**С**амым кратким литературным жанром считается афоризм — обобщающая мысль, сжатая в одном предложении. Но есть жанр еще более краткий, хотя и не вполне признанный и почти не исследованный в качестве жанра: он уместается в одно слово. Именно слово и предстает как законченное произведение, как самостоятельный результат словотворчества. Подчеркиваю: слово не как единица языка и предмет языкознания, а именно как литературный жанр, в котором есть своя художественная пластика, идея, образ, игра, а подчас и коллизия, и сюжет. **ОДНОСЛОВИЕ** — так я назову этот жанр — искусство одного слова, заключающего в себе новую идею или картину. Тем самым достигается наибольшая, даже по сравнению с афоризмом, конденсация образа: максимум смысла в минимуме языкового материала.

### Слово в поисках смысла

В свое время В. Хлебников вместе с А. Крученых подписались под тезисом, согласно которому «отныне произведение могло состоять из одного слова...»<sup>1</sup>. Это не просто авангардный проект, но лингвистически обоснованная реконструкция образной природы самого слова («самовитого слова»). Произведение потому и может состоять из одного слова, что само слово исконно представляет собой маленькое произведение, «врожденную» метафору — то, что Александр Потебня называл «внутренней формой слова», в отличие от его звучания (внешней формы) и общепринятого (словарного) значения<sup>2</sup>. Например,

---

Эпштейн Михаил Наумович — филолог, философ, эссеист. Родился в 1950 году в Москве. Выпускник филологического факультета МГУ. Статьи по вопросам современной и классической литературы и литературной теории печатались в «Новом мире», «Знамени», «Звезде», «Вопросах литературы» и других журналах. Автор 12 книг и около 300 публикаций, переведенных на многие иностранные языки. В начале 90-х годов переехал в США. Преполагает литературу и философию в Эморийском университете (Атланта). Настоящая публикация — фрагмент большого труда с тем же названием.

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Григорьев В. П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., «Наука», 1986, стр. 171. По замечанию В. П. Григорьева, много сделавшего для понимания неологизмов Хлебникова именно как литературных произведений, однословий, «это могло показаться и все еще кажется эпатированием чистой воды, но лишь при нежелании признать за словом его потенциальной способности стать произведением искусства... Невозможно вывести за пределы, подлежащие власти эстетических оценок, множество неологизмов Хлебникова именно как произведений словесного искусства» (там же).

<sup>2</sup> Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., «Искусство», 1976, стр. 114, 175. А. Н. Афанасьев, выдающийся собиратель и толкователь славянской мифологии, исходил в своей деятельности из того, что «зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первоизданном слове» («Поэтические воззрения славян на природу». Т. I. М., 1865 — 1869, стр. 15). К этому Потебня добавляет, что «не первоизданное только, но всякое слово с живым представлением, рассматриваемое вместе со своим значением (одним), есть эмбриональная форма поэзии» (цит. изд., стр. 429). У Потебни есть немало чему поучиться постмодерным теоретикам языка, которые подчас неосознанно повторяют старые ходы романтической и мифологической школы. Так, Потебня писал: «Метафоричность есть всегдашнее свойство языка, и переводить мы можем только с метафоры на метафору» (цит. изд., стр. 434).

слово «окно» включает в себе как внутреннюю форму образ «ока», а слово «стол» содержит в себе образ чего-то стелющегося (корневое «стл») и этимологически родственно «постели».

Отсюда возможная морфемная перестановка (скрещение), когда продуктивные способы словообразования от одного слова переносятся на другое: «постелица» (ср. «столица»), «застолить» (ср. «застелить») и т. д. Поскольку все эти слова уже опосредованы внутренней формой «стл», их общим первообразом, остается лишь тематизировать данное новообразование, то есть соотносить его звуковую форму с подобающим значением. Например, «застелье» можно тематизировать как «застолье (пир, трапеза) в постели». По мере сокращения, «раздевания» слова возрастает его многозначность, его метафорический потенциал. Так, слова «трава» и «отрава» имеют разные лексические значения, которые поддерживаются разностью их морфологического состава. Но если оголить их до корня «трав», то их значения могут свободно переходить одно в другое, создавая возможность для новых словообразований. Например, однословие «отравоядные» можно отнести к разряду существ, приученных социальными обычаями к экологически грязной и вредной пище.

Если учесть, что каждая морфема одной категории может в принципе соединяться с любой морфемой другой категории (любая приставка с любым корнем и любым суффиксом), вопрос стоит не о том, возможно ли технически какое-то новообразование типа «кружавица» или «кружба» (хлебниковские сочетания корня «круг/круж» с суффиксами таких слов, как «красавица» и «дружба»), но о том, имеет ли оно смысл, оправдано ли его введение в язык необходимостью обозначить новое или ранее не отмеченное явление, понятие, образ.

Отсюда хлебниковское требование: «Новое слово не только должно быть названо, но и быть направлено к называемой вещи»<sup>3</sup>. Можно создать такие слова, как «прозайчатник» или «пересолнечнить», «издомный» или «пылевод», но они останутся бесплодной игрой языка, если не найдут себе называемой вещи или понятия. Знак ищет свое означаемое, «свое другое», «свое единственное». Словотворчество тем и отличается от словоблудия, что оно не спаривает какие попало словесные элементы, но во взаимодействии с вещью — называемой или подразумеваемой — создает некий смысл, превращает возможность языка в потребность мышления и даже в необходимость существования. Семантизация нового слова — не менее ответственный момент, чем его морфологизация.

Можно позавидовать, например, судьбе таких нововведений, как «предмет» и «промышленность», без которых были бы немислимы философия и экономика на русском языке. Гораздо более тесная тематическая ниша у потенциально возможного глагола «пересолнечнить». Можно сказать: «Она пересолнечнила свою улыбку» — или: «Он пересолнечнил картину будущего» — и тогда «пересолнечнить», то есть «пересластить», «приукрасить», «представить чересчур лучезарным», получит некоторую жизнь в языке — как дополнение к гнезду «солнечный — радостный, светлый, счастливый».

А вот для слова «прозайчатник» пока вряд ли имеется предметно-понятийная ниша, хотя можно представить себе в будущем борьбу разных экологических групп, «прозайчатников» и «проволчатников», которые будут отстаивать преимущественные права данного вида на биологическую защиту. Слово «пылевод» может найти себе применение в нанотехнологиях будущего, когда миниатюрные, размером с атом или молекулу, машины образуют мыслящую и работающую пыль и грозные пылевые облака возьмут на себя роль армий, обезоруживающих противника, а инъекции пыли будут использоваться в медицине для прочистки кровеносных сосудов. «Пылевод» может стать одной из техни-

<sup>3</sup> Хлебников В. Собрание произведений. Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. В 5-ти томах. Т. 5. Л., Изд-во писателей, 1933, стр. 233 — 234.

ческих профессий будущего, возможно, более распространенной, чем отходящие в прошлое полеводы и пчеловоды.

С растущей компьютеризацией и распространением надомных видов труда может появиться нужда и в слове «издомный» применительно к тем профессиям (геолог, космонавт, журналист и т. п.), которые требуют долгих отлучек из дому. «На издомной работе», «издомный труд». Но возможно предположить за этим словом и скорее характерологический, чем социально-профессиональный смысл: издомники — это люди, которых постоянно тянет из дома. В отличие от без-домных, из-домные имеют свой дом, но психологически его чуждаются и предпочитают проводить время в чужих стенах: в гостях, в кафе, в магазине, в музее. Далеко не всегда они являются странниками, бродягами: издомник может тяготеть к определенным местам и даже быть домоседом — но по отношению к чужим домам. Характерной разновидностью этого «издомного» типа является именно «чужедомник», завсегдатай чужих домов. Слова «нахлебник», «приживал» (тот, кто живет за чужой счет) к этому типу не подходят, поскольку чужедомник не только сам себя обеспечивает, но порой и подкармливает хозяев от своих щедрот (так сказать, «вечный гость», «гость угощающий»). «Чужедомник» — тип, распространенный в России: из известных людей к нему относились Владимир Соловьев и Анна Ахматова, любившие подолгу жить у чужих. Никакие близкие по значению слова: «скиталец», «нахлебник», «иждивенец», «перекати-поле» — не могут заменить этого слова.

Так, растягивая лексическое поле языка, мы можем помещать в него все новые слова, от которых отпочковываются дальнейшие словообразования. «Надомный» — «издомный» — «издомник» — «чужедомник»... Каждое слово несет в себе возможность иного слова — альтернативного ветвления смысла. Мысль, растекаясь по древу языка, дает все новые морфологические отростки. Формально и материально язык всегда готов засыпать нас мириадами новых словообразований, лишь бы мышление затребовало их к жизни. Язык — чистая конвенция и чистая потенция, он может сказать что угодно, если есть желающие так говорить и способные это понимать.

Лексическое поле языка достаточно разреженно и растяжимо, чтобы образовать смысловую нишу для практически любого нового слова. Парадокс в том, что чем больше расширяется язык, тем больше он пустеет и тем больше в нем появляется семантического вакуума и лексических вакансий. Язык — как резиновый шар, в котором по мере надувания происходит и отдаление словарных точек, так что появляется новая лексическая разреженность, требующая заполнения (эта же резиновая модель используется и для описания нашей инфляционной вселенной, в которой постоянно рождается новая материя, галактики, звезды — и все-таки плотность вселенной в целом уменьшается по мере ее расширения). Чем богаче язык, тем больше он нуждается в новых словах и смыслах, которые заполнили бы его растущую емкость. Не только русский, но в еще большей степени английский язык постоянно втягивает в свою «вакуумную воронку» огромное количество новых слов и выражений, хотя не всегда потребность в них лексически обоснована.

Недавно один американский лингвист жаловался, что в английском не хватает слов для ряда понятий; например, как обозначить обрывки шин и прочие фрагменты мусора, валяющиеся вдоль скоростных шоссе? Это, конечно, профессиональный каприз представителя языка, который просто лопається от своего изобилия — и одновременно требует дальнейшей ускоренной экспансии. Если выражения «дорожный мусор» или «обрывки шин на хайвее» представляются чересчур длинными, можно, конечно, ввести слова «путеломки» или «путесколки»; но тогда нужно ввести и особое слово для выражения «книга, лежащая на столе», в отличие от «книга, стоящая в шкафу», — «столокнига» в отличие от «шкафокниги»... Результатом последовательной замены словосочетаний (или даже предложений) сложными словами будет изменение строя языка: с аналитического — на синтетический. Между тем тенденция

развития современных языков — именно рост аналитизма, когда единицы значения существуют независимо друг от друга и свободно сочетаются, а не слипаются в одно целое. «Книга» может сочетаться со столом и шкафом, стол — с яблоком и тетрадью, мусор — с шоссе и комнатой, шоссе — с автомобилем и мусором, и создание из этих подвижных сочетаний устойчивых слов привело бы к окаменению языка, превращению его в шифр. Вместо того чтобы понимать связную речь, пришлось бы заучивать значения миллиардов слов.

Таким образом, есть множество явлений, для которых не создано отдельных слов, — и можно образовать множество слов, для которых не найдется соответствующих явлений. Действительность голодает по языку, язык голодает по действительности, и тем самым между ними поддерживается эротическая напряженность, взаимность желанья, которому суждено остаться неутоленным. Язык состоит из множества зияний, нерожденных, хотя и возможных слов, для которых еще не нашлось значений и означаемых — подобно тому, как семя состоит из мириадом сперматозоидов, которые в подавляющем большинстве погибли, так и не встретившись с яйцеклеткой. Слова типа «прозаичатник» или «пылевод» — это такие семена, которые еще не нашли своего значения, ничего не оплодотворили, а потому и не стали фактом языка в его браке с реальностью.

Но именно плодовитость языка, бесконечность потенциальных словообразований и позволяет создавать новые значения, а следовательно — и новые явления, которые прежде были неназванными, неосознанными, а значит, и несуществующими. Избыточность языка — это мера его потентности: он рассеивает миллиарды семян, чтобы из них взошли и остались в словаре только единицы. Словарь — это как бы книга регистрации плодovitых браков между языком и действительностью.

Направленность слова к называемой вещи вовсе не означает, что такая вещь должна предшествовать слову, оставляя ему только роль названия. Слово может быть направлено и к «призываемой» вещи, выступать как открыватель или предтеча явления: что скажется, то и станется, — а главное, излучать ту энергию смысла, которая не обязательно должна найти себе применение вне языка и мышления. Называемость вещи есть категория возможности, как и выживаемость слова. Если слово образовано по правилам языка, если в нем есть своя звуковая правда, своя гармония словообразовательных элементов, значит, его «вещь» находится впереди. Точнее было бы сказать не «вещь», а «весть», воскрешая исконное, древнерусское значение самой «вещи» как поступка и слова (ср. родственное латинское «vox» — слово, голос). «Называемая вещь» — это назывательная сила самого слова, его способность быть вестью, «вещать-веществовать» за пределами своей звуковой формы. Если подойти к категории смысла проективно, включая не только действительное, но и возможное, потенциально значимое, то бессмыслица — это более редкая категория, чем смысл. Трудно образовать слово, вообще лишенное смысла. Можно было бы составить словарь незатребованных слов, слов-потенций, слов-замыслов и подсказок, намеков и внушений, чью весть нам еще только предстоит расслышать. Трудность составления такого «Проективного словаря русского языка» была бы именно в его потенциальной бесконечности.

### Парадокс Даля — Солженицына

#### Типы однословий: поэтизмы и прозаизмы

Есть писатели и мыслители, склонные к созданию неологизмов, но, как правило, такие слова контекстуальны и функциональны, служат конкретным целям в составе объемлющих текстов и не превращаются в самостоятельные произведения, остаются крупинками в больших словесных массивах. Если же слово становится самостоятельным жанром, выходит из контекста других произведений, то оно вместе с другими подобными себе однословиями тяготеет к



образованию нового текстуального поля, уже не синтагматического, а парадигматического, не повествования, а словаря.

В отечественном жанре однословных сочинений заслуживают особого внимания два автора: В. Хлебников и А. Солженицын. Приводимые ими словообразования исчисляются сотнями и тысячами, хотя они и диаметрально противоположны по стилю и эстетике: утопически-будетлянской у Хлебникова, оберегающе-пассеистической у Солженицына.

Хлебников, как и положено авангардному гению, не привел своих однословий в систему — этим занимаются его исследователи (В. Григорьев, Р. Врон, Н. Перцова и другие). Тем не менее к структуре словаря, парадигмальному нанизыванию многих слов на один корень тяготеют некоторые стихотворения Хлебникова (вроде «Смехачей», где дано целое словарное гнездо производных от корня «смах»), а особенно — его тетради и записные книжки, куда, вне всякого лирического или повествовательного контекста, вписывались сотни новых слов, образующих гирлянды суффиксально-префиксальных форм, «внутренних склонений»<sup>4</sup>.

Солженицын, в соответствии со своей установкой на «расширение» русского языка, сводит на нет авторское начало своего «Русского словаря языкового расширения», выступая как воскреситель редких и забытых слов, главным образом заимствованных у Даля и писателей-словотворцев (особенно — Лескова, Ремизова, Замятина...). Если хлебниковские словообразования — поэтизмы, в которых усилено выразительно-вообразительное начало, то солженицынские — прозаизмы, в которых преобладают изобразительные задачи: более гибко, подробно передать пространственные и временные отношения, жесты, объемы, форму вещей. «Обтяжистый», «коротизна (зимних дней)», «натюрить (накласть в жидкость)», «затужный» (в двух значениях: перетянутый и горестный), «возневеровать (стать не верить, усумниться)», «обозерье (околица большого озера)», «наизмашь — ударяя с подъёма руки (а не прочь, не наотмашь)» — примеры солженицынских слов.

Но в какой мере их можно назвать солженицынскими? Практически все «новообразования» солженицынского словаря, в том числе и вышеприведенные, взяты из «Толкового словаря» В. Даля, где они даны в гораздо более развернутом словопроизводном и толковательном контексте, чем у Солженицына. Например, там, где Даль пишет:

«Внимательный, внимчивый, вымчивый, обращающий внимание, внемлющий, слушающий и замечающий», —

Солженицын просто ставит слово:

«ВНИМЧИВЫЙ», —

как бы давая ссылку на Даля.

Впрочем, и далевский словарь никак нельзя свести к чисто компиляторскому жанру, к описи наличного инвентаря. В какой мере далевский словарь регистрирует наличные слова, а не инициирует введение в язык новых слов и где в языке лежит грань между «данным» и «творимым»? Сочиненность отдельных слов (вроде «ловкосилие» — гимнастика) признавал сам Даль, но гораздо важнее сам дух и стиль его словоописательства, которое трудно отделить от словотворчества. Во-первых, записанные им слова подчас рождались тут же, на устах собеседника. Отвечая на требования ученых критиков, чтобы в словаре приводились свидетельства, где и кем слова были сообщены состави-

<sup>4</sup> Исследователь Хлебникова В. П. Григорьев замечает, что «основная масса неологизмов сосредоточена в обнаженно экспериментальных перечнях слов и стихотворных пробах, большинство которых остаются неопубликованными» (цит соч., стр. 173). «Впрочем, — по наблюдению Григорьева, — и те неологизмы, которые несут на себе значительную контекстную нагрузку, обладают способностью „отрываться“ от контекста, сохраняя свой образ за непосредственными пределами произведения» (там же, стр. 174), то есть становятся самостоятельными произведениями. Любопытно, что в качестве примеров Григорьев приводит слова «Ладомир» и «Зангези» — не просто «контекстные» слова, но верховные, заглавные слова соответствующих произведений, именно в силу этого вынесенные из контекста.

телю, Даль объясняет: «На заказ слов не наберешь, а хватаешь их на лету, в беседе... люди близкие со мною не раз останавливали меня, среди жаркой беседы, вопросом: что вы записываете? А я записываю сказанное вами слово, которого нет ни в одном словаре. Никто из собеседников не может вспомнить этого слова, никто ничего подобного не слышал, и даже сам сказавший его, первый же и отрекается... Да наконец и он мог придумать слово это, так же как и я...»<sup>5</sup> Иначе говоря, нет никаких свидетельств, что то или иное слово (например, «возневеровать») было в языке до того, как его «с ходу» отчеканил, в пылу беседы, далевский собеседник...

Или сам Даль. «На что я пошлюсь, если бы потребовали у меня отчета, откуда я взял такое-то слово? Я не могу указать ни на что, кроме самой природы, духа нашего языка, могу лишь сослаться на мир, на всю Русь, но не знаю, было ли оно в печати, не знаю, где и кем и когда говорилось. Коли есть глагол: пособлять, пособить, то есть и посабливать, хотя бы его в книгах наших и не было, и есть: посабливанье, пособление, пособ и пособка и пр. На кого же я сошлюсь, что слова эти есть, что я их не придумал? На русское ухо, больше не на кого»<sup>6</sup>.

Получается, что Даль приводит не только услышанные слова, но и те, которые «дух нашего языка» мог бы произвести, а «русское ухо» могло бы услышать, — слова, о которых он не знает, где, кем и когда они произносились, но которые могли бы быть сказаны, порукой в чем — «природа самого языка». Здесь перед нами любопытнейший пример «самодеконструкции» далевского словаря, который обнаруживает свою собственную «безосновность», размытость своего происхождения: словарь — не столько реестр, сколько модель образования тех слов, которые могли бы существовать в языке. Разве слово «пособ» (существительное от усеченного глагола «пособить») не может быть в языке, если в нем уже есть такие слова, как «способ» и «повод»? На этом основании оно и вводится в словарь — не как «услышанное», а как родное для «русского уха». Далевский словарь в этом смысле не так уж сильно отличается от хлебниковских перечней вдохновенных словоноществ; труд величайшего русского языковеда — от наитий самого смелого из «языководов» (термин самого Хлебникова). Хотя словообразовательное мышление Даля гораздо тверже вписано в языковую традицию и «узус», все-таки в его словаре отсутствует ясная грань между тем, что говорилось и что могло бы говориться.

Иначе говоря, Даль создал словарь живых возможностей великорусского языка, его потенциальных словообразований, многие из которых оказались впоследствии незадействованы — и именно поэтому в словаре-«наголоске» Солженицына поражают едва ли не больше своей оголенной новизной, чем в словаре Даля, где они приводятся в ряду известных, устоявшихся слов, что скрадывает их новизну. У Даля от известного «пособлять» к неизвестному «пособу» выстраивается целый ряд словообразований, более или менее общепринятых в языке («пособить», «посабливать», «посабливанье», «пособление»), тогда как Солженицын исключает из своего словаря все обиходные, устоявшиеся слова и дает только редкие, необычные «пособь», «пособный», «пособщик». «Этот словарь противоположен обычному нормальному: там отсеивается все недостаточно употребительное — здесь выделяется именно оно»<sup>7</sup>.

Сопоставляя два словаря — Даля и Солженицына, приходишь к парадоксальному выводу: художник слова и лексикограф как бы меняются местами. Там, где ожидаешь найти у писателя первородные слова, обнаруживаются

<sup>5</sup> Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955, стр. LXXXVIII.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> «Русский словарь языкового расширения». Составил А. И. Солженицын. М., «Наука», 1990, стр. 4. Точно так же из далевского перечня: «внимательный, внимчивый, вымчивый» — Солженицын берет в свой словарь только второе слово, отбрасывая первое как общеизвестное, а третье, вероятно, как совсем уж диковинное, сомнительное по корню и значению.

лишь выписки, многократный отсев из далевских закровов: хотя сам Солженицын об этой вторичности своего словаря внятно предупреждает в предисловии, ему не веришь, пока слово за слово не переберешь все его находки и не найдешь их источник у Даля. И напротив, там, где у самого Даля ожидаешь найти точную картину лексического состава языка, обнаруживаешь своего рода художественную панораму, где за общеупотребительными словами, составляющими первый, «реально-документальный» ряд, и редкими, разговорными, диалектными словами, образующими второй ряд, выстраивается гигантская рисованная перспектива «возможных», «мыслимых», «сказуемых» слов, введенных самим исследователем для передачи полного духа русского языка, его лексической емкости и глубины. Эта объемная панорама поражает именно тончайшим переходом от осязаемых, «трехмерных» объектов — через дымку диалектно-этнографических странствий и чад задушевных дружеских разговоров — к объектам языкового воображения, которые представлены с таким выпуклым правдоподобием, что если бы не несколько чересчур сильных нажатий на заднем плане, аляповатых пятнышек вроде «ловкосилия», воздушная иллюзия словарного «окоема» была бы безупречной.

Но парадокс Даля — Солженицына, словарной планеты и ее яркого спутника, этим не ограничивается. Солженицынский строгий отбор далевских словечек в конечном счете усиливает эффект их художественности, придуманности, поскольку они выделены из массы привычных, употребительных слов и предстают в своей особости, внеположности языку как способ его расширения. Удельный вес «потенциальных» слов, приведенных — или произведенных — Далем как пример словообразовательной мощи и обилия русского языка, в солженицынском словаре гораздо больше, чем у самого Даля. Но поскольку они «опираются» на Даля, который сам якобы «опирался» на лексику своего времени, они производят впечатление еще более устоявшихся и как бы даже «залежалых», извлеченных из неведомо каких первородных залежей, ископанных древних пластов языка. Как это часто бывает в искусстве XX века — у Дж. Джойса, П. Пикассо, В. Хлебникова, С. Эйзенштейна и других, — модернизация и архаика, авангард и миф, вымысел и реконструкция шествуют рука об руку. Если Даль — романтик национального духа и языка и почти бессознательный мистификатор, то Солженицын сознательно усиливает эту далевскую интуицию и по линии кропотливой реставраторской работы (черпает у Даля), и по линии модернистского изыска (отбирает только не вошедшее широко в язык, самое «далевское» у Даля). Установка В. Даля, в соответствии с его профессиональным самосознанием и позитивистским сознанием его века, — научная, собирательская, так сказать, реалистическая надстройка на романтическом основании; а солженицынский словарь, по замыслу автора, «имеет цель скорее художественную»<sup>8</sup>. И хотя солженицынский словарь всего лишь эхо («отбой» или «наголосок») далевского — а точнее, именно поэтому, — в нем выдвинуто на первый план не собирательское, а изобретательское начало, «расширительное» введение в русский язык тех слов, которые мыслятся самыми «исконными» по происхождению, а значит, и наиболее достойными его освежить. За время своего «значимого отсутствия» из русского языка они не столько состарились, сколько обновились, и если у Даля они представлены как местные, областные, архаические, диалектные, народные, разговорные слова, то у Солженицына они предстают как именно однослова, крошечные произведения, сотворенные в том же стиле и эстетике, что и солженицынские повести и романы. Когда в предисловии к своему «Словарю» Солженицын пишет, что он читал подряд все четыре тома Даля «очень внимательно» и что русскому языку угрожает «нахлын международной английской

<sup>8</sup> «Русский словарь языкового расширения», стр. 4. Кстати, в солженицынском «Объяснении» к словарю есть слова, сочиненные самим автором, например, «верхоустановный» и «верхоуправный», предлагаемые вместо уродливого «истеблишментский».

волны», то эти слова воспринимаются как совершенно солженицынские, хотя легко убедиться, что они выписаны у Даля.

Здесь дело обстоит примерно так же, как с Пьером Менаром, героем знаменитого борхесовского рассказа, который заново написал, слово в слово, несколько глав «Дон Кихота». Хотя Пьер Менар стремится буквально воспроизвести текст Сервантеса (не переписать, а сочинить заново), но тот же самый текст, написанный в XX веке, имеет иной смысл, чем написанный в веке XVII. «Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию»<sup>9</sup>. У Сервантеса выражение «истина, мать которой — история», — всего лишь риторическая фигура; та же самая фраза у Менара ставит проблему, возможную только после К. Маркса, Ф. Ницше, У. Джеймса и А. Бергсона, после всех переоценок ценностей в историзме, прагматизме, интуитивизме, — о верховенстве истории над истиной, жизни над разумом.

Так и солженицынские слова идентичны далевским, но добавляют энергию художественного отбора, а главное, новый исторический опыт к тому, что составляло разговорный запас русского языка середины прошлого века. Например, Даль пишет:

«НАТЮРИВАТЬ, натюрить чего во что; накрошить, навалить, накласть в жидкость, от тюри, крошки. -СЯ, наестся тюри, хлеба с квасом и луком».

Солженицын гораздо лаконичнее:

«НАТЮРИТЬ чего во что — накласть в жидкость».

Солженицынское толкование хотя и короче, но многозначительнее далевского: оно включает и те значения, которые приданы были этому слову XX веком и лагерным опытом самого Солженицына. Оно красноречиво даже своими умолчаниями. Из определения тюри выпали «квас и лук», как выпали из рациона тех, чьим основным питанием стала тюря (недаром с начальной рифмой к слову «тюрьма»). «Навалить» в жидкость стало нечего, а «накрошить», возможно, и нечем (ножей не полагалось), — хорошо бы и просто «накласть». «Натюриться» в смысле «наестся» тоже выпало не только из языкового, но и житейского обихода. Слово «натюрить», поставленное в солженицынском словаре, приобретает смыслы, каких не имело у Даля, — как эмблема всего гулаговского мира, открытого нам Солженицыным, как слово-выжимка всего его творчества.

Еще ряд примеров того, как Солженицын *обогащает* далевский текст, часто при этом и сокращая его.

*Даль:*

«ОБОЗЕРЩИНА, обозерье пск околица большого озера и жители ея».

*Солженицын:*

«ОБОЗЕРЬЕ — околица большого озера».

Солженицын напоминает нам о земле, прилегающей к озеру, как об особом природном укладе — и вместе с тем подчеркивает его пустынность, покинутость людьми (поскольку на «жителей ея» это слово уже не распространяется). Одно слово — маленькая притча о жизни природы и о вымирании человека, опустении русской деревни.

*Даль:*

«ВОЗНЕВЕРОВАТЬ чему, стать не верить, сомневаться, отрицать».

*Солженицын:*

«ВОЗНЕВЕРОВАТЬ чему — стать не верить, усумниться».

<sup>9</sup> Борхес Хорхе Луис. Соч. в 3-х томах. Т. 1 Пьер Менар, автор «Дон Кихота» Рига, «Полярис», 1994, стр. 293.

Вместе с Солженицыным мы знаем о психологических оттенках и практических приложениях этого слова больше, чем в прошлом веке мог знать Даль. Для современников тургеневского Базарова «возневеровать» еще значило «отрицать», а для наших современников, таких, как Иван Денисович, «возневеровать» вполне может сочетаться и с приятием. Да и «усумниться» как-то смиреннее, боязливее, чем «сомневаться», как будто допускается сомнение в самом сомнении.

*Даль:*

«ВЛЮБОВАТЬСЯ во что, любуясь пристраститься».

*Солженицын:*

«ВЛЮБОВАТЬСЯ в кого — любуясь, пристраститься».

У Даля описывается пристрастие к вещцам: так и видишь какую-нибудь хорошенькую барышню, влюбовавшуюся в не менее хорошенький зонтик. У Солженицына — совсем другая энергетика этого чувства: влюбиться в кого — и уже не оторваться ни глазами, ни сердцем, хотя бы только любуясь на расстоянии. Тут угадывается опять-таки солженицынский персонаж, Глеб Нержин или Олег Костоготов, заглоченные судьбой, зарешеченные, за стеной шарашки или больничной палаты, кому дано пристраститься одними только глазами, как зрителю, — но тем более неотвратимо, «до полной гибели всерьез». «Влюбиться» — очень нужное Солженицыну слово, незаменимое; по сравнению с «влюбиться» оно несет в себе и большую отстраненность — «любоваться», и большую обреченность — «пристраститься».

Итак, солженицынские слова вместе с определениями выписаны из Даля — но они так пропущены через опыт «второтолкователя», что, каждое по-своему, становятся парафразами огромного текста по имени Солженицын. Сам Солженицын, может быть, и не имел в виду тех смысловых оттенков, которые мы приписываем ему, — но подлинно художественный текст всегда умнее автора, и слова в солженицынском словаре сами говорят за себя, кричат о том, о чем автор молчит.

Границу, отделяющую односложие как творческий жанр от слова как единицы языка, языковедство от языковедения, трудно провести в случае Даля — Солженицына, которые как бы дважды меняются ролями в описанном нами случае «со-словария», редчайшем образчике двойного языкового орешка. Чтобы войти в состав общенародного языка, быть включенными в Словарь «живого великорусского» наравне с общеупотребительными словами, новообразования должны восприниматься столь же или даже более «естественно», чем их соседи по словарю, камуфлироваться и мимикрировать под народную речь (хотя переборщить с «народностью» тоже опасно, и заимствованные слова «автомат» и «гармония» более естественно звучат для русского уха, чем натужно-свойские «живуля» и «соглас»). Поэтому далевско-солженицынские односложия, в отличие от хлебниковских, воспринимаются как прозаизмы, скроенные по закону разговорной речи.

Казалось бы, грань, отделяющая поэтизм от прозаизма, — весьма условная, но формально-композиционным признаком такого размежевания служит отсутствие у Солженицына именно любимого хлебниковского приема — «скорнения», сложения двух корней — например, «красавда» (красота + правда), «дружево» (дружить + кружево). Солженицын редко соединяет разные корни — для него в этом начало умозрительно-произвольного, «утопического», насильственного спаривания разных смыслов.

Знаменательно, что и Даль недолюбливал слова, образуемые, по греческому образцу, сложением основ, — он называл их «сварками», подчеркивая тем самым искусственный, технический характер того приема, который для Хлебникова органичен, как жизнь растения, и потому назван «скорнением». «Небосклон и небозем... слова составные, на греческий лад. Русский человек это-

го не любит, и неправда, чтобы язык наш был сроден к таким сваркам: он выносит много, хотя и кряхтит, но это ему противно. Русский берет одно, главное понятие, и из него выливает целиком слово, короткое и ясное»<sup>10</sup>. Даль приводит в пример «завесь», «закрой», «озор» и «овидь» как народные названия горизонта, в отличие от книжных, хотя и русских по корням, но сложенные по составной греческой модели типа «кругозор». Любопытно, что далевские немногочисленные «авторские» образования типа «ловкосилие» или «колоземица» и «мироколица» (атмосфера), «носохватка» (пенсне) скроены по нелюбимому им образцу и отчасти звучат по-хлебниковски, предвещают Хлебникова.

В целом Даль, как и Солженицын, предпочитает не рубить и скрещивать корни, но работать с приставками и суффиксами, то есть брать «одно, главное понятие», плавно поворачивая его иной гранью. Типичные далевско-солженицынские словообразования: «влюбоваться в кого — любуясь, пристраститься», «издивоваться чему», «остойчивый — твёрдый в основании, стоящий крепко», «выпытчивая бабёнка», «размысловая голова — изобретательная» и т. п.<sup>11</sup>. Никаких резких разломов и сращений в строении слова — лишь перебрать крышу или достроить сени, но ни в коем случае не менять основы, не переносить дом на новое место.

### Опасности и прелести жанра. Лингвоселекция

Не хотелось бы, однако, внушать мысль о великих возможностях этого жанра, о его процветании на почве синтетического, ярко метафорического русского языка и т. п. Все-таки выбор у однословца небогат, и удачи в этом жанре — еще реже, чем в скупом жанре афористики. Главное, что грозит словосочинительству, — соседство словаря, соперничество с языком. Словотворец неминуемо ставит себя на одну доску с народом-языкотворцем и часто проигрывает. Каждое сочиненное слово, по своей заявке и претензии, — это часть языка, вечный памятник своему творцу, а памятник с кукишем или подмаргивающим глазом плохо годится, потому что мгновенная поза передразнивания или подначивания не годится для вечности. Однословие пытается соединить несоединимое не только в своем морфологическом составе, но и в эстетической установке: выразить индивидуальность своего создателя — и вместе с тем стать элементом системы языка, войти в словарь. В жанре однословия есть нечто неустранимо претенциозное, как и в жанре афоризма, который вынимает себя из потока суетной человеческой речи, смиренного многословия и косноязычия и застывает в позе «на все времена». Словотворец — отчасти самозванец, поскольку языком по определению правит народ, безымянный творец имен. Однословие заведомо завышает критерий своего бытования в языке — и потому должно готовиться к отпору и развенчанию, к раздражению читателя, который не любит «озвездованных» слов (однословие поэта Григория Марка). Тем более, если эти слова не рассыпаны в поэтических контекстах (как большей частью у Хлебникова), откуда они добываются старателями-золотодобытчиками, а заранее преподносятся в виде самоценного жанра, да еще образующего целый словарь.

Солженицынский «Словарь» тактично прячет претенциозность этого жанра за оборонительные слои: во-первых, многие слова и в самом деле народные, только редкие, забытые, уже вышедшие или еще не вошедшие в употребление; да и те, которые изобретены, как правило, ненавязчивы и имитируют народный способ словосложения, с небольшими суффиксальными или префиксальными сдвигами-извивами, без оголенных и разрубленных корней, тем более иностранно-международных, выданных из живой словесной плоти и промискуитетно спаренных с другими корнями и чуждыми морфемами.

<sup>10</sup> Даль Владимир. Толковый словарь..., стр. XXXI.

<sup>11</sup> «Русский словарь языкового расширения», стр. 32, 84, 156, 45, 210.

Солженицын избегает каламбуров, то есть сплетения разных морфем по сходству звучаний, что производит «несерьезное» впечатление. Призвавший «жить не по лжи», Солженицын, наверно, скривился бы, услышав им же подсказанные словечки «лжизнь» или «лживопись», поскольку звукопись-переключка, работая на убедительность призыва, все-таки не озвучивается у Солженицына за счет потрошения самих слов, их слома и спаривания черенков.

Скорнение слов чем-то напоминает мичуринские эксперименты по скрещению разных видов. В каком-то смысле Хлебников — это Мичурин поэзии, занятый селекцией новых слов, привитием приставок и суффиксов одного слова к корню другого. Хлебниковское скорнение — это почти буквальное следование мичуринскому методу: от побега с почками — корня с морфемами (минимальными значимыми частями, «ростками» слова) отрезается часть, черенок, чтобы быть привитой другому слову и образовать с ним лексический гибрид.

Но в свою очередь и Мичурин, создавая свои растения-метафоры и растения-метонимии, не следовал ли риторическому правилу Ломоносова, что поэтический образ есть сопряжение далековатых идей? Отсюда и мичуринский метод «отдаленной гибридизации» — скрещивание растений из далеко отстоящих друг от друга географических зон. Так, он создал церападус — растение, не существующее в природе, гибрид степной вишни и черемухи Маака. «Плоды в кистях по 3 — 5, сладковато-кислые с горечью. Съедобны», — несколько угрюмо замечает по этому поводу «Советский энциклопедический словарь». Кстати, ведь и слово «церападус» — тоже, очевидно, гибрид, как и то, что оно обозначает; это слово не существовало раньше в языке, как само означенное растение — в природе. Мичурину приходилось выводить не только новые растения, но и их имена, подобно Хлебникову. Один сочинил «церападус», другой «церапад», «цацостан» и «целовень».

Так что гибридизация слов — с их корнями, разветвлениями, побегами, черенками префиксов и суффиксов, используемых для привития одних слов к другим, — по модели близка селекционной деятельности Мичурина. Хлебников пытался языковедение перевести в языководство, как Мичурин — растениеводство в растениеводство (биологию в биургию). Хлебников верил, что «стихи живут по закону Дарвина»<sup>12</sup>, и сам проводил сравнение языководства и рыбоводства: «Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения»<sup>13</sup>. С другой стороны, и Мичурин выводил растения-тропы, где «черемуха» была одновременно и «вишней». Плоды такой гибридизации в одном случае «съедобны», в другом — «читаемы», но вряд ли способны заменить «творения первых дней»: плоды в садах, рыб в морях и слова естественного языка. Сотворение нового слова потому столь опасный и прельстительный жанр, что в нем приходится состязаться с тем Словом, через которое все начало быть.

Хотя однослова — это белые карлики во вселенной слов, не следует забывать, что сверхуплотненная материя имеет тенденцию к схлопыванию и образованию черных дыр. Так и воображение, одержимое созданием новых слов, быстро проваливается в беспредметность, в смысловой вакуум. Если краткость — сестра таланта, то чересчур близкие отношения между ними могут привести к кровосмесительству, к народению слов-уродцев, гибридов, химер, способных произвести опустошение в генетическом фонде языка скорее, чем обогатить его. Между прочим, уродливые советские новообразования типа «завполитпросвет», «коопсах» и др. — тоже плод стремления к краткости, как и все высокочастотные аббревиатуры технического века, где начальные буквы или слоги спрессованы в слова, лишённые внутренней формы и образа.

<sup>12</sup> Цит. по кн.: Григорьев В. П. Указ. соч., стр. 94.

<sup>13</sup> Хлебников В. Наша основа. — В его кн.: «Творения». М., «Советский писатель», 1986, стр. 627.

Однако все познается в сравнении. На фоне естественного, «первозданного» или «предзаданного» слова бросается в глаза вычурность, придуманность однословий. Но на фоне искусственных языков, которые ускоренно размножаются в эпоху компьютеризации, штучное производство слова приобретает достоинства индивидуального ремесла, как ручной тканый ковер на фоне машинных подделок или как подлинник картины на фоне ее репродукций. В иерархии «Бог — человек — машина» рукотворный словесный продукт выглядит все менее поддельным, все более теплым и подлинным, поскольку точкой отсчета становится уже не «богоданный» язык народа, а машинные языки, скоростные шифры. Технизация и автоматизации языка — процесс необратимый: на каждое «живое» слово уже приходится сотни и тысячи научно-технических терминов. Миллиарды и триллионы таких специальных знаковых комбинаций уже не вмещаются в бумажные словари, но образуют электронные базы данных. В этом знаковом мире, кишашем механическими словами и шифрами, даже какое-нибудь «стекловолокно» вскоре уже покажется чудом поэзии. Ценность однословия как художественного произведения, сохраняющего ауру единичности, печать индивидуальности творца, будет неминуемо возрастать в эпоху дальнейшей автоматизации всех языковых процессов.

### Постскриптум

Предмет размышлений всегда заразителен — иначе не стоит о нем размышлять. По мере написания статьи в нее проникло несколько однословий, таких, как «лжизнь», «солночь», и др. Но самое примечательное из них стоит в заголовке: это слово «однословие», которое представляет собой образчик того, что оно обозначает, — жанра сложения нового слова. До сих пор считалось, что в языке есть только два выражения, которые полностью обозначают сами себя. Это слово «слово» и предложение «Это — предложение». Все другие слова не обозначают самого слова, и все другие предложения не обозначают самого предложения. Теперь этот кратчайший список самозначащих (автореферентных) языковых образований можно увеличить сразу на треть, прибавив к нему однословие «однословие».





# Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

## СМЕРТЬ ПОД ЯЗЫКОМ, ИЛИ КОМИССАРСКИЕ ЗАПИСКИ

Юлий Дубов. Большая пайка. М., «Вагриус», 1999, 718 стр.

**В**ремя 90-х спрессовалось в странный продукт вроде бульонных кубиков: только добавь воды — и из прожитого года получится десятилетие, эра, эпоха. Революция 1991-го, следом за нею «военный капитализм», уложившийся в пару лет и не без репрессивных мер перешедший в президентскую монархию, затем строительство новых территориально-сословных перегородок, позволивших краткий миг сытого черномырдинского застоя, и, наконец, августовский кризис 1998-го, словно действующая модель горбикраха империи. Готовясь к трем нулям как к новой части бесконечно мыльного триллера, страна в десять лет промчалась по краткому содержанию предыдущих серий.

Каждая из эпох вытаскивала на свет и сообразных себе героев с сообразными занятиями. Например, «военный капитализм» делался руками людей настолько сходных с красными наркоманами, что сравнение затаскали до дыр журналисты. Эти «новые наркомы» командовали и стреляли. На крайний случай командовали стрелять. В прошлой жизни они были образцовыми семидесятниками: успешничали в науке, изобретали и рационализировали. В новой — именно они сформировали подлинное лицо 90-х.

Может быть, даже закономерно, что не только описать эту эпоху, но и охватить ее взором не получалось, пока она не подошла к концу. И то, что книга заместителя генерального директора «ЛогоВАЗа» Юлия Дубова «Большая пайка» вышла в свет, стало не менее ясной приметой конца 90-х, чем последний листок отрывного календаря. Я полагаю, что под этой несимпатичной глянцево-обложкой с неоновыми буквами — первый серьезный роман о том, что приключилось с людьми 90-х. Он не лучше «Закрытой книги» или «Сказок по телефону» — он просто в другой весовой категории.

**Мушкетеры и коммерсанты.** В тот самый стыдный, но сладостный миг, когда доллар стоил шесть рублей, а средней зарплаты московского бездельника хватало на месячные разезды по Восточной Европе, люди вдруг снова начали читать книги. Именно так — снова читать, возвращаться к полузабытому занятию, когда садишься поудобнее, устраиваешь свет и раскрываешь книжку на триста восемнадцатой, заложенной вчера календариком или дареной закладкой, на крайний случай спичкой. Хором рассказывая про удивительное, «из прошлой жизни», удовольствие. На вопрос: «А что же ты в последние годы читал?» — люди, месяцами не поднимавшие головы от бумаги, получавшие по два дополнительных образования, проработавшие немислимые объемы информации, виновато понурились, отвечали: «Ничего».

Но за этим «ничего» скрывались не только счет-фактуры и учебники, но и ежедневное чтение увлекательнейших очерков в народной буржуинской газете «Коммерсантъ». Деньги здесь были не просто «сюжетобразующим фактором» — они были и сюжетом, и всеми его частями — завязкой, развязкой, кульминацией, — они были и главным героем этого суперприключенческого метатекста. Малая газетная форма неминуемо огрубляла повествование, торопила развитие и превращала в комикс. Теперь пришла пора развернуть роман.

Но когда чтение возвратилось, ему стало не хватать острой приправы. Ухмыляясь неожиданным новым прочтениям, вытаскивали с дальних полок О. Генри и Драйзера. Снова вышла в первые ряды лошадь Боливар, и прежде любимая всем советским народом.

Дубову удалось попасть посередине между «Коммерсантом» и «Домби и сыном» (любимая книга замгендиректора «ЛогоВАЗа», если верить интервью в том же «Ъ»). Герои семисотстраничного романа, прописанные психологически досто-

верно, выбраны из прочих сограждан, живших в это же время, по тому признаку, что «они были готовы к этому новому вызову, к большой ответственности, к большим деньгам и непростому процессу их приумножения...». Впрочем, в качестве литературных ориентиров можно было бы назвать уже упоминавшегося Драйзера или Стефана Цвейга. Или обратиться к «литературе дружбы» — смутному облаку где-то между тремя товарищами и тремя мушкетерами. «Один за всех — и все за одного!» Потому что история создания фирмы «Инфокар» — это история дружеской компании. Собственно, «первый роман о русском бизнесе» (это определение красуется на аляповатом переплете «Большой пайки») начинается вовсе не с путча, не со свободы кооперативов, а с международной научной школы, которую молодые ученые организуют в 1978 году где-то под Ленинградом: из Москвы можно вырваться и ехать недалеко. Математик и экономист Сергей Терьян, теоретики управления Ларри Теишвили, Марк Цейтлин и Виктор Сысоев, общий приятель Муса Тариев. И Платон. Сердцевина всего, глаз тайфуна, двигатель событий и интриг. Фамилии ему не надо: друзья зовут по имени, а прочие — старомодным Платон Михайлович (сколько тут грибоедовского Горича, а сколько собственной горечи, автор, полагаю, никому не расскажет — потому что вежливо затворяет дверь творческой кухни перед каждым любопытным носом). Эта компания автоматизирует Завод (абстрактный советский гигант, производящий автомобили), она же строит «Инфокар» — сперва «совместное предприятие», а после просто российскую фирму, торгующую автомобилями. В этой компании один, естественно, за всех и все, как и полагается, за одного. Эта компания друзей гибнет по одному — словно мушкетеры Дюма.

Разумеется, еще до того, как вышла книга, о ней заговорили в экономико-политической перспективе. Ожидали увидеть в ней «всю правду о „ЛогоВАЗе“, интересовались, как отреагирует русский бизнес на такую бомбу, даже спрашивали, какие финансовые схемы и механизмы смогут почерпнуть начинающие коммерсанты из этого образцового труда. Автор сдержанно цедил сквозь зубы: «Я очень прошу оставить „ЛогоВАЗ“ в покое. У меня был очень сильный соблазн написать про какой-нибудь компьютерный бизнес, чтоб не было прямых аналогий, или про торговлю продуктами питания, но я просто не разбираюсь ни в том, ни в другом, и я пошел на совершенно сознательный риск, взяв автомобильный бизнес. То, что здесь написано, может относиться к любой другой компании. Не надо автомобильные аналогии выводить во главу угла» (из интервью корреспонденту интернетовского ресурса «PR в России»).

Здесь важно расслышать за очевидным раздражением две мысли. Первая — о предельной авторской ответственности. Странно было бы думать, что предприниматель уровня Дубова (в момент написания романа — в 1996 — 1998 годах — он был не заместителем, а генеральным директором «ЛогоВАЗа») не понимает, как, в принципе, работает компьютерный или продуктовый бизнес. Но если писать о том, чего не прожил сам, получится сторонний, безответственный взгляд.

«Настоящую книжку, — говорит сам автор, — может написать только человек, который был внутри системы. Ее нельзя описать снаружи. Потому что, во-первых, никто тебе ничего не расскажет. А во-вторых, в этом надо пожить.

Поваришься в этом — может получится. Не поваришься — не получится гарантированно» (из интервью в «Ex libris НГ»).

В отличие от, к примеру, детективов Е. Климовича, «Большая пайка» — это роман не столько о деньгах, которые приключились неожиданно, сколько о людях, которые за эти деньги чем-то внутри себя вынуждены платить.

Второй point — обобщенность повествования, задача подняться над биографическим подобием героев узнаваемым персонажам светских новостей. Суть даже не в том, что каждый из сюжетов собран по частям из очень разных мест. Дело в том, что, как говорит интервьюеру Дубов, «самые разные люди, которые занимаются бизнесом, через некоторое время становятся удивительно похожи друг на друга. Это во-первых. А во-вторых, между большим бизнесом и другими направлениями человеческой деятельности, которые требуют большой самоотдачи и большой концентрации ресурсов, по существу, нет никакой разницы, и между людьми, которые занимаются этим, тоже, по существу, большой разницы нет. Например, если вы

будете сравнивать кого-нибудь из наших бизнесменов с кем-то из известных наркомов (с Кагановичем или с Орджоникидзе), вы на самом деле увидите много общего. Если бы у нас была возможность поставить рядом, скажем, Каданникова и Королева, вы бы увидели, что эти люди в чем-то удивительно похожи. Поэтому говорить, что эта книга написана про Березовского, про Потанина, про Авена или про кого-то, — это не совсем правильно. Она написана про человека, который возглавляет большую фирму» («PR в России»).

**Начальник партии.** «Там есть один герой, которого с натяжкой можно сравнить с Березовским», — скрепя сердце признается автор. Однако вводит в роман эпизодическое упоминание Бориса Абрамовича, чтобы развести его со своим героем: дескать, с фирмой «Инфокар» не решается ссориться сам Березовский.

Платон Михайлович, главный герой книги, — один из многих создателей империй. Таков был Ленин — и это сравнение для Юлия Дубова, несомненно, важно.

Первым Ильича в Платоне угадывает «мальчишечка с косичкой», художник, случайно присутствующий на переговорах. «Мальчишечка со смешным именем Лелик изобразил Платона на броневике, с вытянутой рукой, в которой была зажата кепка, потом на трибуне и еще на субботнике, с бревном. Было забавно и очень похоже.

— Ленин-то здесь при чем? — отсмеявшись, спросил Платон...

Лелик пожал плечами.

— Не знаю. Так нарисовалось. Возьмите, это вам на память».

Сам автор изобразил Платона в финале этаким Ильичем на Финляндском вокзале — Лениным, возвращающимся из тихого далека к своей победе и своей стране: «В этот день „Инфокар“ не работал. Все салоны, станции и стоянки, все офисы вывесили на дверях написанные от руки объявления и вышли на площадь, чтобы встретить основателя фирмы. Вождя. Его долго не было в стране. На него охотились, как на зверя, в него летели не достигавшие цели пули. Он создал этот мир, собрал его по кирпичику, по копейке. Враги хотели погубить его, разрушить выстроенное им здание. Но они потерпели поражение. Потому что три тысячи человек, слетевшихся со всех концов страны под голубое инфокаровское знамя, встали плечом к плечу, чтобы защитить поднявшего это знамя, а значит — защитить и себя. Сегодня они праздновали победу. Это был их день, их праздник».

Все герои повествования собрались на этой площади — и лживый Еропкин, и преданная Мария, и урбанистический джигит Ахмет. «Прямо перед Платоном стояли люди из Сургута и Тюмени, Ростова и Воронежа, Омска и Новосибирска, Орла, Смоленска, Сочи». Но более того, здесь же, на ставшей тесной площадке перед вокзалом, собрались и все убитые друзья: Марк, Сергей, Виктор, Муса...

Единственный из отцов основателей «Инфокара», оставшийся рядом с Платоном, — это Ларри, Илларион Георгиевич Теишвили. «Они были одного роста, стояли бок о бок, и профиль Ларри, с пышными усами, наполовину прикрывал чеканный профиль Платона».

Главки, посвященные раздумьям Ларри, нарочно следуют интонационным ходам рыбаковского Сталина из «Детей Арбата». Первая смерть — Сергея Терьяна — тоже нарочно вынесена в Петербург, чтобы напомнить о Кирове. Страшным персидским топором Мусе Тариеву разнесут полчерпа — не ледоруб, конечно, но, в общем, похоже. Завороженный гибельной каруселью российского капитализма, Дубов ищет опоры в истории, но находит в себе силы держать глаза открытыми, не прятать их в книгу.

В научном сообществе 70-х, погруженном в агрессивную среду (по-разному агрессивную: в национальном, интеллектуальном, моральном смысле; она проявляла себя в первом отделе, газетных травлях и штатных антисемитах...), в интеллектуальной элите 70-х сформировалось очень четкое разделение на «наших» и «не наших». Базовая для поколения мифология дружбы — «если друг оказался вдруг», «мы хлеба горбушку — и ту пополам!» — с другой стороны, вполне допускала, что с чужими, с «ними», с этими также вполне мифологизированными «они» можно все. И продуктивность малых сообществ 80-х была замешена как раз на этом — на племенном чувстве.

В 90-х оказалось, что никакого «мы» больше не существует. В романе, разбитом на части по именам погибающих друг за другом героев, есть один сквозной герой, его зовут Федор Федорович, или Эф-Эф. Это аналитик из Комитета, работающий на «Инфокар», из персонажей газетных статей более всего похожий на Филиппа Бобкова, руководителя разведки «Мост-медиа». В книге он воплощает архетип мудрого старца, всеобщего советника. Это не кудесник, который знает что-то особенное, но человек, который знает, как бывает.

К нему обращаются разные лица. В конце книги, на последних страницах, с ним разговаривает Платон. И Эф-Эф рассказывает, почему смерти всех соратников неминуемо и автоматически следуют просто из того, что они делают какое-то общее дело. «Это логика истории, поймите, Платон Михайлович. И вам трижды повезло, что эта логика помимо вас реализовалась. Еще год-два, и при нынешнем положении вещей вам лично пришлось бы отдавать Ахмету (штатный бандит „Инфокара“. — А. Г.) приказ разобраться со старыми друзьями. А иначе никак... Я уж вас тут достаточно литературными цитатами утомил. Но позволю себе еще одну, опять же из Галича. „И счастье не в том, что один за всех, а в том, что все — как один“».

И Платон видит: «Он старался умножить число ферзей на доске. Но ферзи эти были не нужны, более того — вредны. Партия выигрывалась тем, у кого в запасе были дисциплинированные пешки. Да, с пешками не о чем говорить, им можно только приказывать, но выбор простой — либо разговоры, либо партия».

В раздумьях Платона речь идет о шахматах, но в книге Дубова — о правящей в государстве партии. Сама необходимость ее создания — трагична. Без нее невозможно была бы продуктивная деятельность в стране без правил и законов. Но с ней невозможно выжить. Большая пайка — так нехорошо прозвучавшая в названии романа (что-то сразу представляется скверно-криминальное) — на самом деле цитата из Варлама Шаламова, чьи слова полностью приведены в первом из четырех эпиграфов: «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая».

Для самых задумчивых на последних страницах книги горькая идея проговорена открыто. Мертвый Сережа Терьян, привидевшийся Платону, говорит ему: «Все люди делают ошибки... Просто сейчас цена ошибки стала огромной. Страшной стала цена. И не смотри на меня так, ведь не только я эту цену заплатил. Помнишь, как в девяносто первом мы отмечали твой день рождения? Мы тогда в последний раз вот так сидели за столом. Все вместе. И ты сказал... помнишь, что ты сказал? Что пройдет время, вроде как же — сменятся страны и народы, а мы все равно останемся вместе. Ибо наше братство — это и есть главная и единственная ценность. Помнишь? Вот что я имею в виду. Я жизнью заплатил. А ты — этим братством. Неизвестно еще, кто потерял больше».

**Что стоит взять языка?** Очевидно, что общие процессы были характерны в XX веке для всей социокультурной сферы евроамериканского мира. Пьянящий прорыв 60-х был общим (рядом с «Пражской весной» можно назвать антивоенные марши Джоан Баэз или чтения у памятника Маяковскому, Аллен Гинзберг вполне эквивалентен Евтушенко или Вознесенскому), общим было и похмельное разочарование 70-х. Идея границ была главной одержимостью всей второй половины века. Но если 60-е ее хотели бы не замечать, упускали ее из виду, как нечто пренебрежимо бессмысленное, то 70-е вынуждены были ее вновь проблематизировать, найти в ней новые смыслы, научиться работать с границами. Не пересечение границы, а существование с обеих ее сторон было эстетически значимым (лучший русский пример тут, пожалуй, Битов). Это же обусловило и ту «революцию менеджеров», которая стала главным социальным содержанием 70 — 80-х в демократической Европе и Америке: молодые интеллектуалы вынуждены были занимать пресловутую «метапозицию» по отношению к обществу, жестко разделенному границами, — а затем оказалось, что эта метапозиция давала им в руки такие властные рычаги, о которых и не могли помечтать включенные в систему «отличники боевой и физической». Университетские блейзеры и свитера все чаще и увереннее проникают в «пиджачные сообщества».

Осмывая эти процессы, легко заметить, что в России 70-е и 80-е годы были даны непропорционально. Это — повторю — этапы выработки метапозиции и

овладения ею. В этом смысле симметричны фигуры, например, Дмитрия Пригова и Виталия Найшуля (экономиста, автора книги «Другая жизнь», в которой впервые рассматривалась возможность ваучерной приватизации советского госимущества), с одной стороны, а с другой, например, — Павла Пепперштейна и Анатолия Чубайса. Первые с трудом находят ту точку вне языков (или экономических систем), в которой можно утвердиться и стоять; вторые обретают ее по праву наследования, дегематизируют ее и действуют так, как если бы весь мир давно в ней помещался. Легко заметить, что этап выработки метапозиции продолжался до самого падения тоталитарных структур — нет никакой разницы, говорим ли мы о тоталитарных государственных институтах или тоталитарных культурных инстанциях. 70-е в России продолжались аккуратно до 1985 года, а уже в 1991-м в полный голос заявили о себе 90-е. Промежуточное десятилетие в отечественной действительности сжалось до пяти лет — и сжатость этой эпохи перераспределения власти немало способствовала ее кровавости.

Когда за пять лет человек вынужден сделать такую социальную карьеру, перескочить через все ступеньки, какие только бывают, и стать из младшего научного сотрудника вторым лицом в фирме, а из завлаба вторым в государстве, — понятно, что в этой аэродинамической трубе поток отрывает все, что хоть чуть-чуть выступает за линию моральной обтекаемости.

80-е годы тоже могут быть описаны в рамках метафоры границ — именно как время овладения за-границным пространством (в России это как нельзя лучше иллюстрируется падением «железного занавеса»), свободного высказывания на за-границных языках.

Примечательно, что, когда активные российские политики этой эпохи теперь пишут воспоминания, они непрерывно сворачивают на проблему языка как такового. Вот самый деятельный и победительный из них, Чубайс: «Помню, сидим мы как-то с Гайдаром на совещании, то ли региональном, то ли отраслевом... И видно, что для этих людей мы двое как будто с Марса прилетели. Совершенно чужие здесь... Надо уметь приспособливаться к их восприятию. Надо понимать, что ты не можешь заставить десятки тысяч людей вдруг понять марсианский язык, на котором ты говоришь. Ты должен заговорить на их языке, только тогда ты сможешь заставить их делать то, что тебе нужно» («Приватизация по-российски». Под редакцией А. Б. Чубайса. М., 1999, стр. 145). Такого рода размышлений и примеров разноязычного взаимодействия в тексте этой книги огромное количество.

«Одними аргументами эту аудиторию прошибить невозможно. Тебя психологически задавят смешками, хохотком, перешептываниями. Ты можешь все правильно говорить по делу, но поездка будет провалена. И эффект встречи, и твой личный имидж, и действенность твоих распоряжений — все пойдет насмарку, если ты не заткнул глотку кому-то из наседаящих на тебя.

...Как-то приезжаю в Амурскую область, собираю директоров. Большой зал, человек 500, все заведенные — выступают один за другим, и каждый покусывает. Один тихонечко, другой сильнее, третий еще сильнее. Вида, что реакции нет (а я сижу тихо, внимательно слушаю), четвертый начинает хамить, а пятый уже совсем распустился: „До каких пор... Прекратите издевательство!.. Народное хозяйство разрушено!.. — И дальше: — Я у себя на фабрике дошел до того, что какие-то корейцы приходят ко мне и хотят купить рубашки, которые я произвожу. Пусть мне наконец скажет Чубайс, нужна моя фабрика правительству или не нужна? Не нужна — так и скажите! А то ведь вот до чего дошло — мои рабочие не в состоянии своевременно зарплату получить, а какие-то корейцы приходят ко мне рубашки покупать!”

Выслушиваю не перебивая, все до конца. Потом выхожу на трибуну, набираю заход и врезаю по всем статьям!

— Вот вы говорили про рубашки. А ну-ка встаньте. Да-да, вы. Вставайте, вставайте! Сколько вам предложили за ваши рубашки? Не слышу. Еще раз. Вот столько предложили? А сколько вы просите у меня кредита? Вас гнать нужно с вашего места! Чтоб близко не было ни вас, ни одного подобного вам! Кроме вреда, ничего не приносит ваше руководство. Вы потеряли для фабрики миллионы руб-

лей, отняли у людей возможность заработать эти деньги. Вы лично виноваты в этом. Вы не пригодны для этой работы!

А можно говорить и так:

— Уважаемые друзья! Наличие платежеспособного спроса на вашу продукцию — это позитивный фактор, который нужно использовать для повышения эффективности производства...

Только будешь весь в дерьме после такого разговора» («Приватизация по-российски», стр. 147).

Конечно, и в 70-х люди учили языки иных каст, именно в этот период сложились четкие очертания теории языков, теории систем, теории управления — но все это было именно наукой, вполне академической, весьма далекой от прикладных задач. Тот же Чубайс описывает ее как «работу интенсивную, серьезную, которая, в общем, никому не была нужна, никем не была востребована, а, наоборот, воспринималась дикой, ненормальной, непонятной, была связана с определенным риском. Но мы ее делали» (из интервью журналу «Итоги» 30 марта 2000 года). Если выражаться языком 90-х, в 70-х умение говорить на чужом языке стоило 120 рублей, а в 80-е — миллионы долларов.

**Капитальный ремонт в доме бытия.** Это «метафизическое отступление» о языке я позволил себе только потому, что именно в романе Дубова мне видится адекватное отражение его движения. Более того, пристальный взгляд обнаружит это движение в качестве еще одного сюжета книги. Суть даже не в профессионализмах разных сред обитания героев: «Марку поручили вести сразу три секции [международной школы-семинара], и он появлялся в оргкомитетском номере только по вечерам», — так в начале и: «Они взяли наши бабки. Отдали известно кому. Теперь рассчитаются своими. Впредь будут знать, с кем стоит связываться, а с кем нет» — так в конце. Как и в реальной жизни, язык в романе безумно ускоряется — потому что становится мерой времени.

К языку и его формам Юлий Дубов завидно зорок. Для каждого из диалектов есть своя зона обитания — и автор кроит свой роман из кусочков речевых жанров. Письма водителя Платона другу (голая информация без понимания). Мысли Ларри (бесчеловечное течение неколебимой субъективной правоты). Литературная запись популярной телепередачи (воображаемый карауловский «Момент истины», в который приглашен Платон). Газетные заметки. Предсмертный монолог Виктора Сысоева.

Даже «язык денег» Дубов поначалу вводит как «чужой язык» — вынося тему то в пространство «еврейского сказа» à la Бабель (в потешной баталии торговцев кружевными трусиками Бенциона Лазаревича и Семена Моисеевича — этаких Твидл-Ди и Твидл-Дума раннего капитализма), то в речь эмигранта Сержа Марьена, то, прямо по-толстовски, — в иностранную графику: «Look here, — говорил Леонарди. — The retail price for a cellular phone in Taiwan is no more than two hundred bucks. We can sell it here for five hundred at least. Three hundred profit at one unit!» Перевод бесед с первым иностранным партнером «Инфокара», разумеется, приводится в сносках — и, как и в случае с французским щебетом «Войны и мира», по большому счету ни за чем не нужен. В гостиных 1810-х звучат светские *bon mots* — их «французскость» важнее их содержания. Устроители СП в 1990-х беседуют про *business* и *profit* — ничуть не равные русским «би-изьнес, понимаешь ли» и «наживе» — на нынешнем общепонятном языке международного общения.

Вячеслав Курицын, описывая в сетевой рецензии книгу академика Гаспарова «Записи и выписки», сравнил ее с рубинштейновскими «Случаями из языка» и определил как «случаи языков»: вот такой бывает язык и такой тоже ([www.vesti.ru/books](http://www.vesti.ru/books)). Может быть, этот коллекционерский (и отчасти хармсовский) жанр «случаев» годен для описания 90-х как мало какой другой.

Подруги криминальных авторитетов, скупающие целиком ювелирные магазины в Лондоне за наличные и без переводчика. Бронированная машина осторожно-го бизнесмена и расстрел ее угнанным из соседней части танком. Супостат, защитившийся от яда, пули и ножа, но придавленный скинутой с крыши статуей. У Полины Дашковой или Александры Марининой, даже у Корецкого с Леоновым все это смотрелось бы совершенно естественным — и совершенно надуманным.

Но Дубову удастся балансировать на тонкой грани качественной литературы, не впадая в жанр и оставаясь достоверным.

И тут приходится писать о вещах совершенно иррациональных — о том, что принято называть эпическим дыханием и чего напрочь лишено большинство современных прозаиков. Это удивительное свойство позволяет переопределить, как в алхимическом тигле, баешный набор и политическую лакомость исходных веществ в живого романного гомункула: он движется и говорит, из его ран и ссадин течет настоящая кровь.

И последнее. Роман про менеджмент и профессионализм возник как продукт менеджмента и профессионализма. Издатель прочитал исходный текст «Большой пайки» и оценил его как интересный, но сырой. Один из лучших редакторов в России, получив роман, не вычеркнул ни строки, но иначе разбил и перераспределил эпизоды между семью главами. Автор рассказывает об этом с видимым удовольствием и поясняет: «Я ведь любитель, а он — профессионал». Если угодно, это еще один урок романа.

Александр ГАВРИЛОВ.



### НЕОСУЩЕСТВИМАЯ ИСТИНА

А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000, 421 стр.

**З**аписные книжки и дневники становятся самым ходовым жанром. Неспособность погрузиться в чужую воображаемую жизнь, нежелание перевоплощаться и двигаться вслед за героем от младенчества к дряхлости по страницам пухлого романа привели к прозе двадцатого века, которая попыталась отделаться не только от характера, но и от персонажа. Разбухание придуманной жизни, а потом ее убывание и усадка остались в девятнадцатом веке. Двадцатый век разрушил логические связи романа, его последовательную повествовательность, рационалистический каркас, попытки истолкования мира и какую бы то ни было причинность. Он занимался сотворением языка, противоположным автоматизму, и как следствие — отсутствием предсказуемости в поведении героев, хоть во многом и унифицированных страхом и тоталитарным давлением, перетиранием личные свойства человека. Осмысление случайностей жизни приводит к признанию ее абсурдности или к религиозности. Примерно этим занималась Литература на протяжении двадцатого века, с первых строк начиная разговор о главном: метафизике, экзистенции, онтологии. Роман превращается в собрание афоризмов, где афоризм — сжатая метафора, информация и мудрость. Новый жанр предельно сжатой мысли, не нуждающейся в пояснении и иллюстрации. Единственная форма настоящего — камни, образующие холм. Поэтому не удивительно, что к двадцать первому веку мы читаем либо поэзию, где мысль сконцентрирована до предела и привита к образу, либо записные книжки, где пунктиром (но каким жирным!) нам преподносится сразу вывод, исход наблюдения или размышления. Это, по-видимому, связано с дискретностью сознания, не поспевающего за убыстряющимся временем, или с дискретностью самого времени (ведь крушение традиционного романа совпало не только с крушением реальности, но и с открытием Эйнштейном теории относительности). Почти одновременный выход «Дневников» Кафки, записных книжек И. Ильфа и А. Платонова и «Записок и выписок» М. Гаспарова позволяет говорить о популярности нового жанра.

О его торжестве можно судить не по раскупаемости этих изданий, а по тому простому факту, что, если авторы трех первых книг не предполагали делать их достоянием широкой аудитории и рассматривали как «складочно-заготовительные пункты литературного сырья», то М. Гаспаров формально узаконил сей жанр, издав свои записи при жизни, а заодно и довел до крайнего предела постмодернистскую идею текста как набора цитат, честно атрибутировав их. Главный классик об-

скавал всех постмодернистов, написав книгу о себе и о времени, состоящую почти из одних цитат. Воистину революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму. Мы понимаем себя через других, и кто, как не М. Гаспаров, знает, что все уже сказано и сформулировано, и как ученый он не имеет права не сделать ссылку. Существует разница в социальном опыте, но опыт чувств неизменен, и если с вами случилось нечто подобное, значит, это и про вас.

А. Платонов жил в эпоху, когда жанр записок еще не был популярен, и старомодно считал, что «питать читателя сырьем нельзя, это есть признак неуважения к читателю и доказательство собственного высокомерия». Тем не менее перед нами первое полное издание 24 записных книжек и 56 листов записей А. Платонова, подготовленных к печати Н. Корниенко, спасшей для нас от времени (как когда-то спас рукописи Кафки от огня М. Брод) карандашные записи, слепнущие с каждым годом и растворяющиеся в сплошном нрзб. На такое литературное подвижничество до нее были способны только жены и вдовы наших самых любимых писателей. Это безупречная текстологическая работа, свершенная трепетно и смиренно.

Что дает нам прочтение записных книжек? Масштаб личности и вопросов, ее занимающих. Ильф записывал шутки, Платонов — истины, не абстрактные максимы с французской игрой ума, а корявые, неисполнимые истины, к которым он проридился сквозь вещество своей и чужой, созвучной ему, жизни. Ибо, по Платонову, «мысль, не парная с чувством, ложь и бесчестие». Он хотел разрешить неразрешимые вопросы, и оттого стиралась граница между жизнью и смертью и совершалось их взаимопроникновение, и присутствие смерти, нарушая законы материи, пределы пространства и времени, внедрялось в еще живую ткань. Платонов не признает античные рецепты счастья («Письмо о счастье» Эпикура или «Как достиг блаженства» Лукреция), хотя под одной из его записей мог бы подписаться Марк Аврелий: «Чего ты боишься смерти, так ты уже был мертв: мы до рождения были все мертвы»; Платонов не может отмахнуться от смерти и не желает принимать позу стоика — отсюда вымученность счастья или его пустота. «Тоска жизни, продолжающаяся без надежды». Он ставит знак равенства между бытием и небытием, оговорив, впрочем, что живые против мертвых — дерьмо. «Оч. важно. Конечно, лишь мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть — покойный человек, мертвый». Или: «Не есть ли тот, кто считает себя естественно-вечным и мир для него бесконечен, — стервец? — и причина многих бедствий? Ведь мы временны, жизнь кратка и нежна, силы не столь велики». А на другой странице мы прочтем: «У меня личный пессимизм, а оптимизм — весь социальный». Помесь оптимизма с пессимизмом выдаст следующий совет: «Не доводи ничего до конца: на конце будет шутка». А записанная речь прозвучит почти частушкой: «— Чтоб она пышная была! — Кто она? — Похорона!» Таков диапазон только одной темы, рассеянной на страницах записных книжек. Другая большая тема записей — женщина как главный «недостаток мужчины» и вопросы семьи и пола с первосортной шуткой: «Женщины тяжелого поведения» — или пародийное: «Я люблю вас без всякого трюизма». Избывание души в другого, выход за пределы своего тела и своего «я», преодоление и одновременно растрата себя при движении к другому — вот лишь некоторые вопросы, нашедшие отражение на этих страницах: «Нельзя предпринимать ничего без предварительного утверждения своего намерения в другом человеке. Другой человек незаметно для него разрешает нам или нет новый поступок». Здесь же наблюдения о переменчивой природе человека и директива самому себе «писать... не талантом, а „человечностью“ — прямым чувством жизни», и вдумчивое, подробное изучение этой жизни в колхозах и на производстве, в пустыне и на войне, в механизмах и растениях, в детях и животных. И страшный итог прожитой жизни, подведенный перед мало пожившими братом и сестрой:

«Если бы мой брат Митя или Надя — через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной стало? — Я стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне.

— Андрюша, разве это ты?

— Это я: я [прошел] прожил жизнь».





## ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

Лидия Чуковская. Сочинения в 2-х томах. М., «Гудьял-Пресс», 2000. Т. 1. Повести. Воспоминания. 430 стр. Т. 2. Процесс исключения. Открытые письма. Отрывки из дневника. Varia. 462 стр.

...Изданные впервые полностью три года назад «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской стали трудом классическим, безусловным шедевром в отечественных культурных анналах. В лице Чуковской Ахматова обрела своего Эккермана — и других равнозначных аналогов ее «Запискам» в русской культуре не существует. (Разговоры Иосифа Бродского с Соломоном Волковым, например, суть не столько «разговоры», сколько, пусть и в общих чертах, заранее спланированные, точней, продуманные монологи поэта. Тогда как у Чуковской именно непосредственные «записки», даже если и согласиться с подозрением, что Ахматова «готовилась» к встречам с нею, тем самым выстраивая свой образ в глазах потомства.)

Новый двухтомник Чуковской, вобравший в себя ее прозу, стихи, воспоминания, дневники и письма, делает ее творческую фигуру еще значительнее. Что-то из этого было прочитано нами прежде в тамиздатском или самиздатском «исполнении», что-то услышано по радио сквозь помехи глушилок, многое впервые поступает в читательский оборот — но вот собранное вместе, дополняя впечатление от «Записок», лишний раз подтверждает, что в лице Чуковской наша литература второй половины века имеет крупного и самобытного литератора.

И — прозаика, написавшего вещь, можно сказать, эмблематичную, художественно безукоризненную, невероятно пронзительную — повесть «Софья Петровна». Краткие, лапидарные страницы повести — сгусток времени, тут каждый характер и индивидуален, и нарицателен одновременно. Моральное перерождение русского человека, не до конца утратившего в советском зазеркалье память о России и нравственно дичающего под напором коммунистического террора, — как это глубоко, как сильно. И страшно глядеть в бездны бытия земного: благородный человек, при других обстоятельствах проживший бы вполне достойную жизнь, становится на глазах предателем. «Софья Петровна», написанная в ноябре 1939 — феврале 1940 года, синхронно событиям, — повесть уникальная, как бы теперь выразились, знаковая. То, что ей не нашлось в свое время места на страницах «оттепельных» журналов, лишний раз напоминает, какая мелкотравчатая была тогда у нас «оттепель».

Казалось бы, вся пропитанная «обстоятельствами места и времени», повесть и в наши дни не стала реликтом и «просто» свидетельством — не стала, повторяю, за счет органичного своего художественного совершенства. Вещь, продиктованная не профессионализмом, а — откровением, не «заданием», а — вдохновением. И в этом смысле сопоставимая с «Одним днем Ивана Денисовича» А. Солженицына и «Верным Русланом» Г. Владимова. Но эти-то две — о «малой зоне», а она — о «большой». И написана, подчеркнем еще раз, не потом, а *тогда*. Потому ее у нас просто не с чем и сопоставить. Впрочем, предательство сына рехнувшейся с горя матерью и в мировой литературе, где, кажется, было все, — сюжет небывалый.

...Бесценны и воспоминания Лидии Чуковской — особенно о последних днях в Чистополе Марины Цветаевой. «Мы шли по набережной Камы. Набережная — это просто болото с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками...

— Одному я рада, — сказала я приостанавливаясь, — Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

— По-че-му? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

— Потому, что не справится бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время...

— А вы думаете, я — могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?

Полминуты простояли мы молча, — Марина Ивановна тяжело дышала после крика, — потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! А я, своей мыслью *не о ней*, причинила ей боль».

Один раз прочитаешь такое — никогда не забудешь.

У Лидии Чуковской подвижнический дар писать не о себе — о других. Идейно эта поклонница и исследовательница Герцена во многом, безусловно, принадлежала освободительной идеологии и абстрактному либерализму. Но экзистенциально — это была «анонимная» христианка и человек культуры, а не идеологии. Ее мировоззрение (впервые публикуемый фрагмент неоконченной мемуарной книги Чуковской «Прочерк» так и называется «В поисках мировоззрения» — фрагмент яркий и исповедально откровенный) — мировоззрение эстетическое, но, что замечательно, напрочь лишенное не редкого в таких случаях имморализма. «Моим питанием и способом познавать мир всегда было искусство. Толчком к мысли — стихи. Даже в большей степени, чем собственный опыт». Но добро с грехом Чуковская никогда не путала.

Скажем прямо: артистичный гений поэта заставляет его порою перешагивать через мораль — семейную и житейскую. Цветаева смиренно, но и не без гордыни обосновала это в своем эссе «Искусство при свете совести». «Но если есть Страшный Суд слова — на нем я чиста». Лидия Чуковская убеждена была, «что противоречие это мнимое», и все же, признается она, «я как на стену натываюсь на твердую формулу Блока: „Искусство с жизнью помирить нельзя“». Чуковская по сути была именно моралистка. Но при этом жизнь сводила ее с людьми, с одной стороны, гениальными, а с другой — слишком неординарными, эгоцентричными, порой капризными, с настроениями, неподотчетными житейскому ригоризму, попросту — своенравными. Не потому, что они были выше морали (они и сами были бы шокированы подобным «безвкусным» предположением), а просто потому, что они поэты.

...В вышеупомянутом издании «Записок об Анне Ахматовой» впервые опубликованы потрясающие выписки из «Ташкентских тетрадей» — удивительное свидетельство о жизни Ахматовой в эвакуации, когда Ахматова и Чуковская не то чтоб всерьез поссорились, а скорее Чуковская от Ахматовой отшатнулась. В критической ситуации разошлись «модели» существования и поведения. Поразительно, что, когда через двадцать шесть лет Лидия Корнеевна стала перечитывать впервые эти свои ташкентские записки и перед ней заново воочию предстало «некрасивое, неблагородное поведение А. А.», она задним числом начала делать купюры, выстригать абзацы, делать «бывшее не бывшим» — ради «обеления» Ахматовой уничтожать драгоценные штришки своих ташкентских наблюдений. «Да там и много лишнего, что надо было бы уничтожить», — констатирует она 1 апреля 1993 года. То есть «тмы низких истин нам дороже...». Ахматова, будучи сознательной христианкой, жила тем не менее по законам серебряного века. Чуковская, напротив, повторим, религиозно не была. Но тем не менее мораль ее была тверже и доходила до органичного пуританства.

Так что Чуковская отнюдь не просто документалист, фиксирующий происходящее: в конце концов, она порой организует материал в соответствии со своими высокими моральными требованиями. Есть мемуаристы и жизнеописатели, работающие на занижение (как Вересаев, мстят своему герою за житейское несовершенство), Чуковская — только на утверждение. Это свойство благородной ее натуры: каждым вектором — к лучшему. Нет в ней ни сальеризма, ни ядовитости, ни даже элемента моральной безвкусицы, которой грешат, к примеру, яркие воспоминания Э. Герштейн. Это был человек культурной отдачи, а не самоутверждения, человек, у которого, кажется, и в мыслях никогда не было тянуть на себя какое-нибудь культурно-историческое одеяло и выпячивать себя самоё.

Да, мировоззренчески она была узковата. Ей, например, и в голову не приходило, кажется, подумать о реальных последствиях идеологической деятельности Герцена и всего его круга. К сожалению, она несчастливо избежала влияния «веховства» и всего русского религиозного ренессанса, что не может не сужать чело-

века. Но ведь это было «родовое» и даже шире. «К самодержавию, — пишет Чуковская об отце, — относился с негодованием и презрением, к революциям 905-го и 17 го года, свергнувшим самодержавие, — с деятельным сочувствием...» Это была, по определению Лидии Гинзбург, «прирожденная традиция русской революции, та первичная ценностная ориентация, на которую наслаивалось все последующее. . От самых неподходящих как будто людей протягивались связующие нити, и не к каким-нибудь там реформаторам, а прямо к бомбометателям. ...Уж на что Ахматова, казалось бы, была от этого в стороне, но и Ахматова с оттенком удовольствия рассказывала мне о том, что ее мать в молодости была знакома с народолюбцами».

Однако именно герценовская закваска заставила Чуковскую, уже пожилую и полуслепую, стать видным и ярким самиздатским публицистом в десятилетия гнилого брежневского режима. Ее авторитет и имя, ее твердое слово — в хрониках сопротивления позднему коммунизму. Слово это и теперь не остыло и полноправно вошло в двухтомник ее литературного наследия.

«...13 февраля 1921 года, в Петрограде, — пишет Чуковская в очерке „Процесс исключения“, — девочкой четырнадцати лет была я на Бассейной, в „Доме Литераторов“, на том пушкинском вечере, где Александр Блок прочитал свою знаменитую предсмертную речь „О назначении поэта“. ...Блок отделял чиновников от писателей. Чиновникам сделал он свое предостережение — чтоб не пытались они руководить таинственной силой, которая именуется поэзией. Но что сами поэты и писатели с годами превратятся в чиновников... — вот чего даже провидец Блок не предвидел».

Через пятьдесят три года — 9 января 1974 года — эти чиновники-писатели устроили Лидии Корнеевне экзекуцию. Валентин Катаев, например, поставил «один вопрос: о порядочности. Вот уже года два *она* (Чуковская. — Ю. К.) вступила в борьбу с Советским Союзом и с Союзом писателей. Почему *она* сама не вышла из Союза? Этого требует элементарная порядочность, которая ей, как видно, не свойственна». «Элементарной порядочностью» в советском смысле Лидия Корнеевна Чуковская и вправду не обладала. Ее порядочность была, очевидно, не «элементарна», и в этом скопище идеологических проституток, на этом монструозном судилище она выглядела иноприродно. Как говорил ей еще Пастернак в 1947 году: «Вы — инородное тело, органическое явление природы... среди неорганического, но организованного мира... Организованный мир нюхом чует противоположность себе... и норвит все органическое уничтожить».

Благодаря силе характера, живости интеллекта и чистоте сердца Чуковская все же выжила, пройдя сквозь несколько богомерзких эпох, из которых и состояла наша история XX века. Героическая жизнеспособность культурной органики проявилась здесь в полной мере.

Как писала она в 1940 году (стихотворение «Ответ»):

Неправда, не застлан слезами!  
В слезах обостряется взгляд.  
И зорче мы видим глазами,  
Когда на них слезы горят.  
Не стану ни слушать, ни спорить.  
Живи в темноте, — но не смей  
Бессмысленным словом позорить  
Заплаканной правды моей.  
А впрочем, она не заметит,  
Поёшь ли ты иль не поёшь.  
Спокойным забвением встретит  
Твою громогласную ложь.

Вот перед нами двухтомник Л. К. Чуковской. И «громогласная ложь» рассыпается в прах перед его этической и эстетической «заплаканной правдой».



## АПОФЕОЗ АВГУСТА

Клод Леви-Стросс. Печальные тропики. М., «АСТ»; Львов, «Инициатива», 1999, 569 стр.

**К**лода Леви-Стросса награждали разными эпитетами. Для одних он тот самый злодей, который свел законы культуры к принципам сосюрловской фонологии и ввел моду на «плюсики» и «минусики» в работах по этнографии, искусствоведению, литературоведению, отчего эти работы стали ну уж совсем неудобочитаемыми. Для других — революционер, убедительно доказавший, что изучение народной культуры немыслимо без семиотических методов.

Не впадая в крайности, отметим два обстоятельства. Во-первых, солидную философскую базу (как-никак, образование — философское), предопределившую широкий круг интересов и системность подходов. Именно философом Леви-Стросса и считают те, кто предельно далек от семиотики фольклора, проблем первобытного мышления, искусствоведения, теории мифа и социальных организаций — словом, от всего того, чем Леви-Стросс занимался. Во-вторых, беспрецедентный масштаб проведенных Леви-Строссом полевых исследований и разысканий.

Книга «Печальные тропики» вышла в 1958-м (в России — в 1984 году, в сокращенном переводе). Леви-Строссу пятьдесят. Уже опубликованы «Элементарные структуры родства», вышли некоторые статьи, впоследствии вошедшие в «Структурную антропологию», но еще не написаны «Неприрученная мысль» и «Мифологии». Материал, собранный Леви-Строссом за время скитаний по саваннам Бразилии, прошел первичную обработку и систематизацию, но главные идеи еще окончательно не сформулированы. Перед нами тот самый чреватый творческими озарениями хаос, где с путевыми заметками и этнографическими наблюдениями соседствуют философские интуиции, публицистика и историософия.

Так что для тех, кто боится схем и таблиц (напомню, что сам Леви-Стросс вообще-то призывал не относиться к ним слишком серьезно), это единственная удобочитаемая книга Леви-Стросса. Но ценность ее, конечно, не только в этом.

Сюрпризы поджидают читателя на каждом шагу. Слишком уж многое тут не вписывается в канонический образ сухого рационалиста, у которого все разложено по полочкам. В своих дневниках Леви-Стросс предстает во всей «наготе», обуреваемый страстями, которые поначалу сильно удивят читателя.

К родной европейской цивилизации этнолог питает явно недобрые чувства. Особой чести тут достаивается бразильская аристократия. Ее стиль жизни и интеллектуальный багаж Леви-Стросс подает как уродливое отражение цивилизации европейской, то есть — в соответствии с его системой ценностей — как «извращение в квадрате». Однако очевидно, что социальный паразитизм и интеллектуальное ничтожество этих титулованных эстетов он расценивает как закономерное развитие базовых принципов европейской культуры.

Трудно не заметить особого отношения Леви-Стросса к той философии, которой его обучили в университете. Леви-Стросс пишет, что набор твердых убеждений, с которым он покидал стены философского факультета, мало чем отличался от того, что был у него в пятнадцатилетнем возрасте, а навыки, приобретенные в университетские годы, сводились к способности за десять минут разработать диалектический каркас для часовой лекции о преимуществах автобусов над трамваями или наоборот. Безусловно, в таких заявлениях есть доля кокетства. Манипулировать философскими категориями с такой легкостью способен далеко не каждый. Другое дело, что молодой Леви-Стросс не считал философию достойной точкой приложения сил. И вместо вымучивания искусственных категориальных систем, чья новизна покупается софистическими ухищрениями и затемнением смысла, предпочел описывать и анализировать уже существующие.

Но тогда совсем уж странным кажется отношение Леви-Стросса к избранному ремеслу, эмоциональная окраска соответствующих описаний. Он заявляет, что не-

навидит путешествия и путешественников, и безо всякой ностальгии по временам своей бродячей молодости пишет о нравственных и физических страданиях этнографа. Самое сильное из них — постоянное сомнение в моральном праве ученого на вторжение в жизнь изучаемого народа. С точки зрения Леви-Стросса, куда гуманнее было бы оставить измученных голодом и болезнями индейцев в покое.

Однако это только кажущиеся странности. При всей своей сумбурности комплекс оценок и настроений, из-за которого Леви-Стросс становится этнологом, — явление вполне закономерное и узнаваемое. Это — руссоизм. В «Печальных тропиках» мы видим, как руссоизм превращается в жизненную программу будущего этнолога, жизненная программа — в его биографию, а биография — в сюжет книги. В результате круг замыкается. Порожденное литературой жизнетворчество снова становится литературой.

Руссоистский вызов родной цивилизации рано или поздно порождает болезненный вопрос «а судьи кто?». При всем желании (и при всей симпатии к туземным культурам) альтернативу порочной цивилизации Старого Света в бразильских джунглях найти не удастся. Там же было похоронено и множество других иллюзий. Именно поэтому «Печальные тропики» выглядят как рассказ великого этнолога о своих неудачах, ошибках, упущенных для науки возможностях. Научные достижения остаются за рамками книги, и мы находим их уже совсем под другими заглавиями.

Прозрения этнолога касаются в первую очередь себя самого, из-за чего рассказ Леви-Стросса о полевых исследованиях приобретает отчетливые признаки художественного произведения. Его структура строится на изоморфизме событий внутреннего плана и путешествия в пространстве (движению в глубь Бразилии и возвращению домой соответствуют погружение в культуру индейцев и открытие в себе европейца).

По мере того, как серия экспедиций подходит к концу, собственная деятельность кажется Леви-Строссу все более и более абсурдной. Еще не сформулированный или, наоборот, в свое время загнанный в подсознание, вопрос, что именно заставило его бросить родину, друзей, университетскую карьеру и политическую деятельность, приобретает для этнолога особую остроту.

Озарение приходит в нишей индейской деревушке, где миссия Леви-Стросса, как это уже не раз бывало, проваливается по причине голода среди информантов и их враждебности. Все, что остается Леви-Строссу, — предаться анализу уже собранных данных. В разгар работы этнолог обращает разработанный им метод дешифровки мифа на дешифровку собственной судьбы: на обороте анкет и индейских вокабул он пишет пьесе «Апофеоз Августа». Оговорю сразу, что пьеса не была дописана до конца и известна только по пересказу. Сюжет «Цинны» Корнеля преобразуется до неузнаваемости. По сравнению с первоисточником пьеса Леви-Стросса — дремучая архаика (с примесью модернизма, разумеется). Если классицист интересовал идеал монаршей власти, то замысел Леви-Стросса совсем иной. Коллизия «монарх — тираноборец» у него исчезает совсем, уступая место собственно проблеме апофеоза, то есть обожествления. У Корнеля это — награда за милосердие, присвоение монарху очередного титула, у Леви-Стросса — вселяющее ужас превращение в сверхчеловека, которое подданные императора истолковывают как изгнание из мира, превращение живого лица в абстракцию. Однако еще страшнее чувственный облик грядущей метаморфозы, который Августу открывает орел, посланец Юпитера. По его словам, главное — это не божественный энтузиазм и не способность творить чудеса, а отсутствие чувства омерзения к насекомым, бактериям и продуктам их жизнедеятельности. Первоисточником тут служит не Корнель, а перевернутый с ног на голову миф южноамериканских индейцев из «Мифологик» — о том, как человек утратил шанс получить бессмертие дерева и камня, нарушив запрет и отозвавшись на нежный зов гниющего дерева. Леви-Стросс наделяет всемогуществом и бессмертием (тождество с природой) осязаемыми атрибутами смерти.

Сообщение Орла дублируется рассказом Цинны, которого Камилла (влюбленная в Цинну сестра Августа) просит предупредить императора о его будущей участи на примере собственной участи Цинны. Если Августа к апофеозу приводит ре-

шение сената, то Цинна когда-то попытался самочинно обрести божественную природу. За много лет до описываемых событий он порвал с цивилизацией и удалился в пустыню (нетрудно заметить, что здесь Леви-Стросс рассказывает о себе), где, потеряв все, не обрел ничего. Желая хотя бы символически вернуться в социум, он хочет убить Августа. Сам император усматривает в близкой смерти от руки тираноборца свое спасение.

Запутанность и противоречивость замысла не позволили Леви-Строссу найти разрешение для этой коллизии и дописать пьесу. Но проблема самоидентификации была решена: из сверхчеловека этнолог разжалован в посланцы богов, что, в общем, тоже немало. Его асоциальность призвана компенсировать чрезмерную социальную активность его антиподов, ведущую человеческое общество к самоуничтожению.

Следующий эпизод ярче демонстрирует обретенное Леви-Строссом мифологическое зрение. Свое место в европейском обществе ему помогает осознать не что-нибудь, а стаканчик произведенного по устаревшей технологии и особенно приятного на вкус ямайского рома. Для Леви-Стросса он становится метафорой собственных взаимоотношений с родной цивилизацией, «привлекательность которой, в сущности, связана с осадком, который несет в себе ее течение, причем мы не в состоянии противостоять неизбежной очистке этого осадка».

Автобиографическая часть «Печальных тропиков» — это рассказ о тех муках, в которых рождалось современное понятие гуманизма. Сам Леви-Стросс не мнит себя спасителем человечества и полностью отдает себе отчет в несовершенстве предложенных им инструментов. Этнолог, порвав с собственным обществом, не может долго пребывать в этом состоянии. Идеализация изучаемой культуры и отвлечение к собственной, столь характерные для представителей этой профессии, должны преодолеваться так же, как была преодолена былая уверенность в превосходстве собственной цивилизации. То, что хоть один человек проделал подобный путь, уже можно считать общечеловеческим достижением.

**В. К.**



---

---

# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА

+7

**К. Р. Избранная переписка. Составитель Л. И. Кузьмина. СПб., «Дмитрий Була-нин», 1999, 528 стр.**

Все трудные времена похожи друг на друга... В России похожи все времена, очевидно, именно потому.

В те восемьдесятые «годы дальние, глухие» минувшего столетия, на которые приходится основная часть избранной переписки «августейшего поэта» — Велико-го князя Константина Константиновича, печатавшегося под криптонимом К. Р., «в сердцах царили сон и мгла». Пожалуй, это все, что известно о той эпохе, когда Россия, измотанная чередой бесконечных реформ, многочисленными жертвами очередной войны с турками, пережившая позор Берлинского конгресса, ужас кровавого террора и убийства Императора, тяжело отдыхала от «великих исторических задач». Малые дела, тихий семейный уют, развлекательная беллетристика и журналистика, легкое чтение.

Замечено, что, как ни странно, интерес к «высокому» искусству сопровождает эпохи общественного оживления; восьмидесятые — самая непоэтичная эпоха в литературной истории России минувшего «литературного» века. Журналы стихов не печатают, издатели о сборниках поэзии и слышать не хотят. Оставшиеся в живых поэты «послепушкинской поры» — А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков — заняты кто чем (сельским хозяйством, службой по цензурному ведомству), а писание стихов рассматривают как свое очень частное дело, пишут их для тончайшего слоя единомышленников и иногда издают тоненькие сборники за счет доходов от основной трудовой деятельности — преимущественно для раздачи друзьям. Зато уж все выдающееся свободным время отдают поэтическим штудиям.

В далеком прошлом остались «поэтические кружки и салоны», в своей Воробьевке Фет ведет «ожесточенные споры о гекзаметре и пентаметре» с Вл. Соловьевым, с ним же и «тончайшим критиком Н. Н. Страховым» обсуждает стихотворения, отобранные для очередного выпуска «Вечерних огней», участвует в их «ученых спорах по поводу философских мировоззрений»; и все трое проводят время «в блаженных указаниях на особенно выдающиеся красоты великих мастеров поэзии».

«Избранная переписка» К. Р. с «последними могиканами» уходящей эпохи (помимо названных поэтов, публикуются также письма И. А. Гончарова, Н. Н. Стрхова, Л. Н. Майкова и конечно же П. И. Чайковского) — редкий документ предельно камерного, приватного бытования поэзии. Фет, Полонский, К. Р. — не Пушкин, не Мандельштам и не Набоков, про них в американских колледжах курсов не читают, а потому книга интереса литературной общественности не вызвала и, будучи издана в еще сохраняющей академические литературоведческие традиции северной столице, даже не попала в поле зрения рецензентов НРК (см. ниже). И напрасно: есть еще люди, не исключительно к дерриде и хармсу прикрученные. Так что книга вышла «для немногих», как для немногих писали свои стихи корреспонденты героя книги. Посему простим безвкусицу названия вступительной статьи: «К. Р. и его переписка с деятелями русской культуры» (перечень «деятелей» приведен выше); нелады с арифметикой ее автора, на первой же странице полагающей, что  $10+12=23$  («Он (К. Р. — А. Н.) родился 10 (23) августа 1858 года»); несбалансированность комментария (злой рецензент наковырял бы список...). Однако прекрасная полиграфия! замечательные иллюстрации! указатель имен!

**Сергей Маковский. Портреты современников (Портреты современников. На Парнасе «Серебряного века». Художественная критика. Стихи). Составление, подготовка текста и комментариев Е. Г. Домогацкой, Ю. Н. Симоненко. Послесловие Е. Г. Домогацкой. М., «Аграф», 2000, 768 стр.**

Казалось бы, за десятилетие Свободы издателями вычищено все, что за годы несвободы было ограничено или вовсе недоступно для прочтения. Кто не присутствовал на долгих издательских посиделках, на которых филологическая общественность из последних сил, морща лоб и напрягая память, пыталась вспомнить: ну что там еще осталось, что можно было бы переиздать? И очень часто итогом раздумий являлось очередное переиздание чего-то уже не раз переизданного.

Странно, что замечательные воспоминания Сергея Маковского, одного из основателей и бессменного редактора журнала «Аполлон» — «органа» акмеистов (столь почитаемых современной продвинутой филологией), воспоминания, без ссылок на которые не обходился ни один ответственный комментатор литературных и мемуарных текстов 1910-х годов, увидели на родине свет только сейчас. А между тем изданные в эмиграции воспоминания действительно были библиографической редкостью: насколько помню, вторая из вошедших в издание книг отсутствовала в спецхране — Отделе русского зарубежья Российской Государственной библиотеки.

Рискну предположить, что серьезные издатели испытывали понятную робость перед столь серьезным предприятием: просто так перегнуть текст из одной книжки в другую — вроде как несолидно, а комментировать... Разве что клонировать А. В. Лаврова и Н. А. Богомолова.

Признаюсь, открывал я увесистый волюм не без некоторой робости: а ну как вместо комментария увижу столь привычный список упомянутых персонажей с указанием годов рождения и смерти и «содержательными» дефинициями типа: «русский поэт» и т. д. Впрочем, даже такой формальный комментарий можно было бы извинить; ведь в мемуарах Маковского отразилась вся культурная жизнь Петербурга рубежа веков: он пишет о жизни художников, о музыкальном театре, литературном быте и к тому же постоянно цитирует любимых поэтов. Все это перелопатить — страшно подумать; одна атрибуция цитат чего стоит.

И как приятно обмануться в дурных ожиданиях! Под плотно набранный довольно мелким (но читаемым) кеглем комментарий отведено восемьдесят страниц, при этом в нем нет ничего лишнего. Аннотированный именной указатель, набранный в две колонки (кто делал, тот знает!), занимает 43 страницы.

Не буду делать вид, что успел внимательно прочесть всю книгу: воспоминания следует читать неторопливо, с чувством и толком. Думаю, при желании наловить всевозможных «блох» специалистам в отдельных «ведениях» особого труда не составит; наверняка найдется немало неоткорректированных «ошибок памяти» мемуариста, оставленных без внимания (при первом прочтении главы «Последние дни Владимира Соловьева» я обнаружил две такие позиции). Однако это как раз тот случай, когда критикам можно с полным достоинством ответить: «Сделайте лучше!»

Что ж, будем читать...

**Евреи в России: XIX век. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарий В. Е. Кельнера. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 560 стр. («Россия в мемуарах»).**

Вместе с издательством «Художественная литература» скончалась и серия «Литературные мемуары». «Новые» книгоиздательства особой любви к мемуаристике не испытывают, хотя то там, то тут иногда появляются приметные воспоминания. Одно лишь издательство «НЛО», управляемое железной волей своего главного редактора, повело дело последовательно, выпуская действительно книжную серию, а не разнородные тексты, объединенные серийной обложкой. Судя по уже увидевшим свет книжкам, задачи новой серии ставятся ее неизменным редактором А. И. Рейтблатом значительно более широкие: наряду с мемуарами собственно литературными в серии все же преобладают мемуары скорее около-, а то и вовсе не



литературные. Интерес редакторов явно привлекает нелитературная и даже не «культурная», а скорее бытовая сторона минувшего, причем тома серии не замыкаются в привычных рамках «дворянского» культурного быта, но знакомят с бытовой культурой различных сословий и социальных групп Российской империи. Поэтому среди авторов мемуарной серии довольно мало литераторов: были и «Секретные записки о России» состоявшегося на русской службе француза Ш. Массона, жизнеописания «благородных женщин», купца и промышленника Н. А. Варенцова и других. Теперь вот дошла очередь и до евреев в России.

Собранные в книге три мемуара покрывают эпоху с 1840-х по начало 1890-х годов и представляют необычайно яркие и красочные картины жизни еврейских местечек западных губерний империи. У А. И. Паперны это — Копыль Минской губернии эпохи правления Николая I, у А. Г. Ковнера в его известных «Записках еврея» — город Вильна, в воспоминаниях Г. Б. Слиозберга — Полтава. Как это обычно и случается с мемуаристами, значительные по объему и наиболее яркие воспоминания относятся к детским и юношеским годам, и читатель с удивлением узнает о существовавшей весьма развитой еврейской «инфраструктуре»: школах, библиотеках, духовных и общественных учреждениях. Западные губернии России представляли собой удивительное смешение национальных культур и религиозных верований или, как тогда принято было говорить, «национальных элементов»: русские, евреи, «малороссы», поляки, немцы; православные, иудеи, католики, протестанты. И из представленных воспоминаний вырисовывается в целом довольно мирная и спокойная картина жизни в черте оседлости и — вплоть до 1880-х годов — отсутствие сколько-нибудь серьезных противоречий с верховной властью. Вообще понять национальную политику Российской империи с точки зрения сегодняшних «правозащитных» принципов довольно трудно, точнее — вовсе невозможно. Выстроенная по сословному принципу империя включала множество национальностей и конфессий, которые, будучи все подданными русского императора, получали от него *разные права*; соответственно выстраивалось и законодательство. Запретительные правовые нормы распространялись на все национальности и сословия, и, например, запрещение носить национальную одежду касалось не только национальных меньшинств: достаточно вспомнить запрещение чиновникам носить бороды и «казус» К. С. Аксакова, обративший на себя внимание Николая I.

Если первые два мемуара в основном посвящены семейному и общественному быту, то воспоминания Г. Б. Слиозберга интересны тем, что в них прослежен путь родившегося в традиционной еврейской семье, получившего столь же традиционное воспитание еврейского мальчика в мир столичной русско-еврейской либеральной интеллигенции, столь многочисленной к рубежу веков. И его личная биография достаточно отчетливо отражает тот крутой поворот в национальной политике, который произошел в начале 1880-х годов, когда Россия, оказавшись на очередном историческом распутье, повернула от всесословной (и, соответственно, всенациональной) монархии к «национальному самодержавию», по которому и шла вплоть до марта 1917 года.

Прочитав книгу, в очередной раз убеждаешься в том, что известный стих про «идиота на комод» куда как ближе к исторической правде, нежели экранный лубочно-голлиудский образ «русского царя».

Увы, но уровень комментирования текста (особенно сравнительно с предыдущими изданиями) несколько разочаровывает. Реалии еврейского быта откомментированы прекрасно (за что комментаторам отдельное спасибо); неприятности начинаются там, где речь заходит о реалиях общественно-политической жизни (преимущественно это касается последнего мемуара). Например, Слиозберг цитирует по памяти фразу Николая II, произнесенную им в начале царствования и относящуюся к конституционным надеждам общества, о «бессмысленных и беспочвенных мечтаниях»; в комментарии в цитате фигурируют лишь «бессмысленные мечтания», но тут вовсе не фантазия мемуариста, а факт оговорки императора: в исходном тексте было написано «беспочвенные», что имело смысл, тогда как допущенная оговорка смысла явно не имеет. Однако не будем ставить в вину составителю те моменты, которые остались без пояснений; отметим лишь те места, в которых автора явно подводит память и которые традиционно принято корректировать в комментарии.

Так, на стр. 252 в перечне крупных землевладельцев Полтавской губернии названы Башкирцевы, «одна из которых — Блавацкая». Автор, очевидно, спутал известную художницу Марию Башкирцеву с основательницей теософского учения; Диканька, понятное дело, была «воспета» отнюдь не Пушкиным (стр. 260); М. Н. Катков именовался публицистом не Тверского (стр. 296, 310), но Страстного бульвара — по месторасположению редакции «Московских ведомостей». Особенно нелепо выглядит оставленное без внимания утверждение автора о том, что, приехав в столицу в августе 1882 года, он через несколько дней наблюдал процессию похорон Тургенева, сопровождаемое к тому же ремаркой, что «Достоевский умер позже». На такие вещи следовало бы обратить редакторское внимание.

**Новая русская книга. Критико-библиографический журнал гуманитарного агентства «Академический проект». Издатель Игорь Немировский. Ответственный редактор Глеб Морев. СПб., № 1, 1999, 72 стр.; № 1 (2), 2000, 96 стр.; № 2 (3), 2000, 88 стр.**

Кого только не искушал соблазн издавать журнал рецензий?! Рецензий кратких и емких, аналитических и язвительных: чтоб и уважали, и боялись! Чтобы был авторитетен среди продвинутых гуманитариев, чтобы воспитывал вкус у широкого читателя, чтобы влиял на издательские планы преуспевающих книгоиздателей! Да почти что всех, кто так или иначе подвизается в жанре литературной аналитики.

Были проекты, выходили разные книжки; впрочем, о покойниках — ничего. К подобного рода начинаниям отношение весьма скептическое: на презентации выпить-закусить — с удовольствием, а там посмотрим: вам действительно журнал надо или у кого-то возникли совсем другие проблемы?

На этот раз кажется (не сглазить бы!) — получается. На основании трех книжек можно судить о складывающемся журнальном стиле: рубрикация, хотя и остается несколько подвижной, уже достаточно устоялась. Непременная казовая «Книги» отведена под собственно рецензии (коих в каждом номере насчитывается около сорока — чуть больше, чуть меньше), обрамляется рубриками «Автор» (беседа с писателем или мнения о писателе), «Тенденции» (жанр, в прошлом именовавшийся «обзорная статья»), «Pulp fiction» (понятно что), «Досье» (пока что непонятно что) и «Rossica» (а вот это опять понятно что). Последние две появились в третьем номере; возможно, в следующих появятся новые.

Репертуар интересующих редакторов и авторов рецензируемых изданий, в общем, уже достаточно определен: неперенные Ролан Барт, Жорж Батай, Славой Жижек, Жиль Делёз, Жак Деррида, Мишель Фуко, Умберто Эко etc. Из издательств несомненное лидерство принадлежит книгам «Нового литературного обозрения», за которыми уверенно идет «Ad marginem» и далее, с большим отрывом: «ИНАПРЕСС», «Азбука», «Глагол», гуманитарное агентство «Академический проект»... То есть издатели явно предпочитают аналитические тексты синтетическим; в последних же их интересует в первую очередь то, что условно можно обозначить как «Пелевин с Сорокиным»; из всех многочисленных переизданий в поле зрения издателей попало всего-то ничего: Л. Добычин, Яков Друскин, Николай Клюев, А. С. Пушкин (в Петербурге есть ведь «засланный казачок» — храм Спаса на Крови), Д. С. Мережковский, София Парнок, Даниил Хармс. Может, что и пропустил, но, надеюсь, общий тренд достаточно ясен.

Возможно, репертуар рецензируемых изданий еще не сложился, возможно, он нечувствительно отражает «зачарованность» северной столицы «мифом Серебряного века», возможно, тут сказываются индивидуальные вкусы издателей. Так что наши пожелания очевидны: совсем неплохо было бы немного «расширить тусовку», поскольку за пределами очерченного круга есть и интересные издания, и вполне достойные монографии.

Оформление и полиграфическое исполнение надо признать весьма удачным: общий стиль, ориентированный на берлинский журнал «Русская книга», в меру строг и в то же время отнюдь не скуп. Отличный подбор разнообразных, хорошо читаемых шрифтов, двухколонный набор, черно-белое воспроизведение обложки рецензируемой книги на середине полосы. И еще приятный момент: в журнале

регулярно помещаются краткие, но информативные аннотационные подборки вышедших и подготовленных к изданию книг.

**Фрэнсис А. Йейтс. Джордано Бруно и герметическая традиция. Перевод с английского Г. Дашевского. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 528 стр., с илл.**

Наверное, появление этой ученой книги, не имеющей к тому же отношения ни к российской истории, ни (вроде бы) к русской культуре, никак не соприкасавшейся с традициями европейской средневековой магии и астрологии, выглядит несколько странно. Конечно, всякому любознательному уму интересно узнать, за что же в самом деле сожгли Джордано Бруно, на что автор исследования дает исчерпывающий ответ, который мы здесь приводить не будем, а отошлем всех любопытных к оригиналу. Я же, пользуясь правом обозревать книги с точки зрения личных профессиональных интересов, остановлюсь на одном событии, случившемся в начале 1875 года в Лондоне, где в это время молодой философ Владимир Соловьев, готовивший докторскую диссертацию о гнозисе, неожиданно бросил работу в библиотеке Британского музея и отправился в Египет. Живя в Каире, он написал: «Смутная греза привела меня на берег Нила. Здесь, в колыбели истории, я думал найти какую-нибудь нить, которая через развалины и могилы настоящего связала бы первоначальную жизнь человечества с новой жизнью, которую я ожидаю». С той поры в его сочинениях (в особенности в неизданных рукописях каирского периода жизни) постоянно появляются символы и знаки, восходящие к традициям герметической египетской религии, и упоминается имя ее основателя — Гермеса Трисмегиста, или Триждывеличайшего. С этими традициями, воодушевлявшими средневековых алхимиков и магов эпохи Возрождения (к числу которых принадлежал и герой книги английской исследовательницы), наш философ и познакомился в Британской библиотеке...

В общем, Владимир Сергеевич легко отделался.

**Модесту Колерову. Трижды герою нашего времени: Историк / меценату / пиар- и интернет магнату от друзей. Автор идеи и составитель Валерий Анашвили. Дизайн — Василий Копейко. М., «Дом интеллектуальной книги» и TYPO GRAPHIC DESIGN, 2000 [16 нумерованных страниц формата А4 включая обложку].**

Роскошное, исполненное с большим вкусом и чувством стиля издание, прекрасное подношение ко дню рождения, дню ангела, юбилею свадьбы с Юлией, поступлению Филиппа Модестовича в детский сад и просто так — от глубины переполняющих чувств. На обложке — звезды небесные и летит ракета, из которой дым идет. Я сначала ничего не понял, но один из друзей-участников, Л. Кацис, за шашлыком объяснил мне, что тут очевидная отсылка к известной синтагме «Жду привета, как Луна ракету» и к знаменитому стихотворению В. В. Маяковского. Ну вот понятно теперь, кому же это нужно. (Далее дискурс ушел во всеобщую интертекстуальность, замелькал И. Анненский с его «Среди миров, в созвездии светил...», Мандельштам и неперемный В. В. Розанов с «Обонятельным и осязательным...», о чем мой собеседник, закусывая, пообещал написать подробнее в следующем выпуске). Звездный образ героя переосмысливается в лирической медитации Ольги Эдельман: «Каждый из нас имеет свою траекторию и орбиту, умеет отражать приходящие извне лучи. И только очень немногие, избранные и отмеченные свыше, способны испускать собственный свет, звездный <...> И мощью своего притяжения изменять чужие пути, создавать планетные системы, освещать свою часть пространства. Большая удача — залететь в поле твоего тяготения. Полюбоваться вблизи твоим сиянием и обнаружить, что дальше летишь уже по иной параболе». Здесь любой мало-мальски стоящий интертекстуалист найдет прямую отсылку к известным строкам Вяч. Иванова «Мы — два в ночи летящих метеора...», из чего несомненно следует, что М. Колеров проживает в некотором культурном аналоге знаменитой «башни», где раз в неделю устраивает с друзьями постмодернистские мистерии. На это косвенно намекает медитация Натальи Самовер: «Знаешь, вполне возможно, / что конкурс „Мистер Вселенная“ / выиграешь не ты, но лично я / голосую за тебя!» (Курсив мой. — А. Н.)

Ну раз уж Наташа Владимировна так считает, то ставлю тебя, дорогой Модест, в плюс. Особенно меня тронуло это «лично я»!

...Почему-то вспомнилось: кажется, у Достоевского есть такой рассказ. Приходит купец в трактир: «Что стоит соловей?» — «Сто рублей». — «Зажарить и подать!» — ...«Отрежь на гривенник!» Или музыка навеяла?

**[Составитель] Модест Колеров. Индустрия идей. (Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники 1887/1947). М., О.Г.И., 2000, 132 стр.**

Очень полезный, напечатанный на изысканного цвета плотной желтоватой бумаге, со вкусом оформленный (роспись каждого сборника помещена в красивую рамочку — вроде как бы напечатана на библиографической карточке) указатель содержания 125 сборников, выпущенных в России и за ее пределами с 1852 (так!) по 1947 год.

В «Предисловии» составитель очень конкретно и точно определяет общественно-политическую роль «идейных» сборников и альманахов в истории русской мысли конца XIX — начала XX веков. Интересен и по-своему современен анализ конкурентной борьбы между традиционным толстым журналом и сборником, весьма остро протекавшей в начале нынешнего/прошлого века.

Ото всех, кто еще этим интересуется, искреннее спасибо «меценату» за пиар-акцию.

### -3

**Александр Каменский. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 328 стр. («Historia Rossica»).**

Исторические познания нынешнего российского студенчества настолько бесконечно малы, что ими можно легко пренебречь — сужу по собственному многолетнему преподавательскому опыту. Думаю, что познания американского студенчества в том же предмете не сильно отличаются в выдающуюся сторону. Поэтому автор не зря посвятил две страницы «Предисловия к русскому изданию» подробному рассказу о том, как один американский профессор сделал ему «заманчивое и пугающее» предложение написать учебное пособие для американских студентов, как накануне поездки к профессору он «стал задумываться о том, что могло бы стать стержнем будущей книги», и благодаря столь счастливому стечению личных и творческих обстоятельств «постепенно... пришел к выводу, что важнейшим для русского Века Просвещения был процесс модернизации, преобразований, постепенно превращавший старую, традиционную Русь в „Россию молодую“, новую». Эти «ключевые моменты» авторского видения России XVIII века автор «осмелился» изложить в публичной лекции в американском университете, где присутствовал другой американский профессор, который, к радости автора, согласился перевести его книгу на английский язык и сделал «немало полезных замечаний по содержанию». Третий американский профессор очень помог своими беседами в написании первой главы, поскольку автор «никогда не занимался специальными исследованиями допетровского периода русской истории».

В «Предисловии к американскому изданию» автор, процитировав мнение еще одного американского профессора по поводу истории России, в соответствии с принятым в тех местах политкорректным плюрализмом признается, что, наряду с его концепцией русской истории, могут существовать еще множество, и все они имеют равные права на существование, а также делится со слушателями и читателями собственными выводами, к которым он пришел в результате долгих раздумий об исторической судьбе России, к каковым путешествия по Североамериканским Штатам особенно располагают: «По моему убеждению, русская революция начала XX века действительно была закономерным итогом развития страны в течение нескольких столетий, хотя это вовсе не значит, что она была неизбежна».

Если автор вдруг решил сообщить русскоязычному читателю, пусть даже не читавшему известного сочинения и не видевшему известного фильма, а также пропустившему телесериал под названием «Россия молодая», но все же не безнадежно

прогулявшему все уроки истории в средней школе, что вот он думал-думал и наконец придумал то, до чего уже давно и так все додумались, — то в этом можно увидеть неосторожное публичное оглашение факта своей личной творческой биографии. Однако признание равных прав на существование в рамках науки многих возможных (а по сути — любых) теоретических концепций равносильно самоубийству истории как науки и превращению ее предмета в материал интеллектуальных игр и прочих деконструкций, то есть в то, во что почти уже превратила себя филология, еще недавно стремившаяся к статусу точной науки. Исторический факт, однако, — не художественный образ, а история — не бесконечный литературный текст. Какая-никакая логика в истории все же присутствует, и по этой логике любое историческое событие (хоть насморк Наполеона, хоть что еще) является «закономерным» и в то же время «не неизбежным» итогом исторического развития. Русская революция «начала XX века» оказывалась исключением из этого правила лишь в трудах историков-марксистов (шутка тех лет: «Коммунизм неизбежен!») — да что ж их нынче поминать?

Что касается самой книги, то ограничусь одной цитатой: «Летом 1693 года царь отправляется в Архангельск — единственный морской порт тогдашней России. Впервые он видит море и настоящие морские суда, впервые совершает прогулку по морю на яхте, закладывает новый корабль. При этом сам работает топором, проводя досуг в компании простых корабелов»... Словом, то мореплаватель, то плотник.

Впрочем, в одном из предисловий автор сам дает оценку собственной работе: «...То, что получилось, не может, конечно, претендовать ни на полноту, ни на сколько-нибудь основательную концептуальность». Умри, Денис, как говаривал один персонаж русской истории эпохи «традиций и модернизаций».

Сочинение может быть рекомендовано в качестве пособия для подготовки к поступлению на исторические факультеты университетов и педагогических институтов, а также в качестве учебного пособия для студентов неисторических факультетов гуманитарных вузов. Но при чем тут «Historia Rossica»? Не понял...

**Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов. Царь и революция. [Париж, 1907]. Первое русское издание. Под редакцией М. А. Колерова. Вступительная статья М. М. Павловой. Перевод с французского О. В. Эдельман. Подготовка текста Н. В. Самовер. М., О.Г.И., 1999, 224 стр. (Исследования по истории русской мысли. Под общей редакцией М. А. Колерова. Том четвертый).**

Вот уж пришлось помучиться с решением: плюс книжке или минус.

Поначалу непонятно, с чего «трижды герой нашего времени» (см. выше) «промеценатствовал» перевод и издание текстов, проповедующих идеи, многократно высказанные их авторами на русском языке в русской периодике и многочисленных переизданиях. Тем более что в неподписанной заметке, невнятно озаглавленной «О тексте», сообщается, что в силу «не вполне совершенного знания французского языка» неким переводчиком текстов сборника с русского на французский (откуда ж уверенность, что перевод — не авторский?) «переводчик и редакторы [то есть указанный ОДИН редактор в обеих своих ипостасях: общей и частной] книги склонны скорее сохранить невнятность французского варианта, чем подменить авторское выражение своей трактовкой». Предложить «невнятный перевод», мотивируя это недостаточным пониманием исходного текста, — новое, однако, слово в практике перевода. К тому же подлые французы в очередной раз подгадили, создали «специфическую русско-французскую лексическую проблему»: в их подлом языке, видите ли, «общественно-политический лексикон в русском языке [невнятица уже не переводная, а самобытная] особенно — начала XX века (курсив мой. — А. Н.) зачастую „раздвоен“... Речь идет о словах... social... populaire... revolution...» А со словом *rêve* переводчики и вовсе не знают, как поступить: то ли сон, то ли мечта...

Перепечатанные в сборнике тексты, имеющиеся в авторском переводе, хотя и «подготовлены», но на самом деле просто перегнаны. Здесь явно не место полемизировать на тему, воспроизводить ли оригинальную дореволюционную пунктуацию

как авторскую или же приводить к современным нормам; очевидно, однако, что часто встречающийся в «религиозной философии» оборот: «Христос, как Бог» — создает определенные догматические двусмысленности...

Некоторые колебания в оценке сборника вызывает предпосланная основным текстам обстоятельная и содержательная статья Маргариты Павловой, в которой, в частности, затрагиваются такие малоизвестные, но доселе актуальные проблемы, как отношение предреволюционной «религиозной» интеллигенции к террору (вполне благожелательное) и Православной Церкви (резко отрицательное), попытки создать собственную мистико-анархическую церковь «третьего завета» как революционную политическую организацию. Однако на стр. 49 сноска 61 читается так: «Цитируется по изд.: *М. А. Колеров*. Не мир, но меч. С. 240». Однако и «трижды герои» иногда прибегают к косвенному цитированию, а потому сноска должна была выглядеть так: «В. С<венцицкий>. Со святыми упокой! // Стойте в свободе! 1905. 9 июля. Цитируется по: *Носов А. А.* К цензурной истории религиозно-общественной печати в России. — „Вопросы философии“, 1996, № 3. С. 40 — 41».

Истина дороже.

**А. Ястребов.** Богатство и бедность: поэзия и проза денег. М., «Аграф», 1999, 528 стр. («Литературный атлас страстей»).

«Богатство оказывается лучшим лекарством от страха, смуты чувств, голода, морали, оно логизирует действительность, придает ей очертания обозреваемой целостности, которую можно упростить, сделать удобной в пользовании, функциональной.

История общения человека с деньгами равно трагична, как и располагает к оптимистическим заключениям. Деньги — это и высокоэффективное средство индивидуальной и социальной регуляции, и показатель успешной деятельности, и один из элементов и семантический вариант идеи должностования, и механизм идентификации качественных характеристик человека, и технологическая единица измерения целесообразности и бессмысленности жизненных актов. Это и способ биологического и социального выживания. Пограничные ситуации человеческой жизни особенно интересуют культуру, игнорирующую безличные виды деятельности, не отмеченные конфликтом устойчивого с априорно подверженным трансформации.

Сюжет купли товаров, услуг, людей переводит систему традиционных понятий в семантические объемы, оперирующие не фиксированными с точки зрения истинности-ложности знаками. Деньги инициируют катастрофические моменты самореализации, изменяют пределы осуществления конкретного/абстрактного замысла, то удаляя, то приближая цель, провоцируют нормативные принципы вступать в игровые отношения с привычной сеткой моральных координат...»

«Черт знает, что такое. Экой вздор! Как будто не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего поделнее... Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. Как можно наполнять письма эдакими глупостями... Черт возьми! я не могу более читать... А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИГИ



**Английская поэзия в переводах В. А. Жуковского.** Составление К. Н. Атаровой, А. А. Гугнина. М., «Рудомино», «Радуга», 2000, 368 стр.

Издание с параллельным английским текстом.

**Генрих Бёлль.** Дом без хозяина. Глазами клоуна. Потерянная честь Катарины Блюм. Письмо моим сыновьям. Современники о Генрихе Бёлле. Составление Е. А. Кацевой. М., АСТ, «Олимп», «Астрель», 1999, 752 стр., 5000 экз.

**Ольга Борисова.** Человек ли женщина? Рассказы. М., «Academia», 2000, 104 стр.

Дебют молодого московского прозаика.

**Юрий Буйда.** Скорее облако, чем птица. Роман и рассказы. М., «Вагриус», 2000, 445 стр., 5000 экз.

Роман «Ермо» и рассказы.

**Вардван Варжапетян.** Возвращение Ноя. Роман. М., «НОЙ», «Новое время», 2000, 512 стр., 999 экз.

Роман-рассуждение, как автор определил жанр своего объемного произведения, действие которого развивается во времена Ноя и во второй половине нашего столетия в России, Германии, Дании, Израиле, Италии. Автор известных исторических романов о Франсуа Вийоне, Омаре Хайяме, Овидии, Афанасии Никитине, а также развернутого исследования жизни и творчества поэта Тинякова размышляет в новом произведении над вопросом, «что есть спасение для человека и народа».

**Георгий Владимов.** Три минуты молчания. Верный Руслан. Современники о Георгии Владимове. М., АСТ, «Олимп», «Астрель», 2000, 592 стр., 5000 экз.

**Гюнтер Грасс.** Собачьи годы. Роман. Предисловие, перевод с немецкого, примечания М. Л. Рудницкого. СПб., «Амфора», 2000, 762 стр., 5000 экз.

**Джеймс Джойс.** Лирика. Составление, перевод с английского, предисловие Г. Кружкова. М., «Рудомино», 2000, 115 стр., 1000 экз.

Книга, предназначенная для того, чтобы дополнить и слегка уточнить уже сложившийся в нашем представлении образ классика уходящего века. «Читатель, знающий Джойса как автора „Улисса“... будет удивлен, впервые познакомившись с Джойсом-поэтом. Его стихи покажутся не просто традиционными, а старомодными — шокирующе старомодными» (из предисловия). В книге представлены параллельно оригиналы стихов и их перевод на русский язык.

**Фридрих Дюрренматт.** Судья и его палач. Подозрение. Обещание. Правосудие. О Фридрихе Дюрренматте. Составление Е. А. Кацевой. М., АСТ, «Олимп», «Астрель», 2000, 592 стр., 5000 экз.

**Евгений Евтушенко.** Первое собрание сочинений. В 8-ми томах. Том 3. 1965 — 1970. Составление, комментарии Е. Евтушенко. М., «ЛИРА», 2000, 575 стр., 10 000 экз.

**Виталий Кальпиди.** Запахи стыда. В двух книгах. Пермь, Фонд Юрятина, 1999, 500 экз. Книга «Желтая запись» — 64 стр. Книга «Черная запись» — 69 стр.

Собрание новых стихотворений уральского поэта, лауреата премии Аполлона Григорьева, изданное в двух вариантах — в «записи» и «перезаписи». «Мысль — сварганить книгу стихов по схеме „сиамских близнецов“, по счастью, не очень оригинальна... есть текст, и есть его вариации. Или, например, так: есть два черновика, высоколобо намекающих на существование первотекстов...» Издание в известной степени представляет собой произведение полиграфического искусства — художник Вячеслав Остапенко и дизайнер Вера Макарова.

**М. Павич.** Ящик для письменных принадлежностей. Перевод с сербского Л. Савельевой. СПб., «Азбука», 2000, 217 стр., 10 000 экз.

**А. С. Пушкин.** Повести Белкина. Научное издание. Редакторы-составители Н. К. Гей, И. Л. Попова. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 1999, 830 стр., 1000 экз.

**Борис Рыжий.** И все такое... Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 52 стр.

Сборник стихов одного из самых интересных нынешних молодых поэтов, антибукеровского лауреата прошлого года («Отполированный тюрьмою, / ментами, заводским двором, / лет десять сряду шел за мною / дешевый урка с топором...»).

Журнал намерен отрецензировать книгу поэта.

**Владимир Садовский.** Краткая характеристика. «Urbt». Литературный альманах. Выпуск девятнадцатый. СПб., АО «Журнал „Звезда”», 1999, 56 стр.

Собрание коротких рассказов современного петербургского прозаика.

**Андрей Сергеев.** Изгнание бесов. Рассказики вперемежку со стихами. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 144 стр.

Видимо, последняя книга, которую успел при жизни подготовить к печати поэт, прозаик, переводчик, букеровский лауреат Андрей Яковлевич Сергеев (1933 — 1998). Содержит короткую прозу и стихи. «...попытка в нескольких фразах, на странице или чуть побольше, дать такую картину современности или прошлого, чтобы изгнать из изображаемого как можно больше бесов».

**Ольга Славникова.** Один в зеркале. Роман. М., «Грантъ», 2000, 288 стр., 3000 экз.

Книжное издание романа, впервые опубликованного «Новым миром» (1999, № 12).

**Велимир Хлебников.** Собрание сочинений. В 6-ти томах. Том 1. Литературная автобиография. Стихотворения. 1904 — 1916. Составление, подготовка текста, примечания Е. Р. Арензона, Р. В. Дуганова. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000, 542 стр., 1500 экз.

**Нина Шурупова.** Любовь еще, быть может... Рассказы. М., «Academia», 2000, 80 стр.

Первая книга молодого прозаика.

**Оскар Уайльд.** Афоризмы. Собрал К. Душенко. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 240 стр., 8000 экз.

**Уоллес Стивенс.** Тринадцать способов нарисовать дрозда. Стихотворения. Составление, перевод, предисловие Г. Кружкова. М., «Рудомино», 2000, 142 стр., 1000 экз.

Книга классика американской поэзии XX века Уоллеса Стивенса (1879 — 1955). Книга издана на двух языках — оригиналы стихотворений сопровождаются русскими переводами. В качестве послесловия — эссе Александра Гениса «Играя в бога».



**Георгий Адамович.** Комментарии. Составление, послесловие и примечания О. А. Коростелева. СПб., «Алетейя», 2000, 757 стр., 1500 экз.

Еще один элегантный и вместительный том, образующий с уже вышедшими в этом оформлении и включившими собрания стихотворений и рецензий томами собрание сочинений Адамовича. Представляет, возможно, самую замечательную часть творческого наследия поэта и критика: его «Комментарии» — свободные, как бы не стесненные газетным или журнальным заказом размышления над прочитанным, писавшиеся и публиковавшиеся в разных изданиях более тридцати лет. Впервые в полном виде «Комментарии» были собраны и подготовлены автором для немецкого издания в 1967 году.

**А. Антонов-Овсенко.** Берия. М., АСТ, 1999, 480 стр., 8000 экз.

**Н. Бердяев.** Русская идея. Харьков, «Фолио», СПб., АСТ, 1999, 399 стр., 6000 экз.

**Владимир Высоцкий.** Монологи со сцены. О кино. О театре. О песне. Литературная запись О. Л. Терентьева. Харьков, «Фолио», М., АСТ, 2000, 208 стр., 8000 экз.



**Н. М. Гершензон-Чегодаева.** Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). М., «Захаров», 2000, 283 стр., 5000 экз.

Первая публикация мемуаров Наталии Михайловны Гершензон-Чегодаевой (1907 — 1977) — воспоминания о детстве, о родителях, о быте начала века, о друзьях семьи, о литераторах и философах из круга отца, бывавших в их доме. Повествование доведено до середины 20-х годов. Текст воспоминаний предварен биографическим очерком «Михаил Осипович Гершензон (1869 — 1925)», написанным известным музыкантом А. Б. Гольденвейзером, а в конце книги помещены несколько биографических очерков внуки Гершензона Марии Андреевны Чегодаевой, посвященных основным персонажам книги.

**9 мая 1945.** Каким был этот исторический день и каким войдет он в память народа. Документальное повествование. Составитель В. И. Десятерик. М., «Молодая гвардия», Фонд им. И. Д. Сытина, 2000, 208 стр., 5000 экз.

**Классик без ретуши.** Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе. Пародии. Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Составление, подготовка текста Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. Предисловие, преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 688 стр.

Обширнейший материал этой книги разделен на две части: «Часть первая. Сирий», «Часть вторая. Набоков». В свою очередь каждая из этих частей делится на разделы, помеченные названиями набоковского романа или книги и представляющие соответствующие отзывы и рецензии. В «Приложении» — выдержки из переписки и дневников современников. Основной состав авторов текстов, помещенных в этих разделах, — русские писатели начала века (по большей части эмигранты) Глеб Струве, К. Мочульский, М. Осоргин, Г. Адамович, В. Ходасевич, И. Бунин и другие; и англоязычные критики и писатели Энтони Бёрджес, Джон Апдайк, Уолтер Аллен, Ребекка Уэст и другие.

**Надежда Маньковская.** Эстетика постмодернизма. СПб., «Алетейя», 2000, 347 стр., 1600 экз.

Первая в нашей гуманитарной науке монография такого уровня о феномене постмодернизма как концепции неклассической эстетики XX века. Дается описание теоретических основ эстетики постмодернизма — постфрейдизм, постструктурализм, теория деконструкции. Рассматриваются ключевые для постмодернизма методологические проблемы — художественный шизоанализ, симулякр, интертекстуальность, иронизм. Автор рассматривает явление русского варианта постмодернизма в контексте европейской современной культуры, выделяя его специфические черты. Разделы: «Аксиоматика неклассической эстетики», «Художественная посткультура», «Постмодернизм в науке», «Экоэстетика», «Эстетика русского постмодернизма», «Постпостмодернизм».

**Владимир Мау.** Экономическая реформа: сквозь призму конституции и политики. М., «Ad marginem», 1999, 240 стр., 3000 экз.

Монография одного из сегодняшних ведущих экономистов, посвященная «конституционным проблемам экономических реформ в России на фоне имеющегося опыта развитых и развивающихся стран». Вышедшая под грифом «Библиотека Московской школы политических исследований», книга адресована как специалистам, так и интересующимся современной политической и экономической мыслью. Своими же взглядами на некоторые особенности современной ситуации в России и на роль отечественной интеллигенции в новейшей истории Мау делится с читателями на страницах «Нового мира» в статье «Интеллигенция, история и революция» (2000, № 5).

**Э. Неизвестный.** Письма. М., «Традиция», 2000, 111 стр., 500 экз.

**Андрей Платонов.** Записные книжки. Публикация М. А. Платоновой. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Н. В. Корниенко. Материалы к биографии. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000, 424 стр., 1000 экз.

Полное собрание записных книжек писателя: записные книжки и в отдельном разделе записи разных лет.

В «Приложении» «Факт. (Очерк про двух отсталых рабочих)», датированный 1930 годом, и два текста с подзаголовком «Заметки разъездного корреспондента»: «За большевистского счетовода в колхозе!», «По заволжским МТС», также написанные в 1930 году, публикуются впервые.

Читайте отзыв на это издание в настоящем номере журнала.

**Карл Проффер.** Ключи к «Лолите». Перевод с английского, предисловие Н. Махлаюка, С. Слободянюка. Послесловие Д. Б. Джонсона. СПб., «Симпозиум», 2000, 303 стр., 3000 экз.

**Пу И.** Первая половина моей жизни. Воспоминания последнего императора Китая. 2-е издание, переработанное, дополненное. СПб., «Триада», 1999, 480 стр., 3000 экз.

**Русские художники.** Энциклопедический словарь. СПб., «Азбука», 2000, 864 стр., 5000 экз.

**Федор Шаляпин.** Маска и душа. Минск, «Современный литератор», 1999, 296 стр., 5000 экз.

«Первую книгу мемуаров Шаляпина „Страницы из моей жизни” писал Горький (они потом уже в эмиграции с гонорарами разобрать не могли), вторую же — „Маска и душа” — он сам, и насколько же она богаче, ярче, самобытнее первой, не потому, что Шаляпин был как литератор талантливее, а потому, что Горький, исполняя роль не то записывателя, не то сочинителя, смешивал себя и автора, к тому же навязывая Ф. И. собственный тогдашний „прогрессизм”» (из заметок «В русском жанре» Сергея Боровикова, готовящихся к опубликованию на страницах «Нового мира»).

**Ричард Элман.** Оскар Уайльд. Биография. Перевод с английского, составление аннотированного именного указателя Л. Мотылевой. М., Издательство «Независимая газета», 2000, 688 стр.

Одно из самых полных жизнеописаний Уайльда, плод почти двадцатилетней работы почетного профессора английской литературы Оксфордского университета, являющегося также автором лучших, по мнению специалистов, биографий Йейтса и Джойса, — Ричарда Элмана (1918 — 1987). Работа над биографией Уайльда закончена в середине 80-х годов.

Составитель Сергей Костырко.

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**Георгий Адамович.** Комментарии.  
**Ричард Элман.** Оскар Уайльд. Биография.  
**Борис Рыжий.** И все такое... Стихотворения.

**ПЕРИОДИКА**



«*Время MN*», «*Время новостей*», «*Вышгород*», «*День и ночь*», «*День литературы*», «*Дружба народов*», «*Ex libris НГ*», «*Завтра*», «*Звезда*», «*Знамя*», «*Знание — сила*», «*Известия*», «*Иностранная литература*», «*Коммерсантъ*», «*Кулиса НГ*», «*Литературная газета*», «*Литературная учеба*», «*Логос*», «*Наш современник*», «*Наше наследие*», «*НГ-Религии*», «*НГ-Сценарии*», «*Независимая газета*», «*Новое литературное обозрение*», «*Новый Журнал*», «*Октябрь*», «*Подъем*», «*Российский литератор*», «*Русская мысль*», «*Субботник НГ*», «*Труд*»

**Сергей Аверинцев.** «Новых великих веков череда зарождается ныне...». О воздухе, повеявшем две тысячи лет тому назад. — «Наше наследие». Иллюстрированный историко-культурный журнал. № 52 (2000).  
 Вергилий и Новый Завет.

**Георгий Адамович.** Письма Василию Яновскому. Публикация и примечания Вадима Крейда и Веры Крейд. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 218 (март 2000).  
 Письма 1945 — 1956 годов. «...Иваск (поэт Юрий Иваск. — А. В.). Педераст? Очень тонок, очень чувствителен: вероятно, педераст. Что-то такое я о нем слышал, но что это

„всем известно”, Володя (писатель Владимир Варшавский. — *А. В.*) врет. Если ему известно, то, значит, по опыту. За свою долгую жизнь и богатый опыт я глубоко презираю педерастов. Если три-четыре соберутся вместе, это позор и поношение, нельзя выдержат! Но, впрочем, Иваск — ничего... Сплетней здесь (в Париже. — *А. В.*) нет (сплетен?). Вообще ничего нет. Конец литературы» (из письма от 18 сентября 1951 года). Ответные письма жившего в США прозаика В. С. Яновского не найдены. В этом же номере «Нового Журнала» напечатаны десять писем Георгия Адамовича 1962 — 1964 годов к Р. Н. Гринбергу (1893 — 1969), основателю и редактору альманаха «Воздушные пути».

**Владимир Александров.** Алфавитный указатель поэзии. — «Ex libris НГ», 2000, № 19, 25 мая. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

«Лев Рубинштейн (речь идет о его книге „Домашнее музицирование”, М., 2000. — *А. В.*) — как человек, стоящий у истоков направления, — выше любой критики... Пугает то, что с легкой руки Рубинштейна то направление, которое он олицетворяет, постепенно превращается в *mainstream* и знаменует окончательное — и, заметьте, ненасильственное — торжество соцреализма... Без Рубинштейна наша литература обеднела бы, но почему-то кажется, что его одного и достаточно».

**Анастасия Архипова.** Абсурд политкорректности. — «НГ-Религии». Религиозно-политическое обозрение «Независимой газеты». 2000, № 9, 17 мая. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

Героиня американского фильма «*Dogma*» (1999) с изумлением узнает, что Бог... женщина. «Впрочем, — иронически замечает рецензент, — здесь Кевина Смита (режиссера. — *А. В.*) вряд ли можно обвинить в излишне смелой выдумке — в современной *race* и *gender* философия давно поставлен вопрос, почему, собственно, Бог как бы мужчина („Отец”). И почему он белый, а не „*person of color*”. От себя хочется добавить: почему Он не инвалид и не ветеран Вьетнама?..»

**Ален Безансон.** Что остается от коммунизма? — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4315, 27 апреля — 3 мая. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

«В современной Европе самое верное хранилище коммунистической идеи — это, пожалуй, Франция... У нас коммунистическая партия с гордостью продолжает носить свое имя, в то время как в других странах партии, устыдившись, переименовались... Историческая мифология возвращает в республику коммунистическую идею, а идея охраняет мифологию. Преподавательский корпус пропитан ею. Наши средства массовой информации распространяют ее...»

**Галина Бельская.** Игра «Шекспир». — «Знание — сила». Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи. 2000, № 2.

Некоторые считают, что автор шекспировских пьес — Бэкон, а другие, что — супруги Рэтленд. Переводчица М. Д. Литвинова выдвинула интегральную версию: «Шекспир» — совместное предприятие Бэкона и графа Рэтленда (ученика Бэкона).

**Брайан Бойд, Курт Джонсон.** Верины бабочки. Перевод с английского Г. Стариковского. Вступительная заметка Г. Глушанок. — «Наше наследие». Иллюстрированный историко-культурный журнал. № 52 (2000).

Среди книг с автографами Набокова имеют место семьдесят пять книг с нежными и шутивными надписями его жене Вере и *для нее же* — на титулах и форзацах — *нарисованными бабочками*.

**Иосиф Бродский.** У меня нет принципов, есть только нервы... Интервью длиною в четверть века. — «Огонек», 2000, № 16, май. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«Я всю жизнь хотел быть летчиком». Нарезка из разновременных ответов Бродского на вопросы *разных* лиц. Источником является «Большая книга интервью» (М., 2000), составленная профессором Валентиной Полухиной (Великобритания).

«Я даже не знаю — умен ли он был», — пишет о Бродском, *космополите и эпикурейце*, Александр Вяльцев («Победа с негодными средствами» — «Независимая газета», 2000, № 93, 24 мая).

По мнению Михаила Новикова («Он закрыл дверь за классиками» — «Коммерсантъ», 2000, № 91, 24 мая), Бродский соединил замах серебряного века с чисто шестидесятилетними «фарцовочными» уловками: на знаменитой фотографии, сделанной в ссылке, автор трагических стихов стоит у забора с пачкой сигарет «Честерфильд». «В известной мере и Рим, и христианство, и вся мировая культура оказались в стихах Бродского такой вот пачечкой „Честера”...»

См. собственно *юбилейные* статьи Викторией Шохиной «Певец империи и провинции» («Кулиса НГ», 2000, № 9, 26 мая), Андрея Немзера «Только нервы. Вот и все»

(«Время новостей», 2000, № 45, 24 мая), Александра Гениса «Воспоминания о будущем» и Виктора Куллэ «После смерти началась история» (обе — «Время МН», 2000, № 71, 24 мая).

О поэзии Бродского см. нелицеприятную статью А. Солженицына («Новый мир», 1999, № 12). С Солженицыным темпераментно полемизировали Игорь Ефимов («Новый мир», 2000, № 5) и Людмила Штерн («Ex libris НГ», 2000, № 14, 13 апреля).

**«Будем говорить о литературе и жизни».** Из переписки Александра Твардовского и Александра Фадеева. Публикация, вступительная статья и примечания Н. И. Дикушиной. — «Дружба народов», 2000, № 5. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>

«Так как я убежден, что ты не ставил и не мог ставить своей целью кокетничать перед всяким дерьмом, очевидно, эти места (и *только* эти места, ибо все остальное — верно) ты недостаточно ясно видишь или недостаточно их политически продумал» (из дружеского письма А. Фадеева к А. Твардовскому от 25 января 1953 года о поэме «За далью — даль»).

**Была ли у нас история?** Беседу вел Петр Васильев. — «Труд», 2000, № 89, 18 — 24 мая. Электронная версия: <http://www.trud.ru>

Профессор МГУ, академик РАО Игорь Бестужев-Лада — об авторе так называемой Новой Хронологии: «Фоменко — не просто графоман, а профессор университета, заведующий кафедрой, одно из высших должностных лиц Академии наук... При этом под покровом его профессорского и академического авторитета в сферу истории вторглась целая орда самых настоящих шарлатанов — людей, далеких от науки, воинствующе невежественных. Они „пекут“ столь же скандальные книжки, по несколько штук в год, огребая баснословные барыши за сухой бред... Вот почему и звучат слова, что Фоменко позорит российскую науку перед лицом всего мира».

**Светлана Васильева.** Красота спасет мир, или Кто украл чемоданчик? Роман. — «День и ночь», Красноярск, 1999, № 5-6. Электронная версия журнала: <http://www.krsk.ru/din>

*Машкин и Рогожкин* летят из Лондона в Москву. А есть еще и *Настасья Филипповна*.

**Ева Датнова.** Возле Белого Камушка. Повесть. Послесловие Александра Рекемчука. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 1, январь — февраль.

«В самый глухой расстрельный год Серебряные Пруды со всеми ближними деревнями из Тульской области перебросили в Московскую... Так с тех пор и считаются Подмосковьем — пятнадцать квадратных километров чернозема, где люди разговаривают с яканьем и гэканьем, где выращивают в садах виноград и дыни, а в полях — кукурузу мокрохвостую, откуда никогда никуда не ездят, а только восхищенно слушают, как транзитом едут астраханские, саратовские, краснодарские, тамбовские...»

**Юрий Дружников.** Мечта о прозе для XXI века. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 218 (март 2000).

О том, что *микророман* отличается от трех традиционных жанров русской литературы (рассказ, повесть, роман) и от трех столь же гибких жанров американской прозы (*novella, short story, novel*) и имеет право существовать в обеих литературах.

См. также благородную по пафосу, но, к сожалению, не везде убедительную по аргументации полемику А. Шитова («Вопросы литературы», 2000, № 2) с действительно несправедливой статьей Юрия Дружникова о судьбе и творчестве Юрия Трифонова («Время и мы», 1990, № 108).

См. также в таллинском журнале «Вышгород» повесть Юрия Дружникова «Вторая жена Пушкина» (2000, № 2-3) и его статью «„Исчезли юные забавы“, или Страсти вокруг одного стихотворения» (2000, № 1), которая была ранее опубликована в нью-йоркском «Новом Журнале» (№ 215).

**Александр Дугин.** Третья столица. — «Завтра», 2000, № 21, 24 мая. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Сегодня мы имеем шанс реализовать великое прозрение, которое носил в себе наш Царь (Иван Грозный. — *А. В.*)... Третьей Столице, великой евразийской Казани — быть!»

**Борис Евсеев.** Власть собачья. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 218 (март 2000).

Собачья стая дрессирует человека и использует его на охоте. См. также рассказ Бориса Евсеева «Сергиев лес» в таллинском журнале «Вышгород» (2000, № 1).

**Никита Елисеев.** «Груз и угроза». — «Знамя», 2000, № 5. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

«Дар» Набокова. Розанов. Шахматы. Почему Годунова-Чердынцева зовут Годунов-Чердынцев?

**Зачем защищать эти свободы?** Откровения протоиерея М. Ардова. Беседу вела Дина Кирнарская. — «Литературная газета», 2000, № 19-20, 17 — 23 мая.

«Христиан ни в какие времена много быть не может», — говорит протоиерей Михаил Ардов. См. его воспоминания об Анне Ахматовой и ее окружении («Новый мир», 1994, № 4, 5; 1998, № 1; 1999, № 5, 6; 2000, № 5).

«И если время, ветром разметая, сгребет их всех...». Записала Виктория Ганчикова. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4315, 27 апреля — 3 мая.

Говорит Светлана Алексиевич: «...на нем (Лукашенко. — А. В.) лежит вина за то, что он крадет у нашей страны ее историческое время, а мы (белорусы. — А. В.) и так — опоздавшая нация».

**Иван Иванов.** Господи, будь милостливым. Рассказ. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 1.

Морской рассказ русского прозаика Ивана Гавриловича Иванова (род. в 1929), живущего в Пярну.

**Наталья Иванова.** Бандерша и сутенер. Роман литературы с идеологией: кризис жанра. — «Знамя», 2000, № 5.

«Не одна идеология сегодня в литературе противостоит другой идеологии (и борется с нею), а две поэтики, две литературные культуры: серьезная и смеховая».

«...И запируем на просторе». Владимир Сорокин о своей новой книге. Беседовал Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 2000, № 19, 25 мая.

Русский писатель, особенно любимый в Германии, рассказывает о работе над книгой «Пир»: «*A propos*, еще я пробовал говно... Сначала свое, потом своих детей. Так вот, я попробовал и понял, что вся его мифология держится на запахе. В остальном оно совершенно безвкусно».

**In memoriam.** Вадим Эразмович Вацуро (30 ноября 1935 г. — 31 января 2000 г.). — «Новое литературное обозрение», № 42 (2000). Электронная версия: <http://www.nlo.magazine.ru> или <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

В большую мемориальную подборку вошли многочисленные статьи памяти известного пушкиниста, фрагменты переписки В. Э. Вацуро с Т. Г. Цявловской, статьи В. Э. Вацуро, а также библиографический указатель его научных трудов.

**Вера Камша.** Ник Перумов, не американец. — «Субботник НГ», 2000, № 20, 27 мая. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Антисемитом, фашистом и сексуальным маньяком я уже был, теперь еще в сатанисты записывают», — говорит один из наиболее популярных сегодня отечественных писателей в жанре *фэнтези*, биолог Ник (Николай Данилович) Перумов (род. в 1963), считающий принятие христианства великим бедствием для России.

**Яан Каплинский.** «Титаник» и льды. Перевела с эстонского Татьяна Теппе. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 2-3.

Размышления известного эстонского поэта на разные мрачные темы.

**Кирилл Кобрин.** Письма в Кейптаун о русской поэзии. — «Октябрь», 2000, № 5. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

Письмо первое: Владимир Гандельсман, Борис Рыжий.

**Вадим Кожинов.** С кем мы воевали в 1941 — 45 гг.? — «Российский литератор». Газета российских писателей. Пробный выпуск (май 2000).

В 1941 — 1945 годах СССР воевал со всей *объединенной* (немцами) континентальной *Европой*.

**Семен Конев.** Война. Записки солдата. — «Наш современник», 2000, № 5. Электронная версия: <http://read.at/nashsovr>

Русский солдат на фронте и в плену. Семен Конев (1907 — 1995) писал эти воспоминания в 1982 — 1990 годах.

**Валерий Крапивин.** Окно на Восток. «Кушитство» и «иранство» в русской прозе 1910 — 1930-х годов. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 1, январь — февраль.

Бунин. Мандельштам. Пришвин. Платонов. Всеволод Иванов.

**Бьянка Ламблен.** Мемуары девушки, сбитой с толку. Фрагменты книги. Перевод с французского И. Радченко. — «Иностранная литература», 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Автор этих скандальных мемуаров, Бьянка Ламблен, взялась за перо в семьдесят лет, прочитав опубликованные дневники и письма Симоны де Бовуар и поняв, какую роль отводили ей в своей жизни ее прославленные друзья: «Теперь я понимаю, что стала жертвой дожжуанских аппетитов Сартра, которым Бобр (Симона де Бовуар. — *А. В.*) оказывала весьма и весьма двусмысленное покровительство. Я оказалась втянутой в мир непростых отношений, жалких интриг, мелочных расчетов и постоянной лжи, в которой они сами изо всех сил старались не запутаться. Я обнаружила, что в классах, где она преподавала, Симона де Бовуар выжигала молоденьких девочек и пользовалась ими сама, перед тем как сплавить, скажу грубее, подложить Сартру. Во всяком случае, именно по такой схеме сложилась история Ольги Козакевич и моя собственная...»

**Алла Латынина.** «Жить на деревьях. Как бабуины». — «Литературная газета», 2000, № 21, 24 — 30 мая.

Обе новые повести Владимира Маканина («Буква „А”» — «Новый мир», 2000, № 4; «Удавшийся рассказ о любви» — «Знамя», 2000, № 5) — о банкротстве, о поражении.

**Алексей Левинсон.** Повсюду чем-то пахнет. — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.ruthenia.ru/logos>

*К социологии обоняния: обоняемая повседневность, пол и запах, статус и запах.*

**Анатолий Либерман.** <Рецензия>. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 218 (март 2000).

Издательство «Ardis» (США) выпустило в свет две прозаические книги Валерии Нарбиковой в английском переводе. *Valeria Narbikova* «входит в завоеванный ею XXI век, захватив из предыдущего поток ничего не выражающего сознания, бордельный феминизм и андрогинных кикимор».

**Михаил Лобанов.** В предчувствии темного царства. Опыт духовной автобиографии. — «Российский литератор». Газета российских писателей. Пробный выпуск (май 2000).

Запоздалое выяснение отношений с критиком Анатолием Бочаровым и литдеятелем Альбертом Беляевым (если кто помнит). Начало — о П. Николаеве и А. Чаковском — см. в № 6 газеты «Московский литератор», которая теперь вышла под названием «Российский литератор» (под редакторством того же Н. Дорошенко), а столичная писательская организация будет выпускать какой-то *другой* «Московский литератор». Еще один фрагмент духовной автобиографии М. Лобанова, посвященный «оборотню» А. Н. Яковлеву, см. в «Дне литературы» (2000, № 9-10). Полностью мемуары М. Лобанова, проникнутые нескрываемаой неприязнью к *есфирям* и *мардохеям*, печатаются в «Нашем современнике».

**Вячеслав Люгтий.** Между ненавистью и любовью. По страницам книги А. Солженицына «Россия в обвале». — «Подъем», Воронеж, 2000, № 4, 5.

Кроме политических, религиозных и прочих упреков в адрес Солженицына присутствует и такой: «...слух писателя как будто не воспринимает скрежета собственной письменной речи — построенная рационально правильно, она заведомо хороша для сочинителя, избравшего своим основанием *расчет*».

**Емельян Марков.** После долгой зимы. Повесть. Послесловие Юрия Кублановского. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 2, март — апрель.

Хороший плохой пьяный русский дядя Коля.

**Татьяна Марченко.** Избрание и не. Русские писатели и Нобелевская премия (1914 — 1937 гг.). — «Ex libris НГ», 2000, № 17, 11 мая.

До Второй мировой войны претендентами на Нобелевскую премию становились Мережковский (номинации 1914-го, 1915-го, 1930 — 1937 годов), Горький (1918-й, 1923-й, 1928-й, 1930 годы), Бунин (1923-й, 1930 — 1933 годы), Бальмонт (1923 год) и Шмелев (1931-й, 1932 годы), но лишь в 1933 году Бунин стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе.

**Жерар де Нерваль.** Жак Казот. Перевод с французского Ирины Волевич. — «Иностранная литература», 2000, № 4.

Автор «Влюбленного дьявола» и Французская революция.

**Андрей Никонов.** Тьмутаракань какая-то. — «Знание — сила». Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи. 2000, № 2.

Где находилась и куда исчезла Тьмутаракань.

**Ирина Панченко.** «Я — акын из „Националя“...». Устное слово Юрия Олеша. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 218 (март 2000).

«Устная речь Олеша не отличалась от письменной».

**Борис Парамонов.** Застой как культурная форма. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Татьяна Толстая как *застойная писательница*.

**Константин Паскаль.** «Куда идут стихи?». — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 1, январь — февраль.

Так и не понятно, куда они идут.

**Письма Н. И. Греча к Ф. В. Булгарину.** Подготовка текста и комментарии А. И. Рейтблата. — «Новое литературное обозрение», № 40, 42.

74 письма к *любезнейшему Фаддею*. «Мои работы идут хорошо и без затруднений. Только приводит меня в отчаяние цензура... Да черт их возьми! Я уверен, если бы Государь знал, до какой степени доходит их глупость, он бы их всех повыгнал...» (из письма от 1 июня 1844 года).

**Клод Пишуа, Жан Зиглер.** Шарль Бодлер. Фрагменты книги. Перевод с французского Веры Мильчиной. — «Иностранная литература», 2000, № 4.

Публикация «Цветов зла» и суд над Бодлером (1857 год).

«Пока жива...». — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4317, 11 — 17 мая.

Беседа Михаила Мейлаха с Ириной Иловайской-Альберти, состоявшаяся в сентябре 1997 года (биографические подробности, сотрудничество с Солженицыным, путь в «Русскую мысль»), печатается к сороковому дню кончины Ирины Алексеевны.

**Валентина Пономарева.** Неоткрытый космос. — «Дружба народов», 2000, № 4, 5.

Рубрика «Частные воспоминания о XX веке», автор — одна из двух так и не полетевших в космос дублерш Валентины Терешковой. Масса человеческих и технических подробностей, скрытых за кулисами космических триумфов и катастроф («Вообще, если поинтересоваться историей создания наших космических кораблей, в частности историей разработки систем управления, можно многое понять и о нас самих...»).

**Валентин Распутин.** В поисках берега. — «Литературная газета», 2000, № 19-20, 17 — 23 мая.

Речь при получении Солженицынской премии. Речь самого Солженицына по этому поводу см. в «Новом мире» (2000, № 5). Обе речи напечатаны также в «Дне литературы» (2000, № 9-10).

См. также подробный отчет о встрече А. Солженицына с читателями в конференц-зале РГБ («Литературная газета», 2000, № 21, 24 — 30 мая).

**Рустам Рахматуллин.** Потоп и ковчег. Воробьевы горы и Лужники у Герцена и Тургенева. — «Ex libris НГ», 2000, № 19, 25 мая.

Из книги «Две Москвы». Симпатичные опыты метафизического градоведения.

**Мария Ремизова.** По поводу Мертвого моря. — «Независимая газета», 2000, № 89, 18 мая. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«И особенно (уже эгоистически) жалко, что хороший прозаик (Марина Палей. — А. В.) стала писать такие жалкие и мертворожденные тексты („Long Distance” — „Новый мир”, 2000, № 1, 2, 3, 4, 5; „Ланч” — „Волга”, 2000, № 4. — А. В.)».

**Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война.** Вступительная статья Геннадия Гусева. — «Наш современник», 2000, № 5.

Послания патриаршего местоблестителя (будущего Патриарха Московского и всея Руси) Сергия, митрополита Московского и Коломенского, к пастырям и верующим, к православным в других странах мира (июнь, октябрь, ноябрь 1941 года, а также послания 1942 — 1943 годов).

**Александр Савинов.** Неизвестный голод. — «Знание — сила». Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи. 2000, № 2.

Голод в СССР 1946 — 1947 годов: происхождение и последствия. На основе докторской диссертации В. Ф. Зимы (автореферат — М., 1999).

**Александр Силаев.** Армия Гутэнтака. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 1999, № 5-6.

За эту фантастическую повесть красноярскому прозаику 21 года от роду присуждена премия Виктора Астафьева в области литературы (они вручаются уже четвертый год)

**Символисты о войне и культуре.** Публикация, вступительная статья и комментарии Л. А. Сугай. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 1, январь — февраль.

Первая мировая — в статьях Д. С. Мережковского «Война и культура» и А. Л. Волынского «Мировая культура». Обе печатаются по машинописным вариантам (первая — с авторской правкой), хранящимся в РГАЛИ.

**Филипп Соллерс.** Казанова Великолепный. Фрагменты книги. Перевод с французского Ю. Яхниной. — «Иностранная литература», 2000, № 4.

«Мы воображаем, что знаем Казанову. Мы ошибаемся».

**Оливье Тодд.** Альбер Камю, жизнь. Фрагменты книги. Перевод с французского Марии Аннинской. — «Иностранная литература», 2000, № 4.

Камю и — немецкая оккупация, Соппротивление, послевоенное преследование «коллораборационистов», Алжир.

**Андрей Урицкий.** Записки отщепенца. — «Знамя», 2000, № 5.

Почему полудневникова, совершенно политнекорректная книга русского израильянина Наума Ваймана «Щель обетованья», выставленная в сетевом журнале «Новый мир» ([http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi/portf/vaiman](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/portf/vaiman)), не была опубликована в самом журнале? Это, по мнению критика, «ясно любому, проглотившему эту гремучую смесь, где философские рассуждения сменяются бесстрастными, в духе Генри Миллера, описаниями случаев, а за бытовыми картинками следуют политические сентенции крайне правого толка, с поправкой на ближневосточную действительность... Знаменитые бледно-голубые обложки при соприкосновении с сионистским коктейлем воспламенились бы, как бронетранспортер от „коктейля Молотова“...» Сейчас книга вышла отдельным изданием в Петербурге («ИНАПРЕСС», 2000).

**Сергей Федякин.** О военной прозе. — «Кулиса НГ», 2000, № 8, 12 мая. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«И хоть еще сейчас существуют лучшие страницы „Волоколамского шоссе“ Александра Бека, хоть появилась в 1943-м на свет воробьевская повесть „Это мы, Господи!“, предвосхитившая всю „лейтенантскую прозу“, хоть начал публикацию отрывков своего военного романа Михаил Шолохов, все же главная проза о войне в 40-е написана Андреем Платоновым...»

**Чем больно наше экспертное сообщество?** — «НГ-Сценарии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 2000, № 5 (50), 17 мая. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Марк Урнов, Вячеслав Никонов, Андраник Мигранян, Глеб Павловский, Игорь Клямкин, Вячеслав Игрунов и Сергей Кара-Мурза приняли участие в откровенной и, по мнению Виталия Третьякова, даже *сенсационной* дискуссии на тему: «Нужно ли обновлять экспертное сообщество России после выборов?»

**Елена Чицова.** Крошки Цахес. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

Учительница и ученики, 80-е.

**Борис Чистых.** Укрощение строптивых. Заметки о дрейфе ценностей в «зеленой» идеологии. — «Знамя», 2000, № 5.

Утопические экологические альтернативы существующему миропорядку мешают охране окружающей среды.

**Елена Чудинова.** Синдром Чацкого. — «Независимая газета», 2000, № 90, 19 мая.

Актуальное прочтение «Горе от ума»: против *чацких/явлинских*.

**Михаил Чулаки.** Неказнящий предает. — «Литературная газета», 2000, № 19-20, 17 — 23 мая.

Против отмены смертной казни: «Общество должно самоочищаться, санироваться». Даже если высшая мера не остановит преступников потенциальных, среди преступников состоявшихся есть такие, кого *здоровый нравственный инстинкт* требует не просто наказывать, а уничтожать.

**Сергей Шаповал.** Найти естественность в абсурде. — «Кулиса НГ», 2000, № 9, 26 мая.

Беседа с Сергеем Юрским: «А куда же подевалась система Станиславского? Она ушла в американское кино!»



**Александр Шуплов.** Литература бывает бездоходной — но не безотходной. — «Субботник НГ», 2000, № 20, 27 мая.

Дружеские и недружеские прозвища у советских писателей.

**Натан Эйдельман.** Дневник (1980 — 1984). Публикация Ю. Мадоры-Эйдельман. Комментарии Э. Шнейдермана при участии Ю. Мадоры-Эйдельман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

«У Козакова — Рассадины. Красивый стол, яркий разговор... Обо всем: мы отговариваем М. М. Козакова от чтения „Клеветникам России“ — он упирается (ему жаль своего чтения, своей работы — осторожно отыскивает антипольские доводы... Мы доказываем, что и он жертва агрессии)...» (из записи от 6 июля 1982 года). Спустя три недели Эйдельман снова записывает: «М. М. *слишком хорошо* (курсив мой. — А. В.) читает „Клеветникам России“...» (25 — 28/VII).

Сухой дневник Эйдельмана — увлекательное чтение, но только для погруженных в контекст (не будешь же — через строчку — заглядывать в комментарии).

**Михаил Эпштейн.** Хасид и талмудист. Сравнительный анализ о Пастернаке и Мандельштаме. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

«Как пастернаковская поэзия является не столько христианской, сколько хасидской, — так и мандельштамовская поэзия является не столько философской, сколько талмудической».



ДАТЫ: 23 сентября (5 октября) исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина (1875 — 1936).

Составитель Андрей Василевский.

---

## СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



*Поэзия на «Улове» — борьба поэтов с поэзией;  
хит сезона — роман «Сами по себе» Сергея Болмата*

### 1

Продолжаю начатый в предыдущем обзоре разговор о результатах сетевого конкурса «Улов» словом «увы».

...Увы, в разделе поэзии собственно сетевые поэты оказались отодвинутыми «бумажными». Лауреатами стали:

1. **Владимир Гандельсман.** Эдип. Из стихотворений 1990 — 1998 годов;
2. **Полина Барскова.** Десять стихотворений 1999 — 2000 годов;
3. **Ирина Ермакова.** Стекланный шарик. Книга стихов;  
**Светлана Кекова.** Короткие письма. Книга стихов.

Я не буду указывать адрес в Интернете каждого из упомянутых здесь поэтов, вот страничка, откуда легко открывать все эти стихи: <http://rating.rinet.ru/ulov1/laureats.html>

В верхних строчках итоговой таблицы также: Вера Павлова, Александр Левин, Илья Фаликов, Фаина Гримберг, Александр Иличевский, Евгения Лавут, Стелла Моротская, Данила Давыдов и другие.

Ну и соответственно я составил и свой список поэтов, которых читал в «Улове» с особым интересом или особым удовольствием. Вот такой:

Вера Павлова,  
Владимир Гандельсман,  
Александр Левин,  
Данила Давыдов,  
Владимир Захаров,  
Николай Байтов.

И если проза «Улова» представила несколько новых для читателей журнала — или по крайней мере для меня — имен (Дмитрий Новиков, Сергей Морейно, Ренат Хисматуллин, Клим Каминский, Владимир Коробов, Ольга Зонберг, Элина Свенцикая), то поэтический конкурс, кажется, не внес ничего нового в наше представление о сегодняшней поэзии. Единственное, что слегка утешает, — тексты предложены «Улову» с интернетовских страниц различных сайтов. То есть они — в нынешнем контексте «интернетовской поэзии». Досадно немного, что не нашлось конкурентов среди эксклюзивно «интернетовских» поэтов. Или держатели сайтов решили подстраховаться? (Еще немного — и я, похоже, стану патриотом Интернета. Совсем заигрался.) Вполне сознаю нелогичность всего этого пассажа на фоне продекларированного мною уже не раз: нет и не может быть разницы между литературой интернетовской и бумажной, место обитания текста не имеет определяющего, содержательного значения для литературного произведения. На том стою и сейчас. И тем не менее...

Представлять подробно лауреатов, мне кажется, не нужно. Они известны читателю. И доказывать, что они талантливы и по праву возглавляют таблицу, я не буду. Это мне не по силам. Дело вкуса, как написано на продуктивном магазине в Нижнем Новгороде.

Я просто хочу поделиться наблюдениями, которые приходили мне в голову по мере чтения этих поэтов.

Одна из стоящих перед каждым поэтом вечных, усугубляющихся в каждом поколении проблем — тяжесть уже существующей традиции. Энергетический запас выработанных русской поэзией единиц поэтической речи слишком уж велик и слишком уж агрессивен. В критике уже начали говорить о феномене «стихов вообще». «Мороз и солнце, день чудесный», «Люблю грозу в начале мая» — это чье? А какая разница? Это просто «стихи». Они уже — почти единицы нашей речи, пришедшие из поэзии. И соответственно победа в «борьбе с поэзией», хоть самая малая, по определению является условием твоего присутствия в поэзии... Интересно было наблюдать, как решается эта задача в стихах новых поэтов.

Самое распространенное, видимо, у современных поэтов средство, которым они пользуются для противостояния «поэзии вообще», — это разрушение в своем стихе — форме, лексике, содержании — всего того, что собственно и создает ощущение «поэтических стихов»: «Он ее приголубит, / такую какую-то мнимую. / Она его не продинамит, / такого какого-то конкретного. / Он ее: „Моя гёрлица!“ / Она его: „Мой кудахчик!“ / И никогда не ссорятся. / Так, иногда ругаются...» (Левин). (Цитаты я привожу для представления не поэтов, а только их поэтических средств.) Использование так называемого стёба, бытового жаргона молодых горожан, почти всегда подсвечивается чем-нибудь из арсенала, так сказать, «элитной поэзии» или из наиболее прочно закрепленного в традиции — от фольклора до формалистских изысков первой половины нашего века. Причем делать это рекомендуется также «стёбно» и ненадуманно. Тот же Левин: «Липа шелестит литвою, / клен качается эстонет. / Над моею головою / черный ветер ветку клонит».

Другой вариант этой «антипоэтической» поэзии — римейк. Им пользуется в той или иной мере огромное число современных поэтов. В частности, Данила Давыдов: «пока не требуют поэта / ну вот уже и потребовали / сказали чтобы садился рядом / чтобы чувствовал себя как дома / чтобы типа не парился / наливают потом еще наливают / потом говорят: свободен иди / погружайся в заботы мира».

И по мере чтения нынешней поэзии понимаешь, насколько традиционной уже выглядит вот такая «антипоэтическая» поэзия. Как не очень дерзкая дерзость. Дерзким на таком фоне выглядит Николай Байтов, сознательно отдающийся потоку «поэтической» поэзии, как бы не боясь, что она сможет полностью поглотить его: «В море слов попутный ветер / рьяно пенит волны фраз. / Брызгами свинцо-

вых литер / прямо целит мне он в глаз. / Но стою на вахте зорко / я, невиннейший из юнг. / Наблюдаю горизонты / и плюю на свой испуг».

Качается на этих волнах и Владимир Захаров, используя энергию как бы всегда существовавшего стиха, чтобы выгрести к своему берегу: «Робко спускается вечер смиренный, / Тьма застилает межи. / Друг-демиург из соседней вселенной, / как там тебе, расскажи?»

Довольно сложная интонационная, смысловая, лексическая оркестровка традиционных мотивов у Владимира Гандельсмана: «Поднимайся над долгоиграющим, / над заезженным черным катком, / помянуть и воспеть этот рай, еще / в детском горле застрявший комком, / эти — нагрубо краской замазанных / ламп сквозь ветви — павлиньи круги, / в пору казней и праздников массовых / ты родился для частной строки».

Труднее всего, мне кажется, удерживаться в этой компании классику «новой поэтичности» Светлане Кековой, а также попавшим в верхние строчки итоговой таблицы Полине Барсковой и Ирине Ермаковой. «Вперед — на верблюде, готовом / раскачивать время вперед. / Вот жирная Азия пловом / по сбитому локтю течет» (Барскова), — сколько раз и у скольких поэтов я это читал? Или: «Двух женщин знала я и одного творца, / Которые могли, не выходя из ванной, / Услышать синий звон хрустального дворца, / Змеиный посвист „ш-ш-ш” и покрик караванный» (Ермакова). Эти поэты работают в непосредственной близости с «общепоэтическим», не всегда удерживая равновесие.

Легче же всего, как мне кажется, Вере Павловой. Ее стихи производят впечатление стихов человека, у которого просто руки не доходят до проблем своего поэтического языка. Это та форма затрудненности, которая делает стихи вообще как бы отвызанными от традиции. Она словно до конца не уверена, нужно ли вообще тратить, чтобы владеть формой. Вот мыслью — да! Ощущением, состоянием, смыслами, движениями смыслов в этих состояниях — да! Это вопрос уже не поэзии, это вопрос жизни и смерти каждого состояния, поворота мысли, жизни и смерти носимого и рождающегося в ней мира. До поэзии ли тут?! И это чуть ли не физически ощущаемое напряжение рождает почти «голые» стихи, «голыми» словами и интонациями написанные. Может быть, поэтому стихи эти и есть поэзия:

то, что невозможно проглотить,  
что не достается пищеводу,  
оставаясь целиком во рту,  
впитываясь языком и нёбом,  
что не называется пищей,  
может называться земляникой,  
первым и последним поцелуем,  
виноградом, семенем, причастьем.

## 2

Вообще, в этом выпуске «Сетевой литературы» почти не будет адресов, только два: адрес литературного конкурса «Улов» и адрес заморожившего уже часть сетевых читателей текста романа никому еще практически не известного Сергея Болмата «Сами по себе», выставленного Борисом Кузьминским у себя в «Круге чтения» (<http://russ.ru/krug/sami/content.html>).

Роман я начинал читать, вдохновленный легким шелестом восхищения, пронесшегося по Интернету: «...это пока лучшая русская книга 2000 года». «В будущих рецензиях на „Самих по себе” непременно будут встречаться слова „Набоков” и „кинематограф” (в частности, „Тарантино”). Это справедливые слова... но они скорее — псевдонимы изысканного психоделического зависания, которое в русской прозе, пожалуй, впервые соединилось с криминальным письмом» (Вячеслав Курицын, <http://www.guelman.ru/slava/archive/17-05-00.htm>).

И по первым абзацам вроде как действительно хорошо — уверенная рука, культура, глаз и даже как бы стилистический изыск. Как бы шарм. Как бы драйв. Но уже минут через десять проза этого романа начинала выталкивать меня как слишком отлакированная, лишенная пор для дыхания кожи поверхность.

В таких случаях всегда остается надежда, что имеешь дело с собственной ограниченностью. Что перед тобой по-настоящему новое и у тебя есть шанс промыть замыленный глаз. А потому нужно с благодарностью и полным доверием идти за автором.

Не получилось. Дочитывая третью главу романа (всего их одиннадцать), я понял, что морочу себе голову. Это бижутерия. Искусно выполненная, с новым (относительно) дизайном, но — бижутерия.

Из чего все состоит?

Очень трогательные «мальчик» и «девочка»: Тема (Артем) и Марина.

Марина даже сама не знает, как она любит Тему.

Тема даже сам не знает, как он на самом деле любит Марину.

У них будет ребенок.

То есть в течение основной части повествования Марина беременна и вот-вот должна родить. И то ли по причине ее беременности, как бы выявляющей миру ее женскую подлинность и незащищенность, то ли вообще от того, что она такая невыразимо прекрасная, но все персонажи-мужчины сразу же чувствуют в ней нечто сокрушительно женственное.

Ну а мальчик Тема, он еще и — Поэт. Причем от Бога, то есть каждый раз сам с изумлением наблюдает за своей рукой, записывающей гениальные стихи (иногда, кстати, неплохие стихи, дающие возможность слегка отдохнуть от основного текста).

Короче, юные и трогательные «мальчик» и «девочка» на фоне безумного, безумного, очень-очень безумного мира, состоящего в романе из утонченно-циничной супружеской пары стареющих новых русских; сначала антиквары, а потом удачливые менеджеры, они превращаются в злобных, мстительных тварей, «заказывающих» наехавшего на них супербыка молоденькому, как Марина с Темой, и тоже очень симпатичному, застенчивому юноше-киллеру Лехе (Михе), доверительно делящемуся с Мариной секретами ремесла («не надо стараться целиться, просто стреляй, и все»), — уже остывшая, но все еще новость, пришедшая из кино: у них, у киллеров, глаза такие добрые-добрые, а сами они молочком пахнут (см. фильм «Леон»).

И еще две девушки: Корейанка Хо, трогательно-простодушная, клубящаяся мистическими откровениями Востока, и девушка Вера, ворующая в магазинах женское белье под непроизвольным присмотром и защитой мальчика Темы. Если их обеих — Корейанку Хо и Веру — слить в один сосуд и взболтать, то получится соответствующая героиня из фильма Карракса «Дива».

Да, кстати, Марина и Корейанка Хо очень близкие подруги. Живут вместе и работают в морге визажистками (см. Ивлин Во, «Незабвенная»).

Ну и еще один там персонаж торчит на виду, сюжет образует — некто Харин; тоже по-своему трепетная душа. Из бандитов. Пережил к началу повествования духовное возрождение под воздействием Дейла Карнеги, а во времена, охваченные действием романа, переживает второе потрясение — сокрушительную любовь к Марине. Маугли из волчьей стаи, решивший стать человеком. Преследует Марину просьбой-требованием выйти за него замуж. У этого персонажа родословная будет побогаче: от «Великого Гэтсби» до глухонемого из «Страны глухих» и персонажей из «Криминального чтива».

Сюжетная (она же психологическая) пружина в том, что как раз на Харина-то, заменив собой, таким образом, мнимо убитого киллера Леху, и приняла Марина заказ и даже деньги уже получила от отвратительно-рафинированных новых русских, очень-очень много долларов.

Ну и что делает автор со всем этим в своем романе? В принципе, то же самое, что и все другие изготовители романов-хитов про волнующую новизну новых времен и молодых поколений. Берутся признаки, гуляющие в массовом сознании в качестве «примет времени»: шикарные «тачки», быки, мобильники, гениальные стихи на туалетной бумаге, наркотики, супер-интерьеры, си-ди-диски, ломовые деньги, бары, киллеры, компьютеры, хакеры и т. д. — и лепится из них образ наступившей эпохи. Образ, конечно, ужасный, но ужасный — завлекательно, притягательно. И вот в эту, так сказать, операционную среду загружается традиционный

материал юности: наивность, доверчивость, трепетность, чистота, непосредственность, обаяние щенят и котят. При этом младенческий мозг молодых персонажей полностью облегчается от того, что мы называем культурной памятью. Я не про «тургенева-печорина» (хотя почему бы и нет), но хотя бы про наличие в их сознании папы-мамы-бабушки, старого чайника на кухне, поломанного транзистора, поездок на дачи в деревню или к родственникам в Армавир, ну и так далее. Предложенные романом «дети времени» выращены как будто в колбе «МузТВ». И естественно, что эти герои с их патологической восприимчивостью и пластичностью принимают форму предложенного мира полностью. Они как бы персонифицируют убогонький теленабор «Вещей века». Такой прием в шлягерном кино обычно хорошо срабатывает у людей старшего возраста, которых не смущают реалии новых поколений (ну, скажем, «мальчик», «девочка» и их ребеночек в фильме Соловьева «Черная роза эмблема печали...» — не самый плохой, кстати, фильм).

...Что касается меня — у меня вообще сложные отношения с «шлягерными» жанрами: боевик, триллер, мелодрама, «лирическая криминальная комедия с элементами сюрса». С одной стороны, считаю их вполне убудочными. Игровыми площадками, на которых взрослые играют, как в игрушки, с серьезными вещами: смерть, жизнь, любовь, разлука. И в игре этой очень часто превращают их действительно в игрушки — на этом пространстве они другими и не могут быть. А с другой стороны, я люблю «игру в эту игру» — скажем, боевики, в которых убудочность жанра отрефлектирована художником и включена в содержание и эстетику именно как убудочность (то же «Криминальное чтиво» Тарантино, или замечательная «Подземка» Люка Бессона, или «Пес-призрак» Джармуша). Но это уровень художника, использовавшего жанр трогательной криминальной драмы как материал, а не задание.

Роману же Болмата явно не хватает такой отрефлектированности. Автор увязает в серьезности, с которой лепит «трогательное». Он, похоже, действительно не отдает себе отчета в том, что ни мир, который он изображает, ни его «молодые» герои не имеют отношения к реальности, что это игры автора с самим собой. Что он не Тургенев и не Аксенов даже. Что он изначально на другом поле играет. И Набоков, которого потревожил Курицын, тоже, на мой взгляд, ни при чем. Не спорю, набоковских фразочек здесь много. Но они в романе — как изюм в батоне: наковырять изюму можно, наверно, вдоволь, но само тесто замешено на обычной муке:

«Неожиданно Тема сел в постели. В животе у него вспыхнул фейерверк, и он даже рот открыл, чтобы выдохнуть нестерпимый жар. Он захотел сейчас же, сию секунду позвонить Марине и рассказать ей, какое он ничтожество».

«Не успела она распаковать купленное по дороге мороженое, как в дверь позвонили. Хрустя оберткой, Марина поспешила открывать. Кореянка Хо, подумала она, йогурт, сосиски, салат и, возможно, круассанчики. Один из юных поклонников Кореянки Хо работал во французской булочной неподалеку.

— Когда ты научишься ключами пользоваться наконец? — спросила она, распахивая дверь.

На пороге стоял Харин с букетом белых лилий, упакованных в целлофан, перевязанный по углам игровыми розовыми ленточками. <...>

— Так не бывает, — жалобно сказала Марина, оглядываясь по сторонам...»

Ну и где тут Набоков? Это, простите, стилистика «Юности» шестидесятых годов.

«Накануне у него благополучно родился сын.

Весь вечер Тема старался чувствовать себя отцом. Он старался чувствовать себя отцом сначала в больнице, потом у Антона, потом в ночном клубе, куда отправился вместе с Антоном, и потом, под утро, на грязном замусоренном пляже Васильевского острова, куда Антон привез Тему вместе с двумя абсолютно безымянными студентками допить бутылку коньяка» — это уже Хемингуэй в аксеновском варианте.

Перед нами попытка изображать отработанными к нашему времени средствами психологической прозы ту реальность, те новые типы, которых на самом-то деле и не существует. Автор изображает не людей, а какие-то очень произвольно

слепленные схемки. Марина после знакомства с киллером Лехой (Михой) делится пережитым с подругой:

«— А дальше он вынимает из-за пазухи во такого размера пистолет, — рыбацким жестом показала Марина, — и убивает всех, кто был в видеопрокате. Кроме меня.

— Как убивает?! — не поверила Корейнка Хо. — Почему всех? Он что, маньяк?

— Нет, он не маньяк, — сказала Марина, — он киллер. Профессионал. Леон — киллер, представь себе. Чоу-юнь-Фат.

— Красивый? — спросила Корейнка Хо.

— Не очень, — подумав, с сожалением сказала Марина, — какой-то все-таки немножко деревенский. Ты сама подумай: может быть красивым человек, которого Михой зовут? <...>

— А откуда тогда ты знаешь, что его Михой зовут? — безнадежно спросила Корейнка Хо. Почему, подумала она, нет, правда, почему всегда самое интересное происходит не с нами, а с нашими знакомыми? Почему я не пошла вместе с Маринкой кассету сдавать?»

Вот такой характерный для болматовского изображения чистоты и непосредственности юных девушек диалог. Чуть не написал «двух идиоток», но осекся — не оттого, что заподозрял в мужском шовинизме, а потому, что диалоги такого же градуса дебильности ведут и Тема с приятелем Антоном.

Ну а в подтексте они очень умные и невозможно усложненные.

Марина: «Я ведь тоже стану старой, подумала она <...> когда уже не понимаешь, чего в жизни больше — притягательного или отвратительного, и когда твои ошутительные способности по очереди покидают тебя, как допоздна засидевшиеся знакомые. И может быть, к тому времени уже изобретут наконец крошечное электрическое сердце, невыцветающую и невыдыхающуюся кровь, силиконовый мозг, или человечество уже окончательно в Интернет переселится...»

И читают они много: есть в романе соответствующий диалог Марины с представителем старшего поколения, спросившего, что она читает, и Марина нехотя перечислила прочитанное недавно: Бродский, Лимонов, Берроуз и т. д., а представитель старшего поколения вздыхает, что он только Трифонова-то и перечитал за последнее время. «Трифонов» здесь как «мобильник» или «киллер» наоборот — знак времен, и времен безнадежно состарившихся, выгоревших и вылинявших, времен, *которые уже давно не носят*.

Справедливости ради должен сказать, что Болмат писатель несомненно одаренный. Он иногда чувствует жанр. Отработав в первых девяти главах неоаксеновское «Поколение №...», он все-таки пытается удержать равновесие в финале. Вот здесь начинается то, что вроде как обещалось читателю в первых двух главах, — не жеманно-жесткое проживание сказочки про новые времена, а игра с этой сказочкой. И стилистика меняется, ориентируя читателя на эстетику компьютерной игры-мочиловки.

«Вера, появившаяся в дверях у Лехи за спиной, выстрелила еще раз, и Леха, роняя телефон, клацая растяжками и стуча гипсом, повалился на пол, как марионетка с опущенными нитками. Корсет его развалился от удара на части, и куски, рассыпаясь, разлетелись по сторонам. Ноги и руки его странно вывернулись <...>

Вера довольно дунула в ствол <...>

— Поехали, — сказала она, — потанцуем? Вчера на Васильевском новую дискотеку открыли. Там, говорят, Садам сегодня играет. Пальба будет — будь здоров.

После дискотеки они поехали к Теме домой».

«В прихожей стояла похудевшая, стройная Марина. На изгибе левой руки она держала спящего Иосифа, в правой руке у нее была последняя модель автомата Калашникова, ствол которого Марина не без труда направляла в сторону от Темы. Автомат экстатически дергался у нее в руке, грохотал, орал, выл, декламировал, извергая неостановимый апокалиптический поток огня <...> шестеро неожиданных пришельцев были погребены под обломками».

Ну и так далее.

Как и полагается на компьютерном мониторе, злодеи рассыпаются в прах, герои преодолевают уровень за уровнем. И в финале все о'кей — мальчик соединил-

ся с девочкой в законном браке, ребеночек их, как видно из приведенной выше цитаты, родился с удивительно крепкой нервной системой, способный сладко спать у мамы на изгибе левой руки под грохот автомата с изгиба правой маминой руки.

Хеппи-энд. Автор освободился от внутренней завороченности эстетикой видеоклипа и «Вещей века», установил необходимую для художника дистанцию со своим материалом. Но уже не ясно, ОТКУДА он смотрит на своих героев и выстроенный для них мир. Точку внутренней (эстетической, мировоззренческой, философской) опоры у Люка Бессона можно определить, и у Джармуша можно. А у Болмата — нет. Здесь, на мой взгляд, вместо опоры эстетической — намерение ее заполучить, продекларированное компьютерным мельтешением в финале. И, никуда не денешься, в остатке — перелицованная криминальная мелодрама, писанная без внутренней иронии (стёб стилистический не в счет, он так и не становится «несущей опорой»), сладенькая жеманная страшилка про очередное «поколение XL». Назовем его «Поколение XL».

*Р. С.* Замечательную (я — без иронии) песенку недавно пустили на «МузТВ», цитирую почти дословно:

Типа я без тебя,  
типа жить не могу,  
типа знаю слова  
типа лю, типа блю.

*Р. Р. С.*

А вообще странно. Болмат — талантливый человек. Он действительно много умеет в прозе. Написал бы что-нибудь попростодушнее, не оглядываясь на себя в зеркало «новейших стилистик». Ужасно интересно было бы почитать.

Составитель Сергей Костырко.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Сентябрь*

**25 лет назад** — в № 9 за 1975 год напечатана повесть Чингиза Айтматова «Ранние журавли».

**35 лет назад** — в № 9 за 1965 год напечатаны повесть Дж.-Д. Сэлинджера «Выше стропила, плотники!» и его рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка...» в переводе Р. Райт-Ковалевой.

**45 лет назад** — в № 9 за 1955 год напечатана повесть В. Пановой «Серёжа».

**60 лет назад** — в № 9 за 1940 год напечатана поэма Михаила Пришвина «Фацелия».

**65 лет назад** — в № 9, 10, 11, 12 за 1935 год напечатан роман Леонида Леонова «Дорога на Океан».

**В год 75-летия журнала «Новый мир»  
Благотворительный Резервный Фонд  
и редакция журнала «Новый мир»  
учредили литературную премию  
имени Юрия Казакова  
за лучший русский рассказ года.**

Премия присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ, впервые напечатанный на русском языке в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают авторы, издатели и критики.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2000 года.

**Состав жюри:**

**МИХАИЛ БУТОВ**, председатель жюри,  
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,  
**РУСЛАН КИРЕЕВ**, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»,  
**АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ**, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного Фонда,  
**АНДРЕЙ НЕМЗЕР**, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА** (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

**Координаторы премии:**

главный редактор журнала «Новый мир»  
**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ**,  
генеральный директор Благотворительного Резервного Фонда  
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО**.

**СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.**

Объявление лауреата и торжественное вручение премии произойдет в декабре 2000 — январе 2001 года (дата будет уточнена позднее).

Телефоны: (095) 209-57-02, (095) 209-91-81.

Факс: (095) 200-08-29.

**E-mail: butov@aha.ru или seva@mail.cnt.ru**



# SUMMARY



The poetry section includes new poems by Vladimir Kornilov and Marina Kudimova; you can also find in this Issue a publication of the poems, written by one of the most famous Russian philosopher Aleksey Losev. This Issue publishes the end of the Lyudmila Ulitskaya's novel «The Trip to the Seventh Side of the World» and the second part of the book by Aleksander Solzhenitsyn «The Seed Got between the Two Millstones», which the author himself defines as «Essays of Expatriation».

The constant heading «Along the Course of Events» is represented by Yury Kagramanov.

Under the heading «Polemics» the Natalia Ivanova's text «Substitution» is located — in fact it's a big remark, made concerning the article about Anna Akhmatova, published by Aleksander Kushner in the «Novy Mir».

The literary critique is represented by the Mikhail Epshtein's article «The Word as the Work of Art: about the Genre of One Word Saying».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,  
Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская,  
О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Фялиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,  
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,  
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru  
Сетевой журнал «Новый мир»: [http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.  
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.05.2000 г. Подписано к печати 27.07.2000 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн.  
Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 13 200 экз. Зак. 2402. Цена договорная.

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

**учреждает первую в России  
Общественную национальную премию  
по лучшему отделению государственной  
непривилегированной клиники.**

**Премия учреждена на средства  
Внешэкономбанка и Андрея Костина,  
Московской Межбанковской Валютной биржи  
и Александра Захарова,  
Национального Резервного Банка и Александра Лебедева.**

**В 2000 году конкурс на соискание премии  
проводится среди хирургических отделений  
военных госпиталей.**

**В жюри премии входят видные отечественные хирурги  
и клиницисты других специальностей,  
а также представители Министерства обороны.**

**В наблюдательный совет премии входят попечители  
и добровольцы Благотворительного Резервного Фонда  
(среди них и журнал «Новый мир»).**

**Заявки на участие в конкурсе принимаются  
до 31 октября 2000 года.**

**Итоги конкурса подводятся в декабре 2000 года.**

**С условиями конкурса можно познакомиться  
на странице Благотворительного Резервного Фонда  
в Интернете:**

**<http://www.chat.ru/~brfond>**